

ЕВГЕНИЙ
ПЕРМЯК

4

Евг. Пермяк



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



РАССКАЗЫ
СКАЗЫ И СКАЗКИ

Р2
П27

БАБУШКИНЫ КРУЖЕВА



САЛАМАТА

Бывает, что сегодня и вчера переплетаются в одном узоре так, что ты не можешь разлучить минувшие и наши дни. Они, как мать и дети, живут в одной семье — в одном рассказе...

В прошлом году меня звали на день рождения Светланы — дочери моего школьного товарища, с которым я виделся довольно редко. Светлане исполнилось двадцать лет, и она училась на каких-то курсах, имеющих какое-то отношение к звероводству, которое, как мне показалось, не имело никакого отношения к ее стремлениям.

Отец Светланы жаловался мне, что после окончания десятого класса ее преследуют неудачи, и последней из них он назвал любовь дочери к некоему Володе.

— У этого Володи, да будет тебе известно, — сообщил мой друг, — ни одного метра жилой площади. Прописан он у тетки, а живет где придется, и специальность у него... Как тебе это понравится?.. Специальность у него — шофер-механик. Работает в каком-то захудалом гараже треста столовых. Зарботок так себе... А собственного достоинства и самоуверенности... Как будто он защитил докторскую и готовится стать вторым Менделеевым. Вот он, сидит рядом с дочерью.

Мой друг указал на молодого человека лет двадцати пяти. Его волнистые светлые волосы были высоко зачесаны. Умные добрые серые глаза смотрели приветливо из-под длинных белесых ресниц. По всему было видно, что он чувствовал себя как-то виновато. Мало сл. Отказался выпить рюмку настойки. На заданные

вопросы отвечал сдержанно и почтительно, даже младшим.

Когда десятилетний сын моего товарища спросил Володю: «Володя, а ты чем лицо моешь? Тоже бензином?» — на это Володя, чуть смутившись, ответил:

— Водой и мылом.

Отцу Светланы и ее матери «жених» явно не нравился. Они не упускали случая, чтобы уронить его в глазах дочери. И все это мне напомнило, может быть, и не столь поучительную, но, во всяком случае, несколько необычную сибирскую историю любви батрака и девушки из зажиточной середняцкой семьи Шумилиных, и я принялся тогда рассказывать, как это было.

А было это в двадцатых годах. Парня звали Тимофеем, а девушку Марией. Впрочем, этим именем Машу никто не называл. Для всех она была Саламатой.

Это ласковое прозвище она получила в раннем детстве. Рязанские плотники-отходники, рубившие Шумилиным дом, угостили Машу саламатой. Это блюдо так понравилось маленькой девочке, что ее первым отчетливо произнесенным словом оказалось «саламата».

Саламатой, смеясь, стала называть ее мать, потом — братья, а за ними и вся деревня. Ласковое прозвище стало вторым именем Маши.

Саламату я встретил впервые, когда ей было девятнадцать лет. Меня тогда расквартировали у Шумилиных. Это была крепкая, дружная семья. Жили они справно, ели не оглядываясь. Старик Шумилин как-то сказал мне:

— При нашей-то силе мы два продналога заплатим да еще пять семей прокормим. А сила наша — в целине. Жадный да скаредный паханую землю перепахивает, а мы и вековой дерновины не боимся. Вот и берем сто пудов, где другие и тридцати не нажинают.

Нужно сказать, что старожильская деревенька Полынная, где жили Шумилины, находилась далеко от железной дороги, в Кулундинской степи. Земельных угодий было столько, что едва ли можно было освоить даже сотую часть пустующей целины.

За постой Шумилины с меня не брали.

— Вот еще! — говорила Шумилиха. — На пайке живешь. Ребятам книжки читаешь, сказки рассказываешь, да еще с тебя же плату брать...

Приводились и другие доводы:

— Сам человек свой хлеб в навоз перегоняет, а гость — в хорошую молву.

И мне казалось, что добрее, приветливее и хлебосольнее Шумилиных трудно найти семью. Когда же дело коснулось Саламаты и Тимофея, я увидел Шумилиных в ином свете. Они все поднялись на дыбы.

— Как только совести у него хватило, даже подумать страшно, что Саламату за него замуж выдадут! — кипятилась мать.

А отец пуше того:

— За пазухой, что ли, ты, Саламата, будешь жить у него? Так ведь не блоха.

А дед Шумилин сыпал присказками да прибаутками:

— Нашли себя дровни тарантасу ровней... Захотел цыплек на цаплю взлететь, да ноги коротки...

И братья Саламаты тоже находили обидные для Тимофея слова, хотя и дружили с ним и называли сго «коренным конем конягинского табуна». Это так и было. На Тимофее держалось главное и единственное богатство Конягина — лошади.

Конягин, умный и деятельный мужик, нажил свой достаток на полукровных конях. Скрещивая с мелкими выносливыми сибирскими лошадами привозных породистых коней, он добился немалых успехов. Я сам лично читал указание из Москвы, где говорилось, что «деятельность Конягина следует считать общественно полезной и перспективной». Поэтому хотя Конягин и числился кулаком, а облагался умеренно. После всех реквизиций, мобилизаций и добровольных поставок у него осталось голов сорок хороших коней. Забегая вперед, следует сказать, что умный Конягин вовремя подал заявление об изъятии его табуна в пользу государства, с тем чтобы учредить настоящий конный завод при его участии. И это было сделано.

Короче говоря, об этом человеке у меня осталось в конце концов хорошее впечатление. К его чести следовало отнести и то, что он нескрываяемо желал своего работника, батрака Тимофея, назвать милым зятем. Но дочка Конягина Анфиса, выросшая без матери, уже в шестнадцать лет повела себя так шумно, что это стало слышно и в соседних деревнях.

Анфиса всяческими способами старалась прибли-

зять к себе Тимофея, даже однажды она велела ему натереть ей дегтярной мазью поясницу, на что жаловался мне и Саламате «корённой конь» Конягина. За ослушание сумасбродная Анфиса могла прогнать Тимофея. А с потерей места у Конягиных Тимофей потерял бы и деревню Полынную, где он хоть изредка, да мог видаться с Саламатой.

Саламата, высокая, сильная, хорошо сложенная девушка, с напускной грубоватостью в обращении с людьми, была нежнейшим существом. Умея отвечать братьям на мужскую брань мужской бранью, она навзрыд плакала, когда я рассказывал ей сказку о царевне Лягушке или о Золушке.

Меня Саламата, думаю я, любила больше всех других в их доме. Она хозяйничала в моем сундучке, приводила в порядок мое небогатое белье, тайно подарила мне носки из верблюжьей шерсти, шарф, опояску. Она всегда сохраняла для меня стаканчик «первача», который бывал так дорог, когда я, промерзнув на ста морозах в долгих разъездах, возвращался домой.

Саламата не скрывала от меня свою любовь к Тимофею. Я ей был нужен как поверенный сердца, как брат, понимающий ее и сочувствующий ей.

— Уж так-то я его люблю... так-то люблю, что даже стыда не чувствую при нем. Сама первая целую его. В губы, в глаза, в щеки и за ухом... Будто некто-то, а я родила его давным-давно, а потом умерла, истлела и заново появилась на свет девкой, его суженой. Таких чудес даже в твоих сказках нет...

Переведет, бывало, Саламата дыхание, расправит на себе кофту, стесняющую переполненную чувствами ее грудь, и примется снова рассказывать:

— Моих братьев золовки тоже любят... Но любят они их вроде бы как для самих себя... А его я для него люблю. И скажи он мне: я, мол, с Анфиской Конягиной должен принять закон... проверю, поверю и слова не скажу. Спичек наемся, под болезнь дело подведу, чтобы совесть его была чистой, а его счастливым на свете оставляю... У Тимошки не только поганого слова нет, у него даже думы голубиные. Где бы ни где хочется ему гнездо для меня свить, чтобы я моих деток для него вырастила. Ох и детки же будут у нас...— закрывает вдруг Саламата лицо и заливается звонким смехом ни с того ни с сего, начиная ерошить мои волосы, а то и

обнимать меня, а потом обязательно скажет: — Не разродиться мне, окаянной, если я своего первого дитенка твоим имечком не назову.

— А если девочка родится? — как-то спросил я.

— Ну и что? Антонидой назову...

Тогда я впервые узнал, что мое имя Антон с небольшим прибавлением становится женским именем.

Саламату я бы не сумел забыть никогда, если бы даже моя дружба с нею оборвалась только на этом. Но это лишь начало моего рассказа. И если вы не устали слушать, я буду рассказывать дальше.

Когда любовь Саламаты и Тимоши стала очевидна Шумилиным и они увидели, что все это не обычные девичьи пляски-тряски, песенки да побаски для времяпрепровождения в свободные вечера, а нечто большее, им стали рисоваться неутешительные картины. Тем более что Анфиса была живым примером. Пусть Саламату нельзя было даже отдаленно сравнивать с единственной и балованной дочерью Конягина, но все же от девушки с таким характером можно было ожидать и непоправимого.

Поэтому на семейном совете Шумилиных решено было показать Саламате, не намекая ни на какое сватовство, тихого, как Тимофея, такого же статного и куда более красивого Матвея Ляпокурова. Последнего оставшегося в живых сына старой вдовы Ляпокурихи. История известная. Прицел понятный. Саламата должна была войти молодой хозяйкой в ляпокуровский дом, где нет ни снох, ни другой родни. Пусть Ляпокуриха крута. Но и Саламата не поката. Найдет коса на камень, и узнают цену друг другу. Слюбятся — смирятся. А как внук появится, цепью скует мать да бабушку. А главное — Матвей не пьяница, не гуляка, не лодырь, не забияка. Разве можно придумать лучшего жениха Саламате, если он ей приглянется?

А относительно Матвея даже в голову никому не приходило, что он при первой же встрече с Саламатой не лишится разума. И к этому было оснований предостаточно. Саламата цвела так, что ее даже нельзя было вывозить на базар — от воза не отходят. И не только парни да мужики, но и бабы, старухи, девки. Настоящая красота всех останавливает.

Как-то за столом мать Саламаты сказала:

— Тоскливо живем, отец. Хоть бы о масленице

привез Ляпокуриху. В одной деревне девками росли, а замуж повыскакивали чуть не за двадцать верст одна от другой.

Шумилин поддержал жену:

— И я люблю Ляпокуриху. Не завлечи тогда ты меня пляской, быть бы ей Саламатиной матерью.

Семейный спектакль разыгрывался самым гладким образом.

— Она и без тебя родить не оплошала. Чистого Муромца принесла. Коня за передок подымает. Румянцу-то бы для семи деревень хватило, да еще бы для пяти зимних зорь осталось.

Саламата слушала и молчала. Я знал, куда клонится речь, но не считал возможным вмешиваться. Да и как можно было о чем-то говорить, не зная Матвея Ляпокурова! В жизни случалось, что невесты и в день свадьбы меняли свои решения.

Разговор возобновился в первый день масленицы. Шумилины решили навестить Ляпокуровых, прихватив с собой Саламату.

— И-их, как на гусевой-то прокатишься! — сказал Шумилин. — Самой вожжи дам. Хоть насмерть коней загони — слова не скажу. На то и масленица.

Саламата на это ответила:

— Поехала бы, коли б Тимофею с Анфиской слово не дала конягинских полукровок промять.

Отец повторил приглашение:

— С отцом-то да с матерью, поди, пригожее поехать...

А Саламата резонно возразила:

— В мои годы да в нашем доме, кажись, пригожее от отца с матерью подальше быть. Я ведь не Анфиса, не одна дочь, за которую держатся, которой счастья хотят...

Отец понял намек и не стал больше настаивать. Шумилины уехали вдвоем, а мы с Саламатой отправились к Конягиным, где нас уже ожидала запряженная гусем пара полукровных «каракулевых».

Анфиса сразу же усадила меня рядом с собой и велела Тимофею накинуть на нас тулуп.

— Так-то, Антоша, складнее будет да и не замерзнем друг возле дружки, — сказала она.

Большая продолговатая кошелка была оборудована двумя спинками. Такова уж конягинская прихоть.

Тимофей и Саламата сели спереди, а мы с Анфисой позади. Лошади так быстро несли, что, несмотря на теплый день, можно было поморозить лицо. Поэтому Анфиса закрыла воротником тулупа свое и мое лицо. И я, право же, не могу без благодарности вспоминать об этом. Мне кажется, особенно теперь, что Анфиса была ничем не хуже многих других, даже красавицы Саламаты.

Дни хотя и прибавились, все же мы возвращались в темноте и навеселе. Заезд к тетке Анфисы был вознагражден не только блинами... Нет, право же, мне очень приятно вспоминать этот холодный ночной свистящий ветер и тающий запах снега на разгоряченном лице Анфисы. И, как знать, может быть, я сейчас, рассказывая о Саламате, хочу рассказать о щедрости быстролетной юности, которую мы чаще всего не благодарим даже добрым словом.

Когда Саламата и я вошли в шумилинский дом, масленичный пир только-только еще начался. Разнаряженная старуха Ляпокурова сидела в красном углу рядом со стариком Шумилиным, надевшим лихо-кумачовую рубаху, отчего его лицо приобретало розовую окраску. Может быть, этому помогал и свет сальных свечей, которые отливала в самодельной форме старшая сноха Шумилиных — Катерина.

Я не собираюсь долго задерживать ваше внимание на свете свечей, но все же их живой огонь придает лицам лучший и, как мне кажется, настоящий их цвет. Матвей Ляпокуров, сидевший рядом с матерью, показался мне настоящим красавцем, про которых в русском просторечье принято говорить «писанный». Он и в самом деле выглядел писанным щедрой кистью и богатыми красками. Далеко было до него красивому батраку Тимофею.

Матвей, ничуть не красуясь, не стремясь показывать себя, ослеплял своей красотой так, что шумилинские невестки отворачивались, глянув на него, как на солнце. Они опускали глаза, будто боясь, что их мужья, а того хуже свекровка прочтут изумление, а лучше сказать — любование лицом Матвея.

Даже брови у него были так тонки, будто он, предполагая родиться девицей и передумав на последнем месяце, родился парнем.

— Здравствуй, Маша,— сказал он, подымаясь, не

желая называть ее Саламатой.— Вот я какой дубиной вымахал.

Саламата, видимо не ожидая увидеть его таким, непринужденно сказала:

— А я думала, ты оглобля оглоблей вытянешься, а ты как Бова вырос.

Раздался радостный, одобряющий хохот. Ляпокурова, желая отплатить комплиментом за комплимент, сказала:

— И ты, Саламатушка, за эти три годика дорогим калачом выпекалась. Подставь-ка шею-то, я тебе на нее повесить чего-то хочу. У катеринбургских мешочников выменяла, да для кого — не знала. Они тебе ой как глазки-то подзеленят...

Ляпокурова полезла в карман широкой суконной юбки и вытащила оттуда завязанные в платок крупные, тяжелые малахитовые бусы.

— А отдаривать чем я буду? — спросила Саламата, любуясь бусами.

— Да что мы, конягинской породы, что ли, каждую безделицу считать... Носи, коли глянутся. Твой отец мне тоже без отдара бусы подарил. Не такие, скажем, а полегче. Вот и не перетянули они меня в его сторону.

Опять послышался смех. Мать Саламаты схватила полотенце и принялась им бить мужа.

— Ах ты, язъ тебя переязъ, ей бусы жаловал, а меня даже медным колечком не одарил, даром околдовал... Я тебе сухопарые-то ноги до последней выдержгаю, изменщик бессовестный!

Теперь хохотал даже старик Шумилин. Ляпокуриха чуть не подавилась блином. Матвей хлопал в ладоши и смеялся по-детски заливисто.

Саламата, залюбовавшись Матвеем, шепнула мне:

— Скажи на милость, сколько одному человеку дадено... Наверно, он и сам этого не знает...

Пока отец Саламаты обещал Шумилиной в прощенное воскресенье на коленях вымолить свои грехи, вошла Анфиса.

Тут бы я попросил вас слушать как можно внимательнее...

Анфиса вошла в розовой широкой кофте и в шелковой шумной пунцовой юбке, отливавшей лиловым и зеленым. Ее тугая золотистая аршинная коса была перекинута через левое плечо. Будто скользя по полу,

как по льду, она обратила на себя всеобщее внимание.

— Ты что же это, Саламата? Звала меня посумерничать, а у тебя семьдесят семь свечек одна другой шибче горят... Как мне теперь быть, и ума не приложу: сразу ли назад пятки или «хлеб да соль» говорить...

— Да будет тебе, Анфиса, чего не надо выдумывать,— сказала, освобождая свое место, Шумилина.— Это конягинская дочь,—предупредила она на всякий случай Ляпокуриху, чтобы та не брякнула что-нибудь еще.

Анфиса, конечно, знала, что у Шумилиных гости. Иначе зачем ей было так наряжаться для сумерничания с Саламатой? Анфиса, мало сказать, обомлела, увидев Матвея. Она, побледнев, испугалась его красоты.

А когда Матвей, знакомясь с Анфисой, сказал, что и ему посчастливилось конягинскую полукровку добыть, Анфиса быстро нашлась и ответила на это:

— Значит, мы, Конягины, через нашу лошадь вашим, ляпокуровским, коням родня... Тогда и говорить нечего. Все здесь свои.

Шумилина неодобрительно посмотрела на Анфису и что-то хотела сказать ей, видимо, не очень лестное, но ее опередила Ляпокуриха:

— У Конягиных семья малая, да родня большая. В редкой деревне она не ржет по пригонам да по выпасам.

Смешок раздался сдержанный. Матвей посмотрел на мать, и по его взгляду было видно, что эта шутка ему не понравилась.

— Я ведь, Анфиса Андреевна,—с подчеркнутым уважением обратился к ней Матвей,—про полукровку сказал не от большого ума, а от чистого сердца. Я этим хотел сказать, что даже ваша лошадка изукрасить может любой двор.

Речистая и знающая цену словам Саламата по заслугам оценила сказанное и вместо подруги ответила Матвею:

— Ты, Матвей Егорович, не одним, видно, лицом светел. Спасибо тебе... На вот за это пригубленную.— Сказав так, она подала ему Анфисину чарку с брагой.

И когда Матвей поднес ее ко рту, Анфиса остановила его:

— Гляди ты, каков конь,— из одного ведра со мной не моргует пить.

— За вашу красоту, Анфиса Андреевна,— подчеркнуто громко сказал Матвей и выпил досуха.

— Покорно благодарю,— откликнулась Анфиса, вдруг покраснев и смутившись.

Хотя все это и говорилось шуткой, Шумилина и Ляпокурова явно забеспокоились. Матвей не сводил с Анфисы глаз, а та, потерявшись и будто найдя себя, вдруг зацвела крупным стыдливым румянцем.

Такой я Анфису еще никогда не видел.

А потом, когда дело дошло до «Подгорной» и Шумилин растянул мехи своей порядком охрипшей, но еще достаточно звонкой для небольшой горницы гармонии, начался танец.

Про «Подгорную» можно говорить разное. Конечно, эта народная сибирская мелодия не так затейлива, как полька или украинские плясовые. Но, видимо, человеческое ухо любит слышанное в детстве и привыкает к нему, как к голосу родной матери.

«Подгорная» — широкая плясовая. Шумилин играл ее на «тридцать три перелива», подзванивая колокольчиками, какие случались на старинных тальянках.

Умный и знающий гостевой распорядок Матвей пригласил поплясать с ним Саламату. И та, отдав дань хозяйки танцу, величаво прошла два или три круга, «вытоптав» и «впечатав» своими праздничными башмаками положенное, подвела Матвея к Анфисе:

— Вот она-то уж сумеет тебя без подметок оставить.

Матвей будто этого и ждал. Он с легким притопом, ритмично кланяясь, зазывал Анфису в пляску. И та, как это делали многие по деревенской традиции танца, отворачивалась, якобы робея вступить в танец, наконец «поддалась искушениям» и, как полагалось в ритуале пляски, степенно проплыла утушкой, а потом, будто входя во вкус, принялась выдавать новые и новые притопы, вовлекая в пляс своего партнера. Матвей отвечал ей лихими коленами, заставляя не сводить с себя глаз не только Анфису, но и остальных, приумолкших в горнице.

И все это, долженствующее происходить по излюбленному танцевальному сюжету, происходило всерьез и на самом деле.

Тут я опять позволю себе сказать несколько слов, без которых, может быть, и можно обойтись, но я не хочу их опускать. Танец, даже заученный и очень известный, иногда исполняется будто впервые. И все движения танцующего вдруг окрашиваются той особой выразительностью, которая не хуже слов рассказывает о мыслях и чувствах человека.

Для меня и для Саламаты, пристально следивших за танцующими, не было никакого сомнения, что Матвей и Анфиса сейчас, танцуя, признавались друг другу в чувствах, пришедших и вспыхнувших неожиданно не только для всех, но и для них самих.

— Что же теперь станется? — шепотом спросила меня Саламата.

— Даже и не знаю, что тебе сказать, — ответил я тогда. — Что-нибудь да будет...

...Поздно вечером, когда Ляпокуриха храпела на перине и масленичное веселье свалило остальных, мы, то есть Саламата, Матвей, Анфиса и я, не желая спать, заканчивали веселье на кухне, играя в подкидного дурачка и шелкая подсолнухи. Матвей вдруг совершенно серьезно сказал Анфисе, указывая на карты:

— Одного ли дурака тебе сегодня подкинула незадача?

Анфиса остановила игру. Она испуганно посмотрела на Матвею в глаза, будто боясь, что он шутит.

А Матвей не шутил, хотя и старался выглядеть шутником в эти минуты.

— Если оставишь меня в дураках, значит, я того и стою. А если нет, загадываю я, значит, быть мне при тебе самым счастливым из всех дураков на свете.

Анфиса вынула из своих карт бубнового короля, показала нам и бережно положила за ворот кофты.

На этом кончилась наша игра. На этом закончилось шутливо начатое Матвеем предложение Анфисе стать его женой.

— Вот дура-то я, дура набитая, — сказала мне Саламата, уходя спать в прируб. — Так бы и я могла взять своего Тимошу и спрятать на груди... А я все ходов да выходов ищу. Подходы придумываю. Хватит. Матвей мне открыл сегодня глаза...

Спать я в эту ночь отправился на полати, где старик Шумилин видел девятый сон. Анфиса и Матвей просидели на кухне до петухов. И я слышал их раз-

говор. Слышал не подслушивая. Они говорили громко, не таясь, кажется, не только от меня, но и от всего белого света.

— Если бы знала я,—плакала на груди Матвея Анфиса,—если бы знала, что на свете живешь ты, разве бы я подняла глаза на всякого другого... Не ту ты нашел, Матвей, не ту! —рыдала она.—За меня тебе в глаза всякий посмеется...

А Матвей:

— Пускай, если такой веселый найдется... Я ведь не на вчерашнем дне жениться хочу, а на завтрашнем... Завтрашний-то день таким будет, что вчерашнее-то ты и сама позабудешь.

Матвей, прочитавший, наверно, не так-то уж много книг, не мог почерпнуть из них сказанное им. Благородный и как-то «нутрянно» высокий человек, он сумел этой ночью отсечь все то, что мешало Анфисе стать рядом с ним.

Утром не узнали Анфису. Она вышла к недоеденным и подогретым блинам осунувшаяся, строгая, как икона владимирского письма. Розовую кофту она прикрыла темно-вишневым полушалком Саламаты.

— Никак, весело в дурачка поиграли? —спросила Ляпокуриха сына.

И тот ответил:

— Не так весело, сколько счастливо.—И тут же торжественно и спокойно объявил матери: —Я обручился, маманя, с Анфисой Андреевной Конягиной.

Если бы на второй день масленицы разразилась гроза или бы занялся огнем снег, заговорили бы человеческим голосом жареные чебаки, поданные на большой сковороде к столу,—все это удивило бы меньше Шумилиных, Ляпокуровых, Саламату и, признаться, меня.

Сказанное Матвеем было настолько твердо и определено, что, кажется, даже заглох шумевший до этого самовар на столе. В горнице стало так тихо, что слышался за двойными рамами окон шелест разыгрывающейся метели.

Даже у меня, стороннего человека, слегка дрожали руки. Я ждал после этого молчания оскорбительного скандала по адресу Анфисы. Старые сибирские женщины умеют находить кованые слова, пригвождающие человека чуть ли не пожизненно. И такие слова, на-

стойные желчным ядом, готовы были слететь с тонких, хорошо нарисованных уст негодующей, почерневшей от неожиданности Ляпокурихи.

— Так что же ты, кровь моя, хочешь породнить меня с этой...

Тут недосказанное слово не столь застряло в горле Ляпокуровой, сколько было заглушено звоном посуды и шумным ударом по столу кулака Матвея.

— Маманя! — сказал он гневно. — В нашем роду сыновья на мать голоса не подымали. И я не подыму... На недоговоренное слово и я недоговоренными словами отвечу. Слыхал я от бабки, что мой отец на второй день свадьбы по какой-то причине хотел наложить на себя руки... Я ничего не знаю об этом. И знать не хочу. И ты не знай... И я никому не дам знать того, что им не положено знать... Поздравьте меня, товарищи и граждане!

Первой поздравила Матвея, обняв его и троекратно поцеловав, прослезившаяся Саламата. Это окончательно добило Ляпокуриху.

Поцеловал Матвея и я. Да еще подарил ему, может быть и некстати, плетенную в шестнадцать ремешков плетку. Матвей правильно оценил этот мужской лошадный подарок, но так как он помимо моей воли получил подспудное звучание и умный Матвей понял это, то он тотчас передал плетку Анфисе, сказав:

— Пригодится тебе плетка — мужа учить!

За мною несмело поздравляли Матвея и Анфису шумилинские снохи, а затем и сыновья.

— И я тебя поздравлю, сын — сказала Ляпокурова, покидая горницу.

Через час ее увез в Хорошиловку отец Саламаты, а мы отправились к старику Конягину.

Матвей, поздоровавшись со стариком, объявил ему о своих намерениях. И тот на прямопу ответил прямо-тою:

— Если моя непутевая дочь в самом деле будет твоим счастьем, так уж мне-то большего счастья и искать нечего.

На другой день Матвея отвезли на конягинской гусевой. Масленица еще только начиналась. Увязались и мы провожать Анфисиною жениха.

Хорошиловка, тоже старожильская деревня, состояла из ладных деревянных домов, крытых тесом. Боль-

шой пустой дом Ляпокуровых ожил с нашим приездом. Матвеева мать не вышла. Нас принимала ее младшая сестра, жившая по соседству. Мы постарались не придавать этому значения, повеселились до сумерек и отправились обратно.

Саламата и Тимофей сидели, как и прежде, на первом сиденье, а я с Анфисой на втором; под тем же тулупом, при таком же свисте ветра я ехал с другой Анфисой. С Анфисой Андреевной Ляпокуровой. Такой она началась в памятное утро на шумилинской кухне. Такой она осталась навсегда в моей памяти:

Я не собираюсь уходить в сторону и разглагольствовать о том, как преображается девушка, почувствовав сильную руку мужчины, на которую можно опереться.

Увы, такой сильной рукой не была, да и не могла быть рука возлюбленного Саламаты — Тимофея. Зато по весне, когда сошел снег, когда истосковавшая по солнцу степь заklubилась легкой испариной, Саламата показала свою женскую твердость, которой мог позавидовать даже Матвей Ляпокуров.

Дождавшись первого тепла, за ранним утренним самоваром, когда вся семья была в сборе, Саламата начала так:

— Я девка... Я свое место знаю... Я только хочу спросить отца и братьев, что в этом доме мое.

И старший брат, опережая отца, ответил:

— Шмутки.

Отец промолчал, ожидая, видимо, о чем пойдет речь дальше. А дальше Саламата спросила:

— Значит, ни коня, ни коровы мне здесь не положено взять?

— А далеко ли ты собралась, дочь? — спросил отец.

— Замуж решила выходить.

— Куда? За кого?

И Саламата ответила:

— В широкую степь, за хорошего человека.

— А крепость ременных вожжей тебе не доводилось испытать, милая дочь? — спросил отец не без дрожи в голосе.

И дочь ответила:

— Значит, ты меня не только голой хочешь проводить из дому, а еще битой... Так бей, — она подала подвернувшийся под руку валеk, при помощи которого в те

годы вместо глажения катали белье.— Им-то способнее будет тебе изувечить меня...

Отец оторопел. Шумилина запричитала, заголосила на всю горницу. Ее слезы мало тронули Саламату. Видимо, она, передумав и решив для себя все, готова была ко всяким неожиданностям.

— Другая бы мать радовалась, а не обмывала бы солеными слезами, как покойницу, свою дочь, которая хочет жить своей норой.

— То-то, что норой,— взъелась мать,— а не домом! Как звери. Сходом. Как...— «Как Анфиса», видимо, хотела она сказать, да не сказалось.

Анфиса до того пришлось теперь по нраву Ляпукровой, что та даже запрещала ей подыматься вместе с собой. Сама управлялась утром со скотом и на кухне. Видимо, чистая, открытая Анфисина душа стоила больше ее ошибок.

Поговорив так утром, Саламата позвала меня сходить вместе с нею к Андрею Степановичу Конягину. Ей хотелось поговорить с ним при третьем человеке. И разговор с ним она повела так:

— Андрей Степанович, хотела бы я узнать, заслужил ли мой суженый Тимофей у тебя пускай хоть не полукровного, а самого захудалого конька.

— Значит, и он тоже... это самое?.. — неопределенно спросил Конягин.

— И это, и самое,— подтвердила Саламата.

— А отец как? Что братья? — задал второй, более определенный вопрос Конягин.

— Шмутки девичьи отдали... Да вот лопату еще...

— А где вы жить будете? — И, не дожидаясь ответа, предложил: — Живите у меня. Все горницы опустел.

— Да нет,— сказала Саламата,— хватит с меня, что батрака полюбила, а жить хочу за хозяином.

Конягин пожевал бороду, подумал, а потом спросил:

— А над чем он хозяином-то будет?

И Саламата ответила:

— Над своими, над моими руками.

— Ну что ж,— сказал Конягин,— хорошо, что я нового человека присмотрел. Будто знал.

Он поднялся с лавки, позвал Тимофея и наставительно сказал ему:

— Серая-то полукровка тебе, пожалуй, лучше, чем конь, подойдет. Как-никак жеребята пойдут. Возьми ее вместе с полком на железном ходу. Плуг тоже можешь взять. Сбрую выбери, которую совесть подскажет. А там видно будет. Зерно, заработанное тобой, возьмешь, когда будет куда сыпать. Мешков у меня нет. Чистое горе стало с мешками,— обратился он ко мне, как будто шел разговор о самом обыденном.

— Как же это? Куда мы денемся-то? — спросил Саламату растерянный Тимофей.

— Зверь не спрашивает у своей возлюбленной, где они жить будут. Роет нору — и все. А мы разве хуже тех же корсаков? Запрягай свою серую, Тимофей. Дорогу я тебе укажу...

Не таковы были шумилинские характеры, чтобы бить отбой.

— Пускай намотает на кулак этих самых, — сказал Шумилин, — тогда и поговорим по-хорошему. Мы, чай, тоже не звери...

— Проводи нас, Антоша, за дружку и за подружку мою самую разлюбезную, — сказала мне Саламата, садясь на телегу. — Все-таки на какую-то свадьбу похоже будет.

И на виду всей деревни, праздных ротозеев и сочувствующих добрых людей, серенькая полукровка вынесла нас в степь. Мы отъехали не более двух или трех верст. Саламата показала, куда нужно свернуть и где остановиться.

Это была маленькая березовая рощица на пригорке.

— Здесь мы и будем с тобой жить, Тимоша.

Сказав так, Саламата взяла лопатку и принялась рыть ею землю...

Чтобы не затягивать рассказ, я минуя две-три недели упорных, чуть не круглосуточных трудов Саламаты, Тимофея и отчасти моих.

Углубившись на пол-аршина в грунт, молодожены стали возводить стены из пластин целинной дерновины. Из Полынной то и дело приходили пары, чтобы помочь подняться Саламатиной пластынке. Кто-то принес и безымянно оставил топор. Принесли две рамы и двери. Начиналась пахота, но молодые люди находили час, чтобы помочь Тимофею и Саламате.

Пластынку перекрыли березовой матицей, мелким

березняком, а настлали поверх в два ряда дерновину, промазав ее коровяком, смешанным с глиной.

Когда подсохли стены, Саламата сама побелила свое жилище. Не давалась печь. Ее никогда не приходилось бить из глины Тимофею. Но что не делает человеческое желание, выше и сильнее которого, наверно, нет ничего на свете...

Приплелся старикан печник, лет восьмидесяти, еле передвигавший ноги. Он указывал, как надо бить глину, а Тимофей, не жалея рук, возводил очаг своего жилища.

Настал день, и в Полынной сказали:

— Задымила Саламата! Домом зажила!

На первый дым появился с коровой дед Саламаты, старик Шумилин. Он молча привязал корову к колу и сказал:

— А я, Саламатушка, про тебя худого слова не говорил и Тимофея не хаял.

Не скоро дошли слухи о перемене жизни Саламаты до Анфисы. Она об этом узнала после того, как молодые всходы на поднятой Тимофеем целине дали веселую зелень, когда у приведенной дедом коровы появился свой камышовый закуток. Анфиса примчалась на двухколесной легковушке вместе с Матвеем. По-хозяйски зорко осмотрели они убогое хозяйство Саламаты.

Через неделю, а то и раньше закудахтали первые куры на еще не огороженном дворе Саламаты и появились овцы.

Теперь уже Шумилиным нельзя было дальше выдерживать характер. Все, будто сговорясь, помогали молодой паре. И потекли слухи о скаредности Шумилина, обделившего родную дочь. И ему теперь было не до самолюбия. Приехал он с матерью. Саламата боялась этой встречи. Боялась, что отец может обидеть Тимофея. Напрасно боялась.

Шумилин при всех его строптивостях был человеком широким, щедрым и прямым. И он, до того как поздороваться с дочерью, сказал:

— Прости меня, Тимофей Иванович! Давно живу, да не так жизнь вижу.— А потом, обратившись к Саламате, сказал:— А у дочери я уж не буду прощения просить. Она у меня и без того жалостливая. Сама простит.

И все обошлось хорошо. Подоспевшие братья чинно, спокойно обсудили положение и выделили сестре равную долю.

Теперь пластанка могла остаться летней кухней; какие обычно бывают при всяком старожильском доме. Теперь у Саламаты появились все возможности подумать об избе, как у людей.

Новый двор на отшибе от Полынной получил имя Саламатина заимка, а для краткости ее называли просто Саламата.

В наши дни именем Саламаты называется довольно большая деревня. Она пополнялась счастливыми парами, которые, как и Тимофей с Саламатой, по тем или иным причинам не могли соединиться и начать жить своей семьей.

Про таких говорили: «Им теперь больше ничего не остается, как искать Саламатинo счастье». И они находили это счастье.

Когда я кончил рассказывать, мой школьный товарищ, посмотрев на свою дочь Светлану, потом на Володю, сказал:

— Вот это люди! Не то, что...— Тут он явно изменил конец фразы: — Я и моя благоверная.

Светлана, вздохнув, сказала:

— Между прочим, мое имя начинается на ту же букву, что и Саламата. И той же буквой кончается...

— Ну так что? — настороженно спросил отец.

— Ничего, папа, просто так...

Вскоре мы разошлись по домам.

Через неделю мне позвонила Светлана. Она сказала:

— Спасибо вам! Мы уезжаем с Володей на целину строить свою Саламату...

Полгода спустя я получил письмо из нового совхоза, выросшего в тридцати верстах от Полынной. Письмо было написано твердым, мужским почерком. Я удивился, что он принадлежал Светлане. Она писала:

«...Вы только представьте себе... Наш совхоз находится в тридцати километрах от деревни Саламаты. Я об этом неделю тому назад узнала совершенно случайно. Мы с Володей на другой же день поехали в Саламату, и я нашла ту, чьим именем названа дерев-

ня. И я разговаривала с той, которую вы знали молодой и красивой девушкой. Сейчас ей уже за пятьдесят. Ее старшего сына называют Антоном. Также Антоном зовут и другого человека — Антона Матвеевича, которому теперь тоже больше тридцати. Говорят, что он страшно похож на своего отца — Матвея Ляпукова...»

Я не буду приводить всего письма, а лишь скажу, что, рассказывая тогда все это, в день рождения Светланы, я, конечно, не мог подумать, что рассказ получит такое радостное для меня продолжение во втором поколении, что на старых хороших Саламатиных дрожжах подымется новое молодое целинное тесто...

И впрямь, сегодня и вчера переплетаются в одном узоре так, что ты не можешь разлучить минувшее и наши дни. Они, как мать и дети, живут в одной семье — в одном рассказе.

ШОША-ШЕРСТОБИТ

Этот рассказ я записал со слов Сережи Шерстенникова. Сергей Николаевич Шерстенников, ныне почтенный главный агроном большого целинного совхоза, был в давние годы, как и я, продовольственным работником в тех же богатых степных местах.

Сергей Николаевич не принадлежит к числу торопливых рассказчиков. Он любит начать издали, вернуться в прошлое и уклониться в сторону, чтобы показать своих действующих лиц со всеми сопутствующими им деталями. Это хотя и замедляет развитие повествования, но все же не перегружает его.

После таких оговорок я могу предложить вам сокращенную редакцию повести «Шоша-шерстобит», которую, на мой взгляд, было бы правильнее назвать «Трудные характеры», но дело не в названии.

Итак, предоставим слово Сергею Николаевичу...

Зимовал я тогда у вдовы Мокшаровой. Я любил этот просторный старожильский дом-сундук. В нем все было добротно: и стены, оклеенные обоями, и крашеные полы, и сравнительно большие окна. Нравилась

мне и синие двери, расписанные невиданными цветами и райскими птицами.

Эта роспись принадлежала отходникам-владимирцам. Они, как и многие «расейские» мастера, покидая зимой родные губернии, отправлялись в Сибирь за большим рублем, на жирные, мясные харчи.

Появление «расейских» мастеров в доме Мокшаровых, да, впрочем, и во всяком другом сибирском доме приносило оживление, новости, неслыханные истории, песни и сказки. Мастера-отходники шили шубы, суконную одежду, катали валенки, овчинничали, шапошничали, богомазничали, стекольничали, шорничали, сапожничали... Случались и такие мастера, которые высекали новые зубья на старых пилах, «лечили» посуду — паяли, лудили. Эти приходили обычно на день, на два, и с ними не завязывались отношения.

Другое дело — шубник. Пять-шесть шуб для семьи — это добрые десять дней работы. Или пимокаты. Уж если они поселились, раньше двух недель не уйдут. Как не скатать двухгодовой запас пимов — валенок. А тут еще малосемейная родня пристает: «Пушай ужо скатают заодно и нам. Не звать же к себе из-за трех-то пар».

Вот и живут пимокаты месяц в облюбованном доме, чтобы баню не студить, чтобы заново не прилаживаться. Пимокаты — гости долгие и желанные. Особенно у Мокшаровых. К чему было немало еще и других причин.

Старуха Степанида Кузьминична Мокшарова ждала пимокатов еще по первому снегу, а они припожаловали среди зимы, следом за шубниками, когда, как говорится, еще овчинные лоскутки с пола не подмели.

Один из них был худой, испитой старик. Звали его Федор, по фамилии Чугуев. Другой — цветущий застенчивый парень с синими глазами, светловолосый, лет двадцати. Звали его Шоша. Каким было его настоящее имя, я так и не удосужился спросить.

Пришли они как старые знакомые. Обмели в сенцах голичком снег со своих валенок, поставили в сторону струмент, а потом вошли.

— Опять, видно, морозам быть. Выяснивает. Три кольца вокруг месяца, — сказал старик, как будто он был здесь не два года тому назад, а всего лишь отлучался на несколько часов.

— Милости просим,— поздоровалась с ними Мокшариха.— Много ли песен-басен из Расеи понавезли? Разоболокайтесь! — указала она на деревянные спицы — вешалки, а затем крикнула в большую горницу: — Настя, гоноши самовар! Веселый шерстобит приехал. Совсем уж на мужика смахивать начинает...

Выбежала младшая дочь Мокшарихи. Выбежала и зарделась.

— Шошка! Ишь ты какой! Встреть бы тебя на базаре, так бы и не признала. Здорово живем, шерстобит...

Настя протянула Шоше свою тонкую, не как у старших сестер, руку, потом поздоровалась со стариком.

— Все еще тошшой?

— В бане, касатка, работаю. В пару. Пар хоть костей не ломит, да и мяса не копит. Да и ты, девка, погляжу я, не круглая. Видно, мать худо кормит. Кто только тебя, такую мощу, замуж возьмет?

Эти добродушно и шутливо сказанные слова не очень понравились Степаниде. Настя для Мокшарихи была ее второй юностью, зацветшей куда лучше, чем первая. И эту свою вторую и последнюю в ее жизни юность она оберегала как самое дорогое, что у нее осталось.

— Тоша моя моща, а от сватов отбою нет,— сказала она как бы между прочим.

На этом и кончился обмен приветствиями. Настя убежала в «белую кухню», прирубленную к дому, а Мокшариха стала готовиться к приему гостей.

«Расейские» мастера обычно гостями не считались. Но Федор Чугуев бывал у Мокшаровых издавна. Знал он Мокшариху и в «ягодную пору» ее жизни. И та будто бы звала по-вдовьему положению Федора Чугуева в свой дом. А он не захотел променять горемычную долю хозяина утлой избушки в Калужской губернии на полную чашу не им нажитого мокшаровского дома.

Пока старый Федор приводил в порядок свою серенькую бороденку, пока расчесывал свои редкие сивые волосы, старуха открыла сундук и тут же, как это было принято и в других семьях, стала переодеваться в положенное для приема гостей.

Она скинула расхожую сборчатую ситцевую юбку, оставшись в рыжей суконной домотканой юбке с тремя

белыми каймами по подолу, затем сняла кофту, расправила полурукавье на добротной холщовой рубаше и начала одеваться.

На старухе появилась семиполосная кашемировая юбка цвета темной вишни. Надевая ее, она заметила Федору:

— Держится еще на мне, не спадывает.

А тот шуткой на шутку:

— На тебе ли, Степанида? А не на пятке ли юбок, что ты понавздевала на себя для басы, для красы, для мягкости!

Степанида Кузьминична ласково огрызнулась: «Тыфу тебе!» — и стала надевать светло-вишневую блестящую-блестящую сатиновую кофту. Расправив воланы рукавов, она вынула из сундука цветастый полушалок и ушла в другую горницу, явно не желая показаться перед Федором простоволосой.

А я сидел себе, покуривая да будто перебирая бумаги в своей сумке, наблюдал стариков.

Мокшариха вернулась в полушалке. В новых валяных котках. Помолодевшая. Повеселевшая.

— Все еще ношу твою памятку, Федор. Видно, ты в них тайное слово закатал, — кивнула она на коты. — Как заговоренные. Насте нынче скатай такие. Мягко ей в них будет ходить по двоедановскому-то крашеному полу.

— Выходит, значит, Настенька? — спросил Федор.

— Время уж. Двадцатый. И то заневестилась...

— За которого? За рыжего Боровка или за Косую сажень? — снова спросил Федор.

— А ты откуда, Федор, двоедановских ребят знаешь?

— Не одни, чай, Мокшаровы в пимах ходят, катывал я их и Двоедановым.

— И как они тебе?

— Верткая семеечка. Умеет старый Двоеданов ветер нюхать. Колчака, сказывают, встречал с иконами; Красную Армию — со знаменами. Немого батрака усыновил, чтобы по налоговому списку в середняках удержаться. И не прискребешься. Теперь Настину красоту худородному сыну выглядел. Тоже не прискребешься...

— Будет тебе... чего не надо! — прикрикнула Мокшариха на расхोлившегося Федора. — Хвати лучше с дороги-то. Давно она тебя на божнице ждет. На полы*

ни настоящая.— А потом, посмотрев на меня, старуха разъяснила: — Пимокаты — они не одну шерсть валяют. Тенета тоже плетут... И что в том плохого, коли Двоедановы немтыря Тишку усыновили да на принятой в дом племяннице его оженили? Живет он как сын, а она — как дочь...

— Живет как дочь, только ее детки не в отца, а в деду. Точь-в-точь в Кузьму Пантелеевича...

— Тьфу! — еще раз плюнула Мокшариха и побежала, услышав веселый смех Насти, на кухню.— Настька! Ты что зубы скалишь? Брысь от нее, шерстобит! Она же без трех минут мужняя жена...

Пока на кухне Мокшариха беззлобно распекала Настеньку, Федор привычно сунул руку за икону и добыл бутылку с полынной настойкой.

— Ото всего лечит! — сказал он, приглашая меня к столу.— Не худо, парень, с морозца-то.

Я не отказался.

И пока гоношили самовар, пока добывали из печи утренние блины, пока грели мороженые калачи, мы ополовинили штоф. И когда Федор выяснил, что у нас с ним о Двоедановых «общие точки» и что я, по его мнению, оказался со второй же рюмки парнем с головой, он сказал:

— Добудь только шерсти, я тебе что хочешь ска-таю. Копейки не возьму.

Мне тоже понравился старик. Понравился, может быть, тем, что он пусть не очень гладко, зато коротко и ясно умел выражать свои мысли. Двоедановых он ненавидел «насмерть», «по гроб жизни», как «черную чуму», как «белую тлю», как «осиный мед» и, наконец, как «сибирскую язву на теле пролетариев всех стран и трудовых крестьян».

У Федора Семеновича Чугуева не было ясно выраженных политических взглядов. Неграмотный, измученный нуждой и горем, вдовец, потерявший двух сыновей на войне, назвавший внуком сироту, старик хотел справедливости на земле и установления сравнительно простых порядков, которые кратко состояли в том, что «правильная жизнь начнется только тогда, когда никто не будет есть незаработанного хлеба».

Двоедановых я тоже знал достаточно, останавливаясь у них на день, на два по делам продовольственного налога.

Мне всегда претило двоедановское гостеприимство. От спанья на двух перинах до приторного угощения: «А не пожелает ли дорогой гостенек отведать икряного пирожка с румяной корочкой?..» Противно было пользоваться и исключительным правом курить в их доме.

— Кури, голубь, кури,—предлагал рыжий, розовый, пышущий здоровьем старик Двоеданов.— Нынче все к одной вере клонятся. Вот он теперь, спаситель-то наш,—указывал старик под образа на ленинский портрет, перерисованный до неузнаваемости карандашом на листке из тетради в клеточку.

Но между тем комиссар всегда наказывал мне оставаться в двоедановском доме. И в этом был резон, потому что по старику Двоеданову равнялась значительная часть деревни, и в том числе кулацкие слои. Двоеданов иногда оказывал нам неоценимые услуги по самообложению. Он умел находить нужные слова и убеждать даже матерых мироедов: «Не подмогчи Советской власти нельзя, потому как она одним на утешение, другим — за прегрешения послана господом». И это действовало.

Двоедановская семья состояла, если считать детей, человек из двенадцати. Сыновей Кузьма Пантелеевич не отделял. А их было четверо.

— Кумынией-то способнее жить,—говаривал он.— Больше вспашешь — лучше сожнешь. И товарищам любо, и нам хорошо.

Зерно Двоедановы никогда не припрятывали, посеы не скрывали. А сеяли они до четырехсот и более десятин. Зерно вывозилось ими первыми по волости. Мясо поставлялось аккуратно. Крупного рогатого скота у них было до пятидесяти голов, включая сюда молодняк. Столько же овец. Птица не считалась. Это было худой приметой.

— Зимой брюхо скажет, сколько гусей-уток с озера пришло. Весной птицу только дураки да жадные считают. А у меня душа нараспашку — бери, коли есть...

Так вел себя Двоеданов, наверно, потому, что это был единственный способ просуществовать до «лучших времен».

Двое старших рослых, крепких сыновей Двоеданова служили у Колчака. Воевали чуть ли не до Иркутска.

— А что делать? — жаловался Двоеданов.— Миби-

лизация. Куда деться?.. Спасибо, что живыми остались...

Старшие сыновья, Егор и Пантелей, обычно молчали. Выглядели послушными, беспрекословными. А что у них было на душе — кто знает. Со мной они были обходительны. Зазывали даже на охоту. Тот и другой либо не стреляли, либо били без промаха. Били с острвенением.

Посмотришь, как целится Егор или Пантелей, и подумаешь: из кого же состояла колчаковская армия, успешно продвигавшаяся первое время на запад? Неужели все из «мобилизованных»?

Жен своих Егор и Пантелей держали в строгости. Особенно после того, как овдовевший старик Двоеданов попробовал пошутить со старшей снохой, с женой Егора. Та не оробела и ударила свекра. А Егор сказал отцу:

— Тятя, я хочу, чтобы ты еще пожил!..

А потом, посоветовавшись с Пантелеем, он запряг лошадь и уехал в Малую Куропатку. Оттуда он привез двоюродную племянницу Дарью. Кому и через кого Дарья доводилась двоюродной племянницей — никто толком не знал. Осиротевшую дородную деваху, батрачившую по новосельским деревням, приставили ходить за стариком. Но вскоре ее пришлось выдать за немого работника Тихона, усыновленного Кузьмой Пантелевичем.

От Дарьи пошли рыжие дети. Тогда «заговорил» и чернобородый немой. Тихон показал нож третьему сыну Двоеданова, рыжему Яшке. Показав нож, он указал на шею. Яшка, по прозвищу Боровок, тупой и недогадливый парень, пожаловался отцу.

Рыжий отец был рад ложным подозрениям немтры и вскоре женил Яшку на писаной красотке Феклуше, вывезенной из кержацкой рыбацкой деревни с озера Чаны. Одаренная и обласканная Двоедановым, Феклуша решила променять одни сети на другие, которые ей, видевшей на своем веку разное, пришлось по душе.

Феклуша в двоедановском доме заменила Дарью по уходу за свекром. К дому прирубили две горницы, в которых поселились Яшка с молодой женой и старик. Теперь как бы отпочковалась новая семья. Яшка Боровок был настолько туп, что даже не придавал значе-

ния, когда Феклуша, обожавшая Кузьму Пантелеевича, сидела у него на коленях.

— Отец веды! — говорил он мне. — Мою Феклу он из всех снох любит. Опять шаль ей купит...

А может быть, Яшка, по-собачьи преданный отцу, зная обо всем, не только не противился сложившимся отношениям между Феклушей и отцом, а, боготворя его, считал все это правильным. Никто не знал, как была устроена душа этого вечно улыбающегося, довольного всем «блаженненького» человека.

Говорят, что Феклуша, пораженная неведением мужа, становилась перед ним на колени и шептала:

— Ты божий человек, Яков! На тебя молиться надо...

Я и сам слышал подобные признания Феклуши.

А потом тут же, как только Яков уезжал на пашню или отправлялся на заимку за сеном, Феклуша перепархивала в соседнюю горницу, к Кузьме Пантелеевичу, и говорила ему:

— Ты дьявол! Ты сам сатана! Ты котел огненный! Рыжий туман...

Все это было известно и Федору Семеновичу Чугуеву. Слушая его, я будто перечитывал мрачную книгу и удивлялся, как может Степанида, так любя свою последнюю дочь, отдать ее в двоедановскую семью.

— Теперь-то уж что говорить, — сказала Степанида за ужином. — Хоть и не давала я им слова, а от сватовства не отказывалась. Приедут — не выгонишь. Посмотрим. Подумаем. Не они одни сватаются.

— Оно конечно, — соглашался Федор, — сватовство не воровство, смотрины не обручение. Только зря это все.

— Зря не зря, а так надо, — настаивала Мокшарова на своем.

— Ну, надо — так надо. И говорить больше об этом нечего.

Федор умолк и допил последнюю чарку.

— Сказал бы хоть что-нибудь, старый пьяница, — сделала замечание Степанида, — а то, как в кабаке, пьешь без пожелания.

— А что желать? Кому желать? Еще не так пожелаешь, и взашей выгонят. Мы ведь с Шошкой что пешка с шашкой, куда задвинут, там сидим.

— Да будет тебе, Федор, бедную вдову обижать! Я тебя, как весенний день, ждала, а ты сентябрь сен-

тябрем... Давай закуси лучше творожной шанежкой. Она тебе больше по зубам, нежели мой норов...

Федор не удостоил Степаниду ответом. А Шоша и Настя, не слыша ничего, разговаривали глазами куда выразительнее, чем старики, выскивавшие острые слова друг против друга.

— Ты еще вот эту косточку, Шошенька, огложи. Лучше петь будешь. Да допей молочко-то. Сама томила его. Выпьешь — и тоже томиться начнешь...

— Брысь ты, Настя! — оговорила дочь Мокшариха. — Затуманишь мальцу голову, он и поверит...

— А что ему, маманя, верить или не верить? Кудри себе цену знают. Ишь какие они... из кольца в кольцо. Того гляди, баран забодает...

Сказав так, Настя стала гладить Шошины волосы, и старуха, глядя на это, будто вчуже сказала:

— Вот они ноничь какие пошли. Задержи такую в девках — и опомниться не успеешь, как она из его кудрей себе удавку сплетет...

Тут Настя посмотрела на мать и весело сказала:

— Только бы остричься он дался, а «ково-чево» надо из кудрей сплести, сама бы догадалась...

Федор вдруг оживился, весело захохотал и крикнул:

— И-и-эх, Настя! Где мои семнадцать лет? — А потом запел:

Ой, да где мои семнадцать лет?
Ой, да где ты, где ты, маков цвет?
Отгорел, облетел, поосыпался,
Поразвеялся...

Федор пел глухо, да сердечно, выводя до последнего завитка узор песни, которую я слышал впервые. Но не впервые, видимо, слышала ее Степанида Кузьминична. Она вдруг тоже расчувствовалась и подхватила сначала дребезжащим, а потом зазвучавшим в полную силу голосом:

Отвела в лесу черемуха,
Сгасла алая заря...

Меня растрогала эта песня и поразила каким-то особо отчетливым, как в маршевых, строевых песнях, ритмом. Отгадка нашлась к утру.

Утром меня разбудила певучая струна молодого

шерстобита Шоши. Туго натянутая жильная струна, рыхля шерсть, хотя и пела на одной ноте, все же она, звуча то громче, то тише, будто силилась выговорить какие-то слова какой-то песни, похожей на вчерашнюю. И я понял, что и Федор Чугуев, начиная свой трудовой путь таким же молодым шерстобитом, добыл подобие музыки из такой же струны.

Позднее я узнал от Федора Семеновича, что струна шерстобитного инструмента натягивалась то туже, то слабее, в зависимости от того, какой была шерсть. Если она слежалась, струна натягивалась сильнее, звучала выше, от этого менялся и ритм работы, а вместе с ним и выговаривалась другая песня.

Федор Семенович сам придумывал эти песни под свою струну. Теперь это делал его приемный внук Шоша.

Пока еще не было светло, и Шоша, задув семилитровую керосиновую лампешку, которую возил с собой на случай, ежели у хозяев нет огня, бил шерсть на слабой струне, чтобы не будить спавших. Когда же где-то далеко-далеко, чуть ли не под Алтаем, забрезжил неторопливый рассвет, Шоша перешел на тугую натяжку струны и веселые наговоры:

Ах, трпруны, трпруны, трпруны!
Голос звонкий у струны,
На всю горницу поет,
Выговаривает,
Чаю требует...
— Ты, хозяйшкa; вставай,
Жирну кашу подавай...
Как без каши петь струне
На чужой на стороне...

И так минут на десять без передышки набирает-наговаривает Шоша все, что ему приходит в голову.

Настя уже встала, затопила печь. Из кухни пахнет блинами. Это распространенное старожильское блюдо подается не только на масленой неделе. Настя успела дважды забежать к Шоше. Один раз — с блином, а другой — просто так, дернуть его за ухо.

Что будет дальше? Как повернется эта новая встреча Шоши и Насти, я не мог тогда представить себе даже приблизительно. И мне так не хотелось уезжать в далекое село Ключи: я боялся, что без меня случится непоправимое, хотя мое присутствие в доме Мокшаровых, наверно, ничего бы не изменило.

Пробыл я в отъезде более десяти дней и вернулся накануне рождества.

Рождество в Заозерке едва ли даже отдаленно можно было назвать церковным праздником. И не только потому, что самая ближняя церковь отстояла в сорока километрах и поп здесь бывал раз в году по сухой дороге, в теплые дни.

В моей памяти заозерское рождество сохранилось хмельным зимним праздником живота, праздником еды и гулянок. Здесь даже не славили Христа. Холодно. Да и не знали слов прославления дня рождения своего бога. Да и откуда их знать? Даже Мокшариха, старая женщина, молилась без канонических молитв, выдумывая их сама, как Шоша выдумывал песни. Она молилась просто: «Господи Иисусе Христе и пресвятая богородица, пошлите свою благодать...» — и далее следовало, кому и какая испрашивалась благодать... Себе, Насте, пашне, занедужившей корове или овце.

С богом отношения у заозерцев были простые, деловые, даже, я бы сказал, с языческими пережитками. Зять Мокшарихи Степан прямо сказал ей, когда подохла стельная корова:

— Так какого же лешего твой Микола смотрит? Мало ты ему масла в лампадке сожгла? На кой ляд его в большой горнице держать? Переверь на куфню.

Вернулся я еще засветло. В печке досиживали последние пироги.

— Не едим, не пьем, сумерничаем,— сообщила Нася, проводя меня в горницу.— Звезду ждем. Садись с нами. Сбочку. Я — в середочку, промежду вас. Так-то теплее. Шошка-то уж напробовався и баранины и телятины. Шерстобиты — они без поста живут. Садись,— еще раз пригласила Настя,— да обойми, пока не поздно. Утресь, может, Двоедановы приедут. Шошка-то уж всласть наревелся. Всю кофту мне горючими слезами просолонил.

Я подсел на сундук вместе с Настей и Шошей у горячо натопленной печи. Подсел и спросил:

— Зачем ты так, Настя? Если не любишь его, так хоть не тирань...

— А кого мне тиранить, если не его,— ответила Настя.— Увезут вот к Двоедановым, тогда уж поздно будет. Сама в тиранство попаду... У меня, может, и остается только два дня жизни.

Шоша громко вздохнул. На это Настя громко расхохоталась.

— Да не вздыхай ты, не вздыхай... Неужто я брошу тебя? С собой возьму. В мешок покладу вместе со струной. Как затоскую, выну тебя из мешка да велю тебе потуже струну натянуть, да попеть, поиграть, пожалеть меня, бедную. Так и проживем, промаемся — я за Косой саженью замужем, а ты в мешке.

— Глупости это все, Настя... Смешки,— тихо сказал Шоша.

— А что поделаешь, коли умностей нет? Я ведь девка. Мне думать не дадено. Ты думай...

— А я как думать могу?.. Не свезешь же тебя в нашу Калужскую...

А Настя ему:

— Да зачем же так далеко? Овин-то ближе. Сгреб бы в охапку, когда мать спит, да и была такова... А там бы видно было...

— Нехорошо так, Настя,— оговорил ее Шоша.— Зачем такие слова?

— А какие тебе надо слова? Не ворковать же, как ты, когда волки пасть разевают... Ам! И нет меня! — крикнула Настя так, что Шоша вздрогнул и этим вызвал новый раскатистый смех Насти.

Тут я вмешался опять:

— В самом деле нескладно, Настенька, как-то это все. Очень нескладно.

А она на это:

— Да уж какой там склад! Горе чистое! Девка у него на шее висит, нянчится с ним, как с малым дитем, а он как солома на ветру... Не выкрадать же мне его сонным да не умыкать за тридевять земель. Еще проснуться может да, чего доброго, рев подымет... Недаром у него имя-то даже девичье — Шоша! Так меня маленькую мать звала. То ли дело... Семен! Кузьма! Сидор! Даже моей Косой версте настоящее мужичье имя дадено — Трофим!

Я слушал и не понимал, чего ради так разговаривает с Шошей Настя, откуда в ее речи, всегда такой мягкой, приветливой, даже напевной, появилась развязность издавшей виды солдатки... И почему она так разговаривала только с Шошей? Что это? Желание посмеяться над тихим парнем, самородным песельником, любящим ее возвышенно, нежно и, может быть, давно,

может быть, с той памятной зимы, когда он, рано осиротевший, появился впервые у Мокшаровых совсем мальчиком? Может быть, он поверил тогда Степаниде, которая подвела к нему худенькую девочку Настю и сказала: «Вот тебе, шерстобит, невеста. Будешь с ней шерсть бить, воду пить, горе мыкать...»

Эти слова отлично помнил и пересказывал мне Шоша. Он вспоминал, как дед, не утруждая его работой, давал вволю поиграть в нехитрые игры деревенских детей.

— Маленькая Настя была тогда матерью, — рассказывал мне Шоша, — а я, уж большой, годов двенадцати, был ее сыном. Она то и дело уезжала на базар и запирала меня одного под столом. «Сиди, Шоша, жди меня. Кошку молочком напои, двери не открывай. Огня не задувай. Приеду с базара — гостинцев привезу. Леденцов, пряников...» И я ждал ее под столом. Потом она приезжала. Начинала расспрашивать, не приходил ли кто, не задувал ли я огня, напоил ли кошку молоком. А я говорил ей: «Все сделал, мамонька, как ты наказывала». Тогда она принималась меня угощать. Целовать, миловать, спать укладывать: «Баю-баюшки-баю, Шоше песенку спою. Спи, глазок, спи, другой. Спи, мой голубь дорогой». И я клал голову на Настины колени. Тогда я страсть как любил эту игру в «мать и сына». Потому что у меня почти что не было матери. Я не помню ее...

Зная все это, я спрашиваю себя: «А может быть, Настя хочет разбудить в Шоше ту большую любовь, от которой обезумеет не только она, Настя, но и остолбенеет Мокшариха? Ведь недаром же Настя восторгалась, как Степан, муж старшей сестры, ревновал ее до безумия. До разгрома посуды, до битья стекол. А она, без края любя его, подзадоривала: «Лучше удавлюся, да мужику не покорюся. Люби, какая я есть, песельница да плясунья»! И пойдет, пойдет плясать-наговаривать:

Эх, мил, мой мил,
Ревновал, любил.
Все горшки прибил,
А меня — забыл...
Не бил, не честил,
На божничку посадил,
Низко кланялся,
Горько каялся.

На божничке я сажу
И на милого гляжу:
— Молись на жену
Свою сужену...
А не то я соскочу,
Наповал защекочу,
Замилую, зацелую
Ненаглядного...

«Может быть, младшая сестра,—думал я,—походит чем-то на старшую и хочет вызвать ревность Шоши?»

Нелепо на самом деле было предполагать, будто Трофим Косая верста, кривобокий, тонкий и длинный, урожденный, как говорит молва, из пятна в пятно в старого урядника, мог нравиться Насте. Неужели она могла быть безразлична к приезду Двоедановых? О чем думала она? На что надеялась эта далеко не легкомысленная девушка?

Мне даже временами казалось: ничуть не противодействуя сватовству, она будто ждала его. В первый день рождества Настя по нескольку раз меняла свои наряды и, выбегая к нам, советовалась, в чем лучше показаться гостям.

Наверно, я несколько преувеличиваю... но, право же, в эти годы, в этих местах я не видал более грациозной девушки. Говорят, что Мокшариха была такой же поджарой и тонкокостной, «бросовой» девкой. И это будто бы мешало ей выйти замуж. Парни заглядывались, а отцы и матери отговаривали: «Куда такая? Калачом убьется, в квашне утонет»... Между тем красавец из всей округи Мокшаров высмотрел Стешу на чьей-то свадьбе и не стал спрашиваться у отца-матери. Спросил только у нее: «Люб ли я тебе?» И когда та, уносимая им в степь, сказала: «Зачем пустые слова?»—Мокшаров нес ее верст пять, до дядиной заимки. А оттуда — к попу. Ну, а потом покричали отец с матерью, отлупили для порядка сына вожжами, а сношку ласково ввели в дом, да еще пожалели, что такая куколка такого дуботолы в мужья выбрала. «За это его и вожжами бил,—оправдывался свекор и тут же подарил Стеше три с половиной аршина синего сукна и связку им самим битых лис.—Потому как нельзя тебе при такой базе в овчине ходить. Понимать надо».

И Шоша не мог не полюбить это повторение Мокшарихи. Он и Настя как бы родились один для другого

и дополняли друг друга. Глядя на них, можно было поверить в невероятное — в судьбу, в рок, в «планиду», как здесь говорили.

Про них вполне можно было сказать, что они, красивые порознь, вместе были еще краше.

К чему же такое нелепое коверкание счастья, которое так очевидно? Даже было противно думать об этом. Но думай не думай, а события разворачивались. И от них нельзя было уйти и мне, расквартированному в этом доме. И я участвовал в этих событиях.

Двоедановы приехали на другой день. Приехали на трех парах, запряженных гусем. Приехали сам-сём: старик Двоеданов, Косая верста, усыновленный немой работник с Дарьей, рыжий Боровок Яшка с Феклушей да еще двоедановская сестра Лукерья. Она, видимо, в качестве кандидата в посаженные матери со стороны жениха.

Лошадей Двоедановы бросили на усыновленного немтыря и направились в дом. На пороге их встретили Мокшариха и ее старший зять.

Шоша забился на полати и решил не появляться в горнице.

— Да ты не блажи, плакальщик, — стаскивала его с полатей Настя. — Не худа же ты мне хочешь... Приглядишься к Трофиму-то, может, и сам мое счастье за ним увидишь.

Шоша не отвечал. А Двоедановы тем временем шумно раздевались, показывая свою одежду. Старик приехал в черном сарапуловском тулупе с черным воротником с длинным волосом в мелких кудряшках. Яшка Боровок щеголял собачьей ягой, Феклуша показывала корсачью шубейку, отороченную серой мерлушкой.

Косая верста вошел в дом лихим щеголем в серой кастановой венгерке, выменянной специально для этого приезда за семь пудов пшеницы и баранью ногу, о чем он поведал мне до того, как поздоровался, и спросил:

— Стоит того?

— За такую и двух мешков мало, — иронизируя, поддерживал я Трофима.

Гостей провели в горницу. Двоеданов прошел первым и запричитал:

— А пошто в горнице не светло, не тепло, не радост-

но? Где зоренька ясная, девица красная, маков цвет Настенька?

— Вот она где! — прозвенела малиновым колокольцем Настя, появившись в горнице в розовом атласном платье, в омских обутках на высоких каблуках и в Омске же купленных тонких нитяных чулках.

— Детушки, сношеньки, держите меня! — начал представление Двоеданов. — Не дайте умереть в одночасье! Ангел сошел с небес. Да кто тебя догадал, моя доченька, на грешной земле родиться! Ну, подойди ко мне, полунощная звездочка... Слепнуть — так уж слепнуть!

Я самым внимательным образом следил за хитрым стариком. И он, заметив это, сообщил мне:

— Власть-то наша как подымать женское сословие начала! На высокие подборы поставила. Совсем другой вид.

Старик не ошибался, высокие каблуки изменили походку и фигуру Насти. Она теперь не шагала по полу, а плыла по нему.

Поздоровавшись со всеми, Настя оставила Трофима напоследок. А тот, желая произвести наилучшее впечатление, потрянул мелкозавитым, как шерсть на воротнике отцовского тулупа, чубом, распахнул серый «спинджак», показал канареечный узор вышивок на малиновой рубахе и щегольски поднес на своей огромной ладони колечко с желтым камешком и сказал:

— Для первого случая. Чистый янтарь!

Настя улыбалась, лукаво посмотрела на меня и, притворно сокрушаясь, сказала:

— Наверно, никак не меньше мешка стоит?

— Это уж как полагается... Лишь бы только на пальчик налезло.

Я уже, кажется, говорил, что у Насти были тонкие, не в пример сестринским, пальцы. И она, опять лукаво посмотрев на меня, стала неторопливо примерять кольцо на каждый палец своей левой руки, начиная с мизинца, будто показывая, как могут быть красивы девичьи руки. И когда она надела кольцо на последний, большой, палец руки, показав всем, что оно явно велико, сказала:

— Ах ты, жалость-то какая! Не по руке колечко. — И, отдавая его Трофиму обратно, добавила: — Не судьба, значит, мне его носить...

Тут вмешался старик Двоеданов.

— А я что говорил тебе, сын? Это колечко Настеньке вместо пояса можно носить,— явно намекал он на тонкую талию Насти, схваченную белым кушаком.— Ну, да оплошка невелика. Были бы пальчики, найдутся и кольчики...

Не только я один наблюдал за стариком Двоедановым и Настей. За ними зорко следили еще два глаза. Это были зеленые, почти изумрудные, глаза Феклуши. Она впервые видела и возненавидела Настю с первого взгляда. В глазах Феклуши стояли испуг и зависть.

Феклуша по-своему тоже была очень хороша. Отец и мать не обидели ее, как говорится, ни лицом, ни статностью, ни звонким голосом, ни русым волосом. Но здесь она выглядела второй. Второй. Это понимали все и, конечно, она. Понимал это и Яшка Боровок. По своей простоте и глупости Боровок ляпнул про Настю такое, что даже закашлялся Двоеданов. Он сказал:

— Папаня такую-то сношку, пожалуй, больше моей Феклушки полюбит. Хорошо ей у нас будет.

Старик, прокашлявшись, тем самым выгадав время, сказал:

— Меньшую всегда больше жалуют и лучше балуют...

Сказав так, Двоеданов далее уже не давал никому вымолвить слова, боясь «святой простоты» недалекого сына.

Вскоре вошел усыновленный немтырь. Он поклонился и промычал нечто похожее на «здравствуйте», затем сел в уголок и принялся разговаривать на пальцах с Дарьей, безразличный ко всему, кроме семечек, которые были первыми поданы на подносе.

Я на правах живущего в этом доме предложил Кузьме Пантелеевичу и его сыновьям выпить для разбега по стаканчику изюмной бражки, которую Мокшариха варила куда как хорошо.

Настя то и дело бегала на кухню, будто по хозяйству, хотя в этом и не было никакой нужды, потому что старшая проворная дочь Мокшарихи справлялась с подачей угощений одна.

Федор Чугуев сидел за столом рядом со мной. На нем был легкий, помятый в дорожном мешке пиджачонко, надетый поверх добротной чесучовой рубахи, вышитой по вороту синими цветками. Вышитой руками

Мокшарихи и ею же подаренной в канун праздника.

Двоеданов, разглядывая рубаху, спросил:

— Это кто же тебя, Федор, такой дорогой рубахой одарил? Если по узору судить, так чья-то здешняя игла его вышила. Любят, видно, тебя еще бабы-то...

Мокшариха никому не прощала вольностей, и она ответила Двоеданову куда прямее, чем, может быть, ей хотелось:

— Не разглядывал бы ты, Кузьма, мой тоскливый вдовый узор. Я ведь не разглядываю на твоей рубахе жаркую и не по годам молодую вышивку... Чокнись лучше с Федором Семеновичем, он ведь тоже дорогим гостем сидит за моим столом.

Считая на этом разговор законченным, Степанида приветливо потрепала по щеке Феклушу.

Умный Двоеданов постарался не понять намека и в продолжение всего застолья был очень внимателен к Федору Чугуеву. Но в этот вечер двоедановскому языку суждено было сделать еще один промах. Он, справляясь о Шоше, не желая, оскорбил Настю.

— А шерстобит-то где? — спросил Двоеданов. — Бойтся, что ли, он на люди показаться? Сбренчал бы нам на струне — глядишь, и поднесли бы чарочку. Мы ведь люди не гордые, всех жалует, кого хочешь за один стол с собой посадим.

Настя, вспыхнув, ответила:

— Взаперти я его держу. Боюсь, как бы красоту его не сглазили. Да и рубаху новую я ему еще недовышила.

Кузьма Пантелеевич, видя, что его шутка не удалась, перевел взгляд на Мокшариху, будто спрашивал: «Как все это понимать?» И Мокшариха, будто поняв вопрос, разъяснила:

— Это от бабки у нее. Бабка, покойница, ее учила: «Ты, говорит, Настя, о журавле думай, а синицу из рук не выпускай». Вот и держит она Шошу в кухне. К тому же бабка наказывала ей, что не всякая долгоногая птица журавль и не всякая мала птаха синица. Другая с виду воробей, а на проверку соловей.

Тогда Двоеданов спросил прямо:

— К чему на помолвке такие слова?

И Степанида ответила:

— Это на какой же на такой помолвке? Уж не на моей ли с тобой, Кузьма Пантелеевич? Так я будто замуж не собираюсь...

Двоеданов хватил большую кружку изюмовой и сказал:

— Не о нас с тобой речь идет. О Трофиме с Настей. Зачем незнайкой-то прикидываться? Все ведь понимают, зачем мы в трех кошевках пожаловали.

Степанида не нашла сразу нужный ответ и принялась обносить гостей рыбным пирогом. А потом сказала:

— Кузьма Пантелеевич, это, конечно, для моей сухопарой Настьки большая честь. Только ей, наверно, подумать надо до того, как с таким конем в один воз впрягаться...

— А что думать-то?—удивился Двоеданов.— Я уж все придумал и все прикинул до последней мелочи. И за нсе, и за тебя.

— Это как же?—спросила Мокшариха.— Как же ты мог в мою голову влезть?

— А вот так и влез,—ответил Двоеданов.— Думаешь, я не знаю, что наша семеюшка не по Настеньке? Знаю. Думаешь, не знаю, что тебе без Насти, бобылкой, жить тоже не тает? Знаю. Знаю и устраняю все это. Огделяю Трофима. Новый дом для него приглядел. А в этом доме ты ли при них, они ли при тебе... и так и этак хорошо.

— Спасибо тебе, Кузьма, что ты и обо мне подумал,—поклонилась Степанида.—Только мой-то дом куда?

— А я именно о нем подумал. Знал, что ты про него спросишь. Знал, что тебе горько будет свое гнездо покидать, поэтому и решил купить не у кого-то, а у тебя для тебя да для Настеньки с Трофимом твой дом. И ему будет не совестно въезжать, и тебе не обидно зятя принимать.

Такого поворота Степанида явно не ожидала. Такие условия сватовства трудно было услышать от кого-либо.

— Так не молчи хоть,—напирал Кузьма.

— Хмельна я что-то ныне,—отговорилась Мокшарова.—То ли от своей бражки, то ли от твоего посула. Очухаюсь уж, тогда и поговорим,—обнадеживающе закончила Мокшариха.

И Настя, будто довольная поворотом дела, стала зазывать в пляс. И всем стало ясно, что свадьба предрешена.

Двоедановы уехали после полуночи. А на другой день явились новые гости. Новые сваты. Тычкины.

Я знавал их. Очень хорошая и крепкая семья. Они сватались степеннее, соглашаясь ждать ответ по усмотрению Степаниды Кузьминичны.

С этого дня сваты стали приезжать как по расписанию. Что ни день, то новые гости. И так чуть ли не неделю. На Шошу было страшно смотреть. А Настя продолжала одарять его ласками, и Мокшариха была так внимательна к нему, что я отказывался понимать ее. Но как-то она спросила меня:

— Люб тебе, что ли, Шошка?

И я ответил:

— Как брата родного люблю.

Мокшариха усмехнулась:

— Как брата любишь, а сделать ничего не можешь. Молчишь да жалеешь. Разве так жалели в наши годы...

— А как жалели в ваши годы? — спросил я.

— Да так, что и овцы целы бывали, и волки довольны. Шошка-то ведь овечка. А я, по твоей мере, наверно, в волчихах хожу... Вот ты бы взял, да и помирил нас. С тебя и взятки гладки.

— Знал бы, как это сделать, ничего бы не пожалел... Мокшариха опять ухмыльнулась:

— Хоть и грамотен ты, хоть и три аршина в землю видишь, а не широко глядишь. Не шире Шошки.

— А при чем тут широта? — спросил я.

— А при том, что не под своими ногами нужно жизнь видеть, а вокруг. Все во внимание принимать — и сватов, и меня... Аль не видишь, что сватами я по горло сыта? Не последние люди моей дочери честь оказали. Никто не может сказать, что она женихами была обойдена...

— Ну и что из этого? — опять спросил я, не понимая, куда клонится речь.

— А то, что если б я свою Настю выдала теперь даже за тебя, у которого, кроме солдатской сумки, никакого заведения, и то бы меня никто не укорил. Не от нужды выдала, а по выбору. А выбор немалый был у меня...

Я начинал кое-что понимать. Во всяком случае для меня было ясно, что шумное сватовство Нasti Мокшарихе нужно было для охранения ее болезненного, к тому же ложного самолюбия.

— Так почему же, — сказал я, — вам теперь не выбрать Шошу? Теперь-то уж никто не скажет, что Настя

вышла за него замуж потому, что никто другой не сватался!

Тут Мокшариха прикрыла дверь и ответила:

— По доброй воле? За шерстобита? За человека с одной струной?.. Да у тебя, видно, сквозняк на чердаке. Другое дело, если бы это все убёгом, скажем, самокрутом... Тогда, как говорится, и овцы... это самое, и волчице деться некуда...

Сказав так, Мокшарова вдруг переменяла ход разговора и сказала мне:

— Надоело мне на твой лысый полущубишко глядеть, хочу тебе мужнин тулуп отдать. Стоишь ты того.

— Чем же я стою-то? И почему это вдруг?

— Шошку любишь. И я его, сироту, люблю. Сыновей-то ведь у меня не было... А он без матери рос... Ну что уставился? — вдруг прикрикнула на меня Мокшариха, стараясь скрыть намернувшуюся слезу.

От тулупа я отказался, сказав, что потом видно будет. И, больше не возвращаясь к разговору о Шоше, стал обдумывать план представления, которого жаждала Мокшариха.

Продумав все необходимое, я выпросил пару коней и кошевку в заготовительной конторе. Вечером в субботу, когда Мокшариха с Федором ушли на пельмени к соседям, я подкатил к дому.

Настя и Шоша сидели в горнице и читали сто разчитанную книгу русских сказок.

— Одевайтесь! — сказал я.

— Куда? — спросила Настя.

— На свадьбу!

— На чью?

— В дом вхожу, женюсь... Я ведь не как вы, не тяну kota за хвост.

— Это как же так? — забеспокоилась Настя. — Хоть бы предупредил... На ком же ты?

— Увидите... Только пошевеливайтесь. Свадьба тайная...

— Тайная? Убёгом? Хорошо-то как! — обрадовалась Настя. — Шошка, слышишь, как brave-то парни дела обделывают? Нам бы так...

— Что ты? — испугался Шоша. — Разве мыслимое дело? Как я глаза тогда подыму...

— Давай, давай, — поторапливал я, — не задерживай невесту, не срывай свадьбу!

Шоша испуганно и торопливо накинул шубейку, шапку, замотался шарфом.

— Так не могу же я так,— вдруг забеспокоилась Настя.— Я ведь у тебя там вроде матери посаженной буду...

— Там разберемся, кто мать, кто отец... Живо! — прикрикнул я.

Настя все-таки сумела переодеться в белое платье, и уже минут через десять-двадцать деревня осталась далеко. На вопросы Насти, куда мы едем и далеко ли, я неизменно отвечал: «Не спрашивай. Примета плохая».

Наконец мы приехали к дому, где жил мой товарищ. Это была переселенческая украинская деревенька. Нас ждали незнакомые гости, если не считать моего товарища.

Стол был уже накрыт. Настю и Шошу провели на главные места и, усадив, стали славить по украинским обрядам как жениха и невесту.

Шоша побледнел блее полотна, готовясь сбежать из-за стола. Настя молчала. Разрумянившись, она несколько минут сидела, опустив голову, будто что-то обдумывая. А потом, обратившись ко мне, сказала:

— Спасибо тебе за свадьбу,— и чинно поклонилась славившим ее как невесту.

От этого Шоша побледнел еще более. Но когда я крикнул: «Горько, горько!» — и все поддержали меня, Шоша испуганно поцеловал Настю и заплакал.

Это не вызвало смеха. Наоборот, вслед за ним прослезились даже молодые люди, сидевшие за столом, знающие всю предысторию этой свадьбы.

Пировали до первых петухов, а затем проводили молодых в отведенную для них комнату, где жил мой друг. Там они и остались на следующий день, а я поехал в свою Заозерку, чтобы объявить Мокшарихе о случившемся.

Представление разыгрывалось на славу. В Мокшарихе пропадала если не великая, то выдающаяся актриса. Она выбежала навстречу ко мне с дробовиком. Ружье выстрелило в воздух, когда соседи и Федор отнимали его у Степаниды.

Обезоруженная, она бросилась выцарапывать мне глаза. А потом пала без чувств на снег.

Ее унесли в дом. Опрыскивали с уголька. Растирали, наговаривали... Словом, никому, даже Федору Семено-

вичу, не приходило в голову того, о чем знали я да она. И то... как она знала? Она знала про себя, не имея в виду сознаться даже при мне, что все это сделано после ее подсказки.

Когда Степанида пришла в чувство, из которого она ни на минуту не выходила, я стал говорить о судьбе, о «планиде», о прочей чепухе, и, наконец, о том, что можно меня убить, но ничего нельзя изменить, Шоша и Настя — теперь муж и жена.

Так длилось несколько дней. За эти дни побывал Двоеданов, предлагавший сломать самокрутную свадьбу и, несмотря ни на что, отдать Настеньку, ясную зореньку, за Трофима.

Дарья на это сказала:

— Пусть мается за тем, кому она полюбовно на шею повесилась.

Федор Семенович отсиживался в кухне. Наконец подошло время, когда гнев нужно было сменить на милость. Таков уж веками заведенный порядок.

Мокшариха долго советовалась с соседями, а те хором твердили, что это все «по воле божией» (а я тут, оказывается, только слуга этой воли), посоветовали вернуть в дом беглянку и ее «богоданного» (обратите внимание на эти слова) мужа.

Теперь Насте и Шоше нужно было пасть в ноги Мокшарихе и не подыматься до тех пор, пока она их не простит.

Они так и сделали.

На этом как будто и можно было закончить затянувшееся повествование, если б не Федор...

Когда все, как и хотелось Мокшарихе, обошлось самым приятным образом и все были обведены вокруг ее пальца, Федор Семенович сказал:

— Пора и восвояси. В Калужскую...

Этих слов, я думаю, очень давно ждала Мокшариха. И ответ на них был готов тоже давно, может быть, задолго до того, как она задумала выдать Настеньку замуж за Шошу... Да и... Я не хочу думать о Степаниде Кузьминичне хуже, чем следует. Но зачем о ней думать лучше, чем нужно? Крепкая и не отцветшая еще Мокшариха, не потерявшая пока не единого зуба, добилась наконец своего. Она получила счастливую возможность под прикрытием Шоши ввести в свой дом Федора Чугуева, которого (в этом меня никто не разубедит) она

нежно любила и ждала давно в свой тосковавший по хорошему старику вдовий дом.

— Это в какую же Калужскую? — сказала она. — Ты его, сироту, подобрал, внуком назвал своим, а он что? «Иди, дед, на все четыре стороны»? Так, что ли, Шошенька?

— Не знаю, маменька, что и ответить, — отозвался Шоша.

— А ты знай. Кто в этом доме теперь хозяин? Он, что ли? — указала Мокшариха на меня. — Вот и решай.

— А что решать, когда уж все само собой решено? — вмешалась Настя. — Неужели мои дети без деда, с одной бабкой, расти будут? Да чем они хуже других...

— Это так, — согласился Федор, — только зачем же за меня-то решать? Я хоть и беден, да не поклончив.

Ночью Федора Семеновича не стало. Он ушел на станцию, не простившись. Не все получилось так, как задумывалось Мокшарихой. Пришлось ей кое в чем уступить. И утром Мокшариха и я помчались на станцию. Поезд уже готов был тронуться. Федора Семеновича мы нашли в теплушке и вытащили оттуда.

И только после того, как Степанида призналась ему во всем, от сватовской мороки до свадьбы Шоши и Насти с ее согласия, старик вдруг посветлел и сказал:

— Тогда и толковать не о чем, Степанида...

...А тулуп я все-таки не взял. И не раскаиваюсь. Зато мне были скатаны такие валенки, что я их едва износил за целых три, а может, и четыре года. Рукавички же, вязанные Настенькой, я не износил. Я оставил их на погляд, как и ею же вышитое полотенце. На погляд и на память о дорогих мне людях, у которых родились и выросли теперь хорошие дети...

Вот и вся история, которую хочется напоследок чем-то подсластить еще, да не знаю как...

ДОЧЬ ЛУНЫ

Недавно мне опять довелось побывать у старых друзей в Кулундинских степях и заново пережить памятные дни моей юности.

Пусть эта знакомая степь, где пасутся стада овцеводческого совхоза, обрела новое лицо, но все же и

теперь, оседлав коня и ускакав от совхозного поселка, от гостеприимного домика моего друга Бату, можно побывать в гостях у своей юности.

Пусть это было давно, а память бережно хранит все до мелочей, кажется — даже запахи. Я отлично помню, что здесь ютилось приземистое казахское зимовье, чуть в сторону — хоронился еле заметный могильник. Он цел и теперь. Пресное озеро все так же прячется в камышах. И тот же крик чаек... Не хочешь, не просишь, а память помимо твоей воли пересказывает тебе случившееся в этих местах...

Меня тогда командировали на этот Пресный выпас, где нагуливали мясо наши стада.

Мне сказали:

— Поживешь десяток дней. Посмотришь, что и как. Побываешь в каждом стаде. Проверишь, не сгоняют ли их в тесные гурты, не заставляют ли кормиться на вытопанных участках... Ну, да тебя учить нечего!

Взамен командировочных денег мне дали три плитки кирпичного чая, как главнейшую из «валют» тех лет в казахских аулах, дали шесть аршин ситца на всякий случай — мало ли что бывает в степи. Для солидности разрешили взять серого в яблоках жеребца, потомка орловских рысаков. Это меня очень обрадовало. На таком коне без ночевки — и там!

Все было хорошо... Не хотелось только расставаться с новым домиком, который мы, четверо молодых парней, начинали обживать. Это был даже не дом, а пустовавшая баня. Хорошая, светлая. Она была построена перед революцией известным в селе скупщиком зерна.

А теперь эта баня оказалась ни к чему. Мы все мылись в другой, в так называемой волостной бане. Предъявил ордер на мытье — и все. Хоть залейся водой. А для нашей бани нужно было добывать дрова, везти с озера воду. Вот нам ее и отдали под общежитие.

Мы — это я, мой старый друг Бату, недавно назначенный комендантом скотоперегонного двора, гонщик Василий Груздев и приемщик Ленька Белолобов.

Баню мы переоборудовали самым отличным образом. На месте полка соорудили двухъярусные койки. Как в вагоне. Из ящиков смастерили мебель. Волостной комитет РКСМ помог нам добыть краску. Покрасили полы, рамы, двери. Побелили потолок. Полыню и

душичкой вытравили банный запах. В предбаннике оборудовали кухню. Появились свои сковородки, горшки, жаровни. Стряпали мы по очереди.

Завелась у нас и книжная полка. На стенах было развешено оружие. Казенное и свое. Раскрашенные рогожные кули стали настенными коврами. Раскрашивал их Бату родным по сердцу башкирским орнаментом. Раскрашивал он натасканными из конторы чернилами — синими, зелеными, фиолетовыми, красными. В чернилах и тогда не было недостатка.

Не очень-то весело покидать домик сразу же после новоселья. Но приказ есть приказ.

Ногу в стремя, ружье за плечи — и... здравствуй, степь!

Миновав украинские новосельские деревни, я оказался в степном раздолье, — здесь начинались казахские кочевья. Дорога то и дело терялась. Не то она зарастала цепкой травой, не то редкое движение по ней делало ее все менее и менее приметной. Временами она пропадала вовсе. И мне трудно объяснить, по каким ориентирам ездили мы на Пресный выпас, не сбиваясь с пути. Может быть, у человека, живущего в степи или часто бывающего в ней, со временем вырабатывается какое-то особое умение запоминать местность. Кажется, степь одинакова всюду, а все же находится какая-то примета. То полоска камыша, то еле заметная возвышенность или надгробие из груды камня, а то и просто трава, которая растет только в этом месте. И ты едешь... Едешь иногда, как животное, нюхая ветер. Пахнуло кизячным дымком — ага, значит, правильно еду. Принюхаешься и решаешь взять левее. Знаешь, что это начались первые аулы, которые тебе не нужны. И всегда случается так, что ты точно приезжаешь куда тебе нужно. Спроси потом: «Как ты проехал, расскажи дорогу», — и ты словно немой. Можешь только показать рукой — и все. И тем не менее в степи заблудиться куда легче, нежели в лесу, даже в таежном. Там речки, и они всегда тебя выведут к жилью. А тут?..

Ну, да это все так. Рассуждения в пути. А он уже на исходе. Видны юрты аула...

...Председатель аулсовета спросил меня, зачем я, надолго ли, есть ли чай и мука...

Когда я ответил на все вопросы и он увидел на моем удостоверении знакомую печать мясозаготовительного

пункта, мне была отведена юрта. Ее хозяином оказался Шарып. Он привозил к нам менять на чай и муку кумыс, кошмы, малахай, кожу.

Добродушный, но не без хитрецы, Шарып достаточно хорошо говорил по-русски. Его семья состояла из четырех человек — маленькой и рано состарившейся жены Ийс, сына Сержана, которого при русском госте отец называл Сережа, и дочери по имени Манике.

О ней и рассказ.

Шарып принадлежал к хозяевам среднего достатка. Но в его юрте было все необходимое. Запас войлоков на случай гостей. Запас подушек. Низенький стол, не подымавшийся выше тридцати-сорока сантиметров от земли, несколько сундучков, котел для варки пищи, пожи, пара чайников для омовения — и, пожалуй, это все, если не считать трех редких по тем временам вещей. Это ведерный самовар, очень старый граммофон и швейная машина фирмы купца Попова, на которой амальгамическим способом были переведены портреты самого Попова и его дебелой и довольно красивой супруги.

— Кто шьет на ней? — спросил я.

— Манике. Дочь. Дело в руки даю. Жить надо. Баранов мало. Разверстки много. Машина девку кормить будет.

Вскоре он познакомил меня с Манике. И она при отце поздоровалась со мной за руку. Этим давалось понять, что их семья не боится попирать старые обычаи. Манике заговорила со мной по-русски. Потом, заметив, что я этому удивился, объяснила мне, что ее бабка долго жила у русского попа, который лечился кумысом, и она доила его кобыл и приготавливала кумыс.

Меня познакомили и с бабкой. Она жила в юрте старшего сына, брата Шарыпа. Бабка по-русски разговаривала как рязанка, путая только иногда мужской род с женским. Надев русское платье, она не захотела его менять на свое. Теперь мне было понятно, почему и в одежде Манике было больше русского, нежели казахского.

— Надо по-русски говорить, — твердила старуха. — Рядом живем. Одну землю матерью зовем. Русский мужик — хороший мужик, когда не пьет. А когда пьет — не приведи господь, пресвятая богородица... — перекрестилась веселая мать Шарыпа, видимо, для пущего шика и озорства.

— Совсем попадья! — заметил Шарып. — Обедню может петь.

Это вызвало общий смех, и я почувствовал себя в юрте, как в русской избе. Бабка произвела на меня отличное впечатление, и я непременно бы познакомился с ней ближе, если б ее не заслонила внучка и события, развернувшиеся так стремительно и неожиданно.

Я ничего не сказал о внешности Манике. Потому что ее невозможно разглядеть и оценить с первого взгляда. Она была таинственна и замкнута, как сказочная шкатулка. Посмотришь — и пройдешь мимо, а раскроешь — чудеса.

Эта гибкая былинка с впалыми щеками и блеклым румянцем не выглядела жильцом на белом свете. Ее смугловатая прозрачная кожа, тонкие, будто подкрашиваемые темным свекольным соком губы, узкие, косые и продолговатые разрезы глаз, акварельные черты лица заставляли предполагать, что предки Манике жили где-то далеко-далеко на Востоке. Может быть, в Японии. Мне, наслушавшемуся за свою еще, кажется, не начавшуюся тогда жизнь множества различных легенд, сказок, преданий, религиозных поверий, хотелось бы придумать небылицу о том, как маленькая девушка Манике сошла в жизнь с вышитой тонкими шелковыми нитками ширмы, или живописного веера, или, на худой конец, с крышки лакированной чайной коробки.

В Манике было прелестно все. Даже ее худоба. Настораживали только глаза. Они, темно-кофейные, бывали, особенно в полдень, такими смеющимися, ласковыми, «говорливыми»... А вот к вечеру, после захода солнца, они вдруг мутились, и в них стояло какое-то безразличие к окружающему.

— Порченная девка, — как-то по секрету сказал мне председатель аулсовета. — Ее никто замуж не возьмет. Кто станет платить калым за больную девку!

Я попытался узнать подробности ее болезни, но председатель уклонился:

— Не могу сказать. Мало русских слов знаю.

И я понял, что мне не следует далее интересоваться болезнью Манике. А вскоре узнал, что, будь у председателя вдесятеро больший запас русских слов, он и тогда едва ли б сумел удовлетворить мое любопытство.

Все открылось само собой.

Опустилась теплая, душная, светлая ночь. Ни ветер-

ка. Дневную жару как будто прижал кто-то к земле невидимым пологом. Я спал плохо и глядел на полную луну через верхнее отверстие юрты, широко раскрытое в эту ночь для вентиляции.

Шарып богатырски храпел. Он спал рядом со мной на белом войлоке, широко раскинув руки и ноги. Вдруг я услышал легкий стон Манике. Это, несомненно, был ее стон. Высокий голос девушки нельзя было спутать с голосом ее матери Ийс. Мне показалось, что девушка одевается. Потом откинулась занавеска, и появилась Манике. Появилась неслышно, как тень.

Девушка протянула, я бы даже сказал — молитвенно воздела руки к луне, которая заглядывала в юрту через отверстие войлочного купола. Постояв так с минуту, Манике, протонав, направилась к выходу из юрты.

Мне никогда не приходилось видеть больных лунатизмом, но я знал, что такая болезнь существует. Мне было также известно, что будить, а того хуже — окликнуть лунатика во время приступа болезни чуть ли не смертельно опасно.

Не знаю, какие чувства руководили мной, только я, надев самое необходимое, последовал за Манике. Она, по-прежнему протягивая руки, шла к луне, стремясь оторваться от земли. Я шел за нею шагах в двадцати.

Мы оказались довольно далеко от аула. Наконец она остановилась и, будто желая вознестись на луну, стала подпрыгивать. Это было хотя и очень красиво в танцевальном смысле, но достаточно жутковато во всех остальных.

Сами посудите. Ночь. Степь. Кругом никого. И вдруг девица в белом, чуть ли не в саване, стремится взлететь на луну. Зрелище не из привычных...

И я поступил так, как, наверно, на моем месте сделал бы всякий.

Боясь разбудить Манике, я осторожно обнял ее, затем осторожно повернул ее лицо прочь от луны и так же осторожно, взяв ее на руки, понес к юрте. Она не сопротивлялась, покорно положила свою голову на мое плечо, перестала стонать. Пусть я не принадлежал к геркулесам, но мне вовсе не составляло труда донести ее и уложить на свое место.

Шарып не храпел. Мне показалось, что он лежит с открытыми глазами.

Утром мы пили чай вдвоем с Шарыпом. Его сын

Сержан еще не приезжал с выпаса. Ийс и Манике ушли «из десятой доли» стричь наших баранов. Начав разговор о том о сем, я перевел его на Манике. На события прошлой ночи. И Шарып не таясь рассказал все.

Причина болезни, оказывается, состояла в том, что Манике родилась не в юрте, а в открытой степи. В большое полнолуние. И луна увидела новорожденную первой. Раньше матери. А те, кого луна видит первой, становятся ее детьми, которые рано или поздно должны подняться на небо и стать там звездами. Поэтому Манике никто не берет замуж, и это Шарып находил вполне логичным. Зачем, в самом деле, платить выкуп за девушку, которая принадлежит луне, ночью покидает юрту и на глазах всего аула просится на небо, к своей матери?!

А так как никто не знал, в каком возрасте дочь луны вознесется на небо, то Шарып променял годовалого жеребенка на швейную машину.

— Не должен отец кормить сто годов свою дочь. Пусть сама кормится,— сказал он.— Луна может ее старухой взять. Бывает и так.

Насколько было в моих силах, я попытался доказать Шарыпу, что Манике больна лунатизмом, что эта болезнь излечима и что ее нужно свезти к русскому доктору. Но Шарып сказал на это:

— Хочешь — лечи. Вези с собой. Даром отдам!

Я не поддержал этого предложения, хотя и слышал, что Манике можно вылечить домашними средствами. Просто внушить ей путем хорошей беседы, что все это чепуха.

В полдень, на время жары, вернулась Манике, и мы продолжили начатый с ее отцом разговор. Выяснилось нечто невероятное. Манике была убеждена в своем назначении стать звездой, и она даже знала свое место на небе, обещая мне показать его после захода солнца.

Девушке до того заморочили голову, и она так ясно представляла свое будущее, что ее ни капли не огорчало настоящее. Она была совершенно равнодушна, когда подруги мечтали о земной жизни. Манике даже находила, что звездой быть лучше, нежели женой неизвестного и, может быть, старого человека.

— Кто купит, тому и продадут. А вдруг дурак купит? Или больной человек? Плохо! Ой, как плохо!

По ее мнению, оказаться звездой было нехорошо только в одном отношении — можно погаснуть, если

чем-нибудь прогневишь мать луну. Оказывается, в этом случае луна сбрасывает провинившуюся звезду с неба и та, превратившись в камень, сгорая, падает обратно на землю.

— Видал, наверно, как звезды падают?

— Видал,— совершенно серьезно сказал я и так же серьезно принялся слушать дальше.

Манике надеялась выйти замуж на небе, потому что у луны есть и сыновья. Это желтые звезды. А синие — это дочери. Но далее разъяснилось: если девушка, дочь луны, побывала замужем на земле или даже обманула луну в безлунную или в облачную ночь и встречалась с мужчиной, то ей уже не бывать замужем в небесах.

Как ни нелепа была вся эта история с луной и ее детьми, все же такое мог придумать только поэт, даже если он не ведал грамоты.

Теперь мне хотелось узнать, помнила ли Манике, как я ее нес минувшей ночью.

— Конечно,— сказала она,— только проснуться не могла.

А затем предупредила, чтобы в следующий раз я нес ее не так, как вчера. Потому что когда несешь человека или барана, не прижимая его плотно к себе, то ноги и руки устают больше. И Манике показала мне, как это делается, взяв меня в охапку, пробуя поднять.

— Замуж ей надо,— сказала на это вошедшая Ийс.— Муж скоро вылечит.

Я уже проверил все участки Пресного выпаса. Оставался последний. Рассчитавшись с Шарыпом плиткой кирпичного чая, подарив Манике «неприкосновенные», хранимые на сверхслучай, шесть аршин ситца на платье, пожелав ей выздороветь, я стал собираться в путь, с тем чтобы переночевать с пастухами в девятом стаде и, не возвращаясь к Шарыпу, отправиться домой. Да и, признаться, хотелось уехать от всего этого...

Шарып меня всячески задерживал:

— Поедешь завтра. Сегодня плохой день. Птицы беспокоятся. Будет дождь. Завтра тебя Сержан проводит...

Но я настоял на своем. Отпив вечерний чай, пожелав Манике еще раз здоровья и счастья, снова посоветовав Шарыпу показать ее доктору, отправился в путь.

Девятый участок был самый дальний и самый большой. Там паслось до пяти тысяч наших овец. Надеюсь

на быстрые ноги своего полукровного орловца, я хотел добраться к сумеркам.

Отдохнувший конь, вдоволь нарезвившийся в табунах мелкорослых покорных лошадок, шел крупной рысью. А я, довольный своим близким возвращением домой, думал о Бату, который, конечно, приготовил тысячу маленьких сюрпризов к моему приезду. Потом я думал о Манике и о том, как много еще предстоит работы учителям, докторам, которые появятся здесь. Как бы посмеялась над своим заблуждением Манике, если бы ей показать луну хотя бы через хороший бинокль! И бинокль для нее, может быть, стал бы и врачом и лекарством. Ведь ее болезнь питается только самовнушением.

Рассуждая так, я потерял направление. Не было ни озера справа, ни зимовья слева, ни солнца над горизонтом.

Чудесно помечтал!

Я стал рыскать по степи. Увидишь озерцо — к нему. Прискачешь — ничего похожего. Покажутся очертания землянок — кинешься туда, а это забытый могильник. Его только и не хватало. А тут еще луна. Оранжевая, насмешливая, огромная. Больше солнца. Так и смотрит на тебя. Будто хочет сказать: «Ага, заблудился! Теперь мы поговорим с тобой один на один».

Мне почему-то не хотелось смотреть на нее. Я никогда не любил назойливости. А мы с ней лицом к лицу. Я еду прямо на ее восход. Потому что именно оттуда слышалось бление овец. Может быть, где-то там и находится девятый участок.

Направление снова оказалось ложным. Начались белые солончаки. Дно высохшего озера. Пахло смрадом преющей тины.

Проплутав часа два и порядком взмылив лошадь, я стал подумывать о ночлеге. А потом вспомнил совет, что в таких случаях нужно опустить поводья и дать возможность лошади идти самой — и лошадь обязательно приведет к жилью. Так я и сделал. Но Серый привел меня к незнакомому, довольно большому озеру. Ему хотелось пить.

Выждав часок, дав лошади остыть, я напоил ее. Напился и сам горьковатой воды. Затем снова оседлал своего коня и сказал:

— Давай, друг, вывози!

И он, понюхав воздух, не торопясь пошел. Шел он

прямо. Пахнуло кизячным дымком. Значит, думаю, идет к жилью. Жду терпеливо. Всматриваюсь. Вдруг да покажутся купола юрт. А луна забралась уже высоко. Задремал. Я давно научился спать в седле. Кулунда всему выучила.

Вдруг лошадь метнулась в сторону. Я открыл глаза. Серый испугнул большую дрофу, а она испугала его. Улепетывающую дрофу можно было настичь выстрелом. И я хотел было... Да как-то страшно стрелять ночью одному. Еще привлечешь чье-нибудь не очень доброе внимание. В степи могут быть всякие встречи. Здесь бродили тогда разные люди. Кому-нибудь мог понадобиться и мой Серый, и мое седло, и, может быть, даже моя одежда.

Снова стал вглядываться. Наткнусь же, в конце концов, на какой-нибудь аул, проступят же темные силуэты юрт...

Ничего похожего! А потом, напрягая зрение, я увидел белую точку. Белая точка довольно быстро двигалась на меня.

Неужели я опять приехал к могильнику? И мне стало стыдно. Значит, я тоже не очень далеко ушел от тех, кому еще несколько часов тому назад, пока светило солнце, желал просвещения, посмеиваясь над их темнотой.

Когда белая точка приблизилась, я испугался и обрадовался. Это была Манике с воздетыми к луне руками...

Выходит, проплутав, я дал круг и вернулся к ее аулу? Но аула не было видно. Значит, она сегодня ушла далеко в степь.

Я слез с коня. Повел его в поводу. И когда Манике была уже близко, Серый вдруг громко заржал. Она вздрогнула, покачнулась. Я подхватил ее. Осторожно опустил на землю. А что дальше? Нести на руках? А где аул? Оставалось одно — ждать рассвета.

Я стреножил лошадь. Ослабил подпруги. Потом отвязал от седла скатанную шинель. Постлал ее Манике так, чтобы, сидя возле нее, заслонить собою луну.

Манике ровно дышала и спокойно спала. Заметив, что она одета не очень тщательно, я решил прикрыть ее свободной полрой шинели. Мало ли, может быть, луна действует на все непокрытое... Да и, кроме того, степь уже дохнула предутренней свежестью.

Посидев недолго возле нее, я снова задремал и решив прикорнуть, пока посветлеет восток, прилег рядышком с Манике. Я не знаю, сколько времени длился мой сон. Его прервал голос Шарыпа:

— Ты видишь, как он ее лечит?! — сказал он.

Я проснулся. Вскочил. Машинально схватил ружье и увидел председателя аулсовета, Шарыпа и еще двоих. Тоже пеших. Почему-то с нагайками. Они молча похлестывали ими по голенищам своих сапог.

Проснувшаяся Манике, увидев отца и мужчин, прикрылась до глаз полой шинели, а потом, взвизгнув, вскочила и бросилась прочь.

— Я заблудился... Я всю ночь проплутал в степи... — стал я объяснять Шарыпу.

Тут Шарып перебил меня и как бы продолжил мой рассказ:

— А потом вдруг ты встретил Манике?

— Да! — подтвердил я.

— Не хотел и встретил! — слышался насмешливый голос председателя. — А потом ты тоже не хотел и уснул вместе с ней?

И я еще раз сказал:

— Да!

На это председатель, выругавшись по-казахски, обратился ко мне по-русски:

— Ты умный парень, у тебя большая голова. Я тоже умный человек. Я не хочу делать шум. Я не хочу делать тебе больно. Ты знаешь, что должен делать отец, когда у него украли дочь. Разговаривай с Шарыпом. Хороший будет разговор — все будет хорошо. Плохой будет разговор... сам знаешь, как бывает, когда плохой разговор.

Сказав так, председатель велел поймать моего Серого, а затем повел его в аул, который оказался не далее версты или полутора верст. За председателем последовал дядя Манике, брат Шарыпа, и брат Манике Сержан.

Мы остались вдвоем с Шарыпом.

— Что будем делать? — спросил Шарып.

— А откуда мне знать, — ответил я, осмелев. — Буду ждать наших. Приедут. Выяснят. Рассудят.

— Кого рассудят? Как рассудят? Я тебя судить буду! А потом, что останется от тебя, они пусть судят.

Мы направились к аулу. Я не торопясь, спокойно рассказал Шарыпу подробности моих ночных блужданий. Рассказал, как я встретил Манике, как, боясь,

испугать ее во время приступа болезни, решил дать ей проснуться самой.

— Неужели ты мне не веришь, Шарып? — чуть не умоляя, спросил я его.

— Уши верят тебе. Глаза не верят! Голова не верит! — И он стал приводить доказательства, которые повергли меня в отчаяние.

Оказывается, я не случайно подарил Манике такой хороший ситец на платье. Не случайно уехал на закате солнца, чего никогда не делают русские, потому что они не умеют ездить по звездам. Оказывается, я умышленно использовал лунную болезнь его дочери, назначив ей место встречи в степи, далеко от аула. И Шарып разгадал это еще вчера вечером. Поэтому он и упрашивал меня остаться, предупреждал несчастливым днем, пугал дождем.

Шарып сказал, что он будто бы не спал всю ночь, дожидаясь, когда Манике побежит на встречу со мной. И она будто бы не спала, а затем, притворившись сонной, вышла из юрты.

И все это было логично, последовательно до половины рассказа.

— Почему же ты не остановил свою дочь? — спросил я. — Если ты не спал, если ты все видел?

— Боялся пугать, — откровенно солгал Шарып.

— Хорошо, — загорячился я. — Если ты видел все, значит, ты видел все. И тебе не в чем меня упрекнуть. Не в чем!

Шарып, явно вывертываясь, сказал:

— Как я мог видеть все, когда я бегал будить свидетелей?

— Но ведь ты мог и не будить их. Ты мог разделаться со мной в степи до того, как я встретил Манике.

— У тебя ружье, — потупя голову, сказал Шарып.

— Ты заврался! — крикнул я Шарыпу, когда мы уже подходили к юрте. — Ты спроси Манике, она скажет тебе правду.

— Зачем ее спрашивать! Она ничего не знает. — Тут Шарып нашел новую уловку: будто бы Манике сошлет-ся на сон и скажет, что она ничего не может вспомнить.

— Но ведь ты же говоришь, Шарып, что она не спала, а лишь притворялась сонной, когда вышла из юрты!

На это Шарып заметил, что дочь, конечно, не признается в обмане, она побоится это сделать.

Придя в юрту, измученный этой игрой в словесные шахматы, я спросил:

— Что же ты хочешь, в конце концов, от меня?

И Шарып ответил:

— Плати калым и бери девку!

Мой язык онемел. Я почувствовал легкий озноб и, вместо того чтобы ответить по сути дела, сказал глупость:

— А чем я могу тебе заплатить за нее? У меня нет баранов.

— Деньги есть,— сказал он.

— На мои деньги едва ли можно купить фунт шерсти.

— Чай есть,— наступал Шарып.— Два кирпича.

Так глупо повернувшийся разговор продолжался еще глупее. Я стал доказывать, что за два кирпича продавать девушку, которую он кормил семнадцать лет, крайне невыгодно.

На это Шарып заявил, что ему лучше знать, сколько стоит опозорившая его дочь. И если бы позволял закон, он отдал бы ее даром.

Полемическая логика и здравый смысл, оставившие меня на время, вернулись снова, и я снова принялся убеждать:

— А куда я ее возьму? Я все время в разъездах!

Шарып на это сказал:

— Дам ей лошадь. У тебя лошадь, у нее лошадь. Будете вместе ездить.

Теперь для меня стало окончательно ясно, что Шарып всеми способами хочет избавиться от дочери. Даже хочет дать в придачу лошадь.

Он вдруг поднялся и сказал:

— Подумай! Поговори с невестой.— И ушел из юрты.

Когда мы остались с Манике вдвоем, она, слышавшая за занавеской наш разговор, появившись оттуда, сказала:

— Отцу меня не надо! Тебе не надо. Луне не надо. Всем не надо. Кому же меня надо?

Заплакав, она уткнулась в мою грудь, потом, подняв свои темные глаза, полные слез и мольбы, стала просить:

— Возьми меня стряпать, пол мести, лошадь кормить... Я все буду!

И, как в хорошо разыгрываемой пьесе, в это время вошла бабка Манике.

— Она верно рассказывает,— начала старуха,— с рук ее надо сбыть отцу. А ты пожалей ее.

— Да я же не собираюсь жениться. Понимаешь, не собираюсь... Мне девятнадцать лет!

— Как не понимать, я все понимаю! Ты на русской женишься. А внуку тоже пожалуй можно...— жалостливо попросила старуха.

— Да как я ее пожалею? Ты в уме?

А та:

— Пожалеть ее легко. Свези в село. Сходи к попу. Поп пристроит.

Тут у меня в голове как-то сразу стало светлее. И я подумал: если ее может пристроить поп, почему же мы, комсомольцы, не можем пристроить ее? Пристроим, обязательно пристроим.

В какую-то долю минуты все прояснилось.

— Хорошо,— сказал я.

Вскоре вернулся Шарып. Он, может быть, даже был за юртой и подслушал наш разговор. Я повторил ему свое решение. Он свистнул, выйдя из юрты. Председатель привел мою лошадь. Я вручил Шарыпу оставшиеся два кирпича чая.

Плачущая мать вынесла завернутые в кошму пожитки Манике, а затем и швейную машину. Сержан запрягал лошадь в телегу. Торопились. Видимо, боялись как бы не передумал. А я твердо решил, и мне все было совершенно ясно.

Провожать нас вышел весь аул. Послышались какие-то причитания, какие-то одобряющие возгласы. Я поехал верхом. Сержан, еле дав сестре сесть, тронулся за мной.

Через час аул скрылся за горизонтом.

Потом, когда притомилась лошадь, мы решили покормить Шарыпову клячу, да хотелось перекусить и самим.

Сержан, стреножив коней, пустил их в степь. Манике на правах «жены» разостлала войлок, полученный ею в приданое, и стала делить мясо. У меня была «аварийная» бутылка. Я налил себе и Сержану.

— Поздравь, брат, сестру с новой жизнью.

Сержан с жадностью выпил, закашлялся, потом весело забормотал:

— Хорошо, Манике, жить будешь. Хорошо будешь жить. Русский калач кушать. Самогонку пить. Ах, хорошо! Очень хорошо!

Заночевали мы в степи. Кляча не протащила скрипучей телеги на деревянном ходу и до полдороги, а Серому хомут оказался тесен. Мы с Сержаном спали на телеге, а «новобрачная» улеглась под телегой.

Опять поднялась полная луна. Я просыпался ночью, чтобы проверить, спит ли Манике. Она спала спокойно на своем войлоке. Луна, осветив девушку, не беспокоила ее в эту ночь. Видимо, она раздумала превращать Манике в синюю звезду.

Утром чуть свет я дважды поднес Сержану из бутылки и, когда он стал достаточно болтлив, спросил его:

— А как твой отец узнал, что мы должны были встретиться вчера с Манике?

«Некрепко запертый» Сержан, почувствовав себя далеко от родного аула, не стал таиться. И он рассказал все, как было. А было так...

Шарып услышал топот коня. Моего коня. У казахов необыкновенно чуткий слух. Шарып по топоту определил, что это Серый. Затем он вышел из юрты и увидел, что я блуждаю вокруг да около. Тогда Шарып разбудил Манике и, погрозив ей плетью, приказал идти ко мне. Идти, воздевши к луне руки. А сыну велел бежать за свидетелями.

Манике, слушая этот рассказ, заплакала и уползла под телегу. Мне очень хотелось спросить, зачем она обманула меня. Но я сам себе ответил на этот вопрос. Загнанная, нелюбимая, она не могла поступить иначе. Страх быть избитой сделал свое дело. И я сказал:

— Не плачь, Манике! Ты ни в чем не виновата. У тебя будет хорошая жизнь...

Какая именно и почему хорошая, я еще и сам не знал, но верил в это, а веря — утверждал.

Запрягли клячу. Оседлали Серого. Тронулись. Часа через два начались русские и украинские деревни. А там уж рукой подать и до дома. Приехали после обеда.

В нашей бане, получившей теперь вывеску «Молодежное общежитие № 1», никого не было. Я провел Манике и тут же, при ее брате, указал место в бывшем предбаннике. За печкой был просторный закуток. Я взял свою простыню и превратил ее в занавеску.

— Пока будешь жить тут, — сказал я. — Вечером из

ящиков сделаем русскую кровать. А теперь пойдем в комитет комсомола.

Манике юркнула в свой закуток и переоделась в единственное праздничное, мало чем отличавшееся от будничного платье.

Сержан тем временем распряг свою клячу, и та страшно обрадовалась овсу, полученному за счет Серого.

На дворе уже было известно, что я привез «кыргызку» — так по старой привычке называли казахов.

— Стряпку привезли, — слышался чей-то голос. — Не разодрались бы четыре селезня из-за одной гагары...

Забойщик Григорий Мякишев на это возразил:

— Не раздерутся. В ней и тридцати фунтов живого веса нету.

Я, видимо, посмотрел достаточно неодобрительно. А меня побаивались. Я умел ставить на место забияк и приклеивать такие прозвища, которые не скоро отдирались. К тому же я как-никак был «партийный человек, комсомолист». Просмешники смолкли.

В волостном комитете я застал секретаря Гната Ковтуна. Его-то мне и нужно было.

— Выслушай, — попросил я. — И не перебивай. А потом я уйду, и будешь спрашивать их.

Подошли еще двое. Тоже члены волостного комитета. И я начал рассказывать все, с первой встречи.

Манике, хотя ее и никто не спрашивал, подтверждая, кивала головой. И когда я закончил свой рассказ и объяснил цель прихода в комитет, Гнат сказал:

— А я при тебе ее спрошу. — И, обратившись к Манике и Сержану, спросил: — Правду ли он сказал?

— Правда, все правда. Только моя бабушка надо бы еще говорить! Хорошая бабушка. Русского попа вылечила.

Раздался смех. Гнат Ковтун пообещал спросить меня об этом потом.

— Пусть поживет у вас, — согласился Гнат, — посмотрится, а потом решим. — И, обратившись к Манике, сказал: — Ты не бойся. Хорошо тебе будет. Грамоте выучим. Комсомолкой будешь, Манике. Комсомолкой.

Прощаясь с нами, Ковтун велел прислать к нему Бату, Ваську Груздева и Белолобова.

— Хочу кое в чем предупредить. На всякий случай...

Время шло. Манике стала неузнаваемой. Откуда

взялась бойкая речь, веселость... Поступив на молочный завод, она хорошо справлялась с работой. Успевала готовить нам пищу и учиться в ликбезе.

К осени Манике предложили переехать в общежитие № 3. Появилось девичье общежитие. Манике отказалась. Побежала к Гнату Ковтуну:

— Зачем я туда пойду? У меня здесь все!

— А что все-то, что все-то? — спросил тогда ее Гнат Ковтун.

— Все! — сказала она. — Хозяйство. Четверо. Как я их могу бросить! Они меня не бросили. Нельзя мне уходить...

Это, конечно, был благородный ответ, но причины его оказались более глубокими. Дело в том, что Манике расцветала день ото дня. Она уже щеголяла в красной косыночке, в красненьком с белыми горошками платице, в башмачках на высоких каблуках. Ее швейная машина не бездействовала. Манике быстро переняла моды и научилась пользоваться зеркалом, подаренным ей Бату.

Он сказал ей, поднося зеркало: «Не простое оно. Чаше смотришь — лучше будешь».

Мне трудно судить о свойствах этого зеркала, только весной Манике однажды сказала мне, смеясь:

— Смотрю в зеркало — себя не вижу, Бату вижу. Что ты скажешь?

И я ответил, тоже смеясь:

— Я тебя купил, я тебя и продавать буду, когда время придет.

Манике покорно умолкла.

После этого прошло месяца три. Признаков лунатической болезни не было и в помине. Она поднялась ночью только раз и тут же проснулась.

— Ты что, Манике? — спросил я. — Опять на луну запрашивалась?

— Нет, нет! — ответила она. — Плохой сон видела. Отец в степь посылал. Тебя встречать. Помнишь?

А потом и не вспоминала о болезни. Доктор правильно сказал: «Не разговаривайте никогда об ее болезни. В полнолуние давайте снотворное». Он прописал тогда бром. А теперь она обходилась и без лекарства.

Манике приняли в комсомол. Она сама заполняла анкету. Автобиографию писал я. Ее комсомольский билет хранился в сундучке у Бату. Бату вел себя с Манике

очень корректно. Но по всему было видно, что этой корректности едва ли хватит до зимы.

И вот настал день — Бату надел новую рубашку, на-чистил сапоги, нарядилась и Манике. В белое. Не по сезону. На улице была поздняя осень. Я возился с ведомостями по отправке скота. Бату вечером появился в конторе с Манике. Оба торжественные. Сияющие. У Бату в руках была какая-то коробка. Я догадался примерно, о чем пойдет речь, но не ждал такого остроты от Бату. Он сказал так.

— Дорогой отец месяц! (Луной меня было назвать нельзя.) Ты повелитель всех звезд. Всего неба. Даже солнце боится всходить, пока ты не закатаешься. Дорогой Костя! Продай синюю звезду желтой звезде...

Тут Бату торопливо раскрыл коробку и положил передо мной две плитки кирпичного чая, точно такой же ситец, какой я подарил тогда Манике.

Мне все это страшно понравилось, и я очень строго спросил Манике:

— Хочешь ли ты, дочь луны, синяя звезда Манике, назваться женой этой желтой звезды по имени Бату?

А Манике, бывшая уже не раз на гастролях разъездного театра, стала вдруг передо мной на колени и с серьезностью сказала:

— Костя! Продай меня, пожалуйста, Бату!

Я не торопясь взял чай. Проверил меру ситца. Поднял Манике с колен и торжественно объявил:

— Беру калым! Будь его женой!

Манике и Бату, повиснув на моей шее, повалили меня и целовали уже по очереди лежащего.

Тут бы и можно закончить без того затянувшийся рассказ. Но нужно знать Гната Ковтуна. Он рассудил по-своему:

— Все это хорошо... Комнатушка у них будет. Пока пусть проживут на частной квартире. Неудобно в молодежном общежитии находиться женатым. Но из всего нужно извлекать политическую пользу. Свадьбу их справим у ее отца, в ауле. Пусть Бату скажет все, что нужно сказать. И она скажет тоже, что нужно сказать...

Так это и было. Но я не ездил с ними к Шарыпу. Меня выдвинули на должность гуртоправа, и я погнал тогда табун коров в Омск. Мне не удалось видеть встречу отца и дочери.

Зато теперь, спустя много лет, об этом мне рассказывают Бату и Манике в кругу своей семьи.

Он — главный зоотехник совхоза, а она, уже немолодая женщина, заведует школой.

— Да уж было ли это все, милая Манике? — спрашиваю я. — Стоит ли нам ворошить эти далекие годы?

И Манике отвечает:

— Стоит. Обязательно стоит. Без этого нельзя понять нового. Понять и любить нашу жизнь. Стоит, обязательно стоит, — повторяет она, — вспоминать старое: иначе люди забудут, откуда мы шли и как далеко ушли.

СТРАНИЧКА ЮНОСТИ

В последний предотъездный вечер инженер Константин Петрович Мо — ков и я прогуливались по живописной набережной многолюдного летом курортного города Гагры.

Мысленно простившись с морем, закатившимся солнцем и собираясь вернуться в свой санаторий, мы встретили двух женщин. Одной из них едва ли было больше двадцати пяти, а другой за пятьдесят. Они были, несомненно, матерью и дочерью. Я их принял за индианок. Красота младшей и следы красоты старшей были так выразительны, что я не удивился, когда Константин Петрович замедлил шаги и уставился на встречающих. Но меня привела в замешательство бледность лица Константина Петровича.

Я видел, как он и пожилая женщина с огромными жгучими черными глазами узнали друг друга, и мне показалось, что она уже готовилась произнести первый слог имени «Константин», как вдруг, не сговариваясь, они сговорились не узнавать один другого.

Это длилось менее минуты, но я, кажется, успел заметить, как в ее глазах появилась радость, сменившаяся испугом, а потом мольба. Мольба пощадить ее и пройти мимо.

Так он и сделал, а я спросил без обиняков:

— Не правда ли, одна из этих индианок ваша знакомая?

— Да, — со вздохом ответил Константин Петрович. — Только это не индианка, а цыганка. Я не узнал бы ее. Прошло так много лет... Но с нею шла дочь, так повто-

рившая мать... Дайте мне прийти в себя, и я постараюсь вспомнить одну маленькую историю двадцатых годов.

После ужина Константин Петрович принялся рассказывать...

Деревушка Лисянка, где я прожил два года, хотя и не находилась на краю земли, но мы в те годы чувствовали себя там так далеко от губернского города Омска, что временами не верилось, есть ли этот Омск и существуют ли города вообще.

Я приехал сюда семнадцатилетним. Оказавшись мобилизованным, я стал продовольственным работником по сбору разверстки, а позднее продовольственного налога.

Осень и зима, особенно первая половина зимы, были очень тяжелым временем. Хлеб нужно было не только собрать и сохранить, но и отправить, что тогда, при расстроенном транспорте, было чудовищно трудно. Спали по три-четыре часа. А иногда и того меньше.

Зато весной и летом мы освобождались от всякой работы. Многие охотились, ловили рыбу, работали по найму у местных крестьян или занимались ремеслами. Отпусков никаких не давалось. И это понятно. Уехавший в отпуск обычно не возвращался. Устраивался на завод или уходил в армию. Гражданская война тогда еще не кончилась, и мы, молодые люди, искали бранной славы. Особенно Султан. С него и начну.

Султан, двумя годами старше меня, родом из-под Уфы, по национальности башкир, убежал из дома на разгром Колчака. Был ранен. Лечился в Омске, и до полного выздоровления его откомандировали к нам. Лошадь была любимым животным Султана. Он хвалился тем, что будто бы сел на коня до того, как выучился ходить. За это преувеличение Султана никто не осуждал. Он скакал верхом, джигитовал, знал характер коней настолько хорошо, что можно было поверить и небылице. Поэтому Султана назначили «начальником конюшни», или, попросту говоря, конюхом, так как никакой конюшни не существовало. У каждого из нас была своя лошадь. Этого требовали частые разъезды. Была и у меня лошадка Рыжик. Но о ней позднее. Прежде доскажу о Султане.

Султан был широкоплеч, невысок и ловок. Его вечно смеющееся лицо, добрые карие глаза, подвижность, на-

ходчивость очаровывали всякого, кто встречался с ним.

— Меня даже Чапаев полюбил,— рассказывал он.— Как увидал, сразу похвалил. Только лошадь у него не нашлась для меня. С ним бы вместе воевал...— Чапаева Султан видел лишь дважды, а говорил о нем столько, будто прошел с ним весь боевой путь.

Больше всего Султан любил рассуждать об электрификации, но и тут не обходилось без лошади. Говорил он примерно так:

— Электрификация все будет делать. Щи варить. Ложки мыть. Посуду вытирать. Даже лошадь запрягать не надо. Электрификация лошадь выведет, хомут надеет. В оглобли заведет. Супонь затянет. Вожжи подаст. Ты только садись да поезжай куда надо.

Теперь о Рыжике. Рыжика выбраковали из табуна, формируемого для фронта. Это была очень маленькая рыжая лошадка. Я с первых же дней полюбил доброе, отзывчивое на ласку животное. И даже подмешивал ему в воду сахарин (сахару в те годы почти не было). Для Рыжика собирались куски хлеба, оставшиеся после обеда, добывался самый чистый овес.

Маленький, но быстроногий Рыжик не отставал от хороших длинноногих коней. Лучшего коня я и не желал. Рыжика даже можно было не привязывать, а просто оставить у коновязи, а потом подозвать к себе или отослать домой, в Лисянку. Стоило хлопнуть его по холке и сказать: «Рыжий, беги к Султану»,— и он неторопливой рысцой направлялся напрямки по степи в деревню.

Перехватить или оседлать Рыжика другому человеку было невозможно. Если его хотели поймать, подозревая, что лошадь убежала «без спросу», он давал такого стрекача, что нечего было и думать о погоне. А если кто-то чужой отваживался на него сесть, он ложился, а потом начинал валяться на спине. Может быть, эти качества тоже способствовали выбраковке рыжего конька из военного табуна.

Радуя меня день ото дня, моя лошадь осенью так огорчила меня, что я даже бегал к ветеринару. Рыжик стал походить на осла, обросши невероятно длинной шерстью! Я тогда еще не знал, что таким образом природа Кулунды, щедрая летом и суровая зимой, заботится о маленькой сибирской лошадке перед наступлением холодов.

Перезимовал Рыжик отлично. Как в шубе. А весной начал линять. Шерсть лезла из него клочьями. Не отчистишься, бывало, проехав верхом.

Весной Рыжик стал снова короткошерстным. Муаровым. Шерсть у него курчавилась на боках и груди. Сытый, гладкий, мытый, резвый, он останавливал всякого своей игрушечной прелестью.

— Цирковая лошадь! — однажды сказал про Рыжика Султан. — Гриву только надо стричь. Щеткой. Хвост тоже стричь надо. Тоже подгулял. Давай исправлять.

— Давай, — согласился я.

И вскоре косматая грива превратилась в ровную щеточку, так подчеркнувшую красивую шею лошади. Ее лоб украшала так же ровно подстриженная челочка, и я почему-то вспомнил милую, далекую девушку Соню Дулесову. И от этого Рыжик мне стал еще дороже.

Насколько было возможно, мы укоротили и хвост.

Теперь Рыжик стал настоящей цирковой лошадью, а мы, оказавшись весной не у дел, решили обучать нашего конька некоторым номерам. Каким именно, мы еще не знали. Ни тот, ни другой, разумеется, не были дрессировщиками. Но предприимчивый и выросший среди башкирских конников Султан научил Рыжика вставать на дыбы и ходить на задних ногах.

Это было уже зрелище. И не только мальчишки со всей Лисянки, но и взрослые приходили любоваться, когда рыжий конь делал пять-шесть шагов на двух ногах да еще поворачивался. Но настоящая цирковая слава пришла к Рыжику позднее.

Обладая многими достоинствами, наш четвероногий артист был щекотлив. Он до такой степени боялся щекотки, что стоило прикоснуться к его животу, как он начинал ржать, будто хихикая, и топтаться, будто танцуя. Другая лошадь ударила бы за это копытом, а он выражал свое неудовольствие пляской.

Султан, заметя это, применил простой дрессировочный метод. Перед тем как пощекотать живот лошади, Султан, свистнув, произносил: «Рыжик, Рыжик, попляши, у ты ножки хороши»!

Проделывая это много раз, Султан добился своего. Не подходя к Рыжику, он издали свистел, а потом произносил: «Рыжик, Рыжик, попляши!» И Рыжик плясал и «хихикал». Но так как он начинал ржать и плясать сразу же после свистка, нам пришлось перестроиться.

Мы, показывая нашу дрессированную лошадь другим, прежде произносили «магические цирковые слова», а потом свистели.

Заканчивая о Рыжике, я должен сказать и о Пестрянке: она хотя и не главное, но не маловажное действующее лицо моего рассказа.

Наверно, никто и никогда не объяснит мне, зачем и для чего появилась у меня эта корова. Может быть, я купил ее потому, что она была сказочно мала и чем-то напоминала одну из тех коров, которые продавались во времена моего детства уложенными в картонную коробку, на которой было написано: «Стадо». Может быть, я ее купил и потому, что за нее взяли только один мешок пшеницы, а мы, давно не получавшие ничего, вдруг получили вознаграждение натурой, зерном. И у меня оказалось мешков десять пшеницы. Может быть, и вернее всего, я ее купил еще и потому, что Султан сказал про корову:

— Тоже цирковая!

Да, наверно, это и решило покупку Пестрянки — так я ее назвал позднее.

Пестрянка не давала молока. И, как сказала бабушка (хозяйка дома, в котором мы жили), купленная мною корова никогда не будет давать молока и приносить телят. Потому что Пестрянка была порченная. А порченная она была потому, что ее сглазили. Короче говоря, это была корова-уродец, коровий лилипут, если уместно такое слово.

Корова не только не росла, но, как мне казалось, становилась меньше. Может быть, оттого, что подрастал и здоровел я. И было с чего...

Кулундинская степь несказанно привольна летом. Воздух так чист и сладок, что им не надышишься даже в зной, а уж вечером-то так и тянет полынным здоровьем, запахом зреющих хлебов. Молока невпроед. А случался и кумыс. Казахи охотно привозили его нам в бурдюках за небольшую расплату пшеницей, которую они в то время не сеяли и даже не собирались этого делать. Но не будем терять нити...

— Давай учить корову,— предложил Султан.

— Давай!— с радостью снова согласился я.

Тут надо принять во внимание мое недоигранное детство, трудную, бессонную зиму и полнейшее летнее безделье. Даже окладные листы составлять было рано.

Хлеб-то еще и в дудку пока не пошел, как определишь сбор зерна? А вдруг засуха или дожди... Или наоборот — неслыханный урожай... Кулунда щедра и коварна даже по сей день, когда уже многое изучено и покорено.

Султан решил учить Пестрянку прыгать в обруч. Это было очень заманчиво. Цветной полосатый обруч. У коровы золотые рожки и золотые копытца. На хвосте бант. В ушах огромные, тоже золотые (скажем — позолоченные деревянные) серьги. На шее бубенчики и колокольчики. Чем не цирк?!

Я не очень верил, что Султан научит Пестрянку прыгать в обруч. Но напрасно...

На лужайке перед домом Султан набил в два ряда колья. Он оплел их ветками. Получился клинообразный загончик. Султан заводил в него Пестрянку и сжимал легонько, но, видимо, достаточно больно ее хвост. Корова бросалась в угол загона и прыгала через плетневый порог в узкое отверстие, которым оканчивались сужающиеся стенки загона.

Корову заводили снова и снова. Привыкнув к однопоборным операциям, она не сопротивлялась. За это Султан вознаграждал ее отличной мучной болтушкой.

Прошло немало дней. Редкое терпение и настойчивость Султана делали свое дело. И однажды он сказал: — Получается!

Плеть постепенно терял свои ветки. Вместо порога в его выходном отверстии был поставлен пестрый обруч. С каждым днем корова заходила в пригончик охотнее. Потому что кормление происходило только после урока. А до этого Пестрянка выдерживалась голодом.

Наконец остались всего лишь два кола и прикрепленный к ним обруч. А затем только обруч. Я держал его перед коровой, а Султан, придерживая Пестрянку за хвост, произносил свое: «Ап!» — и она прыгала в обруч. За это давали ей чуть-чуть болтушки, а затем опять обруч и снова порция болтушки.

Настало время, когда стоило поднести к корове обруч, крикнуть: «А-ап!», как она легко и грациозно, будто коза, сигала в него, что вызывало общий восторг и радость Стаси.

Теперь о Стасе.

Стася появилась ранней весной. Появилась она обормотанной и несчастной нищенкой. Здесь, в краю треску-

чих морозов и неделями бушующих метелей, встретить цыгана или цыганку еще труднее, нежели танцующую лошадь или прыгающую в обруч корову.

Стася пришла в глинобитную избушку-кухню, стоявшую неподалеку от дома, где мы жили, и начала причитать:

— Подайте цыганке-молдаванке, православной сербиянке...

Бабушка подала ей две горячие шаньги. Она ела, обжигаясь, дуя на руки. Мы с Султаном приостановили обед. Летом бабушка кормила нас на кухне: «Таскать из печи ближе».

Съев шаньги, она спросила:

— Нет ли работы? Все делать буду. Все умею.

Тогда я спросил, кто она такая и как очутилась здесь.

История была самой простой, и мне она показалась правдивой. Стася рассказала, что ее отчим поехал в Сибирь за хлебом и взял ее с собой. А потом на станции Татарская он вышел из вагона и не вернулся.

— И теперь,— причитала Стася, хорошо говорившая по-русски,— не знаю, как жить, куда идти...

Не скрою, что по моей инициативе она осталась у нас в доме, даже не знаю, на каких правах. Ее поселили в избушке. Кормили. Одевали. Я отдал ей свою рубашку, которая оказалась мне мала. Она сшила из нее отличную кофту. Султан выменял на базаре занавесочного ситца, на котором тесно пвели огромные хризантемы. У Стаси появилась юбка. Ленты ей подарили хозяйские дочери.

Стася помогала нашей бабушке доить коров, выгонять их в поле. Стряпала. Стирала мне и Султану рубахи.

С появлением Стаси мы на время забросили Рыжика и Пестрянку. Стася принесла в нашу жизнь новые радостные заботы. Появился человек на нашем попечении. Появилась, если хотите, новая актриса цирка, в который мы с Султаном все-таки играли, хотя и не признавались в этом. Одеть Стасю как следует было вовсе не простым делом. Нам пришлось сгонять в Славгород, чтобы купить настоящую блестящую материю для настоящей цыганской юбки. Появилась кофта с широкими рукавами. Появилась и черная шаль с белыми и красными розами. Не хватало только бубна. Но всемогущий, всеумеющий Султан добыл небольшое старое решеги, на-

тянул на него тонкую ягнячью, наскоро выделанную простоквашей кожу. Приладил с боков расплющенные медные трехкопеечные монеты, нанизал им же вычеканенные из тех же медных монет бубенцы, затем покрасил деревянную основу, служившую когда-то основой решета.

Получился отличный звонкий бубен.

Стася была бесподобно хороша, когда в субботу вечером, надев свои обновки и ударяя в бубен, пустилась в пляс, напевая незнакомые песни.

Замерла улица. Высыпали все. Наша бабушка хотя и твердила: «Бесовка, право слово, в ей черт», а любовалась танцем и помимо своей воли шевелила большим пальцем босой ноги в такт песне и бубну. В глазах старухи загорались давно погасшие огни. Лисянские девки старались перенять мелодию песен и цыганскую пляску. И некоторым это удавалось. Они, раскачиваясь, как березняк на ветру, плясали уже в следующее воскресенье групповой выгибной цыганский танец. Хороводила Стася.

И парни стали рядиться под цыган. Это не так трудно. Стоило надеть старинные, дедовские плисовые шаровары да поярче рубаху — вот и все. Стася плясала босой. За нею разувались и остальные.

Привыкаешь ко всему. Привыкли и к Стасе. Одев ее с ног до головы, мы не повторяли более подарков, однако обновки у Стаси случались чуть ли не каждую неделю. Оказалось, что у этого юного создания неизвестно откуда появилась колода дорогих, атласных карт. Ценою не менее пуда пшеницы. И неизвестно почему это юное создание в свои семнадцать лет научилось гадать так искусно, что к ее ворожбе прибегали даже женщины из деревень верст за семьдесят. Ее гадания сбывались тем правдивее, чем лучше и достовернее Стася знала подноготную той, кому она раскидывала карты. Наша бабушка сказала:

— Стаська не пропадет. У нее в руках дорогое колдовское ведовство.

Так бабушка сказала, когда Стася нагадала ей письмо от сына, а потом и его приезд. И все ахнули, что пропавший без вести в волочаевских местах сын бабушки Егорша вернулся живым и невредимым. Только вдолге, зимой, узнали мы, что влюбленный в Стасю почтовик рассказал ей об открытке Егорши, за которую

была получена двойная дань и Стаськой и им. Почтовик прибежал к бабушке ночью:

— Чудо-то, Васильевна, какое... Жив твой Егорша. У япопцев томился. Вырвался...

Тут уже угощениям не было ни конца ни края. А Стася получила добавочные дары. И немалые. Зимнюю шаль и башмаки со скрипом. Стасю перевели жить в большую кухню. На печку. Летом ее не топили, и спать на ней было одно удовольствие.

Почтаря Стася отблагодарила многообещающей ворожбой о том, что к нему неожиданно-негаданно, как снег на голову, придет с первым снегом черная красавица и принесет ему вместе со своими восемнадцатью годами восемнадцать радостей и большое счастье...

Эта ворожба не сбылась, и не потому, что Стася откровенно лгала и водила старого холостяка за нос, но и по другим причинам, о которых в свое время мною тоже будет сказано.

Близился знаменитый деревенский праздник начала сенокоса — петров день.

Молодежь Лисянки и окрестных деревень готовила большое гулянье на полустанке. Заводилами были мы с Султаном и Стася. Предполагалось цирковое представление. В степи, неподалеку от железнодорожной платформы, была окопана арена цирка. Она примыкала к пустому складу, приспособленному под помещение для артистов.

Программа намечалась большая. В том числе борьба на поясах. И не только молодежная. Выискались и женатые любители борьбы. Намечалась байга, или бега. Парни должны были обежать по арене цирка десять кругов, и прибежавшие первыми три победителя получали призы — плитку кирпичного чая, пачку папирос, пять коробков спичек.

Я должен быть Бомом. Так как об именах других клоунов, кроме Бима и Бома, мы не знали, остановились на них. А так как мой партнер, назначенный Бимом, в последнюю минуту струсил, то я оказался и Бимом и Бомом. И меня объявили в афише: «Выступит клоун Петроградского цирка Бим-Бом». И я вел программу. Объявлял номера. Падал на зеленой арене цирка. Потешал Клабочку, дочку начальника разезда. Кукарекал. Меня вывозили на тачке. Выезжал я и на борове, которого дал во имя святого искусства дорож-

ный мастер. Боров с визгом вынес меня из дверей склада, сбросил посередине арены, кинувшись через публику, окружавшую арену, восвояси.

Публика ответила ревом восторга. Нарушая цирковые клоунские традиции, о которых я, признаться, лишь мутно слышал, я переодевался раз шесть. Старухой. Чертом. Девушкой, теряющей юбку. Выползал на четвереньках козлом. Выходил рыжим в колпаке. Появлялся знахарем с бородой из пакли. Наконец куплетистом с балалайкой, хотя играть на ней не умел и до сих пор ни на одном музыкальном инструменте играть не сподобился.

Но какие бы цирковые лавры я тогда ни пожинал, все же моя роль была «при» и «между прочим».

Бешеным успехом пользовалась байга. Особенно девичья. Эти жеманницы с иконописными лицами показывали такую прыть, когда я, появившись торговцем-лоточником, предъявил им один за другим призы, нахваливая как только мог каждый из них, вплоть до наперстка «с заморским самоцветом». Желающих оказалось столько, что вместо одной девичьей байги объявили две.

Клава, тонкая, легкая и собранная девушка, прибежала, конечно, первой. И этому способствовала не столь резвость ее ног, сколько короткое платье. Сибирь тогда носила чуть ли не с семи лет платья и юбки до пят.

Борьба, перетягивание каната, перепляс были приняты тоже с большим воодушевлением.

Главные номера мы приберегали ко второму отделению.

Антракт был длинный и непохожий на все цирковые антракты. Люди ели, пили, закусывали, водили хороводы, плясали, кое-кто учинял небольшие драки. Артисты подкреплялись вместе со зрителями.

Второе отделение начал Султан дрессировкой Бим-Бома. Султан по мере своих возможностей оделся в национальное башкирское платье. Шила одежду Султану счастливая жена возвратившегося Егорши. Сам Егорша, одетый казахом, выводил сначала меня, а потом остальных, так сказать, «тоже животных». Я брыкался, не желал плясать, ржал, не слушался приказаний Султана, но хлыст делал свое дело, и я даже прыгал в обруч.

Эта «интермедия», если так можно назвать наше балагурство, подготовила выход Рыжика и коровы Пестрянки.

Рыжика вывели украшенного лентами. Султан проскакал на нем по арене, а затем повторились известные номера. На Рыжика садился Егорша, Рыжик ложился на спину. Затем он становился на дыбы и делал пять шагов и два оборота. И, наконец, коронные «хи-хи» и пляска.

Рыжика сменила Пестрянка с вызолоченными рожками и копытцами, с бантом на хвосте и при больших серьгах в ушах. Она, легко прыгнув раз пять в обруч и, видимо устав, жалобно замычала, будто прося о пощаде. Это было принято как нечто задуманное, и Пестрянку проводили шумными аплодисментами.

Заклучала программу Стася. Она надела все свои юбки и все «драгоценности», купленные нами и вывороженные ею у доверчивых молодаяков, томящихся в невестах-неудачницах. Вместе с нею вышли четыре гармониста и трое с гитарами. Нашлись и такие. Нашлись и сумели сыграть. Стася плясала «цыганочку». Пляске предшествовал холостой выстрел из шомполки, после которого я пал «замертво» и ожил, как только Стася появилась на арене цирка.

Можно по-разному судить о Стасиной пляске. Она в сравнении с русскими танцевала слишком вольно. Стася делала такие резкие повороты и смелые па, что матери в воспитательных целях плевались, а отцы, широко раскрыв глаза, восклицали: «Змея!», «Волчок!», «Обезьяна!» А мне хотелось сказать: «Кошка!», потому что на свете нет, во всяком случае я не мог представить, более гибкого тела. Ее талия была немногим толще нормальной шеи, а смуглые тонкие ноги не оскорбляли глаз, когда она, кружась, показывала, что жирные бабушкины ши не утяжелили ее веса и она как была, так и осталась «черной немощью на палочных ножках», демонстрирующей сейчас такую танцевальную резвость, что настроенные критически и даже озлобленно критически зрители смолкали, невольно любовались тем, что было по-настоящему красиво.

Стасю вызывали снова и снова. И она, ничего не жалея из своего плясового запаса, танцевала и «Выйду ль, выйду я на реченьку» и «Светит месяц, светит ясный». И каждый раз эти русские пляски, бытующие в

бесконечных кадрилих, она, танцуя, «пересказывала» по-своему.

Султан до того откровенно проглядел на Стасю все свои глаза, что даже кто-то сказал, имея в виду того и другого: «Неужели такая кукла на пружинах достанется этому кунгану?»¹.

Представление кончилось общим выходом «артистов», певших в ускоренном ритме «Вперед, заре навстречу».

Мы, счастливые, вместе с нашими одноподруженцами возвратились пешком в Лисянку. Стася вела Пестрянку. Султан навьюченного узлами с костюмами и реквизитом Рыжика.

Но на этом не кончился день.

Вечером, когда спала жара, я отправился через камыши на озеро посмотреть на диких утят. Еще с весны, когда в камышах стояла вода, я ходил туда подкармливать бабушкину «гулящую» утку. Она тоже не имеет прямого отношения к этому рассказу, но все же просится в него.

Среди всех бабушкиных уток была одна маленькая, юркая, подвижная уточка, названная «гулящей», потому что она, не в пример домашним уткам, неслась в камышах и там выводила своих утят. И на этот раз отцом ее утят оказался дикий селезень. И я ходил на озеро, чтобы бросить хлеб или зерно или просто полюбоваться потомством «гулящей» утки. Утята не дичились. Не даваясь в руки, они все же подплывали вслед за матерью достаточно близко. Так было и на этот раз. Вздуроченный дневным цирковым представлением, я искал тишины. А тишины там было хоть отбавляй. Даже слышался шелест крыл стрекозы. Я позвал, крикая при помощи рук и рта, «гулящую» утку, и она приплыла вместе с утятами. Жадная, голодная, выйдя на берег, громко крича, требовала пищи. Я выгреб из кармана овес и насыпал его на расчищенную от травы площадку, затем стал крошить и бросать пшеничный калач.

Утята рвали друг у друга куски. Дрались. Они уже подросли. И я знал, что скоро наступит день, когда на этой площадке я поставлю сетку с обручем и, захлопнув утят, доставлю бабушке.

¹ Медный чайник для омовения.

Размышляя, как это сделать, я услышал шорох шагов. «Уж не лиса ли?» — подумал я. Эти разбойницы охотятся и на утят. Притаился в камыше. Подобрал тяжелое сырое корневище. А вдруг удача?.. Мало ли... Мне уже доводилось в весеннюю пору, когда степь стояла залитая талой водой, взять живьем кумушку и додерживать ее до зимы, до «делового» волоса, то есть до того времени, когда лиса вылиняет и ее мех станет «деловым», пригодным в дело.

Шорох и шаги все ближе и ближе. «Ага, думаю, учуяла утят. Давай, давай, посмотрим, кто кем поживится».

Пока я так размышлял, вдруг кто-то закрыл мои глаза, а затем повалил меня в камыши.

Это была Стася.

— Лебеди! — сказала она. — Белая птица! Золотое утро! Голубое небо! Сладкий сон!

— Ты это что, Стаська? — спросил я.

А она, обвинив мою шею тонкими, цепкими руками, сказала:

— Разве не видишь? Разве не понимаешь, для кого я танцую, для кого пою, для кого гадаю, для кого я не убегаю на Дон, где ждет меня моя мать, где кочуют мои братья?..

Я солгу, если скажу, что мне очень хотелось высвободиться из объятий Стаси: хотя я и сделал такую попытку, но ее сильные и душистые руки будто замкнулись намертво.

— Тебя удушю... Сама в озере утону... Одна жизнь на земле... Одна радость у жизни...

Мне почему-то стало душно. Закружилась голова. Клавя тоже однажды обняла меня. Но это было совсем другое. Она не душила и не кричала так судорожно, а тихо и, кажется, даже шепотом сказала:

— Через два года я буду совсем уже большой, и мне хочется, чтобы вы (мы разговаривали с ней на «вы») ни на кого не обратили внимание...

И я сказал тогда:

— А зачем мне это нужно?..

И мы пошли через березовую рощу, потом по пшеничной меже, потом через другую рощу. Потом мы сидели в камышах, и Клавя причесывала меня то на прямой пробор, то на косой, то зачесывала волосы назад, ища лучшую прическу для того времени, когда я стану

начальником станции, а она будет работать там же кассиршей.

Хотя я никогда не мечтал быть начальником станции, равно как и вообще железнодорожником, но мне это казалось возможным и даже логичным. Почему же, в самом деле, не жить при станции, в хорошей квартире, с печами, отопляемыми каменным углем, и не жениться на Клавочке, которая так же, как и ты, будет получать жалованье и тут же перед приходом поезда продавать билеты? А все остальное время можно сидеть рядом и в долгие зимние вечера читать вслух интересные книги. Пять страниц — она, пять страниц — я. Это очень интересно, а главное — красиво.

Другое дело — то, что предлагала Стася. А она, перебравшись на мои колени и прильнув ко мне всем своим существом так, что трудно было поверить, существует ли мое существо, рисовала совершенно другой идеал счастья.

Она предлагала мне выкрасть казенную лошадь Рыжика, запрячь его в хозяйский ходок с плетеным корбком, погрузить наше имущество, затем привязать цирковую корову Пестрянку, а по пути прихватить и хозяйскую собаку Соболя, а затем в одну из безлунных ночей, которые вот-вот наступят, бежать вдвоем на Дон.

— А зачем? — спросил я.

— Жить, — ответила она, — жить!

— А где?

— В таборе!

Тут я Стасю пересадил с моих колен на траву. Мне хотелось по-хорошему втолковать ей, насколько несостоятельны ее желания, рассказать, что я собираюсь учиться, а затем стать горным техником, а может быть, даже горным инженером на родном Урале. У меня была потребность втолковать ей, что даже предложение Клаввы перейти на железную дорогу и стать начальником станции вызывает у меня раздумье. Но я почему-то сказал:

— А что мы будем есть? На что мы будем жить в таборе?

— Золотой ангел! — ответила она. — Цирком! Рыжик пляшет. Я пляшу. Пестрянка в обруч скачет. Потом ты в колпаке песню поешь. Я в бубен деньги собираю...

Другую лошадь купим. Воз хлеба привезем. Все рады будут!

Мне захотелось встать и уйти, но что-то заставило остаться. Может быть, желание узнать, как могла прийти такая блажь в ее в общем-то умную голову, как она могла подумать, что я могу стать бродячим шутом и кривляться на базарах. Неужели эту ягрю в цирк, это сегодняшнее представление на полустанке она приняла всерьез и увидела в этом призвание моей жизни?

А это было именно так. Стася готовилась к побегу давно и основательно. Она, оказывается, стала теперь обладательницей трех пятирублевых золотых монет.

— Все может быть,— таинственно сообщала она.— Золото всегда поможет. Еще одну получу, как только к Дашке Стелана присушу...

Оказывается, Стася не только гадала, но и «присушивала» женихов. И «присушивание», как выяснилось, действовало в том случае, если за него платили золотом. И золото находилось...

С этой минуты Стася стала мне неприятной и ее прикосновения оскорбительными. И я сказал ей о своих жизненных намерениях и планах. А так как это не вполне убеждало ее, то я соврал ей, будто бы у меня есть невеста. И Стася, поверив мне, в ужасе крикнула:

— Клавка?

Я ничего не ответил ей. Пусть думает, как хочет, лишь бы отстала... Но Стася и не собиралась этого делать. Изменив тактику, она заявила, что у нее будто бы горит вся душа и она может сгореть «изнутри», как сгорела ее родная тетка, и решила потушить огонь в груди купанием.

Я не успел мигнуть, как она оказалась без кофты и юбки.

Тут, кто бы и в чем бы меня ни обвинил, но я не отвернулся. Что бы и кто бы ни говорил, но прекраснее на земле нет создания, нежели девушка, готовящаяся стать молодой женщиной. Иссиня-темная, почти нетелесная, Стася, распугав утят, задержалась на берегу, стоя ко мне спиной, будто высеченная из какого-то неизвестного коричневого камня, простирала руки к солнцу, потом, грациозно нагибаясь, пробовала рукой, достаточно ли тепла вода, потом плескала ее на себя и растиралась ею, зная, что я смотрю на нее. А потом прыжок, и затем крик:

— Ой, я тону! Спаси меня!

Я и не шевельнулся. В этом озере не было места, где бы самое короткое весло не доставало дна.

Разозленный и очарованный, я ушел в деревню.

Стася нагнала меня на полдороге и сказала, что ей показалось, будто она тонет, и что она теперь остудила свою душу и свое сердце, которое навсегда останется холодным, и она, может быть, от этого скоро похолодеет вся и ее похоронят далеко от родных кочевий.

А я сказал на это:

— Хватит морочить мне голову! Я завтра же начну хлопотать тебе документы и пропуск. У тебя есть на что купить билет, и ты уедешь к своей матери и братьям.

Стася не сразу согласилась на это. Она еще немножко поиграла в несчастную влюбленную и даже поплакала, а потом согласилась и сказала, что уедет только через месяц.

— А почему не раньше?

И она снова разразилась клятвенными причитаниями:

— Белая птица!! Золотое утро! Голубое небо! Сладкий сон!

Оказалось, что она не могла уехать, потому что ей нужно было отблагодарить меня и Султана. Заштопать наше белье и носки, высушить на солнце одежду (как будто от нее у нас ломились сундуки и мы не носили зимой обычные деревенские дубленые полушубки). Затем она хотела сделать что-то еще, а главным образом запомнить мое лицо, мой голос, мою походку, мою красоту, русые кольца, голубые очи, потом уже уехать...

— Как хочешь,—сказал я.—Живи. Мне-то что... Только больше не приставай с дурацкими затеями...

— Не буду! — сказала она.—Клянусь золотым крестом и святым духом.

И она больше не приставала ко мне. Ее пыл сменился холодом уже на другой день, и я пожалел, что так резко обошелся с нею. Все-таки она, по моим убеждениям, была «отсталый, несознательный элемент». Нужно было «терпеливее разъяснять», как учил меня райпродкомиссар, ведавший продовольственными работниками района в десять волостей.

Теперь Стася держалась ближе к Султану, помогала ему ходить за лошадьми, ухаживала за Пестрянкой, во-

дила ее в степь вместе с Рыжиком, а я увлекся сенокосом и пропадал с Егоршей в степи. Мне доверили одноконную косилку, а потом научили грести также одноконными граблями.

В этот год трава была высокая, густая, сочная. Егорша, боясь дождя, торопился с уборкой сена. Работала вся хозяйская семья, даже меньшая внучка нашей бабушки, девятилетняя Дунечка. Косили и ночью. Егорша, видя мое рвение к работе, обещал к осени справиться для меня шубу из поярковых овчин черного, «почти что сарапуловского» дубления.

И я работал. Работал не столько ради шубы, сколько ради самой работы, необыкновенно радостной и веселой. Чувствовать себя взрослым, пригодным «для настоящего дела» мне было очень приятно. И шестнадцать часов работы в день с маленькими перерывами на еду меня нисколько не утомляли.

Бабушка даже сказала:

— Такой и хрестьянствовать бы мог... А что ты смеешься?.. Дольше бы прожил. Да неизвестно, где оно, счастье, в городе или в нашей Лисянке...

Я не спорил. Я и в самом деле не знал, что будет со мной. Звали же меня работать на опытное поле. Обещали натаскать, а потом послать учиться на агронома. Могло и так случиться. Думать об этом не хотелось, когда кругом так привольно, когда птицы то и дело выпархивают из-под ног лошади, когда выскакивают испуганные косилкой серые степные лисички — корсаки, дают стрекача длинноухие косые, перебегающие высокой травой из одного березового колка в другой.

И это веселое время косьбы навсегда бы осталось в памяти светлыми, радостными днями, если б они не были омрачены...

Утром в степь прискакал на хромой кобыле соседский мальчишка Семка.

Он, запыхавшись, давясь своими словами, чуть не плача, сообщил:

— Салтанко вместе с цыганкой вчера с вечера кудай-то делись. А утресь хватились — ни Рыжика, ни Пестрянки, ни нового ходка на железном ходу... Кинулись мы с бабушкой в кухню, где Стаська спала, — и бубна нет... И сундучка ее нету... И Салтанова кошеля нету... Хотели скакать во все концы. А на чем поскачешь, когда все кони в степи?..

Выслушав Семку, я почему-то вдруг захотел пить... Потом... этого можно было не сообщать... я заплакал. Громко, не стыдясь...

Егорша облил меня водой.

— Брось ты, паря! Лошадь-то ведь казенная. А корова все равно порченная... так и так бы она от тоски сдохла... Вспомни, какие глаза у нее были, чисто умышленные... Еще и сдуреть могла. Совсем бы худо было. Может, к лучшему, что ее умыкнули...

Егор не понимал моего горя. Разве оно было только в потере Рыжика, которого никогда не заменит никакая другая лошадь? Не может быть после первого любимого коня второго. Не может. Неужели мне жаль было корову, которую я разлюбил после памятного разговора в камышах?..

— Найдутся, никуда не денутся,—утешал Егорша.— Про Кулунду только говорится, что она без края, а край у нее есть. Для них тоже трибунал подберем...

Лежа на сене ничком, не подымая головы, я сказал Егорше:

— Не утешай! Я ведь не только Рыжика, но и товарища потерял. Я ведь спал с ним рядом. Сахаром делился,—почему-то я вспомнил именно о сахаре, когда можно было привести более существенные доводы нашей дружбы.

А потом я отлежался. Егор вырыл бутылку «первача» и дал мне полстакана.

— Глушит,—сказал он.— Старое снадобье. Выпей!

И я выпил. Мне на самом деле вдруг стало как-то легче.

Семка, не вынимая пальца изо рта, смотрел на меня с горечью. В его глазах стояли слезы.

— Они, пожалуй что, к Славгороду подались,—вдруг вымолвил Семка.— Если бы моя не хромала, так можно бы на ней... С коровой-то далеко не ускачут, живо бы споймали.

Я ничего не ответил мальчику. Я знал, что они подались не к Славгороду, а на Барабу. «На Расею метнем...» — запомнились мне слова Стаськи.

Конечно, их можно было догнать. Порасспросить встречных... Кому не бросятся в глаза маленькая корова с золочеными рожками и лошадка, подстриженная, как никто и никогда не стрижет в этих местах коней! Можно было напасть на след. А что потом?

Нагнать и сказать: «Ты вор, а ты лгунья, ты запла-тила мне обманом за то, что я пожалел тебя»?

Это невозможно. Таких прямых слов я не мог произнести. Да и, кроме того, если уж Султан решился на дезертирство... Он же считался мобилизованным... Если он оказался способным украсть Пестрянку и Рыжика, он мог и не отдать их... Не стал же бы я стрелять в Султана...

Увидев, что я успокоился, Егорша принялся метать сено в стога, Семка выследил корсачью нору и уселся возле нее, а я остался на копце, ища хотя бы самую малость оправданий поступку Султана. И вскоре оправдания нашлись. Может быть, потому, что я хотел их найти...

Вспоминая все, я пришел к заключению, что Султан в общем-то был довольно несчастный парень. Русские девушки не обращали на него внимания. Тогда национальные предрассудки были еще очень сильны. И красавец Султан был для них «нехрешшоным татаринoм». От этого никуда не денешься. Такова среда. Таковы и суждения тех лет. А тут вдруг Стаська... Смуглая, как и Султан. Гибкая, как в сказке о какой-нибудь дочери хана... Султан наверняка слышал такую сказку от своей матери, бабушки, сестры... К тому же Стася была живописно красива. Эти белые зубы. Темные загадочные глаза. Сверкающие белки. Тонюсенькие брови. А руки? У Стаси были грациозными и плавными все движения ее рук, даже если она чистила рыбу или развешивала сушиться наше белье.

Как мог Султан не влюбиться в такую девушку! И разве можно было его обвинять в этом? Ведь соглашался же я стать начальником станции, когда меня убеждала Клавочка. Мог ли не согласиться Султан, когда она шептала ему слова любви и, может быть, так же, как и меня, называла «золотым утром», «сладким сном». Белой птицей она, конечно, назвать его не могла. Султан был достаточно смугл для этого... Но усесться к Султану на колени, обнять его и потанцевать перед ним в том же виде, в каком она стояла на берегу перед купанием, для нее не могло составить затруднений...

Я представлял все это так наглядно, что кажется, даже слышал, как она его убеждала. И Султан не устоял. Может быть, он, благоразумный парень, подумал

про себя: «Не доберусь до Дона, а до Уфы-то уж доеду. Женюсь и поселю ее у меня в доме».

И, вернее всего, это так и было. Мало ли до чего доводит любовь. Об этом написаны сотни книг. Внутренне оправдывая Султана, я все не мог простить ему похищения Рыжика. И принялся думать о нем. А потом тоже утешился. Наверно, я так был устроен, что всякое горе во мне быстро находило себе противоядие.

К полудню я окончательно успокоился, но косить все-таки не стал. Пусть пропадет черный полушубок.

Я вернулся в Лисянку на хромой кобыле вместе с Семкой. Мои пожитки оказались целы. В сундуке лежала записка, состоящая из одного слова: «Прасти». И она меня очень растрогала. И я простил Султана окончательно, хотя обида все еще мешала примириться с потерей Рыжика.

Рыжика напоминало все. То седло, сиротливо лежащее в сенцах. То старая уздечка. Его запах в пригончике, где он жил. Метины на столбе, который он грыз. Следы его подков, отпечатанные и затвердевшие на солончаке подле столба.

Конечно, Рыжик — лошадь, и его нельзя сравнить с человеком, — все же он был вернее Султана.

Без лошади и без Султана я почувствовал себя совершенно одиноким. Даже Клабочка со своими мечтами о железнодорожном счастье не трогала меня. Да и ее мечты были какие-то ненастоящие, как игра в «дочки-матери». Уж если на то пошло, то Стаська рисовала реальные возможности: вот лошадь, вот ходок, запрягай, привязывай корову, и едем. Другое дело, что меня никак не привлекали цирковые представления на базарах, но и они были совершенно возможными. Корова прыгает в обруч. А я, покрашенный охрой и суриком, потешаю на базаре людей. Стаська с бубном собирает деньги...

И так ли уж отличается Клава от Стаси, когда она, заманивая меня в свой мирок счастья, разрешает мне поцеловать ее в щеку, но при условии, если я буду стоять по одну сторону изгороди палисадника, а она — по другую? Это какое-то пошлое жеманство и обидное недоверие.

То ли дело Стася. Она в эти дни показалась слишком яркой по сравнению с Клавой, и Клава померкла в моих глазах.

Я пристрастился к охоте. Отдавался чтению. Решил обучать семилетнюю племянницу Егорши Настеньку грамоте. Потом подошла пора уборки хлебов. Пересев теперь на жатвенную машину — лобогрейку, я делал успех за успехом. Егорша к обещанному черному полушубку добавил корсаковую шапку и высокие семифунтовые валенки.

Вскоре пришло распоряжение губпродкома о проверке налоговых списков, и... лето кончилось. Предстояла бессонная, трудная работа. Разъезды, борьба за отправку зерна. Ночные дежурства на ссыпном пункте...

Накануне перед отъездом в соседнюю волость мне была наряжена крестьянская подвода. Невесело засыпал я, привыкший ездить верхом. Ночью снился Рыжик. Он ржал и звал меня. Ржал так громко, что я даже проснулся. Проснувшись, я продолжал слышать его веселое «хи-хи-хи»...

«Что такое? — подумал я. — Не сплю, а сон не уходит. Рыжик ржет...» И когда ржание повторилось громче за окном дома, то я, как спал без рубашки, так и выпрыгнул без рубашки в окно.

Передо мной был Рыжик. Он бросился ко мне, чуть не сбив меня с ног. Он терся мордой, как собака, о мои голые плечи, мазал меня слюной. Его ноздри нервно вздрагивали. Он уже не ржал, а будто всхлипывал. Я обнял его...

Когда во дворе стало светлее, я увидел оборванные поводья, худые ребра и вспухшие ласины на его боках.

Лошадь как бы жаловалась. И мне показалось, что в ее глазах слезы. Конечно, показалось... Лошади не умеют плакать.

— Милый мой рыженький, — приговаривал я, разнуждая дорогого гостя, проводя его в пригончик, где все еще в кормушке лежал не доеденный им и не растащенный воробьями овес.

Утром я не поскакал на Рыжике в соседнюю волость, желая дать ему отдых. Рыжика, кажется, не видел никто, но вся деревня восторгалась верным конем, прочувывшим дорогу домой. Находились люди, которые рассказывали об его побеге с такими подробностями, о которых мог знать только Рыжик, если бы он мог знать.

— Гнали, стало быть, они всю ночь не кормя, — рассказывала Алексеевна, мать Семки, — гнали, стало быть, гнали, чтобы к базару в Юдино поспеть, потом, не да-

вая ему ни отдыху, ни корму, заставили его ходить на задних ногах, да плясать, да схикивать... А потом, когда пришло время корове представление представлять, Рыжика они к телеге привязали. И опять ни сена ему, ни овса. А тот не стерпел, как мотнет головой, оборвет узду — да в рысь, да вскачь... Салтанко за ним. Стаська на всю площадь базланит: «Держите его!» Да куда там... Он — в хлеба. И как в воду канул... Долго ли при его-то росточке... А теперь он дома. Кто хочет, поглядите и сами увидите, что все это чистая правда...

Рассказ Алексеевны с разными добавлениями пересказывался и другими. И во всем этом похоже на правду было только одно: Султана и Стасю видели в Юдине, и кто-то на полустанке рассказывал обманутому почтовику о том, как маленькая коровка с золотыми рожками скакала в полосатое колесо, а рыжая лошаденка плясала под «духовую» гармошечку.

Когда я уехал, Рыжик не остался без надзора. За ним ходила не одна бабушка, но и ребятня. Став знаменитым конем, Рыжик получил столько пшеничных кусочков, овсяных горстей, что даже не справлялся с угощением. Дети добивались разрешения, чтобы его погладить. Дети вычистили, выскребли в его пригончике. Они выводили его на «променаж», таскали ему с дальнего глубокого колодца чистую, «совсем бессолую» воду. И когда через неделю или более я вернулся в Лисянку, лошадь встретила меня веселой, мытой, чищенной.

Мальчишки, оказывая ей внимание, стали внимательны и ко мне. Они поймали заготовленной мною сеткой утят бабушкиной «гулящей» утки, заперев их вместе с беглянкой в старой бане.

Прошло еще несколько недель, история с Рыжиком уже забылась. Осень то и дело давала знать о себе холодным дыханием ветра, морозящими дождями, ранними сумерками, и, наконец, выпал первый снег. И поздним вечером в субботу, когда я и Егорша, напарившись в бане, сидели и распивали чай, в горницу вошел, опустив голову, не смея взглянуть на нас, Султан.

Он был оборван и жалок. Из правого сапога торчали пальцы. На левом сапоге еще держалась подошва. Он остановился, будто ожидая ударов и брани.

Мы переглянулись с Егоршей, и Егорша сказал:

— Иди мой руки и садись чайничать...

Но Султан не трогался с места. Ему, видимо, хотелось прежде рассказать все, а потом уже выслушать приговор.

— Иди, иди,— повторил приглашение Егорша.— Знаем, что к чему. Рыжик нам все рассказал... Мало ли бывает...

Но Султан не сел с нами за стол. Его покормили на кухне.

Получив от начальства выговор и обещание быть отданным под суд за новую малейшую провинку, Султан не обелял себя, но все же, ища оправдания, сказал:

— Я очень любил ее, а она убежала ночью... Все взяла. Даже мои сапоги, чтобы я не догонял ее. Деньги тоже взяла... Мы продали ходок и продали Пестрянку. Деньги она носила в кошеле на шее. Чтобы не потерять... Конечно, она их не потеряла. Я их потерял... Теперь чем я буду платить за ходок? Чем буду платить за Пестрянку?..

Раскаяние Султана было длинным, плаксивым, жалобным, и его, пожалуй, не стоит пересказывать.

Султана перевели на мясозаготовительный пункт, находившийся в тридцати верстах от Лисянки. Там мне с ним довелось встретиться снова, но это уже особый рассказ.

Весной Егорша получил новый ходок, ничуть не худший, чем угнанный Султаном. И за Пестрянку я ничего не требовал, хотя Султан в письме написал мне: «Палучишь летом за пистрянку атличный драбавик с центральным боем».

Через год я, покинув Лисянку, вернулся на Урал. Распростившись тогда с Кулундинскими степями, я не растерял моих знакомых. С одними я изредка переписываюсь, а с другими даже встречаюсь.

Егорша теперь уже очень стар, но еще остается на посту председателя большого, объединенного колхоза.

Султан так и не ушел от цирка. Он долгие годы был дрессировщиком, а сейчас возглавляет какую-то гастролирующую цирковую труппу.

Клавочка, ныне Клавдия Михайловна Штерн, тоже не ушла от своей мечты. Она стала женой начальника станции Владимира Николаевича Штерна. Сейчас они живут в Ленинграде. Он на пенсии. Их старший сын,

инженер, Константин Владимирович, работает в нашем институте... Изменений, как видите, произошло достаточно. Произошли они, видимо, и в жизни Стаси. Кто теперь она? Если судить по внешности, то это, может быть, актриса... Вернее всего, что она актриса. Очень хорошо, что у меня хватило ума не узнать ее. Не всегда людям следует напоминать их печальное прошлое, с которым они так прочно расстались, что даже, может быть, забыли его... И это очень хорошо. А я лично благодарен сегодняшней встрече. Она оживила в памяти дорогую для меня страничку моей пестрой юности...

А потом, перед сном, Константин Петрович сказал мне в раздумье:

— А вообще-то говоря, если уж говорить правду... Стася тогда могла бы при каких-то иных обстоятельствах оказаться моей женой, а девушка, которая шла с ней по набережной, моей дочерью...

Какие сны видел в эту ночь Константин Петрович, я не знаю. Наверно, хорошие сны.

ДЕФИЦИТНОЕ ДАРОВАНИЕ

Эту историю рассказал старый швейцар художественного салона Андрей Тихонович Миронов.

— Как-то к нам в салон пришла девушка с картиной. Складненькая такая, в ситцевом сарафанчике. Совсем юнец. Туфельки еще студенческие не износила, и мы все обратили на нее внимание.

Личико у нее было как личико... Ничего особенного. Простое рязанское девичье лицо. Носик, судя по всему, она позаимствовала из бывшей Вятской губернии, а вся вместе будто сошла с картины «Хоровод», которую она принесла в салон на комиссию. Большая довольно картина. Продолговатая. Примерно два метра на метр с чем-нибудь. Без рамы. Где ей раму взять. Холст-то, наверно, на последнюю стипендию купила.

Картина, как я уже сказал, называлась «Хоровод». Посмотрели мы на этот хоровод и понять не можем. Ничего такого в картине нет. И в то же время что-то такое есть. А чего именно нет и что есть, не поддается умозаключению даже самого Геннадия Петровича.

Смотрим на картину... Смотрим на художницу и не

знаем, как ответить. С одной стороны, эту картину купить не должны, а с другой — всяко бывает.

— Девяносто рублей,— говорит старший товаровед.— Пройдет.

Девушка-художница сначала побледнела, потом зарумянилась, глазки потупила:

— Может быть,— говорит,— хоть в сто рублей оцените...

Десять рублей в таком деле не деньги. Кто девяносто даст, тот и сто найдет. Вывесили картину. День висит, другой висит. Народ приходит, уходит. Вижу, что и за полцены эту картину не купят. Один даже сказал: «Лица плоские, и все как одно». Посмотрел я и вижу — да. Плосковато лица выписаны, и весь хоровод как бы одной матери дочери. Смотрю дальше: луг, небо — тоже не ах! И за руки девушки взялись как-то не по-живому. Кукольно. А между тем картина притягивает. Есть что-то в ней, как и в художнице. И личико так себе, и нос никуда, а если бы, скажем, внучкой такую назвать — куда как славно.

Провисела эта картина, видно, с месяц. И вдруг приходит в салон женщина в лисе. С виду торговый работник. Глянула на картину и обомлела:

— Кто рисовал?! Сколько стоит?! Заверните, пожалуйста! Через тридцать минут деньги принесу!

Я рад-радехонек. Даже завтрак бросил. Вот, думаю, «сарафанчик» ты мой, разлетайчик ситцевый, туфельки мои, босоножечки, десять бумаг получит и — их как заживет!

Только-только ушла эта женщина, как является другая. Также в лисе. И как будто в театре или где-то еще, тоже на весь салон завопила:

— Кто рисовал?! Сколько стоит?! Куда платить? — и в кассу.

— Извиняюсь,— говорит старший продавец.— Картина продана. Покупательница за деньгами ушла.

— Как так продана, коли она висит? Не имеете права! — И тому подобное. Так пылить начала, что еле-еле урезонили. Приказ показали, где явственно говорится — ждать сорок минут.

Как только сорок минут прошло, продавец было хотел на законном основании второй «лисе» продать картину, только первая-то «лиса» как раз в эту минуту явилась и сто рублей в кассу подает. А та — наперебой

свою сотню сует. А кассирша что? Она той и другой сразу выбила, и они обе с чеками к продавцу.

Одна кричит: «Сорок минут кончились». Другая: «У вас часы с вашим характером: торопятся».

Тут «сам» выходит: «В чем, дамы, дело?»

Те опять пылить начали. Геннадий Петрович видит, что толпа собирается, и сообщает им:

— Какая жалость! Я вынужден вам обоим отказать в покупке. Только что звонила художница и просила задержать свою картину.

Снова: «как?», да «почему?», да «на каком основании?»

— Нормально,— говорит Геннадий Петрович.— Мы хотя и государственный салон, но комиссионного профиля. Художница опротестовала заниженную оценку картины, и наша комиссия согласилась с ней.

— Сколько же,— говорит первая «лиса»,— она хочет за нее? Я,— говорит,— хоть две, хоть три сотни не пожалею.

А вторая — четыре наличными вынимает.

Геннадий Петрович улыбнулся второй «лисе» с крашеными кудрями и говорит:

— Примерно так и хотят оценить эту картину. Шестьсот, семьсот... Приходите завтра. Салон закрывается.

Как закрыли салон, остались мы одни и говорим:

— Настоящий вы человек, Геннадий Петрович. Можете вы понимать и чувствовать, что значит первый дебют и как важно стоящей ценой девушку окрылить.

На другой день, как и следовало ожидать, явились обе до открытия салона и у каждой туго сумка набита. Картина «Хоровод» висит как и висела, только ярлык на ней «725 руб.».

Я из вестибюля подглядываю и жду, которая дрогнет такие деньги платить. Смотрю, опять обе в кассу руки суют. А кассирша-то уже предупрежденная была. Она и говорит:

— Гражданки! Через две недели будет копия с этого «Хоровода». Точная копия за четыреста рублей. Полная гарантия. Пройдите к директору. Он подтвердит.

Смотрю из вестибюля в дверь и вижу — одна «чернобурка» к директору подалась, а другая тем временем деньги в кассу торопится платить. И счет просит выпи-

сать. Не для себя, значит, берет, а для учреждения. А для какого именно — рассказ дальше будет.

Когда ушла вторая «лисица» — первая вышла. Сияющая такая, счастливая, Геннадию Петровичу руку жмет. — Так, пожалуйста, — говорит, — пожалуйста...

И он ей тоже:

— Пожалуйста, — говорит, — пожалуйста, не беспокойтесь. Все будет так, как вы хотите, но адрес художницы, — говорит, — я вам дать не имею права, потому как у салона свой торговый план и вообще антигосударственно молодой художнице торговать на дому.

Довольненька ушла и эта «лисица». Мы к Геннадию Петровичу. Очень хотелось нам суть дела узнать. А он на это нам и говорит:

— Не могу, друзья мои, суть дела сказать, потому что художница очень хрупкая, и если она раньше времени узнает эту суть, то можно погубить дефицитное дарование.

Поскольку мы работаем не в скобяном деле, а в изобразительном искусстве, поняли, что Геннадий Петрович слов на ветер не бросает и может не только по трем мазкам фамилию художника назвать, но и в душу к нему проникнуть. Да. В душу. Несмотря, что не окончил никакого высшего учебного заведения, но является тоже дефицитным дарованием и, кроме жалования от Художественного фонда, регулярно премии получает.

В тот же день Наточка Киселева, такое имя и фамилию имела эта художница в сарафанчике, явилась в салон и как стала получать в кассе семьсот двадцать пять рублей минус комиссионные, так у нее не только руки, но и губенки задрожали, а в глазах сияние.

— Теперь, — говорит, — я мамочке обязательно вечерний капот сошью, а брату Ванечке сто рублей на мотороллер добавлю.

— Не торопитесь, Наточка, — говорит «сам», — на мотороллер брату добавлять. Может быть, вы ему еще «Москвича» купите.

— Да на что же, — говорит Наточка Киселева, — я «Москвича» куплю, если у меня второй брат на берег с флота списывается. Его же одеть надо.

Я слушаю, а по бороде у меня слезы текут. Хорошо, когда такая в семье. Зимой в квартире светло будет, несмотря на то что напротив кирпичный семиэтажный дом.

— Оденете, обуеете да еще свадьбу вашему брату сыграете,— говорит ей Геннадий Петрович,— потому как вы редкий талант и дефицитное дарование.

— Какое такое,— спрашивает Наточка,— дефицитное дарование?

А наш-то не без хитрецы:

— Я этого,— говорит,— не сумею выразить, поскольку у меня нет академической степени, но чувствовать чувствую.

Сказал так Геннадий Петрович и заказал Нате опричь копии «Хоровод» большую картину к осенне-зимнему сезону.

— Не можете ли вы, Наточка,— говорит,— допустим, бал в Доме союзов изобразить или, допустим, даже в Кремлевском дворце? И явились, допустим, на этот осенне-зимний бал самые нарядные женщины, и одно платье другое перешибает.

Наточка подумала, пошвыркала своим вятским носиком и отвечает:

— Могу, Геннадий Петрович, это моя тема.

— Если,— говорит он,— вам угодно творческий заказ оформить, то, пожалуйста, пятьсот вперед, а остальные смотря по качеству. Картину,— говорит,— желательно «а гранд». Три, скажем, на полтора метра.

— Хорошо,— говорит Наточка.— Только деньги вперед брать не буду.

— Как вам угодно,— говорит ей Геннадий Петрович.— Можно и безавансовый договор заключить...

Заключили они или нет, мне как-то ни к чему это, да и к моему рассказу это тоже мало имеет отношения.

Недельки через две снова приходит наша Ната, а мы уж ее всем салоном ждали, потому что полюбили, надо сказать, чистосердечно. Кто — как родную сестру, кто — как дочь, а некоторые даже совсем громко вздыхать начали.

Приходит, стало быть, Наточка и приносит «Хоровод». Копию. Только копия никак на копию не походит. Иско, луг, девчата те же, а одежда на них новая. И, надо сказать, так выпестрена, так складно скроена, даже нитки и швы на картине чувствуются. Ну, а личики у хороводниц опять, надо сказать, с уклоном в блины. Плоские.

Поговорила Наточка сколько-то с нашими салонщиками и ушла своей легкой походочкой. Сарафанчик-то

уж другой на ее покатых плечиках был. Шелковый. Да и босоножечки на ее ножках не простым шилом шиты были. Сапожник, который их шил, видать, сильно узором да цветом ушиблен был.

Вскорости наш Геннадий Петрович познакомился с ее семьей. Стал бывать. Подсказывал кое-что, когда она «бал» рисовала. И я как-то к Киселевым завернул. Натина мать оказалась простой женщиной. Из швей. Теперь-то уж она по домашности была. Попил чайку. Велели бывать. И стал я у них тоже своим человеком. Даже комнатой с их соседкой хотел обменяться, поскольку ихняя соседка была сродни очковой змее. Избавиться от нее хотели. С обменом у меня ничего не вышло, а тайну дефицитного дарования Наточки я открыл.

Открыл я эту тайну и начал понимать изобразительное искусство куда как шире, чем его, может быть, понимают другие вице-президенты и члены правления с законченным высшим образованием. Да и не я один, но и многие в салоне суть дела начали понимать, особенно когда обе «чернобурые лисицы» пришли в подсобку нашего салона для покупки законченного Наточкой полотна «Бал в Кремлевском дворце».

Геннадий Петрович назначил за картину ни мало ни много — полторы тысячи рублей.

— Это же грабеж! — говорит та, которая купила первую Наточкину картину. — Неслыханная цена!

А Геннадий Петрович весьма спокойно и очень солидно:

— Вглядитесь, — говорит, — да прикиньте по существу. Если, — говорит, — предложить эту картину настоящим специалистам, то ее по кускам, как море Айвазовского, можно распродать.

Сказал так и начал перечислять все оригинальное, что было в ней. Даже ковровую дорожку и дамские сумочки из поля зрения не упустил.

«Лисы» переглянулись, перешепнулись и говорят: «Если за тысячу двести, так мы пополам купим».

А тот им: «Могу, — говорит, — посочувствовать вам и третьего акционера на картину подобрать. Даже двух». А те: — «Это еще зачем?» — И велели оформлять.

Через два дня Наточка на зелененьком мотороллере с братом прикатила. Получила свои денежки и опять творческие переговоры начала.

— Мечтаю,— говорит,— я в свете последних решений текстильную выставку отобразить. И так,— говорит,— отобразить, чтобы забота о человеке чувствовалась и чтобы расцветка глаз ожигала.

— Очень и даже весьма. Замахивайтесь,— говорит Гепнадий Петрович,— не стесняйтесь. Гарантирую.

И через полгода или более Наточка такую картину завернула, что даже в черном виде каждый предмет не только на глаз, но и на ошупь чувствовался, особенно текстиль. Такие она цветы на нем раскидала, что даже пахли они. Резеда резедой, черемуха черемухой... А картину не удалось дописать. Белила подвели. С белилами у нас вообще какая-то чехарда получается. Перебои. И случись эти белила в керосиновой лавке. Возле Никитских ворот. Ната туда... Надо же такой случай!

Приходит в керосиновую лавку и видит — женщина лет тридцати мастику для натирки полов покупает. Женщина как женщина, только платье на ней с Наточкиной картины.

— Откуда,— говорит,— у вас такое платье? Кто его вам шил?

Та ей отвечает, что в марьинском мосторге тысячи таких платьев!

Наточка забыла про белила и — на такси. Благо, стоянка рядом, в Мерзляковском переулке. Напротив «Консервов». Приехала в Марьину рощу и живехонько на платяной этаж. Пришла на платяной этаж и видит не только этот свой фасон, но и другие фасоны, которые у нее в «Хороводе» были и на «Балу в Кремлевском дворце».

Сначала ей это очень понравилось. Худо ли, когда с ее картин платья на живые плечи, в быт переходят! Очень хорошо.

— Кто это вам такие платья шьет?

А продавщица и отвечает, как есть:

— Гор,— говорит,— швейпромтрест. По моделям Наточки Киселевой. Некоторые платья даже по ее имени называются. Вот,— говорит,— например, «Ната вечерняя», а это «Ната курортная». С разлетайкой в косую полосу. А это «Киселевка дорожная».

— А кто это такая Ната Киселева?

А та ей возьми да и бухни:

— Очень,— говорит,— дефицитное дарование, но с придурью.

— С какой,— спрашивает Ната,— придурью?

— У нее,— говорит,— от матери швейный талант перешел. И так,— говорит,— стихийно перешел, что какую бы картину она ни рисовала, главное на ней узоры материй да фасоны платьев получаются. Наточка-то и не чувствует, что из нее самородное материно наследство бьет и что она кистями да красками не картины рисует, а мирового значения моды создает и расцветки материй выписывает. По всему свету ее смелые покроя пошли, а сказать ей об этом стесняются. А чего, спрашивается, стесняться!.. Вы только посмотрите, какие художественные произведения она создала...

Тут продавщица весь прилавок платьями Наточкиных фасонов закидала. А Ната блее бумаги, стоит—ноги подкашиваются. Шутка ли, столько лет высшее образование получала, а выучилась на швею. Стоит Ната и слова выговорить не может, а та не унимается:

— Последнюю-то картину, можете себе представить, за двадцать пять тысяч купили. Купили и на куски изрезали.

— На какие куски?

— На разные,— отвечает та.— Кому какие нужны. Швейпромтрест из картины платья вырезал. Текстильный комбинат расцветки взял. Обувные фабрики у этих фигурок ноги вместе с туфлями отрезали. Галантерея свое—сумочками, кушачками, гребешками пользовалась. Продают уж их. Говорят, даже ковровая фабрика и та с Наточкиной картины дорожку перекупила. Сейчас Наточка над новой текстильной картиной работает. Так ее, говорят, еще сырую пересняли на цветную фотографию, и штапель теперь по ней гонят...

Пока продавщица тараторила таким способом, Наточка брык на креслице и без чувств. Окружили ее. «Ах да ох!» Кто кричит, что вентиляция в магазине плохая. Кто говорит, что, может быть, она ирландским окурком отравилась. Люди, они чего только не напридумывают, а понять не могут, что у Наточки золотой сон улетел и она уже теперь никакая не художница, а швея. Хоть какой будь мозг, все равно сотрясется при таком открытии. Пока махали на нее покупатели, оттирали духами виски, благо тут парфюмерный киоск рядом, «скорая помощь» приехала. На носилки и к Склифосовскому. У Склифосовского она сколько-то полежала, пришла в себя, и ее к Боткину переправили.

Долго не могли историю болезни установить. Все «потрясение да потрясение». А что значит и отчего оно — в медицине этого нет. И только на девятые сутки она призналась своему братцу Ванечке:

— Кустарь я, Ванечка, несчастный кустарь-одиночка,— сказала она и залилась слезами.

Доктора, сиделки, нянечки — утешать. Утешать утешают, а лечить не знают чем. Ну да нашелся доктор — Геннадий Петрович. Пришел он в больницу и говорит: «Поздравить хочу вас, Наточка». — «С чем?» — спрашивает Наточка. — «А с тем, — говорит, — что вас в действительные члены Союза художников приняли, поскольку вы, — говорит, — удивительное событие в искусстве и дефицитное дарование».

Сказал так и развернул афишу. А в афише анонс о выставке моделей и тканей молодой художницы Натальи Киселевой.

Наточка-то как услышала это — опять заплакала. Только уж на другой волне. Мозги-то у нее обратно стряхиваться начали. А Геннадий Петрович лекарство за лекарством ей подает. Умный гомеопат. Журнал «Советская женщина» вынул и говорит:

— Смотрите, как вас прославляют, какие цветные фотографии с вашей работы печатают.

Ната глядит и глазам не верит. А там буковка в буковку напечатано, что молодая художница подняла фасоны платьев и расцветку материи до настоящих высот изобразительного искусства.

Потом уж я стал Нату долечивать — через день к ней визиты делал. У нас тоже сразу общий язык нашелся, поскольку я в изобразительном искусстве нахожусь свыше тридцати лет и тремя медалями награжден.

— Что ты, — говорю, — рыбочка моя, долго не очуливаешься. У тебя теперь, говорю, вся наша страна салон и в каждом населенном пункте выставка. Приходи зимой на кремлевский бал — свою-то изрезанную картину в живом виде увидишь. Ни один фасон не пропал. Поезжай в колхоз — тысячи тысяч твои хороводы водят.

А сам ей клюквенного морсу наливаю, поскольку он с дорогим крымским портвейном пополам. Лечить так уж лечить. С этого-то морсу она не то что куриный бульон — ветчину требовать стала.

К Первому мая ее выписали. Крупный «детский крик на лужайке» у них в квартире был. Наш-то доморощен-

лый «Стасов» — Геннадий Петрович так наморсился, что уж бесполезно было такси вызывать, там и уснул. И Наточка тоже расцвела в этот май — трудно узнать. Выросла после болезни. Глаза у нее как-то во Врубеля ударять начали, и что-то такое билибинское в ней проступило.

Хорошая жизнь началась у Наточки Киселевой. Теперь она в Чехословакию с персональной выставкой уехала. Оттуда, говорят, во Францию махнет. Там по платяной части тоже не последние мастера живут. А как вернется из Франции, какой-то женский ансамбль своими кистями-красками одевать примется. Теперь-то уж ей картины никто не заказывает, а напрямки действуют. Ковер ли нужен для экспорта... Или там подарочный чайный сервиз изукрасить... Даже чемоданно-сумочная фабрика и та к Наточке за ее художественным вкусом бегаёт. Новую модель холодильника по внешнему виду у Наточки консультировали. И правильно. Тонкий глаз у нее, дефицитное дарование. На этом я, так сказать, и того...

Конечно, я еще бы часа два мог о Наточке говорить, да только зачем хорошее вино клюквенным морсом разбавлять?

БАБУШКИНЫ КРУЖЕВА

I

Эту историю нельзя начать, не рассказав хотя бы очень бегло о Калиновом Лужке, где провел последние годы своей жизни академик Павел Захарович Лутонин.

Калиновым Лужком некогда называлась лесная полянка на берегу подмосковной речки Нерль. Потом это название перешло загородному дому Лутонина.

Почти все научные труды Павла Захаровича, все его успехи обязаны, как не раз признавался он, еще не открытой стране, хранильнице тайн, не познанных и в малой доле.

Не столь общительный, Лутонин мог говорить о Сибири без умолку, находя для нее в глубинах своей большой и доброй души слова необыкновенной прелести. А в Сибири Лутонин прожил в общей сложности не так

много времени. Месяц, редко два летних месяца проводил он в счастливых экспедициях. А случалось и так, что и три года подряд тосковал по своей стране-мечте. И все потому, что Павлу Захаровичу не всегда удавалось предпочесть здравый смысл суждениям своей жены Ларисы Михайловны.

Лариса Михайловна, отправляясь в большое плавание по волнам жизни, взяла в свои руки руль, посадив Павла Захаровича на весла лицом к себе и спиной по направлению движения счастливой семейной ладьи. Не выпуская кормила, энергичная супруга вершила всем. Она, вмешиваясь и в дела, явно далекие от нее и противопоказанные ей, нередко ставила академика в неловкое положение. Ей ничего не стоило обратиться в любое правительственное учреждение даже по мало-важному поводу, «добиваясь справедливости».

«Добиваться справедливости» — каждый раз значило разное, но во всех случаях справедливостью было то, что этим словом называла Лариса Михайловна. И с ней не спорили, ценя заслуги академика Лутонина, и, боясь обидеть его, скромного человека, даже скрывали некоторую неумеренность претензий Ларисы Михайловны.

Себя Лариса Михайловна считала неотделимой от Лутонина. И все его заслуги она в равной степени считала и своими, хотя, по правде говоря, от нее помех было больше, нежели пользы. О муже и себе Лариса Михайловна говорила неизменно: мы. «Мы подсказали геологоразведчикам дорогу к алмазам...», «Мы еще десять лет тому назад знали и говорили об этих рудах...», «Мы с Павлушей в сибирских недрах, как у себя дома в кладовой...» Она говорила даже: «Мы, ученые...» И окружающие старались видеть в этом скорее непосредственность Ларисы Михайловны, нежели бестактность.

Как деталь, наиболее выразительно характеризующая Ларису Михайловну, может служить ее письмо в правительство, написанное мелким бисером малоразборчивых букв, составивших строки, идущие не очень параллельно одна к другой. Она пишет:

«Дорогой и глубокоуважаемый имярек! Если мы подарили нашей горячо любимой Родине богатейшее газовое месторождение, так неужели за это наша Родина не может дать вместо бежевой тарактелки, на которой

мы вынуждены ездить, настоящую черную машину на шесть персон, не считая шофера...»

И черная машина появилась так же, как появилось и многое другое, просимое Ларисой Михайловной, как, в частности, появилось почти все, составляющее Калиновы Лужок с его множеством причуд.

Павел Захарович все это принимал как должное, не противился самоуверенному сумасбродству своего милого Ларчика, а чаще попросту не замечал ничего, уходя в науку, не переставая работать и во сне.

Произведение ее строительной фантазии — Калиновы Лужок был эклектическим конгломератом невероятного. Дом с разностильными башенками, верандочками, эркерами, украшенный петухами и амурами, расписанный под владими́ро-суздальскую древность, уживающуюся с византийскими фресками и абстракционистскими тяжелыми падами, был еще как-то терпим. Но старомодный каретник, амбары, белая и черная бани, соседствующие с мраморным бассейном и оранжереей, конюшня и гараж под одной крышей, погреб, которым тоже никогда не пользовались, как и коровником без коровы, вызывали боязливое недоумение у всякого человека. И только приезжавшие к своему коллеге англичане, которым гордость запрещает удивляться, не спрашивали, для какой цели к собачьей конуре пристроен громкоговоритель. А если бы они и спросили, то и в этом случае их бы не удивил ответ Ларисы Михайловны. Она, с детства боясь воров и грабителей, радиофицировала и собачью конуру. Чтобы в случае тревоги она могла из спальни дать радиокоманду: «Полкан! Хватай! Воры!» — И нажатием кнопки спустить пса с цепи.

Калиновы Лужок стоит куда более пространный описания. И мы сделали бы это, если б в первом абзаце не объявили, что роман будет небольшим, и если б не опасались дать пищу недостойному зубоскальству.

И все же придется рассказать из жизни Калинового Лужка то, без чего едва ли будут понятны многие из последующих глав.

II

Вскоре после смерти мужа Лариса Михайловна почувствовала себя одинокой, а главное — беззащитной. Беззащитной перед людьми и перед богом, в которого

она раньше верила время от времени, чаще всего в страстную неделю и в первые два-три дня пасхи. Теперь же, когда не стало Павла Захаровича, который при всей своей мягкости мог защитить ее от кого угодно, она стала бояться и темноты. Она всегда нуждалась в моральной поддержке Павла Захаровича, в его самых простых и неотразимых словах. Мог бы такие же простые и твердые слова найти и сказать ей сын Владимир, но сыну она не в силах была признаться в том, против чего искала защиты.

Много лет Лариса Михайловна носила в себе грех, которому, по ее убеждениям, не было прощения. В прежние годы она с помощью мужа усыпляла свою совесть, а теперь одной ей это стало не под силу. Страх проснулся и не давал ей покоя, особенно ночью.

У Ларисы Михайловны теперь оставался только единственный выход: навсегда и безоговорочно вернуться к вере своих отцов и вымолить у бога прощение. Вымолить не одними молениями, но и добрыми, богоугодными делами.

Богоугодные дела начались с того, что зимняя рубленая беседка в глубине леса была превращена в часовенку. Для этого не потребовалось многого. На шатровой крыше беседки был водружен цельнокованный крест, а внутри повешены иконы и лампы.

Лариса Михайловна давно подумывала, не построить ли у себя в Лужке свою дачную церквушку. Небольшую. Метров десять в длину и метров семь в поперечнике. Находился и плотник, прадеды которого рубили сборные церквушки и вживали их на девяти-десяти возах на ярмарки в большие города и в матушку Москву. Продадут такую церквушку, свезут, куда скажут, и за день-два-три, самое большое неделю, соберут ее, проконопатят... А потом только крой щепой, оснащай и освещай и молись хоть сам по себе, хоть миром-собором.

И не дорого тогда просил плотник. Совсем было решила Лариса Михайловна ставить церквушку, да подумала, что кроме нее есть Павел Захарович, хотя и беспартийный, но тем не менее... Да и бог мог не простить церкви на правах частной собственности. А часовенка — другое дело. Как передний угол, только вынесен из дома в лес. Между тем как-то ближе к богу, и молиться в такой часовенке и трепетно и радостно. Однако же...

Однако же переоборудование зимней беседки в часовенку хотя и богоугодное дело, но дело как бы только для бога и для себя. А не для людей.

Чуть ли не на первой странице катехизиса сказано: «Вера без дел мертва есть». А коли это так, то нужны дела. И главное из всех дел — это забота о ближнем. О сиром и слабом.

И Лариса Михайловна решила заботиться о сирых и слабых. Одна прилавринская старушка, монашествующая в миру, подсказала рабе божьей Ларисе, что нет выше добродетели, нежели бездомного пустить в дом свой. И тут же въехала в каморку нижнего этажа лутонинского дома.

Вскоре началось стремительное переустройство никому не нужных птичников, коровников, каретников. Отопленные, они превратились в богоугодные жилища сирых, слабых, обездоленных, а вместе с ними и уголовно наказуемых личностей.

Жизнь в Калиновом Лужке стала невозможной. Теперь сын Ларисы Михайловны Владимир Павлович не мог жить со своей семьей в Калиновом Лужке и в летние месяцы.

Сирые и слабые дулись в карты и домино, проигрывая и выигрывая то, что им не принадлежало, вскапывали грядки, размежевав ухоженные цветники и полянки на малые огородишки. Плохо положенное растаскивалось и продавалось. Нередко нашедшие приют требовали у благотельницы на водку. И Лариса Михайловна, вернувшаяся в веру отцов, принимала все это как испытание господне во искупление ее греха, молча сносила и невыносимые обиды, когда желавший получить на литр получал только на пол-литра и за это называл Ларису Михайловну оскорбительными словами, несообразными ее возрасту.

А что делать? Если хочешь прощения, молчи.

И она молчала... Молчала до тех пор, пока бог не поступил с нею куда более жестоко, чем мог бы поступить дьявол.

Бог решил открыть ее сыну Владимиру грех, который она хотела унести с собой в могилу. Только он, жестокий и старый судья, мог сделать так, что Владимир должен будет поехать в Сибирь, и не куда-то, а в ее родное село Дудино. Дудино, которое навсегда должно быть закрыто для всех Лутониных, теперь оказыва-

ется местом, где Володе предстоит длительная работа по выполнению правительственного задания. Надо же было на таком огромном пространстве Сибири найти этому старому, не значащемуся на картах селу.

Значит, нет и не будет ей прощения. И она ничего не может сделать, чтобы помешать Володе очутиться в Дудине. Уже подписано решение, и Владимир через несколько дней будет там, и, конечно, ему захочется побывать в доме, где родилась его мать, и поговорить с теми, кто ее знал. Не умерли же они все, если она жива. И когда это произойдет, обязательно найдется злой, а может быть, и добрый язык, который воскресит прошлое, казавшееся умершим.

Лариса Михайловна не ошибалась в домыслах. Но, прежде чем случится предположенное, познакомимся с Володей.

III

Володя — Владимир Павлович Лутонин — достойный преемник академика Лутонина. Дважды доктор, уважаемый ученый, известный и за пределами родной страны, он также посвятил себя теории и практике разгадки кладов, скрытых в недрах земли, занимался Уралом и Приуральем, если сюда относить и сказочно богатые тюменские просторы.

Владимир Павлович принадлежал к счастливым людям, благодарным жизни, обществу, окружающим за всякую малость. Он, кажется, был благодарен и солнечному дню за то, что он солнечен, и лунной ночи за то, что она лунная. Любя жизнь и словно боясь терять ее невозвратимые часы, он всегда был занят. И всякое занятие, даже самое незаметное для него, становилось наслаждением, потому что уважение к труду было одной из твердых его нравственностей.

Счастлив был Владимир Павлович и в семейной жизни. Влюбившись впервые на школьной скамье, он не представлял, что может быть какая-то вторая любовь и что кто-то, кроме его Антонины Сергеевны, мог бы оказаться на ее месте.

Человек, любящий жизнь, никогда не бывает у нее пасынком. Так было все эти годы, так, наверное, было бы и дальше у Владимира Павловича, если бы не странности, творящиеся в Калиновом Лужке. Все эти годы

Владимир Павлович и его семья летом жили там с матерью. А в холодные и глухие зимы Лариса Михайловна переселялась в московскую квартиру. Теперь же она не хотела и слышать о переезде, потому что без нее мог угаснуть огонь неугасимых лампад.

Владимиру Павловичу стало трудно навещать мать. Он страшился и богоугодных тунеядцев, ему был противен теперь и сам воздух Калинового Лужка, когда-то столь любимого и дорогого.

Его попытки повлиять на мать, вмешаться в ее жизнь были безрезультатны. Не звать же в самом деле милицию и не разгонять братьев во Христе, поселившихся в Лужке, не увозить же мать силой в Москву. А что потом?

Не ровен час, такое вмешательство может привести ее к гибели. Доктора и без того не обнадеживали Владимира Павловича долголетием его матери. Они даже удивлялись, откуда в ней, такой маленькой и иссохшей, берутся силы на моления и многочасовое плетение кружев. Она без усталости могла перебирать коклюшки, находя новые затейливые кружевные узоры.

У Владимира Павловича была тайная мысль отвлечь мать, и он предложил ей:

— Мамочка, а почему бы тебе не побывать в родном селе, не вспомнить детские годы, юность...

— Н-нет! — ответила Лариса Михайловна, выкрикнув это слово так, будто ее приглашали не в ее родной дом, а в пасть зверя. В ее глазах сверкнул такой ужас, что Владимир Павлович даже попятился. Лицо матери перекосилось, и она снова выкрикнула: — И тебя не благославляю ехать туда...

А потом, несколько успокоившись, она стала говорить, что все в ее жизни наказывается и ей не уйти от этого. Далее она жаловалась на бога, кивая на иконы, говорила:

— Как можно называть милосердным того, кто наказывает не только грешницу или грешника, но и подвергает мучениям их детей.

Владимиру Павловичу и в голову не приходило, что мать могла сказать все это в здравом уме и твердой памяти, приоткрывая завесу тайны, которую теперь ей хочется открыть, чтобы опередить других и не дать им представить ее в худшем виде, чем это было на самом деле. Но она боится опережать события. А вдруг там,

в Дудине, все обойдется, и тайна так и пребудет тайной? Но на всякий случай она говорит:

— У каждого в родных местах остаются и соперники, и завистники, и открытые враги... Не всем верь, Володя,— попросила она умоляюще и горько заплакала.

Невеселым стал отлет Владимира Павловича в Сибирь. Ему казалось, что встреча его с матерью была последней. Перед посадкой в самолет он просил жену как можно чаще навещать свекровь.

— И в случае чего...— недоговаривал он,— вызови меня телеграммой.

Ему так хотелось взять с собой всю семью. Дудино и окрестности были лучше всяких дач. Об этих местах так восторженно отзывался Павел Захарович. Его всегда тянуло туда. Несколько раз он готов был уже отправиться и доисследовать Дудинское железорудное месторождение, но каждый раз этому препятствовала Лариса Михайловна. И теперь, когда она стала на пути, Владимиру невольно подумалось, что, может быть, ему стоило уважить мать, коли она так боится этой его поездки. Не будет ли он раскаиваться потом, когда окажется, что просьба матери была последней.

Но, с другой стороны, железорудное месторождение не ждет. Его теперь в официальных бумагах называют именем его отца — Лутонинским железорудным месторождением. Как можно не завершить начатое его отцом и учителем! Как можно не перепроверить, не подтвердить рудные запасы, чтобы окончательно решить размеры предполагаемого комбината, который в увековечение памяти Павла Захаровича Лутонина будет называться тоже Лутонинским!

Владимир Павлович мог поступить только так, как он поступил. К тому же он помнил, что его милая и любимая мамочка немало натворила за свою жизнь дел, которые не хочется называть своим именем. Может быть, и теперь она одержима чем-то, что ей не хочется выносить на люди и что не стоит ломаного гроша.

Мы не скажем, что добрая и светлая душа — Владимир Павлович — ошибался. Матери было чего опасаться... И в этом, разумеется, мы убедимся...

Дудино представлялось Владимиру Павловичу глухим старожильским селом, а оказалось не поймешь что. Ни село, ни лагерь... Дощатые бараки, палатки, избушки-пластянки, просто «балаганы», хижины, сплетен-

ные из камыша, и скопище невиданных здесь машин, механизмов в селе и вокруг села. И теперь неизвестно, останется само село или его перевезут на другое место. А может быть, Дудино станет новым городом?

Все зависит от того, что покажет земля и что скажет самый главный из всех главных, долговязый человек с большими карими глазами, с темно-каштановыми подстриженными усами и очень добрым, приветливым лицом, с ласковой, пришедшей из русской сказки фамилией — Лутонин. Да не из сказки ли или, на худой конец, из тайной были-небыли пришел и он сам в эти края, куда, по его словам, он приехал впервые, а по старожильской молве, он жил всю жизнь?

Владимир Павлович вскоре почувствовал, что или его принимают за кого-то другого, или хотят в нем видеть не его, или он в самом деле, живя в живой жизни, живет в каком-то известном чуть ли не всем, кроме него, рассказе. Не случайно же вдруг останавливается старуха, всплескивая руками, а то и крестясь, говорит еле слышно: «Он», — а иногда совсем незнакомые люди, видящие его явно впервые, называют по имени.

И не подверженный мистификации человек будет чувствовать себя неловко, когда его рассматривают чужие глаза и в них то сострадание, то удивление, то боязнь...

И однажды к Владимиру Павловичу подошел старик в холщовой длиннополой одежде, похожей одинаково на подрясник и на больничный халат.

— Не удивляйтесь, — сказал он. — Я вас знаю. И матушку вашу, Ларису Михайловну, я еще Ларочкой знал...

— А кто вы?

— Да кто-никто, это мало значит, — сказал он, оглядываясь, будто проверяя, не слушают ли его. — Не хотел я рассказывать вам про то, что быльем поросло, да боюсь, что другие в плохом виде это самое вам перескажут. Обязательно перескажут, — предупредил он. — От этого теперь уж никуда не денешься. Так что прошу.

Владимир Павлович с любопытством рассматривал старика. И вскоре они вышли за село, пошли по широкой накатанной дороге. Пшеница была уже высокой, а лето еще не наступило. Незнакомый старик начал рассказывать издали.

Рассказав, каким глухим был этот край во времена

его детства, он перешел на строительство железной дороги и, сказав по-латыни «виа — вита», что значит «дорога — жизнь», заговорил о приезде из России множества разных дельцов-скоробогатиков и мастеровых людей. Здесь он и назвал впервые фамилию кузнецов Колосничных.

Фамилия Владимиру Павловичу показалась где-то слышанной, но он не обратил на это внимания, не предполагая, как много она будет значить в его жизни.

Оставим рассказчика и слушателя в роще. Пусть старик мягко, сдержанно и сокращенно рассказывает то, что сейчас начнем рассказывать и мы, ничего не смягчая и не исключая, а так, как это было на самом деле. И начнем тоже с кузнецов Колосничных.

IV

Колосничных называют коренными сибиряками. Это верно только наполовину. Колосничины пришли сюда с Урала. Первым здесь появился Кузьма Колосничин. Его сослали на вольное поселение. За бунты.

Молодой тогда еще, неженатый, Кузьма обосновался в селе Дедюхино. Обосновался он тут по причине невозможности жить без кузнецовой дочери Танюшеньки. И вскоре Кузьма вошел зятем в старожильскую семью старика кузнеца Тихона Дымарева, порешившего передать свою ветхую, из дернового пласта сложенную кузницу в настоящие, хваткие, молодые кузнечные руки.

Не ошибся в зяте старик Дымарев. Кузьма с двенадцати лет не выходил из кузницы своего дяди, ниже-тагильского кузнеца. От него-то и получил Кузьма дорогим наследством кузнечную науку. В старые годы кузнец не только должен был ковать, но и доводить поковки до дела. Поэтому приходилось ему не чураться и слесарного ремесла. Приходилось быть и литейщиком и плавильщиком.

Таким кузнецом на все руки был и Кузьма. И коли он там у себя, по строгой уральской заводской мере, ходил в сильных мастерах, то здесь-то уж, где кузницы случались реже попов, он сразу попал в широкую молву и хорошую цену.

Дедюхино росло. Прибывали переселенцы. Строились зерновые склады богатеющих купцов. Ставился

маслозавод. Пускалась паровая мельница, а следом началось строительство храма. Как торговому селу, где год от года растут базары и в зимние месяцы съезжается до пятисот возов, без своей «церквы» обходиться, без своего «батюшки»?

Строительство, и в том числе церковное, требовало немало поковок. Одних оконных решеток — несчитанные пуды. Кузьма выписал с Урала отца и брата. Кузницу гасили часов на пять, на шесть. Вместо двух стояли пять наковален. Сырцовые стены заменили настоящими, кирпичными.

Кроме того, коренных уральских тружеников не обошел и неслыханный в этих местах фарт. Кузьма наткнулся в березовой роще, неподалеку от деревни Старая Карасиха, на выходы железной руды. Клад оказался немаленьким. А каким именно, не под силу было узнать тогда кузнецам Колосницыным. Много ли скажут лом да кайло? А штоленку все же пробили. На Урале кто не рудозналец.

Опробовали руду в самодельной печи, на манер гончарной для обжига горшков. Стоящий получили металл. Дорогой, но не дороже привозного. Если бы потуже мощну да посветлее голову, можно бы застолбить Старо-Карасихинскую рощу и задуть пусть самую крохотную, но свою домнешку. Демидовы тоже с малого начинали. Как их не вспомнишь? Тем более что и они кузнецы.

Поговорили-помечтали о своем железе Колосницыны и снова из поднебесья на землю спустились. Под силу ли им поднять доменную печь? Это же тысячи и тысячи... А уголь где взять? А руки?.. Самое главное — руки. Где взять мастеров-доменщиков, углежогов... Не с Урала же привозить.

Забросили свой фарт Колосницыны. Тогда, когда уже приспичит, наломают руды, выплавят десяток-другой пудов чугуна и тут же его в дело пустят. В утюги, скажем, перельют. Много ли утюгу надо крепости? И второсортный чугун будет гладить не хуже первосортного. Не жалуется женское сословие. Катком-вальком хуже белье катать, нежели утюгом гладить. И мастерам любо. С одной стороны, доходно, а с другой — радостно. Узорчатые буквы «К К» на утюге литыми завитками красуются. Красуются буквы «К К» и кузнецов Колосницыных называют. Да и к штоленке тоже эта кузнечная фамилия прильнула. Только не до нее им теперь. С куз-

печным делом не управляют. Хотя еще пять наковален ставь. От заказов нет никакого отбоя. Приезжают по кузнечной нужде и за сто верст. Что хочешь возьми, только скуп, мастер, чего не могут сковать доморощенные кузнецы.

Колосницыны и не заметили, как сибирская земля стала родной и своей.

Сыты, одеты, обуты. Мясоед — круглый год. Хотя каждый день пельмени готовь. И дичи всякой тут столько, что закрывши глаза не промахнешься на озере. Одно плохо у стариков — никто в дочкиной колыбели не плачет.

И в Омск-то возили Татьяну к пятирублевому доктору, и знахаркам немало переплатили... И в новую «церкву» попу тоже было, на всякий случай, дадено и ковано. Большую медную «паникадиль» Кузьма по просьбе стариков своими руками чеканил, своеручно отбеливал. Также не помогло. А потом как-то само собой все произошло. Угорела Татьяна в курной бане. На снегу в чувство пришла. Затем слегла. А выздоровевши, почувствовала себя другим человеком. Будто выболело в ней все, что мешало затяжелеть.

Материнство пришло утром седьмого ноября. Кузницу заперли с первого крика новорожденного. Еле успевали мыть посуду. Чуть не все Дедюхино перебивалось с поздравлениями. И поп пришел. Хотелось отцу Афанасию увязать появление мальчика с новыми церковными поклонами.

Кузьма спяна много наобещал. Готов был хоть ко всем колоколам языки сковать. И тут же спросил попа, какое имечко он присоветует дать мальчику.

Поп — в святцы. А в святцах в этот день, как и во всякий другой, святых было порядочно. Но все имена их не отзывались в душах кузнецов и кузнечих: Иерон, Исихий, Никандр, Мамант, Варахий, Калинник, Феаген, Ксанфия, Гигантий...

Кузнецы уже было начали шуметь на попа. Что же это за имена для русского человека? Уж не выдумывает ли долговолосый? А отец Афанасий показывает им день седьмое ноября и вычитывает дальше: Феофил, Анникит, Диодонт, Евтихий, Евгений...

На этом имени раздался слабый голос роженицы из соседней горницы. Кузьма побежал к ней, и она сказала: «Евгений».

«Евгений», — повторили кузнецы и кузнечихи. «Евгений», — провозгласил священник, благословляя дверь, за которой находился мальчик шести часов от роду.

Так началась жизнь Евгения Кузьмича Колосницына.

V

Если продолжать рассказ в тех же словесных красках, то следует сказать, что мальчик с редкостным для сибирской деревни тех лет именем рос тоже для своего времени редкостным грамотеем. В пять лет он читал по складам. В восемь мог писать простые письма.

Закончив приходскую школу при той же церкви, где он был крещен Евгением, мальчик не обещал стать кузнецом. Худенький, долговязый, тянувшийся к знаниям, задумчивый и мечтательный Енюшка, как называла его мать, в родной семье оказался чужой былинкой.

Деды и бабки, не чая души в мальчике, решили учить внука большой грамоте. А большая грамота была только в больших городах. Омск хотя и не столь близок от Дедюхина, но и не за тридевять земель.

Весь вопрос, где учить.

Опять не обошлось без попа. Отец Афанасий пивать пивал, а ума никогда не терял. Был он человеком рассудительным и толковым.

Поп сказал кузнецам, что по ихним деньгам внука можно учить хоть в реальном, хоть в гимназии, хоть в коммерческом. Но где тихому деревенскому пареньку жить в большом городе? У кого? По его скромности он не доест, не допьет, а там, не ровен час, и захворает.

Обрисовав положение жизни мальчика в большом городе и обосновав свои доводы, отец Афанасий предложил отдать Еню в духовное училище. И плата пять рублей, а не сорок пять, как в гимназии, и квартира с харчами при училище.

Отец Афанасий, не преминув заметить, что кузнецам, и всегда-то не столь богомольным, как хотелось бы, не очень желательно, чтобы из их семьи вышел поп, стал говорить о широких путях, ведущих из духовного училища и семинарии.

На семейном совете еще два-три дня взвешивали, а затем пришли к заключению. А заключение состояло в том, что грамота везде есть грамота. Можно и из самой высокой гимназии босяком-пропойцем выйти, а можно

и после семинарии получить инженерную науку, и, как знать, может быть, эта наука даст жизнь колосницинской штоленке. Может быть, именно благодаря ему заживет не хуже горы Высокой в Тагиле новый сибирский рудник.

Поговорив так, порешили отдать Еню в духовное училище, надеясь, что в их роду появится настоящий ученый человек.

И они не ошиблись. Из духовных училищ и семинарий выходили не только служители церковных приходов. Весь склад, дух этих семинарий либо заставлял ученика поверить в преподаваемое и закрыв глаза подчинить себя всякой догме, либо зечеркнуть все начисто и стать на путь отрицания всего, чему так долго, искусно и настойчиво обучали.

Евгений Колосницын, успешно закончив духовное училище, продолжил обучение в Пермской духовной семинарии по той же причине дешевизны обучения.

Позднее, близко сойдясь с широким кругом молодежи, Женя Колосницын почувствовал, что его путь лежит в Московский университет. Не входя пока ни в одну из партий, Колосницын видел себя преобразователем великой Сибирской земли.

Так хотелось, но не так случилось.

На экзаменах он потерпел неудачу. То ли начальство не хотело принимать в университет семинариста, возвращая его на стезю служения церкви... То ли его знания и подготовка на самом деле были недостаточны для сдачи экзаменов. И так два года подряд.

Евгений, вернувшись в Омск, готовился, прирабатывал, с жадностью читал запретные книги, осторожно выясняя, с кем будет его путь в новую жизнь.

Получить службу было трудно. Приходилось давать частные уроки, брать на дом переписку и не гнушаться сочинительством за других. Сочинительством писем, деловых бумаг, журнальных статей и рассказов.

Нелегкой была его жизнь. И, может быть, поэтому произошло то, что потом предредило ее дальнейшее течение.

VI

В епархиальном училище, где воспитывались дочери духовенства, оказалось вакантное место. Училищу нужен был не просто образованный преподаватель литера-

туры, а человек скромный, близкий по духу и образованию к епархиальному училищу.

Евгений Кузьмич Колосницын вполне соответствовал этим данным не только по полученным о нем сведениям, но и даже по прическе. Никому же не приходило в голову, что молодой человек носил длинные волосы, стараясь походить на Карла Маркса. Начальство епархиального училища предполагало, что будущий пастырь, присматривая хороший приход, готовит свою внешность заблаговременно.

И однажды любезнейшим письмом Колосницына пригласили в училище для переговоров.

На беседе с Евгением Кузьмичом было сказано, что, несмотря на его юные годы, начальствующие лица епархиального училища верят, что с отличием закончивший духовную семинарию Евгений Кузьмич окажется добрым наставником младших сестер своих и благочестивым преподавателем изящной словесности взамен рано покинувшего этот мир любимца воспитанниц и учителей епархиального училища...

У отцов-наставников духовных учебных заведений всегда хватало умения хорошо и возвышенно строить предложения, а также не было недостатка в умении закреплять сказанное организационно.

Кроме жалованья, которое и не снилось Евгению Колосницыну, ему предоставлялись длинные каникулы, гарантировались награды и множество льгот.

Его не прельстили бы никакие льготы и блага, если бы не началась война с Германией и если бы Евгению Кузьмичу Колосницыну в самое ближайшее время не предстояло отправиться в казармы. Не разобравшись еще в партийных тонкостях и оттенках, Колосницын все же отлично понимал, кому нужна эта война и во имя кого она затеяна. Понимая это, он не мог пренебречь одной из льгот, предоставляемой епархиальным училищем. И он сказал начальнику епархиального училища:

— Благодарю вас за честь. Я согласен.

Товарищи Колосницына не удивлялись этому. Лучше преподавать поповнам изящную словесность, нежели угодить в число бессловесной серой кобылки, отправляемой эшелонами туда... за Урал... за Москву... И еще дальше...

Евгений Кузьмич был уверен, что война кончится

очень скоро. И кончится революцией. К этому времени у него появится все необходимое, чтобы продолжить образование.

Так ему казалось до тех пор, пока он не понял, что ученица выпускного класса, сидевшая за второй партой, красавица с длинной русой косой, с лучезарными зелеными глазами, не безразлична ему.

Евгений Кузьмич не знал, да и не мог знать, но все остальные заметили, как сияли его глаза, когда он входил в класс, как звенел его голос, когда он читал пушкинские стихи, какие перемены произошли в его внешности.

И однажды его прелестная ученица, спрашивая о испонятом ею в «Мцыри» Лермонтова, задержалась с ним в классе после урока и сказала:

— Мы, оказывается, соседи, Евгений Кузьмич. Я из Дудина...

Село Дудино, в котором бывал Евгений еще мальчишкой, находилось в тридцати верстах от Дедюхина, на берегу большого озера. Там была старая церковь и священник отец Михаил. Про него дедюхинский поп Афанасий не раз говорил: «Не дай бог оказаться под его началом».

Значит, это ее отец, коли она носит отчество Михайловна и коли ее фамилия, как и его, Рождественская.

Когда с «Мцыри» было выяснено все, предупредительная ученица сказала:

— Меня уже ждут дома, как, наверно, и вас, Евгений Кузьмич... Пасха у нас такая веселая... Я поеду с вечерним почтовым в ту субботу. А утром на станции меня уже будут ждать папины лошади...

Евгений Кузьмич и не собирался на пасхальные капикулы в свое Дедюхино. А теперь нельзя даже представить, как можно не поехать с нею, когда ее глаза так приглашали его.

VII

И вот настал субботний вечер. Остановился почтовый поезд. Евгением Кузьмичом куплены пять билетов. Для себя, для нее и еще для троих учениц, едущих в том же направлении.

Когда поезд тронулся, епархиалки почувствовали себя вне стен училища, вне глаз его наставниц и настав-

ников, пригласили в свое купе учителя. Для них он явно не был тем «глазом», которого можно бояться. И Евгений Кузьмич чувствовал себя легко в их обществе. Они не церемонились с ним. Перевязывали по новой моде его галстук. Напевали вполголоса опереточные мелодии и посмеивались над учителями. В этом особенно изощрялась упитанная Ольга Левицкая, отсидевшая по два года в двух последних классах. Ей уже было больше двадцати. И ее цветущее здоровье едва мирилось с тесной одеждой.

«Неужели они знают о том, что я не говорил ей», — думал Евгений Кузьмич.

Они знали. Они все знали. А Левицкая даже и не скрывала этого:

— Да посиди ты, Ларчик, посиди со своим ненаглядным учителем, — сказала Левицкая и посадила Рождественскую рядом с Евгением Кузьмичом.

Тот залился краской. Вспыхнула и она.

— Как вам не стыдно, девочки!

Ответили хохотом.

Евгений Кузьмич, зная епархиалок хотя и ближе других, не мог и предположить, какой огонь горит в этих благочестивицах. В классах, где преподавал он, их опущенные ресницы, тихие голоса, неторопливые движения и все их ангелоподобное поведение не подсказывали и крупницы веселья, вспыхнувшего в вагоне.

Не успели отъехать и десяти-пятнадцати верст, как в купе постучали двое. Два семинариста. Они тоже ехали на каникулы.

Евгений Кузьмич уступил им место и вышел из купе. За ним вышла и Рождественская.

— У меня тоже болят от них уши. Давайте постоим у окна. Вон у того.

И они прошли к дальнему окну. В коридорном фонаре горела ленивым желтым пламенем сальная свеча. За окном заволочла землю апрельская темная ночь, как и полагается ночам предпасхальной недели.

— А я не люблю, Евгений Кузьмич, страстную седмицу, — сообщила ему Лара, глядя в темноту.

— Почему же не любите? — спросил он ее.

— Черная какая-то она. И ризы в церквях черные. И пение тоже какое-то черное. И на душе черным-черно. Чувствуешь себя виноватой в страстях господних, а потом и в его смерти. Я люблю пасху. Как было бы хо-

рошо, если бы круглый год... ну, хотя бы все лето была пасха. А потом бы, как выпасть снегу, сразу бы началось рождество. И святки были бы длинные-длинные. С покрова дня до масленой недели.

Она не стеснялась мечтать вслух. Она, кажется, вообще не стеснялась его. И ему показалось, что все уже решено. Не им, а ею. И его почему-то не удивляет, что эта ученица, еще не переставшая быть девочкой, решает теперь и за себя и за него, взрослого человека, за своего учителя.

В ее умных изумрудных глазах он видит себя, свою жизнь, свое счастье. Еще не ясно, каким оно будет. Обязательно будет, и ничто не может помешать ему.

— Евгений Кузьмич, а вы любите смотреть на убегающую дорогу? Я очень.

И она позвала его на площадку вагона. Их вагон был последним. На площадке оказалось свежо. Задувал восток. Он сказал, что нужно надеть пальто, и отправился за ним.

Кондуктор, сидевший на своем железном сундучке, предупредил, что на площадке находиться нельзя. В ответ на это девушка сунула ему в руку несколько марок. Тогда вместо серебряных монет ходили приравненные к ним почтовые марки. На их обороте вместо клеевой пленки значилось, что эти марки имеют хождение наравне с серебряными монетами того же достоинства.

Взяв марки, кондуктор разрешил постоять им до станции и не преминул сказать, что все дорожает, что война не милует и богатую Сибирь.

Война была где-то там, далеко-далеко; куда убегали из-под вагона шпалы. О войне Ларочка Рождественская знала главным образом по молебнам и по прапорщикам, которые появлялись в Омске, а потом исчезали. Война была еще дальше от поповского дома в Дудине, где только вздыхали, крестились, радовались победам христоролюбивого воинства, а в чем состояли эти победы, Лара не представляла, хотя и была твердо уверена, что русский православный царь Николай Александрович вместе с похожим на него лицом английским королем Георгом и вместе с французским президентом, похожим на приехавшего в епархиальное училище архимандрита, победят кайзера Вильгельма и второго супостата рода человеческого, Франца-Иосифа, и все будет хорошо. И это хорошо уже началось. Евгений

Кузьмич, которого она будет называть по-французски Эжен, заботливо застегнул на ней все пуговицы пальто и теперь стоял рядом и смотрел на убегающую железную дорогу.

И ей кажется, что так теперь будет всегда. Она смотрит на дорогу и говорит:

— Когда я гляжу в ту сторону, мне всегда хочется убежать по шпалам.

— Куда вам хочется? — спрашивает Евгений.

И Лара мечтательно отвечает:

— Туда, где огни. Где много огней. В Петербург

— А зачем?

— Не знаю. Мне кажется, что я должна жить там. Я вижу во сне столицу. И балы... И Невский и «Исаакий святой с золотой головой»... И себя с каким-то высоким студентом...

Кондуктор, догадавшись о желаниях девушки, просит ее постеречь десяток минут сундучок, а также, если будет возможно, добавить недостающее до пачки папирос «Кузьма Крючков».

Лара вынимает из шитого бисером кошелька еще несколько марок, и кондуктор уходит.

— И я тоже вижу сны, похожие на ваши. Но можно ли жить снами?

— Все начинается с них, Евгений Кузьмич. И от людей зависит, остаться ли снам снами или ожить.

Тут как-то случилось так, что она приблизилась к нему. Или это произошло от качки вагона, или от порыва ветра, толкнувшего ее к нему, или они оба сделали движение друг к другу...

VIII

А потом забрезжило утро. Они сошли на маленькой станции. День обещал быть ясным, как и новая жизнь, начавшаяся вчера ночью.

Лару встретила мать. Полная, розовощекая попадья лет пятидесяти.

— А это мой учитель...

На попадью Евгений Кузьмич произвел хорошее впечатление, и она сказала, что ему вовсе не следует нанимать лошадей, когда так и так придется ехать через Дудино, а оттуда рукой подать до Дедюхина.

После недолгих отказов Евгений согласился, и фаэ-

тон тронулся по примороженной утренним заморозком дороге.

Всесло хрустели под колесами льдинки застывших дуж. Легко бежали сытые полукровки. Близко, рядом, с замирающим сердцем сидела его Лара.

Как-то будет дальше?

А дальше тоже было все хорошо.

Дудинский поп отец Михаил, исхудавший от поста и служб, встретил Евгения Кузьмича приветливо. Посоветовал ему отдохнуть, а затем велел работнику перепрячь пару свежих коней и доставить любезного учителя в Дедюхино.

Отец Михаил жил в собственном, еще дедовском доме. Свой дом надежнее церковного. Уходя на покой, не надо помышлять о жилище. А о покое отец Михаил уже подумывал. Сам он был здоров и могуч, но плохо держали ноги. Не помогли и целебные грязи окрестных горьких озер.

Дом отца Михаила обставлен по-настоящему. Все тяжело, все увесисто. На стенах, кроме царей и цариц, портреты предков, как фотографические, так и писаные. Писанные, видимо, владимирами-отходниками, приезжавшими в поисках заработка в дальние сибирские волости.

Отец Михаил — потомственный поп этого прихода. Приход передавался из рода в род более полутора веков. Либо сын занимал место отца, либо дочь выдавали замуж за подысканного преемника дудинского пастыря.

Обед был постный, но сытный. Попадья, веселая, общительная и, кажется, дальновидная, сообщила, что женщина, будучи сосудом дьявола, остается верной себе и на страстной неделе, а поэтому, пока благочинный отпускает грехи, она не сочтет нарушением поста принятие Евгением Кузьмичом стаканчика постной наливочки.

В продолжение обеда матушка выказывала всяческое внимание молодому учителю и, как само собой разумеющееся, пригласила его на второй день светлого Христова воскресенья похристосоваться с нею и с ее единственной дочерью Ларочкой.

Лучшего и не мог желать Евгений Кузьмич.

Уезжая из Дудина на паре свежих поповских полукровок, влюбленный думал не о встрече с матерью, отцом, семьей, которая боготворит его, а о втором дне

пасхи, когда он снова встретится с ней, повенчанной навсегда самым первым в его жизни поцелуем, там, на площадке вагона.

Дома он ничего никому не сказал, но все заметили, что пришла пора милому Енюшке вить гнездо, обзаводиться своей семьей. Только где? Конечно уже не в Дедюхине. Зачем ему, образованному человеку, старый дом рядом с дымной кузницей, когда он может жить в самом Питере?

Рано утром на второй день пасхи Евгений ускакал на отцовском вороном жеребце в Дудино. Теперь мать и отец связали это с парой соловых лошадей дудинского попа, на которых приехал их сын. Не зря, видно, прижимистый, скопидомистый отец Михаил погнал свою пару и дорогой фаэтон. Да и поповский работник, ночевавший у кузнецов Колосницыных, тоже, наверно, не зря обронил слова о райской красе-басе зеленоглазой поповочки.

IX

Радостно скакалось Евгению по широкой целине.

Хорошо бежит вороной жеребец Буран, минуя новосельские и старожильские деревни. И чем меньше остается их впереди, тем длиннее кажется путь. Конь уж в белой пене, но за дальней степной гривой видится старая дудинская колокольня и слышится звон во все колокола после рано заканчивающейся короткой пасхальной обедни.

И вот оно — Дудино. Старое, почерневшее от долгих лет село. Но и в нем появились новосельские саманные мазанки, избушки-пластанки, сложенные из целинной дерновины. На озере еще не растаял лед, а утки, гуси, лебеди носятся над полыньями, затеявая тысячи свадеб.

Паруется все живое. Ждет ли она его?

Ждет. Вон ее личико в крайнем окне. А вот и кружевная попадья — в другом.

Давай, Буран, давай... Тебя ждет отдых, а за ним, как остынешь, хорошая мера ядреного ячменя.

И вот он в доме...

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

И далее троекратные лобызания сначала с отцом, потом с матерью и с нею.

Какой хороший обряд! Всем со всеми можно целоваться. Отец Михаил, кажется, уже напричащался после обедни. От него пахнет наливкой. А от матушки поросенком. Губы у нее жирные, рыхлые. А у Ларочки маленький-маленький ротик и тонкие-тонкие губки.

Никогда не забудется этот день Евгением Кузьмичом. Никогда не забудется он и ею.

Она в кружевном нежно-розовом платье с воланами. В нежно-розовых шелковых тонких чулках, в атласных розовых туфельках, и сама тоже розовая-розовая от счастья и молодости...

Сидение за столом оказалось недолгим. Пасха у отца Михаила — страдная пора. Столько домов, столько деревень — не объедешь и до вознесения. Дьякон уже ждет. Пономарь нетерпеливо заглядывает в окна.

Пора.

Двор и дом пустеют. Попадья обещалась отдать визит купцу Нагилеву. Нельзя иначе. Кроме золоченого яйца, он вчера похристосовался с отцом Михаилом стельной коровой.

И вот они одни...

Ни отца, ни матери, ни кондуктора!..

Ах!..

Сначала он оробел. Светло же. Это же не площадка вагона. И она совсем какая-то не такая. Неприкосновенная. Светящаяся. Даже когда он смотрит на нее, и то, кажется, его взгляд оставляет на ней, на ее платье невидимые следы. Ее одежда будто соткана из зари, и сама она заря.

Ларчик! Так не зря называют ее матушка и подруги. Как много заключено в этом имени! Ларчик. Волшебный Ларчик. Хочется встать перед нею на колени и признаться в любви по-латыни. Признаться так, чтобы много не поняла она.

Видя замешательство возлюбленного, Ларчик решила приоткрыться. И она показала ему, как плетутся кружева.

— Смотрите, Эжен! Смотрите!. — Она принялась перебирать коклюшки, и от этого тонкие белые нити стали сплетаться в кружево, напоминающее узоры мороза на стеклах окон.

— Какая прелесть! Это же чудо! — искренне восторгался Евгений Кузьмич. — Кто же научил вас, Ларочка, этому искусству?

— Сначала мама, а потом нас обеих доучивала кружевница из Вологды.

Коклюшки буквально играли в ее руках.

Показав возлюбленному не столько мастерство кружевного плетения, сколько свои маленькие прелестные ручки, она пересела к фисгармонии — обязательной принадлежности каждого поповского дома. Сначала Лариса отдала дань празднику и, аккомпанируя себе, бравадно пропела: «Пасха, священная пасха!..», а потом перешла на высокий регистр, который она для себя называла «взволнованно-мерцающим», потому что звуки на самом деле как бы мерцали, подобно свече на ветру, и принялась играть вступление к романсу «Ночь». Понимался ее голос. Высокий: Взволнованный.

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.

Ничего подобного не приходилось слышать Евгению, знавшему до запятой слова этого пушкинского стихотворения, которые теперь были ее словами, ее признаниями в любви к нему. Это совсем не то, что произошло на площадке вагона. Это был крик ее души, порыв ее восторгов.

Текут ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною.
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю...
твоя... твоя!

Заключительная строка романса прозвучала как прямое предложение быть обнятой, зацелованной...

И все закружилось. Запели стены, столы и стулья. Запело кружево на пуге и висающие на ниточках коклюшки-марионетки. Они танцевали.

А потом он носил ее на руках и спрашивал, сажал на колени и спрашивал:

— Не сон ли это, не сон ли?..

Нет, это не было сном, но стало им...

Х

Летом Лара распрощалась с епархиальным училищем и снова вернулась в отцовский дом. Евгений Кузьмич, как и водилось в те годы, попросил у отца Михаила руки его дочери.

Было видно по всему, что последует согласие, и оно последовало.

Отец Михаил сказал:

— Лучшего жениха я не желал бы своей дочери, однако же...

Далее начались пространные и, видимо, хорошо продуманные рассуждения. Начались они с родословной и показывания портретов предков не менее древнего рода священнослужителей, нежели храм села Дудина.

Затем было сказано, что всевышний ниспослал многогрешному попу Михаилу единственное чадо, дочь Ларису, с коею престарелые родители не могут расстаться, ибо она единственное утешение и последняя в священническом роду.

Закончив с родословной, отец Михаил перешел к хозяйственной стороне дела:

— Девять коров. Шесть лошадей. Две дюжины овец. Три свиньи, один боров. От сорока до пятидесяти десятин посева при двух рабочих и двух работницах. Худородный, но сад, да еще и огород. Надворные строения. Своя птица. Дом на двадцать окон. И второй, старый, дом для рабочих. Хозяйство. Кому его передать?

Помедлив, расчесывая пальцами густую черную бороду, отец Михаил принялся, как бы отвечая на свой вопрос, рассуждать далее:

— Ну, хозяйство хозяйством. Все под богом ходим. А приход? Тридцать одна деревня и одно село, не считая строящихся новопоселений. Куда, кому этот приход, налаженный, благочестивый, отцами-дедами-прадедами вдоль и поперек изъезженный, исхоженный, где каждые восемь из десяти крещены моими руками или руками моего отца, благочинного Владимира? Почти что нет в приходе пары, не нами венчанной, ежели не считать кержаков-двоеданов да новоселов — лютеран и католиков.

Опять с минуту помолчал маститый поп и опять стал спрашивать себя и себе же отвечать:

— Кому передать этот приход? Новоявленному молодому табакуру из семинарии? Незнакомому расейскому попу из голодного уезда, зарящемуся на большое стадо, выпасенное в богобоязненной щедрости? Немало найдется таких пастырей и в нашей епархии и во всякой другой. Ибо всегда находятся сосунки, жадные до сосцов неистощимого молоконосного вымени. Наведыва-

лись неоднократно искатели богатых невест, а вместе с ними и доходного рукоположения во диаконы, а затем и во иереи. Один олух заглазно, по Ларочкиной фотографической карточке, готов был просить моего и матушкиного благословения. Да я скоро дал понять, что приходящий по чужую шерсть уходит стриженным.

Говоря так час-другой, отец Михаил почувствовал себя утомленным и, считая, что к сказанному добавить нечего, заключил свою беседу так:

— Вот храм твой, Евгений Кузьмич... Вот дом наш, и приход мой, и все добро... А со всем этим сокровище мое Лариса. А за это клятвенное целование креста с обещанием заменить меня, страждущего покоя и отдохновения. И ты присягнешь мне вместе с ней, с голубицей твоей, оставить в мыслях своих иные пути, кроме начертанного вам богом, любовью и судьбой.

Закончив так, отец Михаил поразмыслил и добавил:

— Само собой, такие дела в один день не решаются. И мне в епархии надо побывать еще раз... И тебе, сын мой Евгений, надо досконально все взвесить до клятвенного лобзания креста господня.

После ухода в опочивальню отца Михаила заговорила матушка:

— Да что это лица на том и другом нет... Как будто вас на каторжные работы обрекают или свинопасами хотят поставить. Жалованье-то учительское, оно что... От числа до числа. А город только до первого ребенка веселый Вавилон, а потом нехватки, с квартиры на квартиру... Кухарка-воровка, нянька-блудня. А тут-то, тут-то... Хоть и кличешься попом, а живешь королем. И кто попу мешает науками заниматься, в город наведываться, гостей принимать... Двери, ставни закрыл, и никому до тебя дела нет. Вон какие мы балы задавали... И карты и вина всякие, а уж про жареное, пареное, вареное, моченое и толченное вспоминать нечего. И не только что в Петербург, а и в Рим, в Париж, в Венецию дорога не заказана. Ну, что вы, право, как в воду опущенные... Не желательно ли наливочки...

Не до наливочки было Евгению Кузьмичу. Лариса плакала, запершись. Она знала, что отец будет стоять на своем, что лошади, коровы, дом, приход — это первых, а она — во-вторых, а может, и в-десятых.

Главное — сохранить нажитое, потомственное, и все подчинено этому. Ее отец, священнослужитель, оказы-

вается, ничем не отличался от скотопромышленника Евлампия Нагилева. Он тоже ищет для своей дочери не мужа, а «упрочителя своих капиталов».

Теперь остается единственный выход: бросить дом и бежать с милым в Питер.

XI

Лариса скоро поняла разницу между задуманным побегом и осуществлением задуманного. Все было против нее, начиная с домашнего ареста. Ее одну теперь не отпускали никуда. Работники и работницы были предупреждены. Ход Евгению в поповский дом был закрыт. Он мог явиться только в одном случае — в случае его согласия с отцом Михаилом.

— А так что же, — предупредила его попадья, — и ей сердце терзать и вам себя тиранить, Евгений Кузьмич.

Отец Михаил ни на минуту не сомневался, что все будет по его решению. Дочери он сказал:

— В какой же Питер может поехать твой Эжен, когда на другой же день после ухода из епархиального училища ему забреют лоб. Теперь и с плоскостопием берут и на белый билет не смотрят. В нестроявые зачисляются.

Против этого довода возразить было нечем. Мало ли похоронных пришло в Дудино. Сколько слез, сколько вдов... И вдруг он, ее милый, такой простой и открытый, должен пасть, как тот прапорщик из песни, со знаменем в руках. Это хотя и очень почетно, но ведь тогда не будет его... Значит, ничего не будет.

Ларочка, обливаясь слезами, плетет с горя кружева. Ожесточенно плетет с утра до вечера, чтобы не сойти с ума.

Однажды, уставившись в кружевной узор, она в хитроумном переплетении нитей увидела нечто, не приходившее до этого ей в голову. И тут же она принялась за тайное письмо возлюбленному. Бисер букв и сочетание слов тонким и затейливым кружевом ложились на бумагу. Она утверждала, что стать попом еще не значит закрыть себе все и навсегда, но иногда чем-то нужно и попустить, чтобы не потерять всего.

В строки письма еле заметно был вплетен кощунственный намек, что жестокость ее родителей не вечна, как не вечно все, кроме царствия небесного.

Евгений Кузьмич, понемногу разбираясь в кружевных тонкостях письма, почувствовал, что протест в его душе сменяется колебаниями.

В самом деле, не вечен же долгогривый тиран. Не вечна и тирания в стране. Все чаще и чаще доходят слухи о возможном свержении царя.

Через неделю в Дедюхино пришло второе душераздирающее письмо. Лара боялась, что в минуту отчаяния она наложит на себя руки.

А еще через неделю вороной жеребец Буран мчал Евгения Кузьмича в Дудино. Теперь он ненавидел попа, попадью и себя, будущего попа.

Мать Евгения заливалась слезами. Не хотела она видеть сына попом, зная его убеждения, совсем не согласные с верой.

Кузнец Кузьма на всю горницу семизетажно бранил «троеклятого попа Афоньку». Это же он, а не кто другой, уговорил их отдать сына в духовное училище. Не будь Евгений в нем, не кончи окаянную семинарию, как бы он встретил «зеленоглазую ящерицу», а если б и встретил, кто мог назначить его попом? Кузьма говорил, что если бы не боязнь попасть в золотые роты, на каторгу, то он бы сослужил отцу Афанасию панихиду заживо.

Но что теперь можно сделать? Над кем не смеялась любовь? Кому она не застилала глаза, не туманила голову?

Состоялась торопливая помолвка. Близилось начало учебного года. Обрученный уехал в епархию с отцом Михаилом, который должен был получить обещания. И он получил. А Евгений тем временем устраивал последнюю пирушку с друзьями.

Разные это были люди. Кому-то было смешно, кто-то был искренне огорчен, а кто-то, как, например, большевик Алексей Смирнов, и не верил, что Женька Колосницын всерьез идет в попы, но все сходились на том, что, кем бы ни стал их друг, он никогда не изменит дружбе. Евгений торжественно поклялся в этом. И друзья расстались.

XII

Началась новая жизнь. Сначала дьякон Колосницын служил в церкви села Дедюхина у состарившегося отца Афанасия и жил вместе с Ларисой в доме примирив-

вшихся кузнецов. А что им оставалось делать? Не выгонять же родного сына и племянника.

Жил он в Дедюхине недолго. Рукоположенный во иереи и став отцом Евгением, Колосницын получил дудинский приход.

Это произошло накануне Февральской революции 1917 года.

Ушедший на покой отец Михаил, узнав о свержении царя, слег. Болезнь мужа, расстройство большого хозяйства, которое было на матушке, подточили и ее здоровье. А после Октябрьского переворота хозяйство дудинского священнослужителя признано было «кулацким с наемным трудом в количестве четырех постоянных работников», не считая летних батраков. Не вынеся этого, отец Михаил умер, проклиная власть красного дьявола.

Теперь Евгений Кузьмич мог оставить церковь и вернуться на свой путь, и он готов был это сделать, но надвигалась страшная, кровавая полоса колчаковщины. Может быть, и это не остановило бы Евгения Кузьмича, если бы не встреча с товарищем по семинарии Алексеем Смирновым. Он сказал:

— Женя, если уж ты сделал глупость, так не старайся пока быть умным.

Алексей Смирнов прибыл от группы подпольщиков. Он якобы бежал от большевиков из Тулы. При нем были «документы» тульского соборного диакона. И если бы кто-то усомнился в его принадлежности к духовному званию, то бывший семинарист отслужил бы в доказательство любую из церковных служб. Но как укрыть его и товарищей?

Евгения Кузьмича мучило двойственное положение. Одно — быть подпольщиком при белых, другое дело — оставаться невесть кем теперь. Но опять же Лара... Милая, рассудительная Ларочка плела новые кружева.

— А как же наш маленький Володя? Как же я? Одна? Уходя к ним, ты должен пойти за ними, в их армию... Что будет с нами? Подожди конца войны, и мы тогда вместе уедем отсюда в Петроград или Москву.

И Евгений Кузьмич, еще более презирая себя, ненавидя свою уступчивость, поддался слезам жены.

А потом пришла весна. Страшная весна для Евгения Кузьмича.

Континентальная весна приходит стремительно. Дует, дует пурга неделю-другую. Ни зги. Белая мгла. А потом вдруг на голубом небе яркое солнышко, проталины, растущие буквально на глазах, и... весна.

Такой была весна 1920 года.

В Дудино приехали новые люди из Петрограда и Москвы. Ученые. Их, как было сказано Евгению Кузьмичу, приехало много, и жить они будут по разным волостям. Одни займутся озерами, другие — почвами, третьи — животными. Попросили и Колосницыных приютить образованного постояльца.

Молодой ученый произвел на них очень хорошее впечатление. Его появление осветило старый поповский дом. Стеснительный, боявшийся съесть лишний кусок, не понимавший, что это не Петроград, а Дудино, где варят по целой бараньей ноге и жареная утка никакая не редкость, как и сливки. Изголодавшись в Петрограде, он был счастлив и благодарил буквально за каждый кусок. И Ларочка, ставшая теперь Ларисой Михайловной, тоже радовалась каждому съеденному им куску. Ей доставляло удовольствие, когда он смущенно говорил:

— Мне очень совестно, но я съем еще вот этот кусочек...

Он ел. И лучезарные глаза Ларисы Михайловны смеялись.

Рад был и Евгений Кузьмич. Наконец-то хоть какое-то разнообразие для Ларисы. Приехал настоящий, столичный человек из далекого города манящих огней. Интересные вечера бывали теперь у Колосницыных. Образованный жилец так прост и так общителен. Он нянчится с маленьким Володей. Охотно помогает на кухне Ларисочке. Топит печь. Прожив три дня, он будто прожил здесь три года. А на вторую неделю стал чуть ли не самым близким другом обоих.

Очаровательный молодой ученый изучал недра земли. Евгений Кузьмич, и не думая поразить своего постояльца, сказал ему между прочим о выходах железной руды и об отцовской штоленке в Старо-Карасихинской роще.

Ученый не верил своим ушам. Его восторженные глаза сверкали. Оказывается, он давно был уверен в железорудных залежах этого края. Но его доводы и главным

образом теоретические выкладки никого не убеждали. А теперь...

А теперь даже трудно представить, что произойдет, если услышанное им правда.

На другой же день на заре была обследована штольня в роще. Тихий, застенчивый Павел Захарович (именно так звали молодого ученого) выражал радость открытия так бурно, что Колосницыны опасались — ладно ли с ним.

Пешком и чуть ли не бегом отправился счастливец в Дедюхино к отцу Евгения Кузьмича. Они обнимались. Пили на радостях самогона в недозволенных дозах.

Только подумать — нашелся ученый человек, который подтвердил богатую руду падающих пластов железорудного месторождения.

Кузьма Колосницын дал новые сведения о руде. Он знал ее выходы на дне озер. Говорили о руде колодезники, упиравшиеся в каменные глыбы, не достигнув воды. Все это давало возможность предположить громадные размеры одного и того же пласта и по меньшей мере несколько малых месторождений, каждое из которых могло стать самостоятельным заметным рудником.

Теперь очень много говорилось о недалеком будущем края. По вечерам собиралось прелестное общество, и увлекающийся Павел Захарович Лутонин (именно эту фамилию носил он) рассказывал, каким неузнаваемым станет Дудино, когда здесь задуют доменные и сталеплавильные печи, когда земля, славящаяся зерном и скотом, станет знатна своей сталью, а за ней и заводами, перерабатывающими металл в изделия.

Приятно было слышать такие слова коренным жителям Дудина, только трудно и, пожалуй, невозможно было поверить в эти мечтания Лутонина. Потому что чем дальше, тем труднее и напряженнее становилась жизнь. Не было даже спичек. Будто вымерло, вытравилось, кануло куда-то самое простое, расхожее, продаваемое ранее всюду. Керосин. Мыло. Чай. Сахар... И даже несчастную соль, которую никто ни во что не ставил, выменивали на дорогие продукты. Ну, а уж про всякие посылные товары, одежды, обуви, и думать забыли. Не верилось, что это все было. Не сон ли...

Не сон ли, когда, бывало, баба шла к купцу и он измерял аршин сто разных мануфактур да еще соглашался ждать деньги до осенней поры, когда снимут хлеб,

свезут на базар свежемороженые туши коров, овец и прочую снедь.

А что же теперь? Что же?

И впрямь, выходит, смеяли Колчака на губчека и придачу второй год вывести не могут. Все давай, давай разверстывай, давай вези на ссыпной пункт. Так можно дойти до того же, до чего уже дошла Расея...

XIV

Эта весна в Дудине, Дедюхине, да и в других селах была особенно сложной и шумной. Одни создавали коммуны, а другие прятали от продовольственной разверстки хлеб. Прятали и оружие, оставшееся после разгрома колчаковской армии. А громили ее все, от мальчика до стариков.

Кулацкие слои мutilи зажиточное крестьянство. Трудности с продовольствием в центральных губерниях и в Красной Армии требовали дополнительных сборов зерна, мяса, масла. Продовольственная разверстка объективно помогала кулацкому сопротивлению.

Евгений Кузьмич произносил в церкви и на сходках проповеди. Рассказывая о войне 1812 года, о пожаре Москвы, о патриотических подвигах народа, не щадившего ни живота своего, ни имущества, ни хлеба, находил продовольственную разверстку единственной мерой спасения от войны, от иноземного нашествия. И его проповеди оказывались действенными. В его правде не могли найти прегрешений перед богом и народом даже кулацки настроенные элементы. Пожалеть хлеб и оказаться под чужеземной пятой было еще хуже, чем жить при красной власти. «Хоть большевики, а все-таки свои», — говаривали, крестясь, дудинские мужики. Евгений Кузьмич теперь отлично понимал, почему Алексей Смирнов просил его хоть немного, да походить в полах. И Колосницын также понимал, что он не кривит душой, как поп, если бы даже он чувствовал себя им. Речь идет о бесконечно дорогой Родине, о благополучии и счастье народа, из которого он вышел, которому принадлежит, которому он обязан всем — вплоть до своего злополучного семинарского образования, и он должен, он будет «глаголом жесть сердца людей».

А события в старом поповском доме развивались своим чередом.

Ларочка поняла, что она влюблена в молодого ученого. Влюблена так, что теперь для нее никого другого не существовало. Понял и он, что здесь, в далекой Сибири, он встретил женщину, в которой заключено все. И, кажется, жизнь.

Они, давно объяснившись глазами, старались не прибегать к словам. Но когда приблизилась разлука, она спросила его:

— Как же теперь я останусь без вас?..

И он, исстрадавшийся, бледный, сказал:

— А как я теперь сумею уехать и жить один,— и заплакал безутешно, как осиротевший мальчишка.

Было видно, что слезы и слова вырвались сами собой. Видно было, что ему мучительно трудно произносить их в этом гостеприимном доме, ей, замужней женщине, жене человека, который так доверчиво приютил его и обласкал.

Плакала и она. Плакали, обнявшись, они оба. Плакал и маленький Володя, не понимая, что происходит с его матерью.

Истекали последние дни. Евгений Кузьмич, ничего не замечая, по-прежнему был внимателен к своему жильцу. А любовь-разлучница требовала решимости от Ларисы. Она уже, кажется, не любила Евгения, любя другого. Она уже внутренне обвиняла мужа в том, что тогда им не были найдены способы, чтобы увезти ее, чтобы избегнуть поповства. И если она сейчас не будет решительна, то все, что будет потом, станет пыткой.

Долгие, бессонные ночи. Мучительные, страшные думы. И, главное, во все эти кружева неотрывной нитью вплетался он, этот маленький мальчик, поторопившийся появиться на свет.

Как-то вечером к Колосницыным зашел Алексей Смирнов. Он теперь был уполномоченным по продовольственной разверстке десяти волостей. Он пришел и сказал Евгению Кузьмичу:

— Плохие вести, друг мой... Кулачье замышляет завтра восстание. Штаб у них в Старой Карасихе. Восстание обречено на гибель. Но будет пролито много крови с обеих сторон...

Докурив свою самокрутку, Смирнов сказал тогда:

— Я ни о чем не прошу тебя. И не могу просить. Я только хотел, тебя поставить в известность... А вдруг да у тебя найдется какой-то правильный ход...

Смирнов и Колосницын сидели на кухне до полуночи. До полуночи сидели в столовой и влюбленные. Это был их последний вечер. Завтра они должны будут расстаться.

Уже было совсем поздно, когда Евгений Кузьмич сказал жене:

— Завтра я, Ларочка, очень рано уеду в Старую Карасиху. Там у меня очень важное и опасное дело.

Утром на заре Евгений Кузьмич простился с молодым ученым:

— Сожалею, Павел Захарович, что мне вас не удастся проводить до станции.

Они тепло простились, Евгений Кузьмич нежно и долго целовал жену, а потом маленького Володю, будто он мог не вернуться из Старой Карасихи.

XV

Деревня Старая Карасиха еще спала, в то время как повстанцы поодиночке пробирались в березовую рощу, где ожидали их штабс-капитан Иволгин и его адъютант. Они-то и поведут мужиков на Дудино, а потом наперерез железнодорожной линии.

Из соседних деревень стекались пешие и конные.

— Для начала хватит и сотни,— предупреждал Иволгин заговорщиков,— когда восстание вспыхнет, примкнут тысячи.

Штабс-капитан боялся, что при большой огласке найдутся колеблющиеся и восстание будет подавлено до того, как начнется.

Отец Евгений в этот час приближался к Старой Карасихе. Он ехал верхом на Буране, с непокрытой головой, в черной рясе с нагрудным литым серебряным крестом. Его нагнал рыжий мужик из деревни Матушкиной. Нагнав, он поздоровался. Снял картуз и спросил:

— Тоже, никак, молодой батюшка, решили примкнуть?

Колосницын, не ответив, спросил рыжего мужика:

— А где они собираются, Леонтий?

— Во-он,— указал мужик на рощицу.— Их теперь там тьма-тьмушая.

— А ты уж примкнул? — спросил его Евгений Кузьмич.

— Прикидываю пока что,— уклончиво ответил рыжий мужик.

Дозорный в роще заметил верховых и доложил:

— Имею честь, господин штабс-капитан. Сюды едет поп... Или бы, как сказать, отец Евгений.

— А он-то зачем? — всполошился пузатый мельник из Старой Карасихи.

Штабс-капитан нервно закурил сигарету.

— Приедет — увидим,— стараясь быть хладнокровным, сказал Иволгин.— А каков он вообще?

— Да кто его знает,— опять заговорил пузатый мельник.— Ни нашим ни вашим, а насчет родной земли проведует как надо.

Тем временем Евгений Кузьмич был уже близко. Его темно-каштановые волосы шевелил утренний ветерок. Он ехал медленно, будто давая пораздумать наблюдвшим за ним о цели его появления.

И вот он въехал в рощу. Его лицо было бледным. Поправив нагрудный крест, не слезая с жеребца, он, как с амбона, обратился ко всем твердым и громким голосом:

— Мир вам, овцы мои!

Послышалось: «Здравствуй, батюшка», «Доброго здравия, отец Евгений». Иные просто поклонились.

— Мне стало известно, что сегодня назначено восстание.

— Откуда это вам стало известно, батюшка? — слышался голос мельника.

— Об этом не знают только глухие, сын мой, перебивающий своего пастыря, приехавшего спасти вас.

Штабс-капитан выбил хлопком ладоней из мундштука сигарету и приказал:

— Дайте закончить батюшке спасительное слово, а потом мы зададим ему наши вопросы.

Колосницын оставался по-прежнему спокоен. И все видел, что в нем самообладания было больше, чем в их вожаке штабс-капитане Иволгине.

— Я считаю своей священной и человеческой обязанностью,— продолжал громко и внятно Колосницын,— предупредить вас до того, как прольется чья-то кровь, до того, как жены многих из вас станут вдовами, а дети сиротами,— восстание обречено на гибель.

Толпа заволновалась. Штабс-капитан отстегнул кобурку маленького кольта и снова застегнул ее.

— Вас три-четыре десятка... Там сотни вооруженных людей... За вами степь, камыши, голодное скитание... За ними страна. Армия. Миллионы людей! Государство.

Колосницын видел, что сказанное им находит отклик в душах заговорщиков, и потребовал:

— Кладите оружие, безумствующие самоубийцы, и расходитесь по своим домам... И я обещаю вам... — Он не договорил.

Выстрел оборвал его речь. Испуганный Буран метнулся. Евгений Кузьмич упал в траву. Рыжий мужик, приехавший с ним, бросился к своему попу, три недели тому назад крестившему его сына.

— И на него, значит, вы тоже подымаете руку! — заорал он, разрывая подрясник, затем рубаху Колосницына. Из груди Евгения Кузьмича сочилась кровь. Рана была неглубока. Но дело было теперь не в ране. Многие видели, как с выстрелом шевельнулся и отскочил в сторону нагрудный крест отца Евгения. Пуля попала в крест. И не просто в крест, а скользнула по груди рельефного изображения распятого Христа.

И это первым увидел рыжий мужик Леонтий. Не помня себя, он приподнялся и показал всем помятый крест и заорал:

— В чью ты грудь выстрелил, Иуда?

Лицо Иволгина было белее ствола березы, возле которой он стоял. Его руки тряслись. Взоры всех устремились на штабс-капитана. Это были страшные взоры темных, полуграмотных мужиков, среди которых был один старой веры. Начало восстания с выстрела в крест не предвещало ничего хорошего. О восстании не могло быть и речи. Это теперь понимали все, и в том числе Иволгин.

Неясно было одно, как поступят с ним. Предприимчивый адъютант уже улизнул... Да он и не нужен был мужикам. Тяжелое молчание длилось несколько минут. Его нарушил стон Колосницына. Не рана мучила его. Она была ничтожна. Пуля, остановленная массивным литым крестом, была извлечена из его груди зубами рыжего мужика. Евгений Кузьмич, падая с коня, ударился головой о рудный валун и лишился чувств. Надо же было так наслоиться обстоятельствам.

Стон повторился, и пузатый мельник приказал Иволгину:

— Дай ливорверт!

И будь бы Иволгин умнее, пойми он, что происхо-

дит в душах мужиков, он бы подчинился приказу. А в нем проснулся гусар, мелкопоместный дворянин, и он крикнул:

— Хватит чудить!..

Эти слова разрубили последнюю нить его контакта с мужиками. Удар в зубы. Руки Иволгина завернуты назад, затем связаны.

Когда Колосницын очнулся и попросил пить, он увидел себя на телеге, в окружении чуть не двадцати старых и молодых женщин. Одни плакали. Другие укладывали удобнее их доброго, дорогого, а теперь уже почти святого батюшку отца Евгения на телегу.

Смутьяна Иволгина было решено привязать к березе и сообщить об этом в волость. Но дожидаться штабс-капитану Иволгину революционного суда не пришлось. В лес прибрела старуха-начетчица из двоеданок. Она приползла сюда, чтобы своими глазами увидеть крест, в который попала пуля. И когда она в этом убедилась, ее черное лицо с крючковатым носом почернело еще больше. Ее глубоко провалившиеся глаза провалились еще глубже. И она подошла к привязанному Иволгину и прокричала дребезжащим голосом:

— Анафема! Будь проклят отныне и во веки веков!

— Будь проклят! — трижды повторили женщины, пришедшие со старухой, и принялись помогать ей подносить хворост.

Телеги уже ушли. Березовая роща опустела. Иволгин был сожжен живым под пение «Тебя, боже, хвалим».

Слова поющих и крики Иволгина слышали многие, но никто не хотел вмешиваться. Потому что расправа с главарем восстания хоть как-то обеляла смутьянов.

XVI

Приведенный сердобольными женщинами в чувство, Евгений Кузьмич хотел как можно скорее попасть к жене и сыну. Но их уже не было в старом поповском доме. На столе в столовой лежала наспех написанная записка:

«Прости меня, Евгений, за то, что я покинула тебя. Не ищи меня и сына. Сын не должен терять свою мать. Лариса».

Евгений Кузьмич ничего не знал о побеге жены, возвращаясь на телеге, обложенный подушками, в сопро-

вождении женщин, идущих за телегой, как ходят за гробом. Встречные снимали шапки. На душе Колосницына было радостно. Он выполнил долг гражданина и человека. Он выполнит и обещание, данное повстанцам, сложившим оружие. Их не тронет никто.

А тем временем дудинские беглецы пересели в мягкий вагон почтового поезда, идущего в Москву.

По этой дороге Лариса так недавно ехала с Евгением, и шпалы и рельсы, ведущие к ярким далеким огням, бежали от нее. А теперь они бегут навстречу ей. Ее счастью. Ее новой жизни. В вагоне тепло, светло. Маленький Володя сидит на коленях у ее возлюбленного, и Лариса говорит:

— Теперь это твой сын... И он никогда не должен знать, не должен даже усомниться, что это не так. Поклянись!

Евгений Кузьмич узнал о побеге Ларисы от Алексея Смирнова. Он посоветовал ему не заезжать в старый поповский дом и побороть свою горе в родной семье. В Дедюхине. Туда он и доставил его.

В Дедюхине Колосницын снял рясу и больше не надевал ее. О Ларисе Евгений Кузьмич не сказал ни одного плохого слова. Он не упрекнул ее и за то, что она, как сказала мать, «заманула его в попы и бросила в попах».

Евгений Кузьмич даже оправдывал свою Ларису, повторяя себе и другим: «Значит, пришла к ней любовь, большая и настоящая». А про себя надеялся, что пройдет время, настанет день и она вернется. И он простит ее. И никогда ни о чем не напомнит, потому что он любит и будет любить только ее, единственную, неповторимую.

Вскоре он уехал в Омск, потом ушел в армию, а затем вернулся к своей мечте учиться и стал на тот путь, который звал его. И с которого увела любовь к маленькой епархиалке с зелеными смеющимися глазами.

XVII

Годы шли. Евгений Кузьмич не переставал надеяться услышать ее голос. Она должна была сказать: «Евгений, я вернулась, прости меня». Но прошло более сорока лет. Он старик. И ему не нужны уже эти слова, но все-таки он еще надеется...

Надежда не обманула Евгения Кузьмича, хотя все произошло совсем не так.

Евгений Кузьмич большую часть лета проводил в доме покойного отца в Дедюхине. Дом заменял старому профессору дачу. Он давно бы мог получать пенсию и посвятить остаток своей жизни литературным трудам. Но ему не хотелось бросать кафедру, терять живую связь с университетом. Все-таки, рано или поздно, он поселится в милom Дедюхине, где прошло его детство, где похоронены его родные. Старый дом кузнецов Колесницких был перестроен на городской манер. В доме хозяйничала племянница Евгения Кузьмича — Агаша. Кузница стала теперь гаражом. В ней стоит конь-вездеход ГАЗ-69, с наклепанным кузовом и оборудованными для сна местами. Это радость летних месяцев Евгения Кузьмича. На послушном и неприхотливом «газике» можно совершать далекие путешествия. Годы не дают пока знать о себе. Не зря в Дедюхине говорят про него: «Тош хвош, да жилист». Оправдывал он и другую поговорку: «Зорок, как в сорок». Редкая утка уходила у него из-под ружья. Правда, теперь дичи стало меньше, зато увеличилось население родного Дедюхина.

«Головастый и рукастый», по той же дедюхинской характеристике, Евгений Кузьмич, подолгу сидя за философскими сочинениями, находил работу и рукам, считая физический труд обязательным и для своего возраста.

Вот и сегодня он приводил в порядок вездеход, находясь в бывшей кузнице. Увлечшись работой, он не заметил вошедшего, а потом, оглянувшись, увидел сына:

— Мальчик мой...

Владимир Павлович бросился к отцу...

— Прости меня...

— За что же?... Ну полно тебе, полно... Ты все такой же нервный,— успокаивал Евгений Кузьмич, глядя его спине.— Бывало, чуть кто стукнет или брякнет, ты уж и откроешь в своей кровати глаза. Ну, полно, полно,— утешал не его, а себя взволнованный и плачущий отец.— Не надо, ни о чем не надо рассказывать, мой мальчик: отец знает о каждом твоem шаге. Пойдем в дом.

Ворота бывшей кузницы выходили на улицу. И соседи, знавшие Евгения Кузьмича много лет, видели, как он вышел со своим повторением и направился к дому.

Молва о приезде сына Евгения Кузьмича облетела дедюхинские улицы. Отец и сын понимали, что пока ни о чем не следует говорить. Они пока только родные по крови, а в остальном незнакомые люди. Нужно хотя бы

рассмотреть друг друга, а потом придут и слова. Уж коли слились разобщенные потоки двух жизней, не течь же им порознь.

Пусть пройдут дни узнавания и знакомства, а мы вернемся к другим ручьям, в Калиновый Лужок.

XVIII

Из Дудина, а потом и из Дедюхина Лариса Михайловна получила одно за другим два письма.

Первое прислал Иван Гурьев, которого Лариса Михайловна помнила как псаломщика и как близкого Евгению Кузьмичу человека. Он писал:

«Убояшася, что кто другой наплетет невесть что Владимиру Евгеньевичу, я почел своей обязанностью; сколь возможно снисходительно к тому, что было, открыть ему, кто он есть, какого родителя сын и какая земля ему мать».

Лариса Михайловна читала письмо Гурьева с большим волнением, едва удерживая в руке дорогой лорнет, к которому она прибегала, не желая портить свое лицо очками.

Гурьев писал, что сын захотел встретиться с родным отцом, и сообщал, как бы между прочим, что в старом поповском доме ее отца все на месте и все цело, «опричь истлевших предметов и источенных жучком некоторых мебели».

И далее он, как бы намекая на возможный приезд Ларисы Михайловны, сообщал:

«...а могилки родителей и дедов ваших просят капитального ремонта как в смысле обкладки дерном, так же в смысле установления пасынков к сгнившим комлям крестов».

Затем он тоже как бы между прочим сообщал о Евгении Кузьмиче: «А профессор Евгений Кузьмич Колосницын живет неженато и, приезжая по летам в отцовский дом, знатно бьет дроф, а также является депутатом областного Совета трудящихся».

И наконец:

«Щитаю свой пастырский долг исполненным как в смысле соединения отца с сыном, а также во всем другом.

К сему нерей храма Воздвиженья села Дудина

И. Гурьев».

Множество раз перечитывала письмо Лариса Михайловна и, сначала находя Гурьева подлецом и предателем, вскоре стала называть бывшего псаломщика ангелом, оберегшим ее от злой молвы простых людей.

Второе письмо от сына начиналось сразу же после «Здравствуй, мама» восторженными описаниями Евгения Кузьмича, называемого «отец», «мой родитель», «моннёр» и даже «папа», как будто он знает его не несколько дней, а со дня рождения.

«Я с ним, как сам с собой,— пишет он матери,— мне легко говорить с отцом о чем угодно, кроме тебя. Сын не судья матери. Потому что он ее сын. Однако говорить о тебе с ним я считаю безнравственным, как и с тобой о нем, если бы ты вздумала оправдывать свой отъезд из Дудина и... Дальше я, наверно, не сумею найти мягкие слова, как сумел их найти старик, рассказавший мне то, что ты столько лет скрывала от меня».

Лариса Михайловна хотела позвонить в Москву невестке и тотчас же отправиться вместе с нею и внуками в Дедюхино. Но ее никто не приглашал. Впрочем, и это не важно. Она может поехать в свой дом, но ей неизвестно, простит ли ее он. По всей вероятности, простит. А вдруг нет?

У нее холодеет спина. Она переходит к пуге и начинает судорожно перебирать коклюшки, гадая на узор: очать ей или нет. Узор отвечал — нет. Другие бы не прочли этого. А она теперь, стоя одной ногой в потустороннем мире, видит больше, чем остальные.

Например, она точно знает, что не нужно было жечь столько лампад и так унижать себя. Будто она грабила и убивала на большой дороге. Никого не надо переоценивать. Даже бога. И она велела погасить все лампады.

С богом у Ларисы Михайловны отношения были явно испорчены. Бог мог бы, если бы захотел, скрыть от Владимира ее обман. Находясь не в ладах и со своим рассудком, она сожгла в камине икону трех святителей только за то, что ни один из них не ответил на ее прямой вопрос: простит ее Евгений или нет?

На уговоры невестки отправиться в Дедюхино Лариса Михайловна отвечала категорическим «нет!». Хотя тут же напрашивалась на приглашение: если бы он, Эжен, пригласил ее... Тогда бы, конечно...

Произнося эти слова с жеманной кокетливостью, она, кажется, чувствовала себя вернувшейся в невозвратимые

годы и даже призналась Антонине Сергеевне, что человек перестает чувствовать, только умерев. А она жива, и в ней живо все-все. Положительно все. Ей даже иногда хочется потанцевать. И она подымается из кресла и, пританцовывая, напевает:

Матчиш хороший танец.
Он полон негл.
Его привез испанец
Зимой в телеге.
Матчиш я танцевала
И вдруг упала.
А кавалер пригожий
Со мною тоже...

Антонине Сергеевне становится страшно смотреть на танцующую свекровь. Ей очень не хочется тревожить мужа, но, кажется, она должна будет вызвать его, если ле произойдет перемен.

XIX

Отец и сын Колосницыны знакомились и сближались медленно, неторопливо, зато капитально. Евгений Кузьмич, бывая в Москве, слушал лекции сына в Политехническом, видел его по телевидению. Читая книги, следя за газетами, отец знал сына как ученого, все же остальное тогда было скрыто от него.

Владимир теперь избегал разговора о покойном академике. Ему не хотелось обидеть отца, не хотелось и против своей совести нанести хоть малейший урон памяти Павла Захаровича. Евгений Кузьмич однажды, заметив это, сказал:

— Я знал Лутопина отличным человеком и думаю, что таким он был до последних дней.

Владимира не удивило, что его отец не сердился и даже как бы прощал Лутопину побег из Дудина. Он также не обронил за все эти дни ни худого слова, ни оскорбительного намека по отношению к матери. Владимиру непонятно было только одно, как мог отец, видя так близко единственного сына, так любя его, не подойти и не назваться отцом, хотя бы тогда, когда сын стал взрослым и у него были уже свои дети.

На это Евгений Кузьмич сказал:

— Я причинил бы страдания тебе, мой мальчик... Ты и сейчас еще не привык к мысли, что я твой отец.

Слушая Евгения Кузьмича, узнавая его в мелочах, постигая нравственные основы его жизни, Владимир влюбился в отца со всей силой своей восторженной души.

Глядя на руки отца, он узнавал свои руки, в его голосе слышал свой голос, с лица отца смотрели на него его собственные глаза. Но это всего лишь биология. Отец и сын, не замечая того, чувствовали, что в них нет ничего, что им хотелось бы спрятать друг от друга или хотя бы замолчать. И Владимир, не собираясь ранее, рассказывал отцу о страданиях матери, о ее возвращении к религии, о людях, поселившихся в Калиновом Лужке.

— И все это во имя прощения богом страшного греха, которого она не называла.

Говоря так, Владимир попросил отца написать письмо матери и облегчить ее, хотел он сказать, последние дни, и сказал — старость. Он хотел, чтобы отец простил ее. А отец заметил сыну:

— Как можно прощать того, кто не просит прощения! Мне, Володя, не хочется выглядеть всепрощающим божаном, хотя бы в твоих и своих глазах. Допустим, что она верит в бога, в чем я сомневаюсь. В их семье никто не верил в него. Но допустим — верит. Но и в этом случае она, во-первых, виновата передо мной, а потом уже перед богом. У кого же ей нужно было просить прощения? И я бы простил, хотя и убежден, что прощать безнравственность — это значит утверждать ее. И больше не надо об этом...

Не надо!

И больше об этом не говорилось. Но в тот же день матери было отправлено письмо. Между прочим, в письме говорилось:

«Если бы я не был воспитан в уважении к старшим, я бы спросил тебя, мама, почему ты просишь прощения не у того, перед кем ты грешна? И это был бы вполне логичный вопрос с точки зрения формальной логики, морали и даже православной религии. И я бы задал тебе этот вопрос, если бы я не был твоим сыном».

И в прежние годы у Владимира случались размолвки с матерью. Ее «художества» приводили к крупным ссорам. Но все это было другое. Совсем другое. Теперь он чувствовал оскорбленным и себя. Ему было стыдно за мать перед женой и детьми. От них теперь невозможно будет скрыть все это хотя бы потому, что его отец не может быть лишен радости стать, наконец, дедом своих

впучат. И они приедут сюда. Они приедут при первой возможности. Сын чувствовал, что теперь он начинает относиться к матери все хуже и хуже. Он боялся этого и всячески старался вспоминать хорошее. А хорошего оказывалось не так много. И даже очень мало.

Зато здесь, в Дедюхино, каждый день оказывался лучше предыдущего.

У Владимира никогда не было родных. Ни по матери, ни по отчиму. А теперь их не перечесть. А ведь могло статься, что он их так бы и не узнал. Не окажись он здесь, не встретила бы чудесная девушка Агаша, которую он теперь называет сестричкой, а она его — братиком. И в этих словах, оказывается, заключено столько всего, что бывает трудно дышать от неожиданной радости.

У нее жених. Он техник по бурению. Раньше он бурил артезианские скважины для орошения, а теперь все мобилизованы на руду. Хотя с месторождением, казалось бы, все исчерпывающе ясно, хотелось знать еще больше.

То, что разведано, то, что подсчитано, не переплавить и за многие годы. Это ли не радость внука, завершающего теперь давнее открытие своего деда, кузнеца Кузьмы Колосницына? Если бы он прожил еще два года, каким бы счастливым был его закат!

Постепенно дом деда Кузьмы Колосницына становится и домом внука Владимира Евгеньевича Колосницына. Это его фамилия. Это его отчество.

Как много стал значить для него старый дом! Здесь стоит кровать, на которой он родился, здесь раздался его первый крик. Через эти окна его впервые осветило солнце. Нужно сейчас же, сегодня же, не откладывая далее, сходить на погост и поклониться родным могилам.

И они идут с Агашей за руку через все село на кладбище. Агаше радостно, что у нее такой братец, такой «развсемирно известный, почти академик». И ей так хочется громко, на всю улицу говорить ему «ты», чтобы все знали, чтобы все видели, какой есть еще человек в их колосницынском роду.

XX

ГАЗ-69 Евгений Кузьмич называл волшебной коляской, для которой и бездорожье — дорога и поэтому не заказаны любые пути.

Редкий вечер отец не возил по дальним и ближним местам найденного сына, показывая ему родной край. Ему приходилось теперь говорить не столько о новом, сколько о старом. Новое было и без того на виду, а старое, исчезнув, кануло в неизвестность. А это и хорошо и плохо. Без старого, без сравнения с ним не всегда можно понять и представить себе, как много сделано за эти считанные годы.

И когда Евгений Кузьмич говорил, указывая на белые бесследные домики поселка, что на их месте не так уж давно была заимка, которая называлась «Волчихин хвост», Владимиру стоило огромных трудов, чтобы нарисовать одинокую избушку.

— Ты только представь, Володя, пятнадцать верст сюда, тридцать туда, ни жилья, ни дороги. Только пластовая избушка да стога сена. Ночь. Стынь. Тьма. У дверей дежурят волки. Собака забилась в угол. Выйти нельзя всю ночь. А если пурга, то не выйдешь и днем.

А теперь? Идут провода. Веселая улица. Дети ходят в школу.

Владимир силится и не может представить стынь, тьму, волчьи стаи. Так происходит с каждым, кто, появляясь в обжитых местах, хочет и не может увидеть на месте города пустыню, на месте электростанции — дикий берег, на месте Дворца культуры — болото.

Но все же в этом новом, большом и прекрасном сохранились островки прошлого. Таким островком оставался старый поповский дом в Дудине, где Евгений Кузьмич не бывал более сорока лет и куда хотел он теперь свозить сына.

Евгению Кузьмичу случалось проезжать мимо Дудина, но его нога никогда не переступала порога ненавистного дома. В старый поповский дом, с письменного согласия Евгения Кузьмича, был поселен молодой псаломщик Иван Гурьев, с которого была взята подписка о сохранности вещей, принадлежащих Ларисе Михайловне, урожденной Рождественской.

Гурьев, только что женившийся, пообещал сохранить дом и имущество «на случай, ежели что мало ли как поворачивается жизнь и тому подобное».

За эти годы сменился не один глава прихода, покушавшийся поселиться в старом поповском доме, но дом оставался за «домоблюстителем», как именовал себя Гурьев.

Иван Пантелеймонович Гурьев был человеком почти необразованным. Он не закончил даже последнего года в духовном училище. Но, пробыв много лет псаломщиком, поднаторел в службах и оказался, за неимением «достойного викария», дьяконом, а несколько лет спустя по той же причине был рукоположен во иерей.

Теперь он стар и вдов. Дети кто где. Двое на железной дороге. Один учительствует. Один полковник. К отцу не ездят. И он к ним не ездит. Как явиться попу, скажем, в полковничью квартиру? Захотят ли внуки называть его дедом? Надо уж доживать, как жил.

В доме хозяйничает просвирня Федотовна. Тоже старая, но щи сварить может, а починить, зашить, заштопать уже негодна глазами.

— Вот тут, Володя, родилась твоя мать. Отсюда она и увезла тебя.

Евгений Кузьмич прежде решил обойти дом. Забора уже почти не было. Кое-где остались падающие столбы с толстыми черными от времени плахами, еле державшимися в съеденных гнилью пазах.

В пристройках расположились склады продуктового магазина. Они содержались в исправности. Сад и огород отошли к соседям.

Приземистый кирпичный дом-сундук почему-то выглядел еще ниже.

— Вот у этого окна ждала меня твоя мать, в розовом платье с воланами, в розовых шелковых чулках и в розовых атласных туфельках.

Годы не изгладили в памяти счастливого понедельника — второго дня пасхи.

И Владимир, звавший об этом дне, живо представил свою мать смеющейся девушкой в розовом кружевном платье. Кружева, сколько помнит он мать, во все годы жизни украшали ее.

— А это кольцо, к которому я привязывал своего вороного Бурана. Как только могло оно уцелеть?

Владимир знал о Буране. И сейчас он видел отца таким же молодым, каким ощущал себя.

— Может быть, мы напрасно идем в этот дом? Может быть, нам вернуться?

— Нет, зачем же. Ты должен побывать в нем. Мать всегда остается матерью. Как ты думаешь сказать ей потом, что ты не захотел войти в дом, где она родилась?

И они направились к крыльцу.

На крыльце появилась старуха. Она посмотрела на сених возле дома из-под руки, затем, узнав Евгения Кузьмича, закашлялась и направилась к нему, чтобы еще раз проверить, он ли это.

— Батюшка ты мой... Да ты ли это, касатик...

— Здравствуй, Федотовна, здравствуй, милая. Как ноги носят? Бегаешь?

— Ноги-то еще носят, и руки володают пока. Да в голове шум. Особливо вечером. Как большой колокол гудит, который мы на борьбу с разрухой отдали. Порошки пью — не помогают. Молюсь — от земных-то поклонов еще того хуже. Да и отмолилась, кажись. Грехов-то на мне мало было. Из больших-то — один. Да и тот не мой. Ишчай его поп Мишка у сатаны в кипящей смоле отмаливает... Да что же это я суесловлю тут... Проходи, Евгений Кузьмич, в свой дом. А это кто с тобой?

— А это сын мой, Федотовна, Владимир Евгеньевич Колосницын. Ко-ло-сни-цын,— повторил по слогам фамилию сына счастливый отец.

Старуха хлопнула костлявыми руками по костлявым бедрам, сойкала и запричитала:

— Да я ведь тебя, Владимир Евгеньевич, вот эконьким мальчугашечкой-ангелочком баюкала. Своих-то не было; можно считать. А маменька твоя где, Ларочка-то наша, где ненаглядная?..

— Ладно, ладно, Федотовна,— остановил старуху Евгений Кузьмич.— Всему свой срок. Ничего не утаим. Веди в дом.

— И то, и то... Сейчас и отец Иван явится.

— В церкви, никак?

— Да как же там в церкви, батюшка Евгений Кузьмич. Щук ловит на озере. С головой в рыбу ушел, а церковь теперь только одно название...

Старуха повела пришедших в дом.

XXI

В доме было душно и затхло. Казалось, что все эти сорок лет не отмазывались окна. Евгений Кузьмич с трудом открыл набухшую форточку и попросил не закрывать входные двери.

Все, если не считать пыли, темных пятен на стенах и потолках, оставалось тем же. Гурьев жил в поповской спальне; а просвирня — в комнате работницы при кухне.

— Как в склепе,— шепнул сын отцу.— И это, значит,

тоже мои предки? — спросил он, указывая на волосатые лица, смотревшие из рам.

Да, это тоже были его предки, которых не хотелось признавать. Среди них его прадед Владимир, именем которого назван он, внук. Прадед был написан масляной краской на дереве. Доска растрескалась, а некогда золоченая рама позеленела. Портрет походил на старую музейную коричневую икону.

В простенке стояла фисгармония, точно такая, как в Калиновом Лужке. Наверно, мать нашла ее копию в каком-нибудь комиссионном магазине, чтобы она напоминала юность. И отсюда, из поповского дома, потянулась какая-то нить преемственности в комнаты, где жила теперь мать. Здесь, как и там, душная затхлость вещей, которые никогда и никому не пригодятся, такой же точно «нерукотворный спас» в углу и фотографии известных и неизвестных артистов. Наверно, теноров. Из них можно было узнать только Собинова.

На Владимира особое впечатление произвела пуга, коклюшки и недоплетенные, оставленные в неприкосновенности, потемневшие, вернее, погрязневшие от времени кружева. Они, как речь, прерванная на полуслове, как оставленное на полубукве письмо, как нечто брошенное впопыхах, кажется, говорили о том часе, когда его мать с вороватой поспешностью покинула этот дом и своего мужа. Эти мысли, а не какие другие, пришли Владимиру в голову, когда он стоял перед ее кружевным рукодельем.

В спальне Владимир увидел детскую кроватку с кисейным пологом, также погрязневшим от времени. Здесь он спал ребенком. Над кроватью матери висел портрет молодого человека, так похожего на студента Володю. Это был портрет отца. Владимир, никого не спрашивая, снял портрет, вынул его из рамки.

В остальные комнаты Владимир не пошел. Ему хотелось выйти на воздух. И они вышли бы, но появился старик с тремя большими щуками. На нем были холщовые серые штаны, кирзовые сапоги, что-то похожее на длинную кофту и на подрясник с обрезанными полами.

— А я еще там, в роще, знал, что мы тут встретимся, Владимир Евгеньевич. Узнаете?

— Еще бы, конечно, конечно...

— Я не сходил там ему свое сословие называть,—

обратился Гурьев к Евгению Кузьмичу. — Не поверит, думаю, правде из поповских уст. А какой я, с позволения сказать, поп... Здравствуй, Евгений Кузьмич... Сейчас руки всполосну, переоблокусь и чин чином выйду. Федотовна, — крикнул он на кухню, — подавай давай!

— И то, и то, отец Иван, — отозвалась из кухни старуха.

Евгению Кузьмичу хотелось отказаться, но нельзя было обижать старика, и он сказал сыну:

— Это очень интересный человек, Володя. Потерпи уж полчаса.

XXII

В большой кухне было светлее и воздух оказался чище. Хорошая тяга русской печи не давала застаиваться запахам.

Стол Федотовной уставлялся убого и разнопосудно. Зато было видно, что старуха от всего сердца ставит маленькие тарелочки с тем, что есть. Тарелочка с тремя черствыми творожными шанежками, тарелочка с щурятами горячего домашнего копчения, тарелочка с запеченной икрой, нарезанной ломтиками, тарелочка с темным мясом дикой утки... И так до десяти тарелочек, а посредине большой графин с выдутым внутри его стеклянным зеленым змием. Графин, кажется, в этом мрачном доме был единственной вещью, которая говорила, что и сюда, в царство мглы, заглядывал робкий луч юмора. На графине красовалась яркая надпись, выведенная славянской вязью: «Не упивайтесь вином».

Быстрый старик Гурьев, в котором никак не хотелось видеть попа, вышел в штопаном, закапанном воском подрыснике. Он успел расчесать жиденькую бороденку и остатки волос.

— Совсем уже отчаливать мне пора, — весело начал он, — да, видно, причалы не перепрели. Наливай давай, Федотовна, по единой.

— Водочку-то еще попиваешь, Иван Пантелеймонович?

— Одна радость в эти годы осталась. При сынах — не отец. При внуках — не дед. Даже за посылки не благодарят.

— Посылаешь все-таки, Иван Пантелеймонович?

— Так внуки ведь. Один-то, правда, пишет, Сережа.

Во флоте он действительно служит, бросить велит мне это все. И бросил бы. Да старух жалко. Зачем им остальные годы гадить? Им не сумеет уж от бога отойти.

— А ты-то отошел уж от него? — снова спросил Евгений Кузьмич.

— Да днем-то, пожалуй что отхожу, а как темнеть начнет — сомневаюсь. Да наливайте вы, пожалуйста. Кушайте. — Отпив из красного стаканчика, он продолжал: — Утром проснешься — полный свет и в голове и на улице. А как ночь придет, опять темные думы одолевают.

— О чем, Иван Пантелеймонович? — спросил опять Евгений Кузьмич. — О том свете?

— Да нет, Евгений Кузьмич. Тот свет для меня давно погас. И с небом тоже большие прояснения после спутников. А вот цветы, злаки, птица, рыба и всякая прочая гармония жизни мне голову затемняют. Все думаешь, думаешь, думаешь, что другой раз и зимняя ночь короткой кажется.

Евгений Кузьмич оставил начатого щуренка свежего копчения и участливо спросил старика:

— А о чем ты все-таки думаешь, Иван Пантелеймонович? Что именно беспокоит тебя?

— Да все, что ты ни возьмешь. Хоть та же икра. — Тут старик кивнул на тарелочку с ломтиками запеченной икры. — Как это в таком шаричке с макову росиночку зарождается щука со всеми последствиями? Как постигнуть это, как понять?

По всему было видно, что старик Гурьев рад случаю поговорить и показать, что у него голова не так пуста, как некоторые думают.

— Ну, плавники там, хвост, голова, кишки, пузырь — это ладно, — рассуждал он. — Фершал, который со мной рыбу ловит, говорит, что все это в икрных клетках самостийно растет, развивается и тому подобное, как в бобовом семечке, — из двух боковинки два первых листика, из ростка корень. Это можно понять. Но рыбы-то повадки, ну, что ли, щучий ум каким таким медицинским образом в этих клетках образуется? Значит, помимо икры, есть кто-то такой, который вершит всеми этими премудростями жизни.

Отец и сын переглянулись. Довольный собой, Иван Пантелеймонович допил свой стаканчик и смачно закуся копченым щуренком.

Как бы подтверждая, что у него не было иного выхода, как оставаться в своем сани, он стал рассказывать:

— Звали меня кладовщиком в тридцатом в старожильский колхоз, и хотел пойти, да ребята были еще на выросте. По куску — пять кусков, по рубашке — пять рубашек. Подумал, подумал, да и решил: поп никак с голоду не умрет и по миру не пойдет, а кладовщики больше судом кончают. А сейчас-то уж какой из меня кладовщик. Прошла моя жизнь стороной, околницей. На сыновних свадьбах не побывал, на дочерином замужестве не погулял, внучат не понянчил. Попадья-то все ж таки поглядела на них сыздаля. Подходить не подходила, а укарауливала, когда они в песочке у дома роются. К одному сыну нищенкой зашла, когда его дома не было. Сноха-то не знала бабу в лицо. Хорошая женщина. Разрешила посидеть, погреться и не воспрепятствовала внуку по головке погладить. Это Сережу, который на фототе теперь. А я так и не видывал их никого. Ох, Евгений Кузьмич, ежели б ты мог понять это все...

Колосницын слушал молча. У старика Гурьева «болея» только своя жизнь. Он не знал, что также «сыздаля» столько лет любовался своим сыном Евгений Кузьмич.

— Давай, отче Иване, о чем-нибудь другом, — попросил Евгений Кузьмич.

— Можно и о другом, — примирительно согласился Гурьев, смахивая слезу...

В эту минуту за окном остановился маленький рижский автомобиль «РАФ» с рекламной надписью, убеждающей пользоваться воздушным транспортом. Владимир увидел жену, детей и мать. Ее увидел и узнал Евгений Кузьмич.

— Прошу извинить меня, — сказал он, поднявшись из-за стола. — Я не должен... — не договорил он и вышел через дверь противоположной стороны дома.

XXIII

Оказалось, что последнее письмо сына произвело на Марису Михайловну впечатление настолько сильное, что она увидела в этом предначертанное уже не богом, а провидением.

— Поэтому я, Вова, не откладывая, решила вернуться к твоему отцу, а Тонечка, — указала она на жену сына, — сочла благородным и справедливым вернуть внуков родному деду.

Слушая выпренную речь матери, глядя на ее слишком кружевное и не по годам нарядное платье, Владимир понимал, что ее душевное расстройство усилилось еще более.

И Антонина Сергеевна успела шепнуть мужу:

— Я не могла пустить ее одну...

Телеграмма о вылете была дана Антониной Сергеевной на Дедюхино, куда и направлялись они. Но в пути Лариса Михайловна передумала. Она сказала, что Евгений должен прискакать к ней на Буране, как тогда... Как в тот день, она споет ему «Ночь» и этим вернет его себе и загладит прошлое вниманием и лаской.

Трудно было это все слышать сыну, Гурьеву и Федотовне. Но не спорить же с ней, уже напевающей мелодию романса.

Теперь нужно было решить, кто куда. Пьяненький Гурьев рассудил здраво и трезво:

— Тут, в этом логове, Антонине Сергеевне и детям делать нечего. Пущай они без пересадки едут в свой родной дом к бабушке.

Так и решили. Сын остался с матерью, а трое внуков отправились с Антониной Сергеевной в Дедюхино.

Прошли в дом. Ларису Михайловну страшно удивило, что Дуняша, которую теперь почему-то зовут Федотовной, ухитрилась так постареть за это время. А псаломщик Ивашка Гурьев вовсе облез.

Гурьев, как и Федотовна, соглашался с Ларисой Михайловной, понимая ее состояние.

Первым настойчивым требованием Ларисы Михайловны было полное приведение в порядок старого дома.

— Стоит только отлучиться, как на вершок пыли и по колено грязи.

Спешно была приведена в порядок спальня Ларисы Михайловны, чтобы дать ей возможность отдохнуть с дороги. Тем временем мылось, скоблилось, чистилось остальное. Не дожидаясь окончания капитальной приборки, Лариса Михайловна несколько раз присаживалась к осипшей фисгармонии, разминая пальцы и репетируя романс.

Наконец пальцы стали послушными, и она запела под вздохи прохудившихся мехов. Запела дребезжащим голосом под дребезжащий теперь высокий регистр взвизгивающей фисгармонии:

Мой голос для тебя и ласковый и томный...

Ирония была жестока. Мать была так жалка, что Владимиру стоило больших усилий не разрыдаться в эту минуту. А Иван Гурьев утирал слезы за дощатой перегородкой. Хотя он понимал, что Лариса Михайловна заслужила такое злое наказание, но все же ему было жаль ее. И особенно было жалко, жалко до невыносимости, когда она визжа выкрикивала, стараясь взять высокие ноты, последние слова романа:

...люблю ...твоя ...твоя!

Плакала и Федотовна, зная этот романс в другом звучании, плакала, вспоминая свою рано оборванную молодость, все лишения и надругания в этом доме.

XXIV

А в Дедюхине творилось невообразимое. Вознагражденный тремя внуками и сердечнейшей невесткой, Евгений Кузьмич молодец, что называется, час от часу. В его голосе послышался какой-то очень ласковый роко-ток. Его движения ускорились, глаза сияли. Никто не видывал его таким веселым.

Внуки ласково встретились с ним. Видимо, мать сумела подготовить их.

Старший внук Павлик, похожий на Евгения Кузьмича, хотя и старался выразить самые добрые чувства, все же чуть дичился своего еще не узнанного деда. Мальчику исполнилось тринадцать лет, и он хорошо помнил другого дедушку, который так баловал его.

Внучка Леночка, чем-то, может быть, зеленью глаз, напоминавшая свою бабушку Ларису, походила и на деда. Ей было уже одиннадцать лет, и она сочла неудобным виснуть на шее у пашедшегося деда или сидеть у него на коленях. Он хотя и родной, но дедушка, а не бабушка, и с ним было как-то труднее говорить. Зато младший, четырехлетний Женя, не умолкал.

— Ты смотри, дедушка, у нас все одинаковое. У нас длинные, как палки, ноги. Только я без усов.

У Евгения Кузьмича так сжималось сердце, что было страшно — вдруг оно не разожмется и он не успеет насладиться этим дорогим повторением себя...

Агаша, став трижды тетей Агой, забыла о своей влюбленности, не бегала на буровую к жениху. Она возилась со своей племянницей: купалась вместе с ней на

озере, знакомила с родными полями, водила в рошу, в школу, где она преподавала... Делала все, чтобы девочка полюбила старый колосницинский дом. А вечером, когда засыпал младший племянник Женя, Агаша стояла на коленях перед спящим и любовалась чертами его лица, худыми ручками и ножками. Еле шевеля губами, она произносила самые нежные слова. Ведь это был ее родной племянник. Почти сын...

XXV

Находясь вне стен старого поповского дома, невозможно было представить, что в нем не просто другая жизнь, но и другой век, другое время, другой уклад. И даже добротные старинные часы с длиннейшим маятником, кажется, шли куда более медленно, чем обычные, хотя и отличались безупречной точностью.

Лариса Михайловна, не выходя из дома подряд несколько дней, сумела вернуться в прожитые годы и поверить, что она снова молода. Кружась и пританцовывая, капризничая, как бывало, она примеряла полуистлевшие девичьи наряды, напевая, бегала по комнатам, а устав, впадала в забытие, подолгу спала.

И когда надежд уже не было, когда доктор сказал, что больная едва ли проснется, приехал Евгений Кузьмич.

Он вошел в комнату, где лежала Лариса Михайловна. Она открыла глаза и сказала:

— Как ты долго не возвращался, Эжен, из Старой Карасихи... Я так боялась, что они убьют тебя...

Глаза Ларисы Михайловны закрылись. Теперь ее губы шевелились беззвучно. А потом снова послышался тихий голос:

— Тсс... Не разбуди Вову... Я еле усыпила его... А когда он встанет, дай ему молока... Оно в кухне, на шестке.— И почти неслышно ее губы прошептали: — Как хорошо, что ты вернулся, Женя...

Евгений Кузьмич опустился на колени, принял к морщинистой холодеющей ручке Ларисы Михайловны и сказал ей при сыне и при всех:

— Я прощаю тебя, Лара...

Услышала ли она эти слова, или ей, уходящей из жизни, снилось что-то очень хорошее, или почему-то еще, но она умерла улыбаясь.

Ларису Михайловну похоронили на другой день вечером. Владимир не захотел удлинять проводов, боясь за отца. Похороны были гражданскими. Народу на кладбище пришло много. Большинство пришедших не знали покойницу, но знали пересказываемую теперь очень подробно историю, начавшуюся и кончившуюся в старом поповском доме села Дудина.

Наверно, эта история, как и многие подобные ей, заблывлась бы с уходом из жизни Ларисы Михайловны Лутониной, если бы этой фамилией не называли железорудное месторождение и проектируемый металлургический завод.

Никто не оспаривал, что железорудное месторождение многим обязано академику Лутонину. И, может быть, никто бы и не спорил, что его называют Лутонинским. Но теперь, когда всем известно, что руда открыта кузнецом Кузьмой Колосницыным, что об этом месторождении молодому ученому Лутонину рассказал Евгений Кузьмич Колосницын, а потом и его отец... И что в благодарность за это молодой ученый увез у Колосницына красотку-жену и мальчика Вову... Этого нельзя было не принимать во внимание.

И как ни старались смягченно говорить об этом и объяснить огромной любовью Лутонина его поступок, от этого ничего не изменилось. Факт оставался фактом. Лутонин увез жену героя, остановившего восстание. Лишил мальчика родного отца. Лишил отцовства человека, который так доверчиво пустил его в свой дом. И, наконец, пусть не желая, не по злой воле, а по стечению обстоятельств дал свое имя открытому не им месторождению. Всплыли как доказательство и чугунные утюги с буквами «К К».

Можно ли не исправить это и называть месторождение Лутонинским?

Сначала все это было в молве, а потом перешло и на бумагу. Приезжие и коренные жители требовали, чтобы месторождение было названо именем его первооткрывателя — Колосницынским. Возникло дело. И в нем на многих листах рассказывалось, хотя и очень деловым языком, все, начиная с появления кузнецов Колосницыных в Дедюхине и кончая заявлением Владимира Павловича Лутонина о возвращении ему его доподлинного имени, согласно метрической выписке из книги крещений Дедюхинской церкви, где он записан Владимиром Евгеньевичем.

чем Колосницыным. Фамилия Колосницыных присваивалась и детям: Павлику, Елене и Евгению.

Дело дошло до очень высоких инстанций, и там тоже читалась изложенная протокольным языком любовная повесть, сыгравшая в конечном итоге роль в переименовании месторождения.

При всем уважении к трудам и открытиям академика Лутонина неудобно было называть его именем месторождение, которое он сам называл в переписке и публикациях «находкой кузнеца Кузьмы Колосницына».

Нескрываясь радовался Евгений Кузьмич, когда стало официально известно, что железорудному месторождению присваивается имя его отца. В тот же день Евгений Кузьмич помчался со своим внуком в Старо-Карасихинскую рощу показывать прадедову штольню.

— Всегда помни, Женюшка, кто нашел эту руду. Именно эта руда прославит и неузнаваемо изменит все вокруг...

Мальчик хлопал пушистыми темно-каштановыми ресницами и думал, зачем понадобилось бабушке умирать. Он ждал, когда дедушка кончит рассказывать неинтересное о руде, тогда он спросит его об интересном...

Где-то здесь, наверно, и следовало бы закончить историю, переписанную из жизни в этот небольшой роман, но справедливость требует сказать несколько слов о Калиновом Лужке.

Владимир Евгеньевич перед возвращением на постоянное местожительство в родные края должен был распорядиться ненавистным теперь ему Калиновым Лужком. Калиновый Лужок он передал райсобесу под дом престарелых.

Оставляя дому престарелых мебель, утварь и прочее имущество, Владимир Евгеньевич вывез только книги и архив Павла Захаровича да несколько памятных вещей из комнаты матери. В числе этих вещей он взял и коклюшки с недоплетенными кружевами.

Любуясь бабушкиными кружевами, Леночка со всей наивностью ее лет сказала:

— Как только могла бабушка плести такие кружева?

— Это для многих останется загадкой, Леночка, — ответил Владимир Евгеньевич, рассматривая переплетение тонких ниток, составивших необычный узор.

СКАЗКА-ПРИСКАЗКА ПРО РОДНОЙ УРАЛ

В этой сказке-присказке всякой разной чепушины хоть отбавляй. В забытые темные времена эту байку чей-то досужий язык породил да по свету пустил. Жить-нико у нее было так себе. Маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказке! Куда-нибудь, кому-никому, может, и сгодится. Приживется — пусть живет. Нет — мое дело сторона. За что купил, за то и продаю.

Слушайте.

Вскорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспийских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной чешуей, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем...

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспийских полуденных степей до полуночных холодных морей.

Больше тысячи верст полз как по струне, а потом вилать начал.

Осенью, видно, дело-то было. Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребе. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как-никак из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошел. И прошел сколько-то сотен верст, да увидел варяжские кряжи. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лед, а разве такую махину выдержит? Не выдержал. Треснул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошел. Ему что при несохватей-то толщине! Брюхом по морскому дну ползет, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит все вокруг, а море все-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. Ну, а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а вскорости и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нем нефтью стала. Мясо — рудами. Ребра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А все прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой.

И никому не придет теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были.

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. Опоясал все-таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал.

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало, как Русь...

БЫЛЬ-НЕБЫЛЬ ПРО ЖЕЛЕЗНУЮ ГОРУ

Жил да был в подмосковной слободке Микула-санин. Сани мастер гнул. И до того ловко он их выгибал, что сам царь залюбовался. Умел этот царь руки ценить. Потому как он не только на троне сидел. Ковал и тесал. Шил и точил. Понимал, что из одного и того же дерева можно утлые дровни вымучить, а можно и быстрые сани-лебеди выгнуть. Лебедей-то и выгибал Микула-санин. За это-то и пригрел его царь-плотник, царь-кузнец и в свои санинки произвел.

А у Микулы дочка была, Аксинья. И так-то она была хороша собой, такого редкого выгиба лебедь, что царев-ность — Сашка Меншиков — себя позабыл. С лица спал. И до того зачастил в слободку, что все поняли, какие он сани задумал у Микулы добыть.

Микула не прочь. Плохо ли с царевым бражником породниться! Да дочка по-своему рассудила. Не хотела она большого ветра. Тихого счастья искала. Не поверила в Сашкину продувную любовь.

Аксинья хоть и простого рода была, а норову на се-мерых царевен хватило бы. Одна она жила у отца. И воли давал он ей вдосталь. Кремневкой баловалась Аксинья. Охотилась. На коне скакала так, что старые конники дивились. Ну, а на злат-венец — супружество-замужество — свою точку выставляла: «Сама решу, кому отцом моих деток быть». И все. Поворот от ворот Сашке Меншикову.

Только в те годы с царевым дружкой шутить нелегко было. Нагрянули ночью сваты. И главный сват — царь... И такое-то сватовство началось... Хоть в петлю... Как парю скажешь «нет»? Как его слову перечить станешь?

Совсем было по рукам ударили, да невеста как сквозь землю провалилась. Весь двор обыскали. Нигде нет.

Ищи-свищи, Сашка, свою зореньку ясную. Отгорела она для тебя. Сгасла.

Много ли, мало ли дней прошло... Появился в ураль-ском лесу, в кержачьем скиту, на Кушве-реке, верховой. В алом камзоле. В малиновых штанах. В сафьяновых сапогах. С хорошим ружьем и с девичьей косой.

Пустили опальные кержаки беглую Аксинью в скит. Поселили в избушке-курнушке. В старую веру стали звать. Женишков подсылать.

А у Аксиньи своя вера — верный глаз да меткое ружье.

Надо кержакам на своем парне Аксинью поженить. К скиту привязать. А неволить бояться. Ускачет в Тагил. Скит объявит. Обложат тогда кержаков двойной данью. Или того хуже — на домны к Демидову припишут. На Высокую гору поставят руду дробить. Молчат скитники.

— Пускай девка живет, как хочет, — порешили они, — урону от нее нет. А прибýtка достаточно.

Да и как не быть ему. По три десятка лосиных туш Аксинья за осень ставила. Не считано козлов. А меху... не износить. Стали кержаки пушное богатство тайным

скупщикам переправлять. На хлеб-соль, на утварь менять. Порох добывать.

Перестали донимать Аксиныю сватами. Время придет — сама в чью-нибудь избу войдет или в свою суженого приворожит. Куда ей деться. От жизни не уйдешь;

И не ушла.

Пришел час. Открылось Аксиныно сердце.

Темн и част был в те старые годы наш синий лес. Люди жили не густо. А встречи бывали.

Как-то Аксиныя большого козла выследила. Дух даже замер у нее. Поползла крадучись. Прижалась как рысь к земле. Выцелила. И только было хотела выстрелить, как козел сам собой упал и скатился с горушки кубарем.

— Что за чудо? Не леший ли шутки шутит?

Потом глянула — охотник бежит. Манси. С луком. С берестяным колчанишком. В колчане стрелы.

Это он так ловко в козла стрелу пустил. Из-под ружья чужую добычу взял. Хотела было заспорить с ним неуступчивая Аксиныя, да он сам ей козла принес. К ногам положил. Положил и заглянул ей в лицо. Заглянул и чуть не ослеп. Как от солнца. Еле проморгался.

И она посмотрела на нерусского охотника. Статным ей чернобровый мансиец показался. Глаза добрые. Карие. Прямо смотрят. Не бегают, как у Сашки Меншикова. Лицом темноват. А в улыбке светел.

Постояли так — разошлись. А козел так и остался на траве. Не взяла его Аксиныя. Гордость нагнуться не позволила.

Разошлись, стало быть, они, да и все. Зачем они один другому? У каждого свой говор, своя речь, свой обряд. Манси идолам молились. Сами себе из дерева богов вырубали. Дешево и хорошо. Чуть что какой божок провинился — на охоте там не подсобил или, скажем, в недугах не помог, — расколол его топором да в костер. Вытесал себе нового идола и молился ему, пока не прощитается.

Так и жили. Ну, да это все — мимо. Не для сказки сказывается. Для краски говорится. А в сказке так дело было...

Пришла Аксиныя в свою дымную избушку-курнушку да и пожалела, что она даже спасибо статному мансийцу не сказала. Для нее ведь он козла подстрелил. Подарком поднес. Покорно к ее ногам добычу сложил. Покло-

нился. Как теперь увидишь его, чтобы хоть за вчерашний день за подарок улыбкой приветить. Лес велик... Лес велик, да тропы узки, особенно если один другого встретить хочет...

Встретились веды! Не узнала Акси́нья охотника. Желтый полукафтан на нем. Шапка собо́лем опушена. Кожа́ные сапоги. Кремнево́чка на плече.

Ах!

Опять разошлись. Слова друг дружке не сказали. Без слов поговорили. Глаза-то речистее языка. Особенно если есть им что друг другу сказать.

Все поняла красавица. Не зря он вырядился и волосы русской стрижкой под горшок обреза́л. Сама вдруг на́пряжаться стала.

Не выдывали ее в платье, а тут — вот тебе и на. Московская одежда. Боярская. У старых кержаков на дне души мыши заскребли. Ну, а когда кокошником Акси́нья увенчалась, старые перешептываться начали. И было огче́го.

Из всех красот, что есть на земле, женская красота всем красотам венец. Богатыри перед ней никнут. Старики молодеют. Мудрецы ума-разума лишаются. Олухи умнеют. Краснобаи немеют.

Как пошла Акси́нья Микулична узкой тропой — сосняк расступился. Ели посторопились. Березки навстречу ей выбежали. Цветы ее обступили. Птицы запели.

Солнышко улыбулось с высоты. Его ведь внучка на встречу сча́стью идет.

Опять они встретились. Рука об руку пошли. А потом дело так повернулось, что по какой бы тропе Акси́нья ни шла, он как из-под земли вырастает...

Едва ли живы те кедры, что слышали про их любовь. Давно уж, наверно, сгорели в кушвинских домнах те старые сосны, которые знали, как она его приголубила. Суженым назвала. На плечо его голову склонила.

За пять кунц, да за семь лисиц, за связку белок, да двух соболей окрестил поп мансийца Степаном. А потом обвенчал их с Акси́ней в церквушке за Турой.

Расплел Степан девичью косу. Две недели они шли домой. В обнимочку да вразвалочку. Под сосной отдохнут, прикорнут в ельничке. Не наглядятся.

Хозяином пришел Степан в свой лес. Весело потекла их жизнь. Кержаки повздыхали да смолкли. Манси тоже прикинулись, что будто бы не заметили, как их коренной

сын стал в русской избе жить. Русскую печку топить. Молились себе своим деревянным богам на крутой горе, на старом мольбище, да и все.

Счастливо зажили Степан да Акинья. Редкий год не прибавлял им сына или дочь. В новом доме на Кушвереке народилась новая семья. Сыны росли и здоровели. Дочери маковым цветом наливались. Своих коров доили. Свои опушки распахивали.

Полная чаша у Акиньи Микуличны. Только из памяти не уходит другая жизнь. Московская слобода. Лихие наряды. Заморская утварь. Отцовский взлет. А в лесу жизнь скупа. На два цвета: зимой бело, летом зелено.

А Тагил рядом. Весело дымит. Не одной трубой. Не только чугуны из руды плавят, но и большую жизнь из нее выплавляют.

Задумываться стала детная мать. Ее отец на простых санях в каменные палаты въехал. Худо разве ее сынам тоже свои домны задуть? Или за медь взяться?

— Сокол ты мой,—ластится она к мужу,—растут у нас сыны, дочери. Света не видят. Что из них станется? Какое наследство мы им оставим? Ружье да коня. Люди не так живут. Подумать надо про детей.

— Не горюй,—говорит Степан,—не пропадут наши дети в нужде. Бережется для них богатый клад, только взять его надо с умом.

Сказал так Степан и показал Акинье железную гору. Куда до нее Высокой горе в Тагиле! Глыбами, скалами, пиками руды из нее торчат. Да какие богатые—чуть ли не чистое железо! Неслыханной силы руда!

С ума без малого не свела эта железная гора Акинью. Только и разговор про нее. Бойтся охотница, как бы кто другой эту руду не разведдал. Бывает ведь так. К слову, те же медвежьи берлоги взять. Заприметит Акинья берлогу. Отложит охоту на неделю-другую... Придет, а уж она пустая. Другие косолапые взяли.

Так и с горой могло стать. Кому дело до того, что ее Степанов отец нашел. Степану завещал. Хоть и знают об этом все манси, хозяином горы Степана зовут, а распорядиться горой ему не дают. Потому, как мольбищем гору сделали. Она всякое железо к себе притягивала. Значит—не простая гора. Значит, тайная сила в ней живет. Вот и поставили там видимо-невидимо идо-

дов. Сосновых, еловых, березовых. Рудяных высекать начали.

Костры жгут. Жертвы приносят. Скачут. Орут. Молятся.

Как их сгонишь оттуда?

— Царице челом надо ударить,— говорит Аксинья. Наря-то уж не было тогда. Помер.

Степан побаивался. Отнекивался.

Но кто когда жену переспоривал? Да еще такую, как Аксинья Микулична.

— Смотри ты,— пугает она,— как рудознатцы по всем лесам рыскают. Нюхают, где что лежит. Наткнутся на железную гору, к своим рукам приберут. Кто тебе поверит, что она твоим отцом найдена. Тебе завешана.

Увидел Степан, что правда на стороне жены. Снарядился в Уктус. Объявил там все как есть. Рудяные куски показал. Свое право на гору доказывать стал.

И что тут началось—ни пером не опишешь, ни в сказке не перескажешь. Волками поскакали заводские служки. Питерские бароны зашевелились. Камские графья Строгановы лазутчиков выслали. Демидовы лапу над Кушвой занесли.

Заскрипели телеги. Заковыляли колымаги. Зазвенели топоры. Дорогу на Кушву стали рубить. В каретах приехали. Заспорили, чьей горе быть. И Демидовы. И Строгановы. И жадный купец Осокин свою клешню тянет. Норовит свой кусок оттяпать. Свою долю урвать. Все хозяевами оказались. Только Степан с Аксиньей ни при чем. Вчуже.

Шум до небес. Гам до Чукотки. Тут главный командир из Уктуса приехал. Татищев. По-своему рассудил:

— Мыслимо ли эту гору из гор, сокровище из сокровищ в чьи-то руки, окромя государынинных, отдать?

Приписал железную гору к казне. Да и вся недолга.

— А мы-то теперь как?—спрашивают Степан с Аксиньей.

Тут царев приспешник, уктусский вельможа, озарил их улыбкой да так ответили:

— Не забудет вас царица-матушка в щедротах и милостях своих!

И не забыла. Горстью медяков Степана вознаградила. Пожизненной кабалой пожаловала беглую Аксинью Микуличну. Рудобоями в гору детей Степановых

загнала. Мольбище поразвезла. Мансийцев поразогнала.

Мансийцы тоже Степана поблагодарили. Большой костер темной ночью на железной горе запалили. Схватили Степана. Да принесли его в жертву разметанным идолам. Сожгли. Чтобы те людям манси не мстили за гибель мольбища и царское надругание.

Так оно и сбылось. По сей день Степановы внуки-правнуки неделимо берут богатые руды в старой железной горе да передают из рода в род своим детям Степановы мансийские памятки. Черные брови. Карие глаза. Жаркую красоту своей давней прабабки Аксины Микучичны...

...Эту быль-небыль про железную гору я от лесного филина слышал. Если что не так — спорить не стану. Всякий по-своему из своей руды сказки плавит.

И в добрый час. Чем больше их, тем жить сподручнее.

ДАЛМАТОВА ФАРТУНАТА

Вятская работа на большой славе жила.

Разное делали. От ложек до гармошек. От матрешек точеных до коней золоченых. Ларцы, шкатулки, сундучки, резной, щепной товар, простые и штучные мебели ходко шли. Обратно с базара их не привозили. А чаще всего у себя дома сбывали. Скупцам. Было такое живодерное сословие купцов-скупцов. Эти купцы загодя скупали. Задаточно деньги совали. Не без выгоды для себя. Рублевую поделку полтиной ценили. Нуждой заарканывали.

А что делать, когда наличные дают да еще старую маклачку в четвертной бутылки на стол ставят. Она скорехонько голодных кустарьков отуманивала и долговую — обязательскую бумагу выманивала.

Но только, скажу я вам, не все податливыми были. Случались и такие, что не давали свои руки в обман. Вот об одном-то таком я и завожу свой сказ-пересказ с бабкиной узорчатой вязи, которую она ой как мастеровито говаривала, от малого речевого узелка до самого крохотулечного завитка для добрых людей — на долгие времена — в память свои побывальщины глубинно врезывала.

Я тогда еще в подпасаках ходил, совсем мальцом был, но и теперь, на девятом десятке, не все слова бабушки Анны Лаврентьевны растерял. И если вам желательно — милости прошу.

* * *

Было это в лесной захудалой деревеньке Зюзельке. В тесных, соломой крытых избах семей тридцать кустарничало. Из бедных беднее самой бедности в Зюзельке жил бобыль старик Прохор. Ремесло у него было из ходовых, но грошовых. Лапти плел. Еле кормился старик, а внука вырастил.

Внук Далматом звался... По материному отцу. И хотелось старику Прохору какое-никакое ремесло, только не лапотное дать в руки своему последышу. А душа у Далмата ни к чему как-то не липла. Пустяковиной всякой баловался. Бесенят из глины лепил, девок-красавок из липовых чураков вытесывал, из камня-дикаря разную чепушину высекал, снегом и тем народ забавил.

И как-то на масленой неделе слепил Далмат снеговую царевенку. И так она вылепилась, что не только в Зюзельке, так и в окрестных деревнях об этой царевне заговорили. Сначала одиночно бегали на нее глядеть, а потом семьями давай приходить. Часами возле нее простаивали. А она красуется на пригорочке и, того гляди, сойдет с него, взмахнет руками, оживет живее живой и...

И кому только и что не чудилось, глядячи на нее. Снеговая, а сердце в ней живое. Холодная, а жарче жаркого летичка. Оторопь даже берет. И чертознаем тихого парня Далмата не назовешь, и без нечистой силы такого не может быть.

— С кого ты слепил ее? С чьего девичьего лица?

— Сам не знаю. Видел где-то это лицо, а где видел — забыл.

— Как же так забыл? — допытываются люди. — Не во сне же она приснилась тебе.

— И теперь снится. Только в сны-то она из яви перешла.

Сущую правду говорил Далмат, а того не знал, что эта самая девчущечка, укутанная в материну шаль, совсем рядом в толпе пряталась. Не царевну, а Далмата разглядывала. Маруней звали ее. Годков Маруне тогда всего ничего было. Зачем ей до поры до времени сердце торопить. Но Далмата хотелось узнать не по одной его

писаной баскоте да по льняной кудрине. В нутро ему, в душевность желательно было заглянуть девчущечке.

Маруношка самостоятельной разумницей выросла. Видывала всякие бабы доли. Многому научили они Маруню.

Придет ее пора, и, может быть, скажет, как на городском базаре, сидючи на отцовском возу, запала она в его памятливые глаза. А то, что его глаза памятливыми были, только дивиться можно. И как не дивиться, коли Маруню он чуть ли не меньше минуты видел, а из точки в точку в снеге повторил. И уж коли она запала в него, что даже в спы перешла, значит, не выпадет.

Одним словом, не простой снеговой завяз получился, а как он развяжется, сами увидите. Теперь же скажем, что на ту снеговую царевенку даже из города любоватьсЯ ездили. И все хвалу мастеру воздавали. А другие, видя Далматову бедность, деду Прохору медяки совали. Погляд тоже что-то стоит. Даже серебрушками одаряли. А один...

А один из богатых купцов едва не рехнулся, на красавицу-снеговицу глядючи. Кукуев по фамилии. Красным товаром торговал. До десятка лавок у него по большим селам, а в городе — самая главная. Кукуев из непьющих был. Не гулял, не озорничал, но — не без изъяна богач. Может быть, слово «изъян» не из того мотка выткалось, а другим словом его не заменишь.

Был этот Кукуев сильно привержен к собирательству женских фигур. Всякое скупал. Литые, резные, чеканные, лепленые. Одним словом, глина ли, мрамор ли, другой ли какой камень — лишь бы душу фигура радовала. И, прослышав про эту самую снеговую царевну, Кукуев ветром в Зюзельку придул.

— Сколько?

А Далмат робел и еле выговорил:

— Да как же я могу за снег деньги брать?

И Прохор то же самое сказал. А Кукуев свое:

— Дурни вы оба. Снег это снег. А когда из снега такая царевна всем царевнам выснежилась, это другим словом зовется. Вот тебе, мастер, от меня и от царевны на новый дом и на полное обзаведение.

Сказавши такое, подал сотенную да золотых сколько-то надбавил.

Народ молчит. Ждет, что дальше будет.

А дальше — все ахнули. Велел Кукуев под снеговую

царевну дощатый помост подвести и подприморозить ее малость к этому дощатому помосту. Нанял чуть не всю Зюзельку снежную покупку к нему на двор в город пести. Да так, чтобы не тряхнуть, не шелохнуть ее.

С утра до ночи возле царевны сидел Кукуев. Обогрется дома и опять к ней. Ну, а масленая неделя, известно, весной дышать начинается. А весна для снеговой царевны смерть, как для той самой из коренной русской сказки, которую вы все сызмальства знаете.

Но — сказка сказкой. А царевенка-то ведь не в сказке, а на кукуевском дворе. Морозы еще постоят, и, как знать, может быть, кукуевские гонцы сумеют найти мастеров, которые отформуют царевну и отольтют. Счет на большие деньги шел. Но мастеров не находилось. И все в один голос:

— Да где слыхано, чтобы со снежных фигур формовки делали.

Совсем сам себя Кукуев терять начал, когда с крыш закапало. Вот-вот начнет уходить самая дорогая из всех, что у него были. И останется в памяти только одно ее видение.

А мастер нашелся. Не формовщик, а писец. Из проезжих. И до того он алмазно-блистательно своей животворной кистью царевенку из-под навеса на белый атласный шелк перевел, так искрометно выписал ее до последней снежиночки, что купец:

— Бери сколько пожелаешь!

А писец ухмыльнулся по-благородному и ответил Кукуеву:

— Ничего мне не надо. Дарствую тебе царевну. И ты мне подарствуй се. Дозволь вдругорядь для себя написать.

— Только и всего? Пиши!

И стала растаявшая царевна на двух шелках, в двух рамах жить. И не простой жизнью. Об этом еще сказано будет, а теперь опять в Зюзельку перейдем.

* * *

Узнав про это, Далмат понял свою силу. И дед тоже уразумел, каков у него внук. В новом доме тот и другой зажили. К дому для мастерской прируб прирубили. Сначала Далмат по мелочи начал работать. Руку набивал. Зверюшек резал. Кукольные головки мастерил. Для литейщиков разные модельки поставлял. И какую бы вещи-

цу, даже вовсе безделицу, не изготовит Далмат, ту цену брал за нее, которая им называлась.

Из рук рвали Далматову резную, лепную, чеканную придумь. И каждый раз эта придумь была такова, что и холодные люди теплели, хмурые веселились, добрили жадные. И в такой спрос Далматова работа вышла, такие платы за нее отваливали, что дедушка Прохор даже побавняться начал. Не снюхался ли его внук с хвостатым рогатиком, а то и с самой Фартунатой.

А какова из себя эта Фартуната, никто сказать не мог, потому что была она не на одно лицо, не на одну тысячу лиц... И каждый раз вид у нее был разный, а повадка одна и та же. Фартовая. Задумает она в молодом ли, старом ли человеке крепость его совести испытать, себя потешить, и начнет так ему фартить, что иной человек сам себя забывает.

Умные люди понимали, что все это чистой воды старушечье пустомелье. И все же знали, что не зря сказки сказываются, а для чего-то они рождаются и живут. Ну, а старик Прохор, тот знал свое. Твердо верил, что Фартуната не дым без огня, а самый настоящий огонь, на котором сгорают и не такие простяги, как его внук Далмат.

Слыханное ли дело, чтобы за кленовую девицу-водяницу или за латунного петуха дали столько, что жить при таких деньгах стало боязно.

При лаптях на квасу, на редьке жили, а теперь всего невпроед, но жизни не стало. А Далмат не останавливается. Весь в колдовском Фартунатином фарту, как в меду, купается. Совсем немислимые невозможности вытворяживать начал.

* * *

В соседней деревне у горемычной вдовы комолая коровка Красулька своропостижно кончилась. А у вдовы трое сирот. Сгинули детишечкам. И она по миру с круговой шапкой пошла. И, конечно, в Далматов дом забрела. Этому есть что дать.

— Помогу,— говорит Далмат,— помогу. Я тебе такую коровку Красульку из корня вырежу, что, глядячи на нее, забудешь свою старую.

Не по-доброму глянула на Далмата обездоленная вдова. Сдвинула брови. Стиснула зубы и процедила обидные слова:

— Аль не опохмелшлся со вчерашнего?.. Аль твоя сытость чужой голод застит?

Ничего не ответил Далмат. Ушел в свой прируб и принялся резать из корня комолую коровку. И так-то скоро да славно она у него вырезалась, что и сам резчик залюбовался и скупщиков призвал. Трех. Самых жадных. Призвал и говорит:

— Желательно мне, господа скупцы, эту маленькую корневую коровку на живую большую корову для этой бедной вдовы променять.

Вдову он тоже в тот день призвал. Пусть знает, что ей надо знать.

Скупщики переспросили. Не ослышались ли они?

— Да, пожалуй, что так,— сказал им Далмат.— Продешевил малость. Деньгами прибавку надо добавить. «Рыжика» два, а то и четыре.

Тихо стало подле стола, на котором резная коровка красовалась. Вдова боязливо в сторонку скользнула. Совсем не в своем уме мастера увидела. А купцы-скупцы чернее сапожных голенищ.

Этакая издевка. Только в глаза не плюет. Изувечить такого мало. А сами на коровку поглядывают. И чем больше глядят они на нее, тем пуще она их околдовывает. Тут, к слову сказать, Прохор твердо понял, какие фартуны Фартуната выфартуначивает, как купцов-скупцов она деревянной Красулькой оболванывает.

Молчат купцы-скупцы и прикидывают. Если такую коровку в бронзе отлить или в том же тонком чугуне, то за каждую ее отливку дадут не меньше трояка. Сто отливок — триста рублей. А ежели пятью, шестью, семью сотнями отливок модельная коровка отелится — золотым стадом тогда она обернется.

Далмат тоже молчит, но будто слышит, о чем скупщики думают. Слышит и себя распаляет.

— Корову не корову,— начал торговаться один из скупцов,— а полкоровы дам.

— А я, пожалуй, и целую могу,— встрял другой.

— И я, пожалуй,— решил перебить третий,— да еще целкачок на подойник набавлю.

Вдова стоит у порога ни жива ни мертва. Язык запал. За косяк держится, чтобы не упасть. Изба вкруговую пошла. Пол в ее глазах зазыбился. А Далмат взял со стола коровку, сунул себе за пазуху и сказал:

— Продешевил я, вдова, дареную тебе коровку про-

даваючи. За эту цену я, пожалуй, ее и сам у тебя куплю. Вот тебе три десятирублевика, маловерная баба!

Схватила вдова деньги, подол в зубы, да и была такова.

Опять в горнице, как в колодце. Все молчат. Один только не молчал. Тот самый, которого Прохор Фартунатиным бесом называл.

— Тыщу! — крикнул скупцам Далмат. — Берите, пока не поздно. Кукуев две даст.

Принесли на третий день скупцы тысячу рублей. В складчину решили купить. Только уж поздно было. Далмат свою деревянную Красульку продал Кукуеву за три тысячи рублей.

Сидел бес в Далмате. Сидел!

* * *

Пришло время. Запросил неухоженный Далматов дом домовитую хозяйку ввести. Невест выискалось столько, что два полка солдат оженить можно. И ладные были. А растаянная царевенка с каждым смотрящими живет и живет в Далматовых снах. Днем видется начала. Мелькнет и сгинет. А в одно вешнее утро увидел он ее на том самом пригорочке, где царевна стояла.

— Не бойся! Не растаяла я для тебя. И ты для меня суженым вылепился.

Ни глазам, ни ушам не верит Далмат. А она в самом деле всамделишная. Теплой к его груди припала и про базар вспомнила. И он вспомнил тот миг, который, как большого света молния, выжжет тогда в его глазах навеки вечные ее лик. А дальше...

А дальше бабка моя, Анна Лаврентьевна, такие слова выискивала про Далматову и Марушину любовь, что перед этими словами самоцветные камешки гасли. И я помню их, да на нить напизать не могу. Боюсь их красубасу окошунить или хотя бы обеднить.

Словом, и ночью солнце не заходило в доме Далмата. Счастье, как любовь, не знает ни края, ни меры. Даже старик Прохор помолодел. И как-то сказал он внуку:

— Ты меня из старого дубового пня пресветлым праведником вырезал. А такую, как наша Марушюшка, в белом мраморе сечь надо. Да так выскочи, чтобы шапки снимали, на все глядящи. Если за девичку-снеговичку

тебе Кукуев дом построил, то за мраморную-то Марунюшку дворец вымахает.

Тут Прохор почуял, что Фартуната и в него бесенка хочет поселить. Поэтому стал он натошак по три капли лампадного масла в чай капать. Для беса лампадное масло самой смерти смертнее.

Помогло. И Далмату тайком Прохор в чай капал. Тоже на пользу пошло. Как в песне жил молодой муж. И такие ласковые слова своей женошке говорил, которые не перепоеет и сам соловей-соловушка.

Но как ни хороши были Далматовы слова, а в камне он мог сказать куда жарче и душевнее. Глыба белого мрамора не дешева, а по дедову настоянию Далмат добыл ее. Из белых белую. Без единой чужецветной прожилки.

Как снег!

Долго раздумывал Далмат, какой в камне будет его Марунюшка. И так примерял, и этак-то прикидывал, в разных местах побывал, повидал там творения разных мастеров, а надумал свое. Надумал, когда в солнечный день увидел Маруню, кормящей своего первенца. И как осенило его. Кормящей матерью станет большая бело-мраморная глыба.

Ну конечно, сперва в глине пробовал, в дереве резал, а потом и за камень взялся.

Любовь высекала из мрамора до последнего пальчика, до каждой ямочки на локотках, до ниточки на руках материнское счастье. И ночь не в ночь, и день ни в день. Как сон наяву рождалось его творение. И пришло такое время, настал такой час, когда боязно стало прикоснуться к мрамору и лишить его хотя бы единой крохи с просяное зерно, потому что из камня ушло все каменное и осталось только живое-живущее.

— Я ли это содеял, Маруня? — обливался Далмат слезами.

Сотни, а может, и тысячи глаз переглядели «кормящую мать». И не нашлось ни одного злого глаза, который бы не подобрел, глядячи на извечность простого и вечного. И это простое и знакомое как бы слило в ней всех дающих жизнь. И теперь она, как бы не она, а само всесветное материнство, собранное в этой беломраморной чистоте.

Кукуев молился на «кормящую мать» полным крепостом и кланялся ей, как богоматери, но не мог даже и

подумать, о чем думали все. Кукуев знал, что если удесятерить его богатства, то и они не станут даже самой малой ценой этой святыни. «Да и всему ли есть цена»,— впервые подумал богатч и понял, как беден он рядом с беломраморной матерью.

* * *

Бес совсем было приумолк в Далмате. Но на всякого беса находится своя бесовка.

В Зюзельку шестерня вороных прикатила золотую карету. В карете барынька из молодых и родовитых. При лакеях и кучерах. Увидевши беломраморную жену Далмата, а затем и ее самое, живехонько прикинула, что и к чему. А потом просительно восхотела быть высеченной гибнущим в зюзельском бесславии самородным ваятелем.

Для Прохора это и была сама Фартуната. Да могла ли она для него быть другой, коли так скоро офартунатила Марунину шею яхонтовой ожерелкой и велела выдать для первого случая Далматовой семье пригоршень золотых и вознаградить Маруню за недолгую разлуку с мужем питерскими нарядами.

И все было замешено, раскатано и выпечено столь скоро, что пирог, еще не очухавшись полняком, катил в золотой карете.

Зюзелька уже далеко позади. Впереди Питер. Заманые высечки. Секи теперь, Далмат, из любого камня Режь хоть из красного дерева. И если уж ты своего деда Прохора вырезал между делом из дубового пня, и тот издался какой есть до волоска, то уж их-то превысоко и выше того ты вырежешь так, что все увидят и поймут, каковы твои руки.

В Зюзельке говорили разное, но все сходились на том, что коли Марунык из простых зажила беломраморной жизнью, то эту-то фрею он оцарицит на полный колер. Нечего и гадать, Далмат поубавит ей годы, поприбавит женскую нехватку телес. Одно округлит, другое опокатит, третье начисто уберет и вернется король королем.

Почти так и случилось.

Порешила эта самая фрея свое графское вдовство не одним мрамором подпереть, но и мраморщиком.

По этой причине поднаторевшая в плетении марьяжных паутин графинька стала выискивать, в каком виде ей окаменеть для привады вожеленных взоров.

Сначала она перед ним рядилась в благопристойное, потом переряжалась полегче, что не скрывает желаемое быть зримым. А напоследок удумала сечься без всего, мешавшего ее родовой розовитости. Оставалось только додумать, какой ей быть. Сидящей, стоящей или возлежащей на розовомаморных воздушях.

Примерялась она так и сяк. Не останавливалась в поиске. Не останавливалась до тех пор, когда уже дальше ехать было некуда. Нашла, что искала.

Нелегким было сечение. Многие она в себе заставляла переиначивать. И не только от Маруни Далмата увела, но и Маруню потребовала обобрать и себе ее красоты приваять.

* * *

Приваял Далмат, что требовалось от него, и Питер увидел розовую возлежащую графиню, у которой было малость попризакрото только лицо, а все остальное слепило уворованной красотой. Но кто мог знать об этом!

Началось сватовское нашествие. И скорым-скорехонько графиня стала княгиней, а Далмат — камер-ваятелем, допущенным ко двору. Камзолы, парчи и всякое прочее кружевное короткоштанное обмундирование само по себе... И матери родной не узнать бы Далмата. Все двери открыты для него. Все их женские сиятельства, их светлости и те, что в стародевичестве, в раннем или позднем замужестве, бегали за Далматом как самые последние побирушки-нищенки. Высеки только, ваше пре-высокое ваятельство, а там что пожелаешь.

И он сек их, сек без разбору, но с выгодой. Бес в те годы в его душу так влез, что душа еле-еле ютилась промежду четвертым и пятым ребром. С правой стороны. Потому как с левой находилось сердце, а в нем, как на постоялом дворе при большой дороге, было теснее тесного. Даже тезоименительные особы и те в него свой черед ждали.

Это одна сторона картины. Юбочная, как бы сказать, сторона. Была и другая. Штанная. Началась она с того, что Далмат некоего мелкого князька таким вседержительным владыкой вычеканил, что все их сиятельства, их светлости, превосходительства, высочества и величества едва не онемели от зависти. И тоже захотели такой же лестной бронзовой запечатленности. И это хотение так их одолело, что Далмата еле хватало. Подмастерьев принанял. Бешено дело пошло. Кто на коне себя требует.

Кто на троне со скипетром. Кто в воеводском обличье. Кто в мантиях... Рвут и мечут. Друг дружку статуино перевозвеличивают. Один даже с архангелом за спиной потребовал себя отлить.

Далмату мало было дела, кто кем себя хочет выставить. Слава до того его изнахратила, что все для него трын-травой было. Один раз он при регалиях, при ленте через плечо в лаптях на императорский бал пожаловал. Пьянее вина. Терпели и не такие выходы. В его руках их дворцовое увековечение. Поэтому приходится не замечать скотские чудасии. Звать вятского смерда Далмату в царские палаты.

При таких почестях начисто забыл свою Зюзельку Далмат. И Маруня теперь не была для него никаким подареньем судьбы, а промашкой его тогдашней серости. Так он и отписал ей, а деньги на пропитание своему стряпчему приказал неукоснительно высылать.

* * *

К полста годам Далмат был, как небо,—весь медальен и регален. И, как полагается, свой дворец. А при дворце всякое разное население. Всех сортов и родов. Разных годов и цветов. От рыжих до смолевых. Ему что? Высеченный им падишах хоть табун разнокожих рабышек пригонит.

Пир горой, гора пиром. Где день, где ночь, но всегда знал, что его славовластью не будет конца. А слава ни у кого не спрашивает, когда ей начаться, когда кончиться.

Далматова слава ушла давным-давно-давнешенько, а его, по разбежной привычности, все еще светилом величали. Восхваляли совсем никудышнюю лепню. Вровень с бессмертными ваятелями ставили. А становление-то это ставленным оказалось, выдуманым. Выдуманным теми, кого он так сверкательно изолгал. Кого изукрасил до переслащенной отвратности. Кого возвеличил редкостным чародейством своего лжительства.

А потом, когда это чародейство скудеть начало, все в преславном Далмате препостыдного окопата увидели. Лжа тоже свою черту знает. Переступи ее только раз, один маленький разок, и рухнет все солганное тобой. Рухнет, как бы искусно и даровито ни притворялось оно правдой, как бы до этого ни сияло ею в обманутых доверчивых глазах.

Оглянувшись, увидел себя Далмат с первого вырезанного им в Зюзельке петушка до последнего тупорылого короля. Дурак дураком он в своем малознаемом королевстве слыл, а Далмат его в мудреца переплавил.

Ахнули люди. Зашумел народ. Дворцовые льстецы-лжесцы и те скрючились, увидевши тупорылую свинью на фигурном литом троне в лучезарной личине премудрости.

На этом-то корوليшке и споткнулся Далмат. Переодетым из того королевства сбег. Еле в себя пришел. А придя в себя, понял, куда, в какую безвылазную тряпину его фартовая удачливость завела. И запил.

Смертельно запил Далмат. До белой или какого-то другого цвета горячки допился. Может быть — до розовой.

Не долго болел Далмат, но тяжко. Все перебивали у него. И фальшивые их величества в бронзе, и обманные графья-князья, и обогородоженные ханы-богдыханы, императоры, короли и королята являлись пеше и конно. Являлись гарцующе, пляшуще, ржуще. Каждый на свой голос.

О женских видениях нечего и говорить. Бредились они тоже в своем естестве. Чертовки чертовками. Без лжачих налепок, без усладных прикрас, которые он им ой как венерно попринадбавил. И, конечно, графинька прикатила на шестерне. Та самая, которой впервые Далматов резец запродался. С нее же вся лжа началась.

Графинька не один, не два бреда перед ним скелетничала, а потом хохотливой Фартунатой обернулась.

— И-эх! Как я тебя окамзолила, обхохотала. Кто теперь тебя, Далмашка, в твою светлую прежность расхохочет. Выпьем предупокійную чарочку на помин твоей душеньки!

Не выпил Далмат в бреде ее чары. Дедовская кровь в нем верх над смертным концом взяла.

Выжил!

* * *

Богатство Далмата ушло как майский туман. Бесславие пришло как злое похмелье. Продал Далмат остатнее и седым поехал умирать в родную деревню. Совесть его туда позвала.

Вошел Далмат в свой дом и оказался дома. Признал

отца в колыбельке оставленный сын. Дедом называли его неизвестные им внуки. А Маруня еще в хорошей поре была. Не в молодой, но и не в старой.

— Разоблокайся, Далмат,— сказала она.— Обед стынет. Долгонько ты что-то...

— Да,— промолвил Далмат,— подзадержался малость.

На этом и кончился разговор о долгой отлучке, о потерянном счастье, об его сгубленных годах.

Хорошее молчание другой раз нужнее большого говорения.

В Зюзельке его тоже никто и ни о чем не расспрашивал. Потому что там жили сочувственные, добрые люди. Они все и про все знали, но не хотели перемывать знаемое. Ушлого этим не вернешь. Но не все ушло.

Неуходимое не уходит. Незабываемое не забывается. Яркое не меркнет.

Беломраморную «кормящую мать» в родном его городе под стеклом берегли. Глядеть на нее приезжали из дальних земель искусники и пониматели каменного сечения. И резного деда Прохора тоже знатно омузеили, как и царевну на шелку. А комолой Красульке совсем неслыханно завидная доля выпала. Тысячами ее отливали для своих и чужедальних городов. Можно сказать, что Далматова коровка на всем белом свете паслась.

Людам хотелось видеть и знать Далмата тем, кем он был, каким зацветать начал. Таким его и увидели в Зюзельке. Просветленным, покаянным, сокрушающимся.

Клял и казнил себя Далмат принародно за то, что так мало тепла отдал людям от своего жаркого пламени, разыскренного и распепеленного на холодные скорогаснущие вспыхи-всполохи.

Рыдал Далмат. Сколько бы мог отдать народу он, вышедший из него и порожденный им. Сколько сердец возвысил бы он правдой своего ваяния, своим даром собирания многого в малом, умением в самом простом показать величие жизни.

Приготовил себя Далмат к последнему часу. И предсмертно дремотно закрыл глаза. Ждал, что вот-вот переступит порог его жизни старая карга с косой. А вместо нее другая пришла.

Снеговая царевенка во всей своей светлоте предстала и знакомым голосом заговорила:

— Зачем же ты прежде смерти умирать задумал? Зачем ты ее кличешь, когда тебе жить да жить?

Открыл глаза Далмат, а перед ним Маруня.

— Что же это делается? Видно, и смерти не нужен я стал.

— Всему свой срок,— ласковехонько промолвила верная жена.— Седина не старость. Тебе же еще до Прохоровых годов полжизни дожить надо. А в вашем роду все долговекие. Ну-кась, вставай давай, умиратель. И о жизни поговорим.

* * *

И эти слова подняли его. Желание жить в него вдохнули.

— Раскаиваться, Далмат, всякий может. А разве в словах, а не в деянии настоящее покаяние?

А он ей:

— Да как делами покаяться могу, когда я конченный человек.

А Маруня на это ему:

— Только мертвый кончается, а пока жив человек, для него ничего не поздно.

Говорит так и глазами его до глубины нутра проскваживает, будто заворачивает.

Поверил в себя, в свои силы Далмат и однажды сказал жене:

— Чтой-то, Марунюшка, меня опять к резцу потянуло... Не вырезать ли для первого случая внучоночка нашего из мягкого дерева.

Маруня на это ему:

— Я так и думала, что с него ты и начнешь долечиваться.

Недели не прошло, как внук узнал себя в дедовской мастерской. Опять вся Зюзелька в Далматовом доме перебивала. И похвалу воздать каждому не терпится, и каждый боится похвалой второе воскрешение Далмата спугнуть.

Молча ликуют. Про себя радуются. А Далмат после внука за кружевницу-сноху засел. И опять удача. До последней ниточки ее выкружевил.

И так месяц за месяцем, год за годом лета прибывают, а Далмат не стареет. И руки не дрябнут, и нутро не слабнет. Без работы устают мастера, за работой отдыхают. Одно не окончит, второе замышляет.

И запахали в мастерской Далмата пахари, заковали кузнецы, запереплясывали одна другую зюзельские молодайки. Преображал Далмат трудовой люд, а он — его душу и руки.

И до того дело дошло, что снова он за статуйное литье взялся для городов. И это литье ни в чем против правды не покривило. Никто уже теперь не мог офартунатить Далмата. Сек и лепил он только то, что хотел. Что мог. Чему его душа радовалась и чему резец не противился.

На то, что другому да и ему самому года мало было, теперь месяца хватало.

Неуемно наверстывал Далмат зазря прожитое. И на-верстал. Все забылось, что не могло помниться и жить навечно начал в людской памяти.

Вещими оказались Марунины слова про то, что ничто не поздно для человека, пока он жив.

Лжа, как ржа, скоротечна. Сама себя съедает.

Долго и крылато жил Далмат. И умерев, не умер в своих творениях и в сказке моей милой бабушки Анны Лаврентьевны. Старухи глубинной, огневой... и далеко-прицельной.

ЗОЛОТЫЕ КОЛЕЧКИ

Жила да была одна соломенная вдова. Марья. Муж-то у нее по городам плотничал-отходничал, а она в своем селе всякие дела делала. И ничего у нее из рук не валилось. Хоть коров доить, хоть телят выпаивать, хоть сады садить, хоть дрова пилить, везде — огонь. И мало того, что сама горела, — других зажигала. А потом вдруг гаснуть начала. Киснуть. Вянуть. Сутулиться. Никакая работа ее не веселит. Никакой отдых не манит. На погост к матери зачастила.

— Отжила, — говорит, — я. Кончились мои светлые деньки. Ночь приходит. Вот выдам последнюю, и все тогда.

Соседи увещевают. Всякие умные слова говорят. На верный путь наставляют. А она:

— Жизнь сызнава не начнешь. И минутки дважды прожить нельзя. А уж золотые-то денечки вовсе не повторяются.

Скажет так и примется вспоминать прожитые годки. А они у нее один другого огневее были.

Не двое, не трое по ней убивались, за нее сватались. Пресли-молили, на коленках ползали, на морозе стыли, а она рыжего плотника с косиной в левом глазу своими тонкими руками обвила, суженым назвала и принародно поцеловала.

Рыжий, сказывают, так оторопел от счастья, что больше года на оба глаза косил. Только после первенца проморгался. С его рыжинкой младенец родился, с ее лицом и, как золотым кольцом, соединил мать с отцом.

Понял тогда плотник, что с ним шуток не шутят, что он да она не вокруг бани обверчены, а сыном по гроб жизни обвенчаны. Навечно обручены.

Золотым колечком прозвали они своего кудряша, а в метриках Николаем записали. Колей. Колечкой-кольцом.

Растет сынок, подрастает, а щедрая мать-матушка Жизнь милую дочь посылает. Опять радости без края, веселья без конца, Колечка да Олечка, два колечка-кольчика.

Шесть раз улыбнулась им царица Жизнь: четырьмя сынами, двумя дочерьями. Тесно за столом, да весело. Гомон, щебет, писк... Как весной в лесу. Счастья — через край.

И в голову не приходило тогда, что все это минет. Пройдет, кончится.

Красна весна, да не долго красуется. Светло-тепло жаркое леточко, но и оно отгорает.

Повыросли сыны-дочери. Старший заводы строить подался. Второй и третий в армию ушли. Один в Москву генералом вернулся. Другой солдатом в братском кургане остался. Четвертый и по сей день во льдах караваны водит. Ну и Сибирь тоже кто-то должен подымать. Старшая Ольга за Байкал-озером собой, своей семьей новый город начала.

Осталась с матерью только младшенькая, Настя. Да и осталась-то как... Не сама по себе, а по своей сердечности. Ради матери. Чтобы ей было с кем перемолвиться, для кого щи сварить. Живет меньшая при Марье, а сама вся в лесу. Там у нее молодой кедр красуется. До того ладен да складен, что сил никаких нет. Табунаки вокруг него ходят. И не бросовые какие-нибудь, а козырные невесты, которые тоже на хорошей молве цветут.

В дом бы такого Марье. Всем бы хорош был зять, да как его взять, когда он тоже лесника-старика оставить не может.

Вот так и маются. Друг дружку только во сне видят. У одной перед матерью долг, у другого перед собой святой зарок — докормить, допнить и глаза старику закрыть. Он ведь вырастил, выучил и ружье в руки дал. Как можно покинуть? Волк и тот такой измены не простит.

Долго тянулось так, да Марья как-то сказала дочери:

— Тошню мне глядеть на твое домохозяйство, Настасья. Так и в пустоцветах захиреть-завянуть можно. В лесу калина-малина, черника-смородина. Рыжик-груздь, белые грибы. Красота. Не чурайся-ка леса, доченька. Коли парни в селе не любы, так, может, в бору встретишь пригожего лешачка.

Сказала так мать, а про лесникова внука и словом не обмолвилась. Будто его видом не видывала и про него слыхом не слыхивала.

Стала ходить Настенька в лес. Совсем теперь одна-одинешенька дома дни коротает мать. Никакая работа на ум не идет. Не знает, куда себя деть. Ездить от скукоты да от пустоты начала: то к генералу в Москву споняет. То в забайкальский город к депутатше слетает. Другой раз морской сын погостит — ояньт просвет. Да ненадолго. У всех своя жизнь, свои заботы. А у нее нет забот, значит, нет и жизни. Старик плотник тоже ведь не ради долгого рубля отходничает, а от пустой-глухой избы бегаёт.

Вот и случилось, что при живом муже Марья — вдова, при родимых детушках — бездетная мать. Прямо хоть Смерть покличь, чтобы она помогла Настенькину жизнь не застить. Да разве упросишь Смерть? Когда сердце бесперебойно колотится, когда грудь исправно дышит и никаких там других недугов нет — что может она сделать...

Смерть свой распорядок знает, как и Жизнь. Она тоже своего не упустит, а что положено — получай сполна.

Настя до того к лесу привязалась, что, когда последние грибы-ягоды отошли, дрова заготавливать стала. А когда она столько их заготовила, что на дворе повернуться негде, — охоту придумала. Сначала петлями зай-

цев ловила, на лис капканчики ставила, а потом и ружьишком обзавелась.

Хорошо дело у нее шло. То косача принесет, то тегерса, а то и пяток-другой куропаток. А как-то в один погожий денек, когда мать у мастерового сына гостила, Настенька девочку принесла. Принесла девочку и сама матерью стала.

Соседи помогли, как могли. Скоро Настенька на ноги поднялась. Да и лесная чудо-ягодка быстрехонько в силу входила. Звонкий голос подавала. Есть требовала.

Ожила старая изба детским плачем. Помолодели стены. Посветлели окна. Запахло живым жильем. А когда обернулась старая мать молодой бабушкой — весна до срока началась. С крыш закапало. Солнышко заиграло.

Припала Марья к внучкиной колыбели и почуяла, как снова в нее материнство входит. Как руки тугой силой наливаются. Спина распрямляется. Ноги резвеют. Глаза светлеют. Голос звончеет. А сердце выскочить готово и — в пляс.

— Счастье, да ты ли это? Ты ли?

Не наглядится Марья на знакомое внучкино личико. Не налюбуется колючками золотых волос.

— Мать моя матушка, всемогущая Жизнь, спасибо тебе за такое веселое начало старости!

Деда плотника-отходника вызвали. Он скорее самолета прилетел. До мизинчика свою кровную разглядел и, как никто, в левом глазишке родную сердцу косиночку заметил:

— Ой!

День от дня шумнее в избе. Отца приволокли. Бледным-бледнехоньким вошел. Думал, упрекать будут, а с ним по-хорошему.

— Спасибо тебе, лешачок-срамничок, за внученьку. Проходи, гостем будешь.

А старик уж пробку вышиб:

— А коли пожелаешь — молодым хозяином оставайся.

А лесник-старик тут как тут:

— И я, внук, твоего счастья туманить не буду. Живи здесь в своей семье, а я там докоротаю.

Тут дед-плотник обнял внучкиного прадеда и сказал:

— Зачем тебе, добрый человек, остатние годы в лесу коротать? Пусть они в светлой избе подолжеют. Моло-

дым светелку приручим, тебе — каморку... И опять пошел дом народу.

Не стал противиться старый лесник. Коли от души зовут — значит, и ответить нужно душевно.

И вкостости-недолгости зажила в новом доме, в старой избе коренная родня маленькой Машеньки. Так ее в честь бабки называли.

В холе и неге малютка растет. Растет и не знает, что ее золотые колечки дорогой счастливой цепью сковались и стольких людей в дружную трудовую семью соединили.

ЧЕРТОЗНАЕВА ПАМЯТКА

Любил Чертознай Викторович доброго человека приметить, бедного пожалеть, несчастного осчастливить. Умел по исхоженным дорожкам заново пройти, бывало, му ходоку такую тропинку показать, что тот, хоть три жизни живи, все равно бы до Чертознаевой простой мудрости не дошел. Из образованных, видно, был Чертознай Викторович. Во все вникал и даже над самой малостью задумывался и хитроумную отгадку находил.

Об этом и сказ-пересказ, быть-небыль...

Случилось как-то Чертознаю Викторовичу в таежную деревеньку забрести. Зашел он в самую крайнюю избу. У хозяина, кроме краюхи ржаной да луку с квасом, и потчевать нечем. Семья большая, а удача малая. Сильно нужда его затюкивала. Мед у него был. Хороший, стоялый. Дочери к свадьбе припасал, а для гостя не пожалел.

Поел, попил Чертознай, выспался, а наутро в лес собираться начал. Собирается и говорит хозяину:

— Спасибо тебе за мед. Пусть он у тебя никогда не переводится. Пусть он поит и кормит тебя, тепло одевает да хороших сватов в дом зазывает.

Ну, а тот с усмешечкой и говорит ему:

— Спасибо, Чертознай Викторович, бедному человеку нельзя обеднеть. К тому же наш брат и посулом сыт.

А Чертознай на это ему:

— Я не купец, не царь посулом одаривать. Оболокйся давай. Хочу тебе мед показать.

Прошли они сколько-то лесом и остановились.

— Глянь, дикая пчелка летит, — указывает Черто-

зитай.— Беги за ней, она тебя к дуплу приведет. Вот ты и с медом.

— Да разве пчелку догонит человек? Смеешься ты, что ли, надо мной? Чертознай Викторович? Сам попробуй, коли прыток.

— Я-то прыток, а ты, видно, нет. Выходит, средство нужно, чтобы пчелка тише летала.

Сказал так Чертознай и поймал пчелу. Потом подошел к елке, добыл капельку свежей смолы и капнул на спинку пчелы, а на смолевую каплю словую иголочку прилепил.

— Смекаешь?

— Нет,— признался мужик.

— Сейчас смекнешь!

Выпустил Чертознай пчелу. Грузно полетела пчела. С отдыхом. Взлетит, присядет и опять в лет. А они оба за ней идут. Долго ли, коротко ли они шли, только привела их пчела к своему дуплу.

— Вот тебе и мед,— говорит Чертознай Викторович.— Не жадничай смотри. Весь не бери. На прокорм о тавляй, чтобы пчелиной семье не сгинуть. Мало будет — другую пчелку поймай. Капни на нее смолкой, еловой иголочкой утяжели. На этом, считай, и конец твоей бедности... Через год в гости жди...

Только и видел его мужик.

Году не прошло — на ноги стал бедняк. Пудами из лесу мед носит. Хорошего зятя в дом принял.

Дивится народ. Откуда это все привалило? Как так получается, что старики, которые на пчеле зубы съели, больше десятка дупел не могут отыскать... А он что?.. Уж не с нечистым ли снюхался? Навалились на мужика:

— Сказывай!

А Чертознай тут как тут.

— О чем спор, мужики?

А те — то да се... И разговору конец. Ясно стало, кто бедному да доброму мужику богатую памятку по себе оставил.

ШТРАФ ЗА ШТРАФ

С урядником тоже случай был. Чертознай Викторович на всех управу находил. Умел бедняка полиции в обиду не дать.

Слушайте...

Лиственницу по нашим местам можно считать царь-деревом. Такие вымахивают, что из одной половины избы срубишь. Топор только часто точить надо. Как камень она. Зато до полста лет ее прель не берет. И на нижние венцы лиственница куда как хороша. Можно их прямо на землю класть. Внуков переживут.

Вот и задумал один мужичонка под старую избу новые лиственничные венцы подвести. В тагильских лесах дело было. Срубил мужик-старатель лиственницу, раскряжевал ее и только было собрался вывезти, как бац — лесник.

Так и так — этот лес к казне отписан. Штраф. Да такой, что если мужику-старателю все обзаведение распродать, то и половины штрафа не набрать. Умели штрафовать в те годы лесные грабители. Заодно с полицией жили. Полтинник казне — сто рублей в свой карман. На это и жирели.

Привел лесник бедного мужика к уряднику, чтобы тот из него штраф выбил.

Долго урядник мужика страшал. И так и этак старался, хоть один золотой да выморщить. А мужик свое:

— Нет у меня ни гроша. Нечем платить.

— Если нечем платить, тогда отправляйся в острог.

Посадили мужика. Баба на весь прииск голосит. Шутка ли, семеро по лавкам, а восьмой — в люльке. Хлеба до первых заморозков еле-еле. Соседи, конечно, утешают. Помогают горемычной матери. Кто — пяток яиц, кто — глухаринные потроха, а кто и с добрым советом идет.

В губернию велят писать прошение. Другие к Симеону праведному советуют в Верхотурье сходить, свечку поставить. Кто что, и все ото всей души. А старушка одна, из побирушек, свое твердит:

— Послушай ты меня, девка... Пожалуйся ты Чертознаюшке. Вызволит он из острога твоего мужика. Вызволит...

А та рада бы, да где Чертозная взять? Лес туда сюда не одной сотней верст меряется.

Прошло сколько-то там дней, Чертознай сам к ней пожаловал. А она-то его сроду не видывала.

— Откуль, — говорит, — ты странный человек, будешь?

А тот ей:

— Откуль — это не спрос. Скажи лучше, как дело было. За что мужа ушekli. Да не бойся. Я Чертознай Викторович.

Сойкала бабонька, чуть с лавки не упала. «Не иначе, — думает, — не пропали мои хлеб-соль за старушечкой-побирушечкой». И повалилась она Чертознаю в ноги:

— Батюшка Чертознаюшка, не оставь!..

Много она ему лишнего наплела, а суть дела простая оказалась.

Казенный лес видимо-невидимо воровали, а воров не оказывалось. Вот и задумал лесник с урядником хоть одного вора найти. И нашли.

А Чертознаю только этого и надо было. Распростился он с горемычной матерью и в казенные дачи подался. Недолго воровские узлы развязывать пришлось. Тут и там казенный лес лесные хитники валили. Обозами вывозили. Лесник спит, а урядник не видит. Чисто было дело поставлено. Лиственница — рубль с корня, сосна — по полтиннику. Ель и того дешевле.

Разузнал Чертознай Викторович все как есть и к уряднику в гости пожаловал.

— Здравствуйте, ваше высоко... Мое вам почтение... Воров в лесу выслеживал. И следы к тебе привели... Как будем: по закону или по доброй воле?

Струсил урядник. И, как лиса, давай следы замечать. Да разве их заметишь от такого охотника!

— Не погуби, Чертознай Викторович... Сам знаешь, велико ли урядничье жалованье... Пощади... Что хочешь возьми...

— Мне твоего ничего не надо, — говорит ему Чертознай. — Ты чужое отдай. А не отдашь — не жалуйся...

Дня не прошло. Приплелась лиса в присковую избушечку и давай хвостом вилять, обездоленную горемыку умасливать:

— Принес я тебе, моя горемычная бабонька, мешок муки да мяса погу. Сердце изболелось по твоему мужику. Совесть замучила.

Старателева жена глазам не верит. Ангел, а не урядник перед нею. Что такое стало с ним? Может, в самом деле совесть заговорила... А потом поняла. Поняла, выпрямилась, ухват для порядка в руки взяла и говорит:

— Нас с Чертознаем Викторовичем мукой не купишь. Мужа подавай! А не то...

А что «не то» — сама не знает. Зато урядник знал. Выложил чистоганом штраф-выкуп и ужом из избы выполз.

Выкупила жена из острога старателя. И тот первым делом в лес, чтобы Чертознаю Викторовичу спасибо сказать. Да вместо него лесника встретил. Лес он валил. Срубы рубил.

— Кому это такую хоромину готовишь?

— Будто не знаешь! — ответил лесник. — А коли в самом деле не знаешь, Чертозная спроси.

Не довелось старателю Чертозная об этом спросить. Сам узнал, кому эти срубы рубились, когда они его пятистенным домом стали.

На новоселье Чертознай Викторович пожаловал. Все осмотрел от порога до матицы и доволен домом остался. Попировал денек — и опять незнаемо куда.

И всегда так: ищешь — не найдешь, не ждешь — явится.

БОЛТЛИВАЯ МОЛНИЯ

В наших местах что ни гора — то сказка, что ни пригорок — то присказка. Всего не переберешь, а кое-что можно переслопатить. Вот, скажем, про Лысую горушку да про Чертознаю Викторовича вспомним. Жил-был на Лысой горушке Федяй Огольцов. По прозвищу Божья Милость. Так его прозвали за то, что горел он несчетно по божьей милости — от молнии. Только отстроится, только дым в трубу пустит, бац — молния, пых — изба. Разгребай пепел да репу сажай.

Репа на пожарище растет сладкая, масловитая. Только Федяю горько избу сызнава рубить. Мало дела, что лес даровой и руки некупленные, намахаешься, пока у двенадцати венцов сорок восемь углов срубишь. А ведь это только срубы. Их на мох ставить надо, а потом и балки-матицы врубать. А по ним пол, потолок стлать надо. Да плотно, чтобы земля с чердака в щели не сыпалась, когда гости плясать начнут. Без стропил тоже не изба. Если о четырех стропилах крыша, и то восемь концов отпилить да врубить надо. А окна? Пусть даже три. Это же шесть рам. Двадцать четыре стекла. Одной замазки большой ком вымажешь, если хочешь, чтобы стужа на печи с ребятами не спала.

Старается Федяй. Из последних сил выбивается, а не сдается.

— Бросил бы ты, Федяй, свою злосчастную горку. А он:

— Не могу. Никак не могу! Тятенькина память. Родовая земля. Вид с горы хороший. К тому же овощ идет, как на опаре. На полуденном склоне солнце прямым лучом на аршин без малого землю прогревает.

И верно, овощ на горушке хорошо шел. С умом гора поставлена была. Место открытое, солнца на две волости хватило бы. И ветер не забегал — другой горой отгораживался. Приволья на горушке тоже было вдосталь. Под горой, бывало, снег только-только таять начинает, а на горе сухо. Хоть в бабки играй, хоть огород перекапывай.

— Никуда я не уйду со своей Лысой горушки. Никуда! — сказал Федяй, отстроившись пятый раз.

И вскорости так погорел, еле ноги унес. Ребят вытащил, а от стельной коровки даже копыт-рогов не осталось. В баню жить перешел. Она поодаль стояла. Перешедя в баньку Федяй и задумался. Так задумался, что с лица почернел.

Родня, дружки увещевают Федяя:

— Брось эту гору! Селись внизу! До каких пор тебе с молнией тягаться, божью немилость терпеть! Не лезь на рожон. Не супротивничай. Перебирайся на новое место.

Молчит Федяй. Бороду закусил. Того гляди, откусит. Отец Михаил на гору пожаловал. Проповедничать начал:

— Может, кержаки на этой горе веру раскалывали. И проклял за это бог во веки веков эту гору.

Сомневаться начал Федяй. Совсем было под гору съехал, да бабеночка ночью приплелась. Из несчастных горемык. Приплелась да и говорит:

— Хочешь — верь, хочешь — не верь, только у тебя одна дорожка: к Чертознаю Викторовичу. Давай сведу я тебя с ним. Худа не будет. За совет он денег не берет. Лаской ему за добро платят.

В этом месте передых-перекур сделаем и про Чертознаю Викторовича порасскажем.

Из каких он был, этот человек, не скажу. Из ссыльных ли беглых, из вечных ли поселенцев, царетоступников, — не знаю. И где он жил, тоже сказать не могу. Одно скажу: любил его простой народ, хоть и побаивал-

ся. Как-никак одно имя Чертознай чего стоит. Выходит, что с чертом он знался. А на самом-то деле ни черта, ни бога этот ученый человек не признавал. Злые люди — чиновники да урядник — Чертознаем этого безымянного человека прозвали для острастки. Запугивали простой народ, которому он помогал. И с заводскими господами знался. Одним хорошие советы давал, других на чистую воду выводил. Господа тоже разные случались. И те, кому Чертознай Викторович поперек дороги становился, рады были его извести. Да как? Его погубишь — сам пропадешь. Многонько знал Чертознай про заводское начальство. К тому же рабочий народ за своего благодетеля горой. Он от ста приставов мог укрыть, да так, что и не найдешь, а голову, не ровен час, потеряешь.

Вот так и жил, так и скрывался в наших лесах добрый человек под чужим нескладным прозвищем Чертознай Викторович.

Заявился как-то этот Чертознай Викторович на Лысую горушку да и говорит Федяю:

— Скуй ты, Федяй, медное копье трех сажен долиной, в руку толщиной. Нарости комель копия железной болванкой в хорошее полено да закопай аршина на полтора, на два в землю. Притрамбуй хорошенько. А потом избу строй. Вот тебе сто двадцать пять рублей.

И подает Чертознай Викторович сторублевую бумагу, по прозванию «катенька», да пять пятирублевых золотых «рыжиков».

— Погоришь, — говорит, — рубля не возьму. Цел будешь, отдашь, кому я скажу, половину того, что тебе молния укажет.

Сказал так и сгинул в темноте.

Сковали Федяю копье. Нарастил он его с комля болванкой и в землю закопал. Торчит копье острием в небо и будто молнию на бой зовет. Поговаривать стали в народе. Нескладно получается. Как-никак небо. Зачем его гневить?

А Федяю мало до этого дела. Сколько раз по милости неба горел, так какая же это милость, с позволений сказать! И за что оно миловало так Федяю? За труды не покладая рук? За доброе сердце?

Нанял Федяй на Чертознаевы денежки двух плотников и давай с ними в три топора дом рубить. Да не простую избу, а пятистенную. Листовым железом по-

крыл. Свинцовым суриком покрасил. Першел к зиме в новый дом. С двойным полом, с двойными рамами. Весело из трубы дым валит, а из конька крыши медное копьё торчит. Торчит и на солнце отливает. А Федяй его каждую субботу квасной гущей чистит:

— Знай наших!

Пришло лето. Пришла первая гроза. Высыпал на улицу народ, глаз с Лысой горушки не спускает. Что будет? Чем небо ответит?

Сверкнула молния, грянул гром. Ударил огненная стрела в медное копьё. Стоном застонал народ. Слепила молния, осветила Лысую горушку. А Федяев дом как стоял, так и остался стоять.

Разговоры пошли:

— Это случай. Мало ли... Упреждал Илья... Убери копьё!.. Поглядим, что летние грозы скажут, какова тогда божья милость будет.

Пришел грозный ильин день. Мечет стрелы Илья, катается в своей громовой колеснице, бьет молния в медном копьё, а дом как заколдованный.

— Не иначе,— говорит отец Михаил,— это Чертознаева наука.

Минули летние грозы. Пришел Чертознай Викторович.

— Что скажешь, Федяй Божья Милость? Оберегает тебя мое копьё?

— Оберегает, Чертознай Викторович!

— А как ты думаешь, отчего бы это? Молния бьет, а не убивает.

— Не знаю, батюшка Чертознай Викторович!

— Неужто тебе молния ничего не выболтала?

— Нет, милостивец Чертознай Викторович, я с ней разговоры не разговаривал.

— А ты бы спросил ее. Может быть, клад какой в горе зарыт.

— Какой клад, батюшка Чертознай Викторович?

— Не знаю какой. Может быть, медный, а может, железный. Любит она ведь медь да железо. Не зря ведь куда ни попади, а в твое медное копьё целит. Через него в землю проходит.

— Это так, Чертознай Викторович. Не рыть ли горушку-то?

— Порой. Помощников пришлю. Помнишь наш уговор?

— Помню,— говорит Федяй,— и от своего слова не отступлю.

Прошло столько-то дней, привел Чертознай на Лысую горушку десятерых мужиков из самых что ни на есть проклятых судьбой и начальством. Голь. Привел и говорит:

— Вот вам на обзаведение по четвертной. Обзаведетесь — отдадите. А теперь начинайте пробную штольную бить. Как до клада дойдете, меня свистните. Скажу, как дальше быть.

Указал место Чертознай и в лес подался. Недолго били штольную мужики. Клад быстрехонько объявился. Да такой силы, что мужики холодным потом покрылись.

Коренную железную руду открыли. Знай только ломом отковыривай да в таратайки грузи.

Ну, как и бывает в таких делах, набежало на Лысую горушку народу видимо-невидимо. Всякого. Разного. И добытчики легкой поживы налетели. Перекупщики.

— Продай, Федяй, гору. Пять тысяч наличными. Дивиденд особо.

А горное начальство:

— Это гора непродажная. Казенная гора. Железный рудник здесь ставить будем, а Федяю медаль и пятьдесят рублей пенсия до окончания жизни.

Только Федяй не совсем простоватым был. Бумаги на гору у него форменными оказались. Да и Чертознай Викторович так гору от крючкотворов да стряпчих оберег, что и не подкопаешься.

— Эта гора — тятенькин поминок,— хитрил Федяй,— а железная руда — божья милость. Как се можно казне передать или, того хуже, купцам продать? Сам буду горой кормиться, в горе трудиться, добрым людям по божьей милости кусок хлеба давать.

И до того Федяй гладко Чертознаевы слова пересказывал, что даже отец Михаил слезу пролил. Проповедь сказал:

— Истину говоришь, сын мой. Да призрит бедных богатая руда. Да обернется во славу...— И все такое прочее.

Сказал так отец Михаил, окропил новый рудник святой водой и медное колье освятил. Из наших же коренных попик был. Понимал что к чему. Рудными крохами кормился старик.

Прикончил Федяй свой огород, наибольшим в артели стал. Что добудут — казне продадут. Дележ простой. Мужикам два пая, бабам по одному. Только недолго его царство бедных на горе поцарствовало. Далеко и широко рудный пласт пошел. Под казенную землю. Не под силу он маленькой артели пришелся. Казна к власти стала подкапываться. И подкопалась. Так подкопалась, что и Чертознаевой силы не хватило. Пришлось артельке отказаться от «божьей милости», в другие места перебираться, новую милость искать.

Обидно, конечно. А что сделаешь? Казна — она и есть казна. Разве ее перешибешь?

Куда поразбредись артельные мужики, никто толком не знает. Да и Лысой горушки теперь в помине нет. Все срыли. Ну, а молва про болтливую молнию живет. Молву разве скроешь? Она не только людей, но и горы переживает...

ПРО ДЕДУШКУ САМО

Где и когда жил дедушка Само — никто не знает.

Никакое дело из рук у него не валилось. Все мог.

Хорошо жил дедушка Само. Для людей. Не для всех, скажем, а только для честных. И особенно для тех, у кого руки не бездумно работали, а с головой совет держали. Искали, что и как сделать, скорее, легче и лучше.

Увидит Само трудового человека — обязательно наградит.

Придет к нему, скажем, стариком странничком или старушечкой-веселушечкой, а то и козлом пожалует или скворцом залетит. Ему что? Он даже свиристельным сверчком мог в дом заползти — счастье принести.

А счастье приносил он особенное. Трудовое. Рабочее.

Копает, скажем, старик землю лопатой. Из сил выбивается. Явится к нему дедушка Само и начнет тары-бары, растабары... О том да о сем. А потом шепнет тайное слово лопате и скажет: «Будь, как я». Только его и увидели. Сорокой улетит или там паром растает. А лопата от этого самокопной станет. Сама по себе землю копает. Копает и куда надо откидывает.

У землекопа глаза на лоб лезут, а лопата за десятерых работает.

Или, скажем, рубит парень лес топором. Старается. Свою силу пересилить хочет. Вдруг прилетит к нему дятел, сядет на топор да крикнет: «Будь, как я!» И недятла. А топор саморубным обертывается. Сам рубит. Только указывай, в каком месте рубить, какое дерево валить.

Так и во всяком деле.

Пала как-то лошадь, на которой рудобоев сын из горы руду на домну возил. Сгинуть семье. Не на что лошадь купить. И вдруг бездомная собака прибегает. Пролаяла что-то такое телеге, а потом тявкнула: «Будь, как я».

Глядит рудобоев сын — не стало собачки, а телега сама собой самоходно пошла. Даже приказывать не надо. Мысленно управляется. Куда замыслил человек — туда и поворачивает. Мало того, когда надо — сама с себя самовольно руду сваливает.

Много таких случаев в наших местах было. Где только появится дедушка Само, какому рабочему инструменту свое имя передаст — этот инструмент сам собой работать начинает. Даже станки саморезные появились. Пилы самопильные. Лодки-самоходки. Печи-самоварки. Стой да приказывай. Печи сами шихту заваливают, сами выпуск стали производят.

На что корыто, в котором белье стирают, и то дедушка Само одной старухе самостирным сделал. Кидай только в него рубахи, а оно выстирает и отожмет.

И все бы хорошо было, коли б ржа топор да лопату не съедала, коли б гниль корыто не губила, коли б время печи не рушило, телеги не изъезжало.

Пришла пора — не стало дедушки Само. Износились его самосильные самоделы-самоходы. Некому было тайное слово сказать, «будь, как я» вымолвить. Осталась только сказка про дедушку Само. Эта — которую я говорю.

Долго она хорошей надеждой народ тешила, а с годами небылью обросла. Пустословицей стала. Редко-редко какой старик другой раз навеселе ее внучатам перескажет. Один посмеется, другой не поверит, а третий в правое ухо впустит, в левую ноздрю выпустит.

Только не все внуки такими были. Нашлись ушастые да головастые. Думать стали, разговоры разговаривать.

— Не зря, — говорят, — в народе такая сказка жила. Для чего-то она сказывалась.

Охота стала головастым внукам самокопной лопатой.

покопать, на самоходной телеге поездить, на самоточном станке поточить.

Задумались молодцы.

Одни стали волшебное слово дедушки Само искать, а другие — самые головастые — в сказке подсказку увидели. Не стали тайного слова добиваться. Голову да руки к сказке-подсказке припрягли. И не ошиблись.

Сама собой лопата копать стала. Самопашные плуги в поле вышли. Без коня, без лошади. И мало того — летать начали. Самолетом летательную машину назвали. Самоточный станок самоточкой нарекли. Самобеглую коляску — самокатом. Самовязную машину — самовязкой. Самосвальную машину — самосвалом... И только ли это? Многое другое именем дедушки Само начинается.

А в последнем сентябре первого ленинского столетия межпланетно-сверкательно имя дедушки Само к диволунному кораблю приставилось. Короче короткого, полнее полного он назвался.

Самовзлетным. Самопосадным. Самоуправляемым. Самобурильным. Самопогрузным. Саморазгрузным. Самовидящим. Самослушающим. Самоотвечающим... И еще тридцать три прозвания и каждое с имени Само начинается.

И сам Само сызнава зажил. Не одиночно. Не сказочно. Живыми учеными чудодеями зажил. В их силах теперь стало приказать «будь, как я» всему, что может стать беспрекословным прислужником человека и когда надо заместить его в любых постижениях как ввысь, так и вглубь и вширь...

Мудрость старой сказки про дедушку Само снова заговорила об освобождении рук человека от того, что непосильно им.

О НАЧАЛЕ ВСЕХ НАЧАЛ

Жил-был богатый-пребогатый богач. На золоте сидел, золотом владел, золотом промышлял и золотом помышлял. Ничего, кроме золота, не видел и видеть не хотел. И прозвание богачу было тоже золотое — Золотов.

И втемяшилось в башку этому Золотову, что золото всем силам сила, всем властям власть и всем началам начало. Даже бог и тот под золотом ходит, потому как за деньги можно и в рай попасть.

Расхвастался как-то Золотов на пиру, куда званы были не только господа да бары, но и люди трудового сословия. Промывщики, дробильщики, долбильщики, штегери-егери и вся прочая горная услуга. Дело то у нас на Урале было, потому как в другом месте оно и быть не могло. Тут — все чудеса.

Набражничался Золотов и свою старую похвальбу завел. Велел он казначею золотишко принести и начал:

— Захочу и повелю этому золотому слитку ростом с улитку мраморной дивой стать, и станет. А захочу, заставлю его дорогим ковром под ноги лечь, и ляжет. А если вздумаю, могу его стоведерным чудо-самоваром обернуть, и будет кипеть на весь свет, самоварные песни петь. Так ли?

— Так, так, господин Золотов, — поддакивают господа.

— Сушая правда, — подхрюкивают бары.

А Золотов дальше свои хвастливые тары-бары ведет:

— А у этого самородка хоть не велика борода, да большой силы оборотень. Хочешь, заморскими часами будет звенеть. Хочешь, самобеглой коляской начнет бегать. А ежели надобно, семиглавым храмом подымется, крестами заблестит, а то и совсем другим веселым заведением предстанет. Так?

Господа да бары опять поддакивают, подхрюкивают.

А промывщики, долбильщики, дробильщики, штегери-егери сидят, молчат, переглядываются, на широких лавках ерзают. Не по нутру им это все. Потому что они знают что и к чему — на каком дереве горячие шаньги растут, на каком кусту бублики зреют. И особенно знает про это все один из них, которого и сам Золотов побаивался. Потому что у этого неказистого горщика большая сила была. Словесная сила. И он мог так говорить, что говоримое им видимо было. Зримо. Он не просто сказывал, но и показывал. Заговорит про лес, и все оказываются в лесу. Про море начнет сказывать-показывать, так аж волны шипят, в лицо брызжут, хоть утирайся.

Вот он-то и спросил Золотова:

— А можешь ли ты то, во что золото обернулось, обратно возвернуть?

А тот:

— Что ж тут не мочь, коли всякая вещь продается

и золото самим собой остается? Хочешь, копи его, хочешь, опять во что надо обертывай.

Тут наш сказчик-показчик покосился на своих и сказал Золотову:

— Тогда позволь показать тебе, что есть всем началам начало и всем силам сила и под кем само золото ходит. Налей всем и себе по чарке, и я тем часом хрустального дымца напущу и для пущей видимости ясноглядным светом его разбавлю.

Сказал он так, и вдруг все стало этак хрустально, слегка дымчато, а потом сквозь стены золотовского дворца начал сквозной ясноглядный свет проступать. И все кругом как на ладошечке, как на блюдечке.

А он рассказывает-показывает и велит всему, что тут есть золотовского, не спеша обертываться в то, чем оно было. И тут же у всех на глазах дом лесами обставился, на леса кровельщики влезли, маляры подоспели, стекольщики пришли. Кровельщики крышу принялись раскрывать, маляры краску обратно в свои ведерки скрапывать, стекольщики рамы расстекливать, каменщики стены разбирать принялись, штукатуры — потолки расштукатуривать, паркетчики — полы распаркечивать. Возчики тоже, как и все прочие, назад пятками прибыли. Задками и телеги-дроги припятисались. И ну всякие разные материалы грузить и по ихним месторождениям развозить.

Железо обратным путем в прокатные станы ушло, а потом через летки печей в домны влилось, рудой остыло. Засыпщики эту руду в Железную гору вернули. Рудокопы ее чин чином в штольни сложили и штольни пустой породой засыпали. Каменные колонны с кудрявыми капителями каменотесы в дикий камень перетесали и каменоломням отдали. И так до последнего гвоздя назад да вспять, будто само колесо жизни в другую сторону пошло: солнышко с заката восходит, на восход заходит, дожди обратно в тучи уходят, доски в бревна перепиливаются, бревна соснами воскресают... А рассказчик-показчик не останавливается — ясноглядного света добавляет.

Груды золотых, серебряных денег к Золотову вернулись, но и они утекать начали на монетный двор расчеканиваться, в слитки переливаться. И все яснехонько видно. Видно, как мастера чеканщики из чеканного станка расчеканенное золото вынимают, как старатели,

промывщики, дробильщики, долбилыщики в речной песок золото замывают, в кварцевые жилы его вкрапливают. И в конце концов все стало как было, когда ничего не было.

Голое место.

Остались только люди с всемогущими трудовыми руками, которые тут же, у всех на глазах, начали золотить. И до того солнечно зазолотели, что Золотов чуть не ослеп. А когда проморгался, понял, в чем сила сия. Ясноглядно понял, но не признался в этом. Промолчал. Промолчал потому, что нечего было ответить золотому пауку на эту правду о силе всех сия, о начале всех начал: о Труде.

ТУХЛЯВОЕ БОЛОТЦЕ

Старик из уральских старателей-золотоискателей минувших и давних лет рассказал эту историю про Тухлявое болотце так.

* * *

Не родился еще такой краснобай, который про наш Урал мог бы все были-небыли пересказать. Потому что чуть не каждый день новые чудеса. Край такой. Пойдешь по грибы — найдешь золото. И следопытство у нас не просто так, а в крови. Наследственно. С малых лет. Другой пока еще ни «а», ни «бэ», ни кукареку, а уже присматривается. Ищет. Тетеревиное перо найдет — и то без внимания не оставляет. А уж про всякие другие находки и говорить нечего. Если разобратся, так и самый захудалый цветок зря не цветет, и сорока попусту не прострекочет. И настоящие искатели во все это выикают.

Таким вот и рос Васятка Копейкин. При бабушке Авдотье жил в старом доме, что возле Тухлявого болотца. Бабка у Васятки была сильно ногами слаба, а умом до того светла, что половина округа к ней за советами ходила. И лечила она к тому же. По старым распорядкам такую бы к ведьмам надо было приписать или уж, самое малое, в знахарках числить. А ее в народной медицине прославляют. И от кашля у нее верная трава, и от головокружения грибной настой... И всякая разная всячина, вплоть до змеиного яда, до пчелиного укуса.

Лечила добрых людей бабушка Авдотья. Себя только вылечить не могла. Круглый год сиднем сидела. В огород на коляске ездила. Коляской ее Москва наградила. За травы. За корни. А травы-корни ей внук искал. Она рассказывала — что, как и где, а он собирал целебные богатства, да еще новое открывал. Не нарадуются на него бабушка, да и соседи хвалили парня. Не все, конечно.

В поселке жил другой искатель-открыватель. Гаврик Козырев. Большого замаха парняга. Во сне знатные клады земли видел. Не жалел ног на розыски. Собачонка его, бывало, язык высунет от усталости, а он ее дальше тянет. И где только не побывал Гаврик Козырев, а ничего такого не открыл; не нашел. А хотелось. И так-то хотелось, что сам себя готов наизнанку вывернуть, лишь бы клад. И не просто там известняк, скажем, или краситель какой, а — нефть, изумрудные россыпи или, на худой конец, каменный уголь...

Зачем на мелочь себя разменивать, медвежью берлогу находить или, того смешнее, лечебные корни выкапывать, как Васятка Копейкин. Одна фамилия что стоит. Живая метка. Копейкин он и есть Копейкин, а не Пятаков. Не Гривенников. То ли дело Гаврила Козырев!

Ходит козырем Гаврик Козырев, отцу-матери золотые горы сулит. А Васятка Копейкин своим грошовым делом занят. Во все вникает, все узнает, на ус мотает, с уса на ум-разум перематывает. Раздумывает. Прикидывает. Соображает.

Как-то старик лесник совсем неподходящую побывальщину про Тухлявое болотце Васятке рассказал. Рассказал, будто в древней-предревней давности сюда золоторогий хромой олень бегал. Ногу лечил. Волшебное рассказывал лесник. Нараспев.

А потом как-то старушонка одна тоже небыль প্রশамкала. Опять про то же болотце. Будто не один олень, а и прочая недужная лесная живность исцелялась.

Смешно. И верить не верится. И выбросить из головы жалко. А тут еще пастух подвернулся. Одно на одно. Рассказал он, как у него в стаде корова обезножела и как она в Тухлявое болотце рывом рвалась, от стада убегала и, вроде того хромого оленя, в его тухлявой жиже-грязи нежилась.

— Неужели правда? — удивляется Васятка.

А пастух ему:

— Да вон же она, комолая. Раньше еле ноги таскала, а теперь хоть паши на ней.

Услышал такое Васятка и к Гаврику Козыреву побежал. Рассказал ему про чудеса на болотце и спросил:

— А вдруг это сушая правда?

Громко расхохотался Гаврюшка Козырев, сказал:

— Эх вы, Копейкины-Полушкины... Грошевики. Из своей болотной грязи вылезти не можете, пустобрехам разным верите...— и пошел-пошел всякие обидные слова говорить.

А Васятка не слушает, о своем думает.

Думал он, думал и придумал так, что чуть не задохнулся от радости. К бабушке побежал и рассказал ей все, начиная с золотого оленя, и стал ее упрашивать:

— Давай, бабонька, я болотной жижи-грязи в большую кадушку натаскаю, а ты ноги в нее ставь. И вдруг да...

— Попытка — не пытка,— говорит бабушка.— Давай...

День лечит в болотной грязи свои ноги бабушка Авдотья, другой лечит. Ничем-ничего. Но про себя думает, что грязь — не мазь. Терпеть надо. Олень не один день на болото ходил. И комолая корова тоже не одну неделю туда бегала.

Прошло сколько-то не так уж мало дней, тепло бабушка почуяла в своих ногах, а через месяц — силу. Сама из кадушки ноги выпростала и по горнице пошла.

Вскрикнул Васятка. На колени пал перед бабушкой. Обнял ее. Болотную жижу слезами оmyвает. И бабушка тоже сквозь свое счастье ревя ревет. Не только ходячим ногам радуется, зрячим умом своего внука любит. Себя в нем видит. А потом...

А потом все как по-писаному пошло. Ученые на Тухлявое болотце понаехали. Не сказку о золоторогом олене проверять, не на комолую корову дивиться,— когда на глазах у всех сидячая Васяткина бабушка на своих ногах за грибами пошла.

Расчистили болотце, застолбили, оградой обнесли. Дома стали подыматься. И выросла богатая народная здравница. Славное название ей дали, а в народе ее по-старому зовут — Тухлявое болотце. И кто только ни приезжает сюда, чтобы свои недуги в болотце оставить, хорошую молву о Васятке Копейкине увезти.

А недавно один хороший мастер, что здесь ноги себе

вернул, порешил эту быль-небыль красками пересказать. Редкой сказочной росписью стены народной здравницы подумал разукрасить. Никого его даровитая кисть не обошла. Всем место нашлось. И золоторогому оленю на болотце. И комолой корове. И доброй бабушке Авдотье. И, само собой, старательному следопыту Вассе Копейкину... Теперь-то он уже Василий Кузьмич. В большие люди вышел, а норов тот же. Никакой пустяк не пропускает. Во всякую мелочь вникает. За это и любят его. И в молве чтят, и в сказках славят...

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Жил в нашем заводе ученый старик. Хорошо разговаривал. Легко. Начнет как будто ни о чем, а кончит так, что задумаешься. К примеру, возьми его сказ про Березовую Рощу. Сколько раз ни прослушаешь, всякий раз новое в тех же словах услышишь.

Проверь, коли не веришь. Перескажу.

Отгорело жаркое летичко.хлопотливая осень пожаловала и ну ветрами сдувать зеленое платье с берез, семена из них вымолачивать да в сырую землю хоронить.

Отсеялась осень, поприкрыла желтым листом березовые семена, зиму кликать стала. А пока суд да дело, крапива с репейником тоже о своем роде-племени заботились. Также под листовное одеяло семена высеяли.

Пришла зима, застлала белым пухом холодную землю, оборонила семена от лютых морозов: «Спитесь!»

Проспали семена до теплых весенних дней и пошли в рост. Репейник испокон веков цепкий, разбойник, живехонько вымахал. Крепко уцепился за сырую землю. Глубоко корни пустил. Ну, а про Крапиву и говорить нечего. Дай только ей, хапуге, волю, она и на крыше дома вырастет, бессовестная.

Березовые семена тоже зеленую поросль дали. Хоть и не ах какую — не выше лесного ландыша, — все же росточки о три листочка поднялись. Темновато им было в густом Репейнике, тесновато в Крапивнике, а что делать? Надо расти. На то им мать, старая Береза, и жизнь дала.

— Засыхали бы уж вы лучше! — говорит Крапива.

— Все равно сгниете, — поддакивает ей Репейник.

А Березки молчат, слушают да растут сколько сил хватает.

Тогда Гадюка свое ядовитое слово вставила. Свою подлую змеиную мудрость стала выказывать:

— Миром, дескать, те правят, которые жгут да жалют. И старая Жаба, которая тоже в крапивной тени от света пряталась, в угоду Змее подхалимно подквакнула:

— Засыхайте, березовые недокормыши! Короткая-то смерть лучше долгой бескормицы.

Так оно и шло. Их устрашали, а они росли. В тесноте, в темноте, в обиде. А годика так через три, через четыре Березки переросли Крапиву. Пробившись к солнышку, они перестали слушать зловредные слова. Знали, что теперь никакой Крапиве, никакому Репейнику не закрыть от них света и не отнять соки земли.

Шипи не шипи, квакай не квакай, а молодой Березняк растет себе да растет. Много ли, мало ли лет прошло — зашелестела у всех на виду сильная Березовая Роща. Густая. Ровная. Зеленая. Разговорчивая. Дружная.

Само собой, какая хорошая Роща ни будь, без Крапивы дело не обходится. Росла в ней и Крапива. И Репейник рос. И Гадючки встречались. Жабы, само собой, тоже не перевелись. Что сделаешь? Только никто, если не считать самых пропащих, слепых да желчных, не называл эту Рощу репейной, крапивной, хотя они и произрастали в Роще.

Жабы да Змеи, само собой, иначе судили. В свою черную дуду дудели. Ну, так ведь на то и зовутся они мерзостным словом «гады». Дальше Крапивы не видят, выше Репейника не глядят.

ЗАМОК БЕЗ КЛЮЧА

Эта сказка еще в кои веки, давным-давно сказываться начала, а досказаться и по сей день не досказалась. И живет она, как изба без крыши, как шуба без воротника, как петух без голоса.

И кто только ее не досказывал — дедов дед, бабкина прабабка, седой мудрец, рыжий хитрец, — никто не сумел досказать. И я не берусь. Кому надо, тот пусть ее и заканчивает. Мое дело начать...

Жил да был вселой и горластой души человек, по прозвищу Шумило Горланович Якалкин. Прозвали его

так за то, что без «я» он двух слов вымолвить не мог. Якал на каждом слове: я да я. Хвастовством начинал, похвальбой заканчивал.

Чуть что где — Якалкин громче всех шумит. Болото ли народ осушать вздумает, непаханую ли землю пахать начнет или, скажем, колодец к руде бить — Якалкин тут как тут:

— Братцы! Браты! Брательники! Я горы vorочать могу! Я реки могу вспять пускать! Я все могу.

Молчат люди, а про себя думают: «На деле тебя проверим, тогда и судить будем».

Жил да был другой человек, по прозвищу Тихей Молчанович Улыба. Поклончивый такой человек, тихий. Молчаливый. Улыбчатый. Не слышать, не видеть. Себя не выказывает, глотку не дерет, разговоров не заводит, теневой стороной ходит. Одним словом, все три прозвища — Тихей Молчанович Улыба — не зря ему в сказке даны. И добавить к ним нечего.

Задумал как-то народ пруд прудить и на нем большую пильную мельницу ставить. Якалкин первым на сход прибежал. Руками машет, языком пашет, словесами сеет, похвальбой приборанивает. Если каждому его слову взойти, так за три года урожай не убрать.

А Тихей той порой на бревнышке сидит, молчит, всякое слово улыбочто слушает, как пряник кушает.

Посудили, порядили, плотину застолбили, работать начали.

Хвастун Похвальбеевич в новой кумачовой рубаше вышел. Рукава чуть не выше плечей засучил. Лопату так наточил, что бриться ею впору. Черенок у лопаты стеклом выскоблил, кожей вылощил. Валяную шляпу петушиным пером изукрасил.

— Эх, шляпа хороша! — хвалится Якалкин. — От солнца глаза застит и от других меня отличает. Все меня по перу увидят, заметят, как ходко я землю швыряю, как круто плотину наращиваю.

А Тихей Молчанович молчком да шажком на работу вышел. В пестрядинной одежде, в долгополом зипуне, с простой малосильной лопаточкой. Ковыряет себе земельку да помалкивает.

— Вот это человек! — говорят старики. — Себя не выказывает. Не петушится. Не то что тот: я да я.

Минул день, другой пошел. Якалкин горластее всех. Песню запел:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Пришел конец работе. Стали о каждом по делам судить. По труду. Старики замерять принялись — кто сколько? Считали они, мерили — самим себе не поверили. А когда народу объявили — шум поднялся.

— Как это так — Якалкин первым оказался? Всех перекрыл! За семерых сделал! Не может этого быть! Пересчитать надо, перемерить.

Ну ладно. Молодые стали перемерять. Всю ночь считали. А утром еще больше диву дались. Дивись не дивись, а цифирь свое показывает. Вышло, что старики вчера Якалкину за похвальбу меру поубавили. За десятых с гаком он работу справил.

— Как же это ты мог?

А он им:

— Да я еще не то могу. Не в полную силу работал. Тихея жалел. Вот начнете пыльную мельницу рубить, я три угла срублю, пока трое один угол рубят. Я так топор выточу, так его выострю, что у меня деревья сами со страху валиться будут. Потому как я мастер. В самую точку бью! По семь раз одну прирубку не прирубаю...

И пошел — я да я:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Ну ладно. Стали пыльную мельницу ставить, сруб рубить.

Якалкин в шелковой рубахе вышел, в плисовых штанах.

— Не могу, — похваляется он, — на работу оборвышем выходить. Для меня она праздник — веселый день. Если на деле себя не показать, так где же показывать? Не в пляске же. Плясать и медведь может, а топором душеньку тешить не всякий умеет...

И опять свою песню загорланил:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Ну ладно. Снова пришло время о работе судить. Лесное начальство приехало — пыльную мельницу принимать. По его подряду ее рубили. Всем миром-собором углы считали, пригонку пазов ценили, плотноту конопатки проверяли.

А Якалкин ходит себе, зубы скалит да песенку попевает:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

В сотню глаз артель изъяны выискивает. И так и сак хочет Горлановича осадить. Не выходит. Потому что народ правду любит. А правда всегда правдой остается.

— Что делать? Как быть? Неужто Якалкину почет воздавать? Неужто ему наградной златоустинский топор, как первому мастеру, отдавать?.. Шумило же он! Ячное якало! Горластое кукарекало!..

Судит так, рядит народ, промеж себя шепчется. А Якалкину мало горя:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

— Да тьфу тебе! — сердятся старики. — Похвальба ты, распохвальба неумная!

А делать нечего. Цифирь опять свое слово сказала:

— Становись, Шумило Горланович Якалкин, в первый ряд с правого краю... Старики тебе, как первому мастеру, почетный топор подносить будут...

Поднесли топор. Поздравили. Самый старейший здравину сказывать стал. Словами давится, а говорит. Величит. Воздаст Якалкину почет, а Тихей Улыба в сторонке стоит. В тени. Жалостливо так, улыбочато молчит. Даже сердце щемит.

Один из стариков заметил Улыбу и сказал:

— Его тоже приветить надо. Уж больно он тих, скромн да улыбочен.

Тут другой старик встрял:

— Тих-то он тих... Только из тихости да улыбочатости сруба не срубишь, пильной мельницы не поставишь, пруда не запрудишь.

— Зато скромность мир красит, — заспорил третий старик. — Тихость да улыбка сердце радуют...

Тут и началось. Особенно когда хмельной ковш второй круг обошел. Одни кричат:

— Хороша улыбка, да пашет неглыбко!

Другие в один голос:

— Мало тот значит, кто много «ячит». Говорун что тютюн, — дымит да тлеет, а руки не греет.

А третьи наперекор:

— Так он-то ведь не без огня дымил. Правду ска-
зывал. По рукам, по своей силе замахивался...

...И пошли-пошли плести хитрое словесное кружево,
пословицами-присловицами сверкать. Так они по сей
день спорят — ни до чего доспориться не могут. От этого
и сказка не может досказаться. И живет она, как птица
без крыльев, как фонарь без огня, как замок без от-
мычки. Может быть, вы какой ключик подберете — так
милости просим, подбирайте. Вам и жалую эту недо-
сказанную дедову сказку. Вам ее и досказывать по сво-
ему разумению. А я не могу. Некогда. Другую сказку
из печи вынимать пора. Да вам с пылу, с жару на стол
подавать.

Кушайте, пока она горяченькая. Эта-то уж с концом
будет.

ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР

*Светлой памяти П. П. Бажова
посвящается*

Дедушка Хитрован Петрович в Петры и Павлы, в
веселый сенокосный праздник, по старому распорядку
именинником считался, потому как по метрикам-то он
Петром значился. Петрованом звался. А Хитрованом-то
уж потом его прозвали. Огня в Хитроване Петровиче
было достаточно. Многим хватало. Не одно сердце со-
грел. Особенно ребячье. А ребячье, надо сказать, вокруг
Хитрована Петровича, как воробьи возле ржаного коло-
са. Есть что клевать: были-небыли, басенки-побасенки,
сказы-пересказы... Откуда что берется. Про все знал.
Обо всем судить мог.

А больше всего речь шла о руках. Потому как руки
у головы — самые главные и самые надежные приказчи-
ки. Голова без рук — как отец без детей: есть что при-
казать, а некому.

Мальчишечьи руки, известное дело, самые хваткие.
Особенно по нашим местам мальчата рукастыми рас-
тут. Другой еще толком ходить не научился, а уж с то-
пором, с молотком дружбу сводит. Отсюда и пошли в
уральских местах отчаянной славы мастера. Поглядишь
на юнца — ему до женихов еще лет пять расти надо, а
он редкой формовкой стариков удивляет или поковкой
сплит. Уклад жизни такой. По рукам голову ценят.

Иной кузнец чернее сажи, страшнее пугала, а его неаппетитным зовут, красавцем кличут. А все оттого, что трудовой народ красоту не в одежке ищет, не в кудрях на пустой голове, не в холеной руке, не в скрипучем сапоге на дряблой ноге, а в сути всех сутей — в деле.

Эту-то суть ребятишки и выпытывают у Хитрована Петровича: какое им лучше дело взять, чтобы оно из рук не вываливалось да еще счастье принесло, в люди вывело.

Хитрован Петрович сидит, бывало, на своей караульной горушке, подбрасывает дровишек в костер и поучает ребят.

— Без головы,— говорит он,— как и без рук, какое дело не делается. Но и при умной голове и при сильных руках из ничего чего тоже сделать нельзя. Материал нужен. Дерево, к примеру, или камень. Или, на худой конец, даже вода. К слову, как ты без воды тот же мыльный пузырь выдуешь? Квас без пее тоже не заквасишь и кашу не сваришь.

Заведет так Хитрован ребятишек в словесный лес и ну их там по малым тропкам водить. А к концу разговора обязательно на торную широкую дорогу выведет, и опять притча:

— Хороший материал много значит. А хорошие руки — больше. Одни руки живые цветы венником соберут, скукотой омертвят, другие — мертвую солому всею шляпкой заставят жить. Словом, когда не к рукам куделя, черен день и долга неделя.

Слушают так ребята, помалкивают да запоминают. Особенно самый меньшой. А старик подбросит хитроумных дровец да дальше стежки-дорожки показывает. Пускай каждый свою ищет, на трудовую дорогу выходит.

Не одну, не две ночи на караульной горушке такие разговоры шли. Подросли ребята. По своим дорогам разбрелись. Каждый по своим рукам кудельку выбрал — свою работу полюбил. Кто к железной руде пристрастился. Доменщиком стал. Или там рудобоем. Другой мрамор оживлять начал. Третий стал песок в живую стеклянную посуду переплавлять. Четвертый душу в железо вдохнул — машиной его сделал. Пятый еще что-то... Шестой — и пуще того...

Все поразошлись. Один только при старике остался. Меньшой. Дорожки он своей не увидел. А был он из

себя лобастенький, зоркий. Росточку хоть и небольшого, а коренастенький. Руки тоже маленькие — не для кузнечного дела. И ноги — не для пахаря. Зато ушасть был сверх меры. Памятливые уши. Что услышат — не выпустят. Даже птичий разговор запоминали. А уж то, что Хитрован Петрович рассказывал, слово в слово береглось и со своим добавлением пересказывалось. Вот оно как!

Бывало, мальчонка так Хитровану его же быть-не-быть повторит, что старик открывши рот парня слушает.

— Скажи на милость, какая ты дельная пашня! Бросил я в тебя горсть зерна, а ты мне пудов сто урожая намолотил. Да не худородного, а зерно к зерну. Всхожее золото. Придется, видно, тебе, дружок, про материал всех материалов рассказать.

— А что же это за такой материал всех материалов, дедушка Петрован? — спрашивает паренек.

— А такой материал, — отвечает Хитрован Петрович, — что из него все сотворить можно. И небо, и землю, и царства, и государства... Невиданные цветы, неслыханную красу, несказанное счастье... Хоть каменные палаты из него возводи, хоть хрустальный дворец строй. Реку новую задумаешь — потечет река. Захочешь лес вырастить — лес подымется. Решишь человека из предбудущих лет в нашем дне поселить — поселишь. Мертвого порешишь обессмертить — сбудется.

— Что же это за материал, дедушка? — еще раз спросил мальчик.

А Хитрован ответил:

— Материал это простой. Расхожий. У каждого он на языке. Всякий его знает. Пруд из него прудить можно. Горы наворотить. Всю землю покрыть. А в дело произвестить его ой как нелегко!

— А почему так? — спросил малец.

— Отбор большой надобен. Трудная промывка требуется. Походя из него бесценных крупниц не вымоешь. Да если и вымоешь — в дело пустить их загвоздисто.

Парень не знает — верить, не знает — нет. То ли это сказовая морока, то ли притча какая мудреная.

— Что же это за крупницы такие, Петрован Петрович? Они как бы золотые или самоцветные?

— Да нет, парень. Бери выше. Случается, что за одну такую крупиночку двух лукошек самоцветов мало. А случаются и такие, что порознь каждая из них лома-

него гроша не стоит. А составь их вместе, они вдруг такой ожерелкой засияют, что сто пудов золота — не цена. Тайная сила в этих крупицах. Сил сила! И нет ничего сильнее против этой силы, большеглазик ты мой,— говорит Хитрован да кудри каштановые поглаживает, в глаза ему смотрит, будто спрашивает: «Понял ли, о чем речь идет?»

А откуда малолетке понять? До этого понятия и большие недорастают. Уж не дразнит ли его дедушка Хитрован? Манит куда-то, а куда — не говорит. Закипает парень крутым кипятком и спрашивает:

— Ты мне прямо скажи, дедушка, что это за сила сил, как зовется тот чудесный материал, про который ты рассказываешь?

Тут старик не стал скрытничать и прямо сказал:

— Оба зовутся они одним словом — «слово»! Человеческое слово. И нет ничего дороже его. Нет ничего сильнее его. Город возьмет. Врага остановит. Сердце полюбит. Мертвого воскресит. Живого умертвит. На путь наставит, с пути собьет. Ненавидеть научит. За собой позовет. Народы из темноты выведет. Солнцем им засветит. Крылья вырастит... Все подвластно ему... Ежели, конечно, это большое, настоящее слово, а не пустой балабольный звон... Вот и все...

Сказал так Хитрован Петрович и смолк. Пускай сам парень решает, по уму ли ему да по рукам ли эта сила.

...Много воды утекло с тех пор. Погас веселый костер на караульной горе. Давно покинул старую караулку лобастенький да ушастенький паренек. Свою словесную золотую кудель в нитки прядет, простой, каждым знаемый материал перемывает. Силу сил из него выбирает. Дорогие крупинцы выискивает.

Много петров и павлов отгуляли косари на уральских покосах. Бородатым стал добытчик бесценных слов. Круглый год на словесном руднике. Вечен тот рудник. Неистощим. Приходи да бери, добывай речевое золото. Старайся на приисках самородных сказаний. Бей шахту к забытым легендам. Окрыляй светлые помыслы старины самоцветными сказами для детей и внуков.

Так он и делал. Бывало, совсем замшелую небывь найдет — очистит, отскоблит наросты лет. До сути дойдет. До главного зерна. А потом оправит ее в дорогой склад — и глядишь не наглядишься.

Даже в старом колодце, куда досужие старики сияющую старуху ведьму поселили, он сказку добыл. Мимо лебедя даром не проходил. Про эту птицу немало бытует всякого. Сумей только отбери. И горный козел не по одним хребтам бегал. Народ его в своих побывальщинах редким серебряным копытцем подковал. Опять сказка. А про тайную силу, что нутро гор сторожит, людей привораживает, тоже много всякого в народе живет. В темноте ведь светлые-то камушки добывались. В штольнях. А там мало ли разных страхов? И свою тень за горное чудище примешь. А красот сколько? Сколько каменной росписи? Не сказовая ли все это руда? Бери ее да переплавляй в волшебное литье.

Вот так и ходит старатель-искатель по людям. С народом живет. На рудниках почует. В цехах днюет. С бывалыми людьми водится. Со стариками дружбу ведет. Мальцов не обходит. Про жизнь слушает. Радостям радуется. Печалям печалится. Во все вникает. Мусором даже не брезгует. Случается, что вместе с ним из другой избы и редкое словечко выметут. Золотник весит, а пудом тянет.

Хмельные гулянки тоже не обходил. Пьяный слова кидает запросто. И не только бранные. Да и ругань другой раз алмазной гарью отсвечивает.

Про казарму и говорить нечего. Там со всех губерний слова в одном речевом строю стоят. Выбирай знай.

Ну, а время все шло да шло. Пятьдесят лет за плечами у сказочника. Пятьдесят зим в бороде. Подморозили они ее. Посеребрили. Пришел срок последнего белого промыва богатой руды. Настала пора пустить в дело крупицы бесценных россыпей.

Засветил старик ленинский электрический свет (к тому времени он уже в полную силу горел), и ночь не в ночь, день не в день. Крупица к крупице, искра к жемчужине, самоцвет к бисеру, алмаз к серебру, золото к росяной капельке, слово к словцу, строка за строкой, лист за листом оживало пройденное, слышанное, пережитое.

Обязан старый сказочник Хитровану Петровичу первой искрой, а народу — всем. Светлой душой. Трудовым подвигом. Каждой строкой. И распустились на белых листах неувядаемых каменные цветы. Ожили злые и добрые чудища. Золотые полозы. Голубые змейки. Юркие ящери. Веселые козлики. Верные лебеди.

Заговорил сказочный край. Горы проснулись. Камни заиграли. Старые мастера загубленную барами славу вернули. Прабабки засветились жаркой девической красотой.

Пятьдесят шесть дорогих сказов вычеканил словесных дел мастер, и добрая половина из них — об умных руках, о труде. Ну, так ведь рабочего отца сын. В доменном дыму жил. По заводскому гудку время мерил.

Бережно старый сказочник огранял долговечное. И, сам того не заметив, увековечил себя. Великий волшебник труд одарил его силой сил, против которой бесильно даже само время. И жить да жить теперь долговечному мастеру в бронзе и мраморе. В белых книжных листах. В каменных цветах. В причудливой малахитовой красоте. В родных народу сказаниях...

НЕДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Доменщик Андрей Вавилович сказывал этот сказ так.

— Нынешние-то хорошие люди не сами собой народились. Деда, отцы, матери у них были. Наши светлые деньки тоже ведь не из ничего запылись. В старые годы хоть и в темноте жили, а свет брезжил. Владимир-то Ильич еще в канун нашего века негасимый стогнь в людских сердцах высек.

Это я все для запева говорю. А теперь сама песня. Сказ про недовольного человека. Не обессудьте. Как могу, как умею, так и чеканю...

...Не то в Невьянском, не то в Шайтанском, а может быть, и в каком-то другом заводе двое бедняжек-молотяжек жили. Оба дельные. И лицом, и ростом, и костью, и русым волосом, и веселым голосом — всем хороши. Пустыка им не доставало — достатка. Оба без отца, без матери выросли. У дядьев да у теток. Ни двора, ни крыш. Ни кошки, ни мыши. Одни руки, да и те не при деле.

Работенку стали приискивать парни. Один из них, которого Яковом звали, живехонько дело нашел. Лес валить, дрова для завода пилить начал. Простая работа, а — денежная.

Году не прошло — обут, одет парень. Шубу справил, валенки скатал, треушок купил. Доволен. Да и как до-

вольным не быть, когда он на хорошей молве живет и везде желанный гость! Чего больше хотеть? Теперь только домом зажить да Жигареву дочку сосватать. Настеньку.

А Настя, надо сказать, тоже была трудовой семьи ветошка. И шить и мыть. И покос косить и воду носить. И вязать и плясать — во всем не последняя. ПройдетсЯ, бывало, Настя по кругу — зимой черемуха зацветет. Снег тает. Гармонь сама собой выговаривает малиновыми голосами заветные слова.

Как для такой красной ягоды рук пожалеешь, гнезда не совьешь?

Свил Яков гнездо. Не так чтобы терем, а все-таки на четыре окна с терраской. Кухня, горница, сени тесовые. Железная крыша, высокая труба с жестяным кодыком. На колпаке петух туда-сюда по ветру поворачивается, Якова с молодой женой веселит. И со стороны на них любо-дорого поглядеть, порадоваться.

Доволен Яков сам собой, своей женой, своим домом, своим петухом на крыше. Достиг счастья.

Второго Егорием звали. Недовольным кликали. И было за что. Смолоду таким рос. Дядя Егорку три года в приходской школе учил. Читать, писать, считать парень научился. Худо ли? Так нет, мало ему этого. Недоволен малец своей грамотой. К учителю стал бегать за книжками. Перечитал их все — опять мало. Заводскому начальству покоя от него не было. «Дай, дяденька, хоть на ночь книжоночку». Все шкафы в заводе перерыл, а довольства нет.

И так во всем. Мельницы-ветрянки ребята ладить начнут. И он свою мастерит. И прямо скажем, хитрые меленки выдавал. С трещотками от воробьев на огороде. Или с музыкой для потехи. Валок крутится, струны гусиными перышками перебирает. Ладно звенит. Все хвалят. А Егор:

— Подумаешь — невидалы! Чему тут дивиться? За что хвалить?

Таким и вырос. Так и работать стал. С домны начал. На дутье тогда его поставили. Мехами в те годы дули. Водяными колесами меха качались.

Скоро парень к дутью приобык. Хорошо платить ему стали. Всех теток своих в кашемировые платья одел. Дядьев не забыл. Кому сапоги, кому пыжиковую шапку. Сам-то Егор был не падок на деньги. Все любили

его за это, а всамделишным человеком не считали. Так и числили тронутым. Недовольным.

Когда его, неженатика, старшим над всем доменным дутьем поставили, ему бы и ночью — рот до ушей спать. А он:

— Толку-то что над холодным дутьем старшим быть? Хот коли б мне волю дали дутье нагревать, чтобы нутро домен оно не студило, тогда бы — да.

Выслушали начальники. Видят, дело говорит Егор.

— Валяй, парень. Грей дутье.

Сказано — сделано. Меньше угля домны запросили. Ходчей плавки пошли. Больше чугуна стали давать.

Вскорости на его горячем дутье по всей нашей округе домны заработали. Мешок денег Егору насыпали. В Питере стали про него говорить. В заграницах его дутье переняли. А он хоть бы что. И бровью не повел. Тут его дружок, Яков, из себя вышел и давай товарища костерить:

— Егорша!.. Сердце-то есть в тебе? Глянь, как по-круг тебя солнечно. Господа перед тобой шапки ломают. Лошадку бы полукровку, корову бы тагилку, собаку вислоухую завел. Ты теперь все можешь. Жену бы — соболью бровь, господскую кровь — в дом ввел. Неужели не видишь, сколько сердец в кисее да в бархате по тебе стучат?

— По мне ли они стучат? — отвечает Егор товарищу. — Не по моей ли славе? Да не по моим «петрам» да «катенькам» — по дурной казне, которая ни за что привалила? Что я такое сделал?

Тут Яков ему в сердцах:

— Брось приbedняться, Егор. Весь блый свет твою горячую воздуходувку перенял. Ты что?.. Опять недоволен?

А Егор ему чуть не со слезами в голосе:

— Чем же довольным быть? Разве в одном горячем дутье дело? Все домны наши перекаладывать надо. Ростом они с самовар, а угля просят столько, что крошечный ад протопить можно. Разве это домны? Куда только департаменты смотрят!

И пошел управителей подковыривать. Клинья под них подбивать. Начальство глядело-глядело на недовольного грамотея, слушало его, слушало да и по шапке.

— Нищему пожар не страшен, — говорит Егор. — Особливо если у него руки есть. В гору работать пойду.

Пошел в гору. Спервоначалу рудобоем стал. Без охоты его горщики в артель взяли. Женский пай дали. Треть. А через неделю тремя паями челом ударили. На части Егория стали рвать. Одна артель зовет, другая переманивает, третья чуть не на колеснях стоит:

— Егорий Гордеевич! Пожалей нашу бедность! Стань над нами старшим. Заработки-то видишь какие. Помогил!

А Егор смолоду добрая душа. В самую что ни на есть пропашую артелку вошел. В поисковую. На фарту она работала. Пробные дудки била. Руды искала. Найдет — фарт. Нет — квас да редька.

Случалось, эта артель по месяцу, по два потеет колодец в руде пробивает. Пласт рудный ищет. Пройдет, бывало, шахтенку артель в надежде на богатую руду, а пласт пуст и беден, как пьяная голова в понедельник. Один старый камень да слезы.

— Что делать, Егорий Гордеевич? Неужто струмент в кабак закладывать?

А он им:

— Тоньше падо дудки бить. Скорее дело пойдет.

А те:

— Тоньше себя колодец не выкопаешь. Как в нем управляться с киркой да ломом будешь?

А он им опять:

— Дудка может и в палец тониной быть. Лишь бы руду показала. Сверлом надо гору сверлить. Буравом буравить.

Старики рот шире церковных ворот открыли:

— В своем ли ты? Буравом десять вершков пробурить можно. Ну, двадцать, на худой конец. Не ум ли за разум зашел у тебя, Гордеич? Выпил бы.

А он им свое:

— Выпить, мужики, мы выпьем. Без этого нельзя. Вот вам на два ведра, а на сдачу барана велите жарить. Да кузнецов самолучших призовите ко мне. Наставной бур им велим сковать. С колесами. Просверлил аршина два — наставил колено. Опять сверли и еще колено добавляй. Так мы до преисподней дыру провернем и, что там есть, выведем.

Рудобои переглянулись. Перешепнулись, качать Егора кинулись.

— Горным начальником бы тебе быть, а не артельщиком.

За кузнецами побежали. А о водке даже не вспом-

нили. До нее ли, когда, может, через неделю переверот в поисковом деле придет.

Сковали самолучшие кузнецы составные бурава. Не сразу дело пошло: то ломкие, то в жгут свиваются. Нашли все-таки сталь, какую искали. Не жалел Егорий Гордеевич денег мастерам. И артель пока что на свои кормил. А потом...

...Потом закрипели приводные воротá, завертелись бурава. Что ни час, то аршин. Что ни день, то пять сажен. Допоздна работали. Много за месяц гор продырявили. Полную подземную картину представили горному начальнику.

Тот хоть и запивоха был да медвежатник, а дело знал. Сразу смекнул, какая ему от царя награда за новые клады на казенном руднике выйдет. Не пожалел платы мастерам-бурильщикам. Да и себя не обидел. За дыры-скважины мастерам деньги платил, а по бумагам новые поисковые дудки-шахты проводил. Большую разницу прикарманивал.

Лучше зажили новоявленные бурщики. В суконной одежде заходили. Своих коров стали доить. А Егорию Гордеевичу особый почет. Только на руках не носят его. Кормильцем-поильцем зовут. Песни про него складывают. А которые богомольные, те уж вовсе через край перехватили. Икону Егория Победоносца с его лицом велели написать. Двести рублей за нее верхотурскому монаху-богомазу артельно выплатили. Попу особо сотню дали, чтобы он икону освятил да у правого клироса в золотом киоте на место Стефана Великопермского установил. Ну, а какой умный заводской поп осмелится против отчаянной рудничной паствы пойти? Установил.

Густо возле лика Егория Гордеевича стали свечки гореть. И не одними только стариками ставленные, но и тонкими девичьими пальцами. И особенно народу в глаза бросились рублевые свечи. С золотым витком. Как венчальные. Неспроста, видно, дочка горного начальника каждое воскресенье зажигала их да с Победоносца глаз не сводила. Неллей ее звали. Питерское имя. По метрикам-то она в Еленах ходила. В заграницах училась. Ну так ведь господская дочь... И летом перчатки не снимала. По сотне рублей шляпки нашивала. А к народу была — ничего не скажешь. И грамоте рудобоевых девок учила. И моды показывала им. Сама даже шила. Со старухами дружбу вела. Сказы-переска-

зы ихние в клеенчатые тетрадки переносила. Книжки недозволенные почитывала... Ей полиции бояться нечего. Отец-то — гроза. В одном ряду с губернатором ходил.

Словом, жила Елена в кисее, да не в гордости. Первая Победоносцу призналась:

— Как хотите, так и думайте про меня. Только мое сердце для всех, кроме вас, закрыто и глаза мои для всех, кроме вас, слепы отныне...— Потом она ему что-то не по-русски добавила.

А он уж тогда при горном начальнике не только правой рукой был, а — обеими. Всем управлял. И всякие бумаги, из какого бы нерусского города они ни пришли, мог читать, как ученый аптекарь рецепт на микстуру.

Месяца не минуло, как про Неллину любовь все узнали. От пригорничных девок в господском доме разве что ускользнет? Ну, а уж коли они знают — всему народу известно. И Якову, само собой.

— Доволен ли ты, Егорша, теперь? — спрашивает он дружка. — На горе ты начальник. Все тебе доверено. Все тебя любят. У стариков святым слывешь. Старухи тебя сказками заживо славят. Нерукописной красоты Елена Прекрасная по тебе чахнет. Что тебе еще надо, Гордеев сын?

А тот ему на это замогильным голосом, будто семь лет в тагильском демидовском каземате отсидел, говорит:

— Скважины мелко бурим. Бур у нас на горе короток. До дна горы не может дойти. А главное-то счастье там.

Махнул Яков рукой и ушел. А Егор, как простой рудобой, сплюнул в ладошки и давай с мужиками-бурщиками ворот вертеть. Хочется самому до дна горы дойти.

Любо горщикам с таким работать. И управительское дело справляет, и горные работы саморучно ведет, и о лучших днях жизни тонкие беседы заводит. Такие тонкие, что и худому уху прискрестись не к чему.

Начальник на охоте днюет, в пирах ночи коротает. Все дела Егору препоручил. Только одну заботу за собой оставил — чины да награды получать. А они шли. Потому как руды теперь грузить не поспевали. Свои дымны стали тесны, в другие места руду поставляли.

Прижим кончился. Порку забыли. Десятников Егор приструнил. Штейгеров обуздал. Рядом с собой в гору поставил. Работай, коли местом дорожишь. А нет — так катись к Евгению Марковне.

Загремела гора. На выучку ученых людей сюда посылать стали. Приедут, бывало, горные барчуки. При виселях на плечах. При золотых молоточках на картузах.

— Где его высокоблагородие Егорий Гордеевич?

— Это я,— скажет Егор и выйдет как есть весь в глине, в рабочей одежде, в простых сапогах.

Хоть стой, хоть падай. А что сделаешь? По бумагам-то он теперь «его высоким» числится. Принимай как есть.

И принимали, каким он был. Даже слышать не хотели, будто он в кружок ходит на недозволенные чтения. То ли не верил этому горный начальник, то ли оберегал сук, на котором сидел. Наверно, понимал старый глухарь, что без Егора гора — не гора, а яма. К тому же и Нелличка, его дочка милая, десятерым женихам отказала, а с ним готова и горы бурить, и на морозе стыть. Чуть закашляет Егор — на ней лица нет. Сама горчичники ставит, сама французские бульоны готовит и подает.

А время шло да шло. У Егора уже малость виски заипдевели. И начальниковой Елене под тридцать. Когда-то надо тому и другому свою семейную жизнь перевести на легальное положение.

Егор и недели без Нелли не мог прожить. Видеть ее надо, а к сердцу допустить боязно. Себя потерять страшно. Его недовольство-то к той потере глубоко в подполье ушло. Партийным товарищем стал Егорий Гордеевич. Не только с Питером да с Москвой связь держал, но и от самого первого человека в партии в иностранных фирменных конвертах «коммерческие» письма получал. Писалось в них о глубинной руде, о твердых сталях, а читалось о революции. Как при таком высоком доверии в господский дом зятем войдешь?

Так оно и шло. Из кузова не лезет и в кузов не идет.

Но всему бывает конец. Начальникова Нелля как-то в заграницы собралась.

— Это зачем же вы, Елена Сергеевна? — допытывается Егор. — Нескладно одиночным девицам по заграничным городам ездить. Там всякий народ живет.

— Именно, что всякий, — отвечает ему Елена. — Хочу спросить у одного человека, как мне дальше невенчанной жить. И вы бы съездили.

«Не ловушка ли?» — подумал Егор и говорит:

— А у меня нет такого человека, которому я полностью могу свою душу открыть.

— От меня-то хоть не таитесь, Егорий Гордеич. Мало ли на свете светлых голов.

— А кто, к слову? — докапывается Егор.

— Граф Лев Толстой, например, — говорит Елена и тонким переливчатым женским голосом на кого-то другого намекает, голубым лучом в душу заглядывает. — Должен же быть на свете для вас самый верный человек, слово которого — как солнечный свет для месяца. Увидитесь с ним — и, может, сами от его света посветлеете сердцем и головой.

Сказала так и уехала.

Долго думал Егор. Все взвешивал. И тосковал по Нелле, как зерно по земле. А потом напустил на себя кашель и говорит горному начальнику:

— Надо свое нутро заграничным докторам показать. Да и должен я когда-то чужие города повидать.

А тот — с превеликим:

— Сделайте одолжение! — А сам про себя думает: «С Неллей, значит, они заграничное свидание назначили». Радует. И есть чему. Худо ли его превосходительству такую сильную голову зятем заполучить!

Теперь дальше слушайте...

Приехал Егор в иноземный город и сразу по заветному адресу:

— Здравствуйте, Владимир Ильич. Вот мои бумаги.

— Да я бы вас и без них узнал, — говорит ему Владимир Ильич и в креслице усаживает. — Как у вас там, на горе? Рассказывайте.

— Хвалиться пока нечем. Десятеро нас на горе. Девятеро-то из надежных надежные люди, а я — десятый — неизвестно кто. И чины на мне для партии неподходящие, а главное — любовь моя из другого поля ягоды. Уж не чужаком ли я стал, Владимир Ильич?

Тут Владимир Ильич как расхохочется, да так закатисто, что посуда в стеклянном шкафчике зазвенела. А Егор хоть и блее муки сидит, а речь дальше держит:

— Если чины сбросить, с горы уйти — горщиков жалко. Другого поставят — опять порки да штрафы введут. А если на горе оставаться, тогда не миновать с горным начальником родниться. А он ведь потомственный враг нашему делу, Владимир Ильич...

Тут Владимир Ильич малость прищурился и сказал:

— Так ведь вы, насколько я понимаю, не на враге жсниться собираетесь, а на Елене Сергеевне...

Егор чуть со стула не упал.

— Откуда она вам известна, Владимир Ильич, да еще по имени и по отчеству?..

А Владимир Ильич на это ему:

— Я знаю по имени и отчеству всех коренных подпольщиков, в том числе и молодых... Как же мне не знать Елену Сергеевну?

Егор вовсе ни жив ни мертв. А Владимир Ильич смешком да шуточкой:

— Вы лучше скажите, кто вас с Карлом Марксом познакомил? Кто вам мои работы посоветовал почитать, кто вас кружок надоумил создать? Да так, что вы этого и не заметили... Кто, наконец, вас на след ко мне навел?

После этих слов Егору вовсе дышать нечем стало.

— Дозвольте, Владимир Ильич, ворот расстегнуть...

— Расстегивайте,— говорит Владимир Ильич и опять со смешинкой ему:— Как же это вы через сословие Елены Сергеевны и на меня тень бросили!.. Где же ваша партийная проницательность, Егорий Победоносич?

Молвил так Владимир Ильич и начал по комнате расхаживать и Егора журить. Заложит руки за проймы своей жилетки, да то в ледяную воду его, то в кипяток:

— Как же это вы, мой дружок, не разглядели душу Елены Сергеевны и побоялись своей любви?..

После этих слов все как на ладошке для Егора стало. Значит, разной глубины подполье бывает.

— Простите меня, Владимир Ильич...

— Нет, батенька мой, уж вы у нее прощения просите. Да скажите ей все, как полагается в этих сердечных случаях, а я пока выйду из комнаты...

Тут вышел Владимир Ильич из комнаты, а Елена Сергеевна в комнату вошла. У Егора одночасно язык окостенел, а голова-то еще работает. Понял он, в каких шляпках иной раз подпольщики ходят, какими кружевами жандармов обманивают.

Постоял он сколько-то столб столбом. Потом очухался, в свою колею вошел:

— Значит, нас, большевиков, теперь на горе одиннадцать человек.— Сказал так и тоже, как бы между прочим, слезу смахнул, а потом — другую. Третью-то он уж не стал утирать. Пускай катится... Не где-нибудь ведь разнюнился, а в штаб-квартире социалистической рево-

люции. И не при ком-нибудь, а при своем партийном товарище, вдвойне теперь дорогим и любимым.

В это время Владимир Ильич вошел:

— Доволен ли, недовольный человек?

— По семейной-то линии — да... А в остальном-то, Владимир Ильич, мало радости. Черные силы опять голову поднимают. С чего же довольным-то быть...

Положил тут Владимир Ильич руки на плечи Егору, заглянул в его глаза, а потом твердым голосом сказал:

— И оставайтесь таким, недовольный, неуспокоенный человек!

На этом они и расстались. Расстались, да не разошлись. На этом и я бы свой сказ кончить мог, а он не кончается, в нашем дне сказывается и в завтрашний день перейти поровит.

Пускай нет теперь в живых Егора Гордеевича, но и в мертвых он тоже не значится. Такие не умирают, а множатся. Множатся и в Рязани, и в Казани, и в Орле, и в Киеве. В таком деле своим трудовым недовольством годы опережают и огневым доменным трудом миру светят. Живут теперь такие люди и в больших городах и в малых селах маяками светят. В слесарных мастерских и в академиях наук ленинский завет хранят. До Луны ракеты запускают, о Большой Медведице думают. Далеко со своей бригадой вперед уходят, а довольства нет. К отсталым переходят, за собой их тянут.

Нет для этих людей последней ступени лестницы ни ввысь, ни вглубь.

Довольные собой Яковы тоже живут. Живут не в ущерб другим. Малым огнем обогреваются, своему самовару радуются, для своей шубы планы перевыполняют. Честные это люди. Только они живут мимо этого сказа — сказа о великом счастье недовольства своим трудом, о ленинском наказе: жить неуставаемо для людей.

Вот и все. Теперь историки-риторики, закостенелые цитатники, охрящевелые догматики, могут судить и рядить, жил ли на свете Егор, встречался ли он с Владимиром Ильичем Лениным... А если встречался, то в каком году, дне и месяце... Пусть разбирают. А для меня это не суть, а бескрылость воображения.

Для меня жил и живет Егорий Гордеевич тысячами тысяч людей, которые и по сей день встречаются и беседуют с Владимиром Ильичем о трудах и делах, о грядущих годах, о высокой дружбе и о большой любви...



МАРКЕЛ-САМОДЕЛ И ЕГО ДЕТИ

Давнее давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел-Самодел. Все сам делал. Пашню пахал, железо ковал. Домницы ставил, руду в них плавил. Рыбу ловил, на охоту ходил.

И жена у него, Маркеловна-Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла. Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила-мяла, одежду-обужу шила. Жарила, парила, варила, детей уму-разуму учила.

Дельными подрастали сыны-дочери. В отца-мать пошли Маркеловичи-Самоделовичи. Никакая работа из рук не валится. Топором машут, сохой пашут, горн раздувают, горшки обжигают. Сеют и веют — все умеют.

Только стал замечать Маркел, что набольший сын пуще других к пашне тянется и та же земля у него лучше родит, а второй сын от наковальни не отходит и до того славно кует, что и Маркел так не ковывал. То же и третий сын, Сазон Маркелович-Самоделович, все может, а рыбу-зверя лучше других промысляет. Подрос и четвертый сын, Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что каждому брату срубил по избе, каждой сестре — по терему.

Видит Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились, только в каждой своя трудовая жилка бьется. Одна одежду шьет — залюбуешься, вторая холстину ткет — не надивуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок-чашку ни слепит — всем весело.

Задумался над этим Маркел-Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу-Самоделу со своей семьей навечно прощаться, созвал всех и напутствует:

— Дети мои! Вижу я, что из всех дел каждый в

своим умел. Значит, разные руки по-разному хватки, во всякой голове — свои задатки. Так и живите. Так и детям-внукам наказывайте.

Умер Маркел. Разделили сыны-дочери между собою отцовский труд. А отцовское хозяйство не распалось. Каждый хоть и сам по себе — своим домом живет, а свою работу для всех делает. Один сын для всех пашет и сеет. Другой — для всех железо кует, руду плавит. Третий — в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает.

И дочери также — кто сукна ткет, кто кожи мнет, овчины квасит, холсты красит. Тоже для всех.

Мастера, мастерицы на земле появились. Ремесла зародились. Лучше люди зажили.

От Маркеловых сыновей-дочерей внуки-правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер, воду, огонь на службу поставил да на себя работать заставил. Только это из других времен сказка, тоже не без умысла сложена.

А в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку искать — Маркелов наказ вспомни.

Проверь, какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удастся, — та и твоя.

Бери ее и дальше двигай, выше подымай. Не ошибешься. Далеко пойдешь, если свое дело найдешь. Не зря старый Маркел добрым людям памятный узелок завязал:

«Каждые руки по-своему хватки, во всякой голове — свои задатки».

КАК ОГОНЬ ВОДУ ЗАМУЖ ВЗЯЛ

Рыжий разбойник Огонь пламенно полюбил холодную красавицу Воду. Полюбил и задумал на ней жениться.

Только как Огню Воду замуж взять, чтобы себя не погасить и ее не высушить?

Спрашивать стал. И у всех один ответ:

— Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Ты что? Зачем тебе холодная Вода, бездетная семья?

Затосковал Огонь; загоревал. По лесам, по деревням пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развевается.

Гулял Огонь, горевал Огонь да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали.

В ноги ему пал Огонь. Низким дымом стелется. Из последних сил синими языками тлеет.

— Ты — мастеровой человек, ты все можешь. Хочу разбой бросить, хочу я своим домом жить. Воду замуж взять хочу. Да так, чтобы она меня не погасила и я ее не высушил.

— Не горюй, Огонь. Сосватаю. Поженю.

Сказал так мастеровой человек и терем строить стал. Построил терем и велел свадьбу играть, гостей звать.

Пришла с жениховой стороны огневая родня: тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. Не было больше у него родных на белом свете.

С невестинной стороны пришел старший братец Густой Туман, средний брат Косой Дождь и младшая сестричка Воды — Ясноглазая Роса.

Пришли они и заспорили.

— Неслыханное дело ты, Иван, задумал, — говорит Вулкан и пламенем попыхивает. — Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал.

А мастеровой человек отвечает на это:

— Как же не бывало! Косой Дождь с огневой Молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются.

— Это все так, — молвил Густой Туман, — только я ко себе знаю: где Огонь, где тепло, там и редеть начинаю.

— И я, и я от тепла высыхаю, — пожаловалась Роса. — Боюсь, как бы Огонь мою сестру Воду не высушил.

Тут Иван твердо сказал:

— Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться. На то я и мастеровой человек.

Поверили. Свадьбу стали играть.

Пошли плясать Молния с Косым Дождем. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл. Густой Туман набражничался, на покой в овраг уполз.

Отгуляли гости на свадьбе и восвояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел.

Показал каждому свси хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни да сына-богатыря.

Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать Вода от отца Огня сына-богатыря.

Хорошим сын богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка Огонь. А облик дядин — густ и белес, как Туман. Важен и влажен, как родимая матушка Вода. Силен, как Вулкан, как тетушка Молния.

Вся родня в нем своего кровного узнает. Даже Дождь с Росой в нем себя видят, когда тот стынет и капельками на землю оссдает.

Хоршее имя дали сыну-богатырю: Пар.

На телегу сядет Пар-богатырь — телега его силой покатится да еще сто других телег поездом повезет.

На корабль ступит Пар-чудодей — убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подает, корабельщиков своим теплом греет.

На завод пожалует — колеса завертит. Где сто человек работали — одного хватает. Муку мелет, хлеб молотит, ситец ткет, людей и кладь возит — народу помогает, мать, отца радует.

И по наши дни живут Огонь с Водой в одном железном котле-тереме. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может.

Счастливо живут. Нескончаемо. Широко.

Год от году растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную Воду за жаркий Огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.

ФОКА — НА ВСЕ РУКИ ДОКА

В одной стороне никудышный царь Балдей правил. Ну, и стольники-пристольники, дьяки думные тоже под стать ему недоумками слыли. А народ в этой стороне на редкость был дошлый. Много в народе мастеров было разные разности придумывать, хоть, к примеру, Фоку того же взять... О нем и сказка.

Как-то посеяли мужики царю Балдею горох... Земля в тех местах хорошая была. Дожди — когда надо. Солнышко тоже у других царств-государств занимать не

приходилось. Сильный горох родился, да беда: ворон на гороховом поле черным-черно. Клюют урожай.

— Что делать, как быть, мудрый государь Балдей Обалдуюевич? — Кланяется царю думный дьяк Пустая Голова.

— Надо боярскую думу скликать, — велит царь Балдей.

Скликали думу и стали думой думу думати.

День думали, два дня судили-рядили, на третий день указ обнародовали:

«Мы, царь Балдей Третий, государь премудрый, вся державы властитель, горохового поля повелитель, и прочая, и прочая... указываем подъяремному мужику Фоке Лежебоке денно и ночью на гороховом поле трещоткой трещать — ворон стращать».

Пришел Фока на гороховое поле, а оно черным-черно от ворон. Поймал пяток крылатых разбойниц и стал беличьим колеса мастерить. Как у царя в тереме: посадят в такое колесо белку, она бежит в нем и колесо вертит. Приладил он к этим беличьим колесам трещотки, посадил в каждое колесо вместо белки по вороне.

Вороны колеса вертят, колеса трещотками трещат, и чем пуще треск, тем шибче очумелая ворона в колесе скачет, себе и другим воронам испуг нагоняет. Посветлело поле. Вороны даже мимо летать боятся. Думный дьяк Пустая Голова проверить пришел, как царев указ исполняется.

Что такое? Ни Фоки, ни ворон. Трещотки трещат — не умолкают, вороны ворон пугают. Удивление!

— Так и так, великий царь Балдей Обалдуюевич. Вороны ворон пугают, а Фока Лежебока свои дела дома справляет. Народ Фоку умником называет, почести воздает. Своеволие!

А Балдей любил — хоть хуже, да по нему. Не терпел новину. Боялся нового, как таракан света. На что уж во всех прочих державах вилками ели, а он — пятерней. Как тятенька, как дед-прадед. Летом на санях ездил — тележного скрипу пугался. Весь в отца — дубовая голова.

К тому же и побаивался Балдей, что кто-то в его царстве умнее объявится. Разве мыслимо, чтобы кто умнее царя был!

Распалился Балдей — ногами затопал, закричал:

— Повелсваю Фоке Лежебоке горох за одну ночь убрать!

Получил царское повеление Фока, запряг лошадь в борону и начисто выборонил горох да в кучу сложил. Утром с поклоном к царю:

— Исполнил твой приказ, царь Балдей.

Услыхал это Балдей, пуще вчерашнего в ярость вошел:

— Слыхано ли? Работы двумстам мужикам на неделю — и то не выдержают. А он за ночь управился. Повелеваю за два дня обмолотить горох!

Расчистил Фока круглый ток. Стаскал на него кучи. Пустил лошадей. Лошади ходят по кругу, копытами горох из стручков вымолачивают.

— Обмолотил, царь. Вели проверить.

На царе лица нет. Губа с досады, как у старой лошади, отвисать начала. Он Фоку посрамить хотел, невозможный урок ему задал. А Фока всех удивил, царя посрамил, самого себя славить заставил. Если так пойдет, так хоть с престола слазь.

Порешил царь Фоку непосильной работой доконать и приказал:

— Провеет пусть. Два дня сроку даю. Да чисто, соринки чтобы не было.

Задумался Фока. Не такое легкое дело — горох провеять. В Балдеевом царстве его по старинке веяли: из горсти в горсть пересыпали и дули что есть мочи. Выдували из зерна сор и шелуху.

Если так веять Фоке, так и году не хватит. Да и где в одном человеке столько дутья взять?

Разостлал Фока зипун, лег на бочок и думать стал.

В умной голове никогда солнышко не заходит, всегда светло. У кого мысли цепкие, ветер их не выдует, а даже свои нашепчет.

Так и случилось. Умел Фока болтливый ветер слушать. Выведал у него, как горох за два дня провеять.

Поднялся Фока до зари, полез на крутую крышу парева дворца. Приладил к ней деревянный желоб. Сгородил тесинками крышу так, чтобы горох в желоб скатывался, и принялся мешками смолоченный горох таскать, на крышу сыпать.

Катится по крутой царской крыше горох во все стороны, а тесинки-боковинки его в желоб направляют. Бежит по желобу горох и с разбегу в царский загром

сыплется, а пока от конца желоба до закрома летит, ветер из него все шелуху до пылинки выдувает.

Толпится народ. Шумит. Разные слова выкрикивает:

— Вот каким людям надо царством править!

— Ай да Фока — на все руки дока!

Так шумят, что царя раньше обеденной поры разбудили. Глядит он — горох ветром веется, с разбегу в закрома сыплется. А Фока лежит на боку, нежится на царской крыше да кое-когда желоб из одного закрома в другой нацеливает.

Застонал от обиды царь. Парчовый рукав со злости изжёвал, чуть резной пуговкой не подавился. Думу трубой созывать повелел. Народ в царстве всполошил. Балдесвы думники во дворец бегут, а народные умники у дворца толпятся. Фоку прославляют да его выдумку перенимают.

Темным людям свет всегда глаза режет. У дураков от чужого ума всегда голова болит. Удумала дума новый указ:

«Мы, царь-государь Балдей Третий, повелеваем ленивому Фоке Лежебоке за неделю горох в муку перетолочь».

Помрачнел народ. И Фока запечалился. У него овсы не убраны, своя рожь в поле не сжата стоит.

Пошел опять ветер в поле слушать, ночь на зипуне не спать, дарового работника искать.

Ветреная ночь была. Деревя туда-сюда так и качает. А Фока все видит и на ус мотает. И что надо было ему, то он и намотал.

Приносят ему утром царские слуги песты, ступы да мешки для гороховой муки.

— Толки горох! Если опять на боку лежать станешь — хуже будет.

Куда уж хуже — из стольких закромов горох перетолочь! Только не стал Фока руками горох мельчить. Деревя вместо себя поставил толчеями.

Натянул Фока от одного дерева к другому веревку. Подвязал посередь веревки пест, поставил под него ступу и засыпал ее горохом. Так и другую, и третью — и все, сколько было, ступы пристроил.

Деревя туда-сюда качаются, веревку то натягивают, то ослабляют. От этого тяжелый пест то подымается, то опускается — сам собой горох толчет. А Фока тем часом свою рожь-пшеницу молотит, овсы убирает. Выбе-

рет из ступ гороховую муку, новым горохом их засыплет — и опять за свою работу.

Весело толкут горох даровые работники. В лесу только стукоток идет. Народ Фоку честит и славит, делом ему за науку бьет, первым умником его называет и самотолчные песты перенимает.

А царские прислужники к царю Балдею с доносом бегут:

— Ваше величие! Твой неслух Фока таким умником себя выказывает — самого царя переплюнуть умом-разумом хочет. Самотолчные песты в роще поставил. Всю работу исполнил.

Кровью налились Балдеевы глаза.

В ярости так головой мотнул, что корона слетела, под амбар закатилась.

— Смерть ему! Смерть! Только казни не удумаю! Думу трубите.

Опять труба трубит, народ валит, полоумные дьяки в исподниках на босу ногу в сапогах бегут:

— Чем тебе служить, царь?

— Придумайте, бояре, лютую казнь Фоке Лежебоке.

Тут думный дьяк Пустая Голова почесал под мышками да и говорит:

— Пресветлый царь Балдей Обалдуевич! Нашу державу волки одолели, всех овец прирезали. Пусть Фока волков из царства выгонит. Глядишь, они его и заедят.

— Вот так голова! — говорит царь. — Всей думой думай, лучшей казни не удумаешь. Пиши указ.

Услыхал народ указ. Понял народ, как темный царь за светлый ум Фоку жалуется, перешептываться начал, стовариваться. Сплачиваться. Порознь народ — дождь, а вместе — полная вешняя вода. Сила! Какую хочешь преграду смочет.

— Надо, ребята, Фоке подмогнуть, — говорят мужики. — Какая тебе, Фока Корнейч, подмога нужна?

— Помогите, — отвечает Фока, — если милость будет. Поймайте мне десятка два волков. А я буду им кумачовые жилетки шить, да огненного цвета краску для их морд разводить, да колокольцы-бубенцы делать.

— Это зачем?

— Увидите, — отвечает Фока.

Поймал народ два десятка волков. И живьем их в мешках Фоке доставил.

Обрядил Фока волков в кумачовые жилетки, нама-

зал им морды огненной краской, привязал им под брюхо колокольцы, нанизал на хвосты бубенцы да петушные перья и выпустил на волю.

Кинулись волки к своим стаям, а стаи от них. Боятся огненных морд. Страшатся кумача. А звон для них хуже стрельбы. В леса стаи кинулись, а Фокины волки не отстают от своих, ходу прибавляют. От своего звона уйти хотят. От своих волчьих хвостов с бубенцами убежать. А как убежишь? За одну ночь ни одного волка в этой земле не стало. А Фока косит себе овсы да под озимые клин земли подымает.

Царя вовсе узнать нельзя. Волк рядом с ним за ягненка сойдет. Оба рукава сжевал. Каменья от обиды из короны выколупывать начал.

— Без думы его казню. На плаху! Только как народу об этом объявить? До греха недолго. Вину надо придумать, закон подвести.

А думный дьяк тут как тут:

— А, ваше царское преувеличество, я хоть и Пустая Голова, а закон могу подвести! Фока герб нашей державы обесчестил.

— Какой такой герб?

— Как же, ваше еси до небеси! На гербе у нас волк в короне овцу на загривке тащит. Овец волки приели, а волков Фока в чужие земли выгнал. Мы теперь царство с фальшивым гербом. У нас ни волков, ни овец. Что другие державы скажут?

— Боже ж ты мой! Да у тебя ума больше, чем у меня в закромах гороху. Готовь указ о казни. Вели палачу топор точить, урядникам — плаху на дворцовую площадь выкатывать. Завтра казнь.

Занялась заря. Поднялось солнышко, красное, ясное. Фоку на казнь ведут. Жена замертво лежит. Дети Фокины при живом отце сироты.

Высоко поднял палач топор. Взыграло Балдеево сердце.

Рубанул по широкой жилистой шее топор палача... и согнулся.

— Что же это, царь? — спрашивает при всем народе Фока. — Твой топор мою голову не сечет.

А народ все знает — шумит, хохочет.

— Повесить его! В петле удавить! — велит Балдсей.

Вкопали в землю висельный глаголь. Накинул палач петлю. Выбил палач из-под Фокиных ног березовый об-

рубок. Взвизгнули девки, заголосили бабы, завопили старухи. А веревка оборвалась.

— Что же это, царь? — говорит Фока. — Твоя веревка моего тела не выдерживает.

Белее снега сидит в царских носилках Балдей. Ржой покрылось лицо думного дьяка Пустая Голова. При-
смирела дума.

— Утопить его! — кричит Балдей. — В реку кинуть.

Ухмыльнулся на эти слова Фока да и молвит:

— Как можно утопить человека, когда за него народ стеной стоит!

Стали привязывать камень к Фокиной шее те же люди, которые восковой топор палачу подсунули и прелую веревку подсудобили.

Привязали они ему на шею вместо камней крашеную сосновую кору, положили под рубаху надутые бычьи пузыри да и кинули в реку.

Опять взвизгнули бабы, заголосили старухи. А Фока на плаву из реки кричит царю.

— Что же, царь, твои камни не тонут, мешки с песком под моей рубахой меня ко дну не тянут?

Позеленел Балдей, почерпел злой царь. Хотел было Обалдуев сын Фоку огнем казнить, да нутро у Балдея пламенем занялось, задымилось и сгорело.

Был царь — и нет царя.

Ликует народ. Поет народ. В колокола звонит. Тружеников прославляет. Фоку первым старостой называет.

Хорошо зажил Фока. В чести. Умом свою державу прославил и веселую сказку после себя оставил.

Эгу!

КАК САМОВАР ЗАПРЯГЛИ

Про одно и то же разные люди по-разному сказки рассказывают. Вот что я от бабушки слышал... У мастера Фоки — на все руки доки сын был. Тоже Фокой звали. В отца Фока Фокич дошлый пошел. Ничего мимо его глаз не ускользало. Всему дело давал. Ворону и ту перед дождем каркать выучил — погоду предсказывать.

Сидит как-то Фока Фокич — чай пьет. А из самовара через паровик густо пар валит. Со свистом. Даже чайник на конфорке вздрагивает.

— Ишь ты, какая сила пропадает! Не худо бы тебя на работу приставить,— говорит Фока Фокич и соображает, как это сделать можно.

— Это еще что? — запыхтел-зафыркал ленивый Самовар.— С меня и того хватит, что я кипяток кипячу, чайник грею, душеньку песней веселю, на столе красуюсь.

— Оно верно,— говорит Фока Фокич.— Только песни распевать да на людях красоваться всякий может. Неплохо бы тебя, Самовар, хлеб молотить приспособить.

Как услышал это Самовар — вскипел, кипятком плевать начал. Того гляди, убежит. А Фока Фокич сгрэб его да на молотильный ток вынес и давай там к нему рабочее колесо с хитрым рычагом пристраивать.

Пристроил он колесо с хитрым рычагом и ну Самовар на полный пар кипятить. Во всю головушку Самовар кипит, колесо вертит, хитрым рычагом, как рукой, работает.

Переметнул Фока Фокич с рабочего колеса на молотильный маховичок приводной ремень и:

— Эх, поспевай, не зсвай, снопы развязывай, в молотилку суй.

Стал Самовар хлеб молотить, паровой машиной прозываться. А характер тот же остался. Сварливый. Того гляди, от злости лопнет — паром обварит.

— Вот ты как! — говорит Фока Фокич.— погоди, я тебе работенку получше удумаю.

Долго думать не пришлось. Захромала как-то у Фоки Фокича лошадь. А в город ехать надо. И надумал Фока Фокич Самовар запрячь.

Повалил Фока Фокич Самовар набок. Загнул ему трубу, чтобы она в небо глядела. Приладил под него крепкие колеса. Отковал хитрые рычаги-шатуны да и заставил их колеса вертеть. А чтобы Самовар со злости не лопнул, добрым железом его оковал. Потом прицепил к Самовару тарантас, а к тарантасу телегу, загрузил чем надо, поднял пары и:

— Эх, поспевай, куда надо поворачивай. Пару поддавай.

Стал Самовар людей и поклажу возить — паровозом прозываться. А характером еще злее стал.

— Ну ладно,— говорит Фока Фокич.— Я тебе не такую работу удумаю.

Опять долго ждать не пришлось. Лето безветренное выдалось. Паруса на кораблях, как трава в засуху, сникли. А за море ехать надо. Хлеб везти. Тут-то и надумал Фока Фокич Самовар на корабль перенести.

Сказано — сделано. Трубу еще выше нарастил. Самовар в трюм поставил. Корабельные колеса смастерил, а к ним шатунные рычаги приспособил и:

— Эй, не зевай, успевай! Рулем рули — куда надо правь.

Начал Самовар людей да товары за море возить — пароходом прозываться. Тут-то уж он вовсе послушным стал. Уступчивым.

Вот как оно, дело-то, было. Другие, может быть, и по-другому рассказывают. Только моя бабушка врать не будет. Сама она это все видела и мне пересказала. А я — вам.

СЕМЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ МАСТЕРОВ

На лесной опушке, в небольшой деревушке жил Ваня. Дурачком он не был, но и умником не слыл. Пришло Ване время за дело браться — мастерство по сердцу выбирать. А какое мастерство ему по сердцу, он не знает.

Тогда ему отец и говорит:

— Иди, сынок, в лес. Лес, Ваня, семьсот семьдесят семь лесных мастеров знает. Вот и увидишь, каким тебе мастером быть.

Не поверил Ваня, что лес семьсот семьдесят семь мастеров знает, потому как сам-то он знал только одного лесного мастера — дровосека. Не послушал отца и не пошел в лес.

А в этом году лес именинником был. Он раз в сто лет именины справлял. Потому что жизнь у леса не одна тысяча лет, и каждый год рождения справлять — большой расход.

Как-то проснулся Ваня до солнышка. Не сам встал, а скамейка его разбудила, на которой он спал.

— Вставай, — говорит, — Ваня, с меня. Я в лес пойду.

— Это еще что такое? Зачем ты в лес?

А скамейка ему:

— Сегодня, — говорит, — в лесу праздник. Именины,

день рождения и все прочее. Лес свою деревянную родню собирает. И потому как я тоже деревянная, его кровная племянница, непременно должна идти.

Сказала так скамейка и быстрехонько на своих четырех ножках побежала в лес.

Ваня глазам не верит. Только за скамейкой и стол и стулья в лес собираться стали. Поторапливают Ванину семью:

— Скорее чай пейте, пока мы не ушли.

Отец, мать, дедушка с бабушкой торопятся — пьют, едят, ложки моют, посуду, утварь деревянную трут, глянец наводят. Потому как им на именинах неряхами нельзя показаться.

Ну хорошо. Вымытые чашки, ложки на стол уставились, березовый веник за ножку стола увязался, а бочки, кадушки, лохань сами по себе за столом покатались. Колода дубовая долбленая, из которой скотину поили, и тесовые ворота вместе с корытами и коромыслами на телегу грузиться стали. А баня с колодезным журавлем на санях решили ехать. Те хоть и скрипят, трещат по летней поре, а везут. Своя ноша не тянет.

Глядит Ваня — все деревянное имущество на именины в лес собирается. И старуха-изба тоже начинает отряхиваться да охорашиваться. Изба у Ваниной бабки шаль кашемировую поверх крыши надеть выпросила, потом два нижних венца вместо катков под себя подложила и покатила на них к лесу. Видит Ваня — на дворе одна печь да самовар остались, да и те попутчиков подыскивают в лес ехать.

— А ты-то, кирпичная печь с медным самоваром, какая лесу родня? — спрашивает Ваня. — Вы-то ведь не в лесу родились.

— Так-то оно так, — отвечает печь. — Не в лесу родились, только лесным теплом хлебы печем, щи варим, чай греем.

Совсем тут Ваня умнеть начал. «Не пойти ли, думаю, и мне!» Только он подумал это, лапти его сами в лес повели.

— Пойдем, пойдем, Ванечка, нам по пути. Мы ведь как-никак тоже лесные внуки. В лесу лыком на лице росли, из лесу лыком пришли, лаптями стали.

Сказали так и повели Ваню в лес. Вывели его на широкую дорогу, а по дороге видимо-невидимо гостей к лесу направляется. И лодки плывут, и мельницы идут,

мосты шагают, балалайки с гитарами, скрипки друг дружку обгоняют... Корзины, плетни, катки, вальки, колодки для хомутов, дорогая резная мебель — лакированная, полированная, редкие меха, куньи воротники, скипидар, деготь, смола, пихтовое масло, кедровые орехи, целебные корни-травы...

Тысячи гостей со всех волостей: лесовальной, лесопильной, смолокуренной, плотницкой, охотницкой, тележной, санниковой, столярной, дегтярной, мебельной, корабельно-лодочной, литейно-модельной, токарно-резной... Семьсот семьдесят семь лесных мастеров.

Вечером пир на большой лесной поляне начался. И Ваню позвали.

— Приглядывайся, — говорит лес. — Может, семьсот семьдесят восьмым моим мастером станешь.

Весело пир пошел. Сосны хорошей смолы дали. Факелы зажгли. Лесная мурава зеленый ковер на поляне разостлала. Тысячи соловьев прилетели именинника славить. Хором пели. Зайцы, белки, ежи скоморошничали, представление представляли.

Потом снедь лесную начали подавать. Соленые, вареные грибы. Грибы жареные, дичь разную: куропаток, тетеревов, глухарей, рябчиков. С брусничкой, клюквой, княженикой-ягодой. Лесным диким медом запивали, кедровым орехом заедали, свежей лесной малиной-смородиной закусывали.

И чего-чего только на том пиру не было, каких лесных съестных припасов не подано! Понял Ваня, что за дары в себе лес таит, каких лесных мастеров он требует, и задумался.

Долго ли, коротко ли думал Ваня, только стал он новым, семьсот семьдесят восьмым лесным мастером. А каким — про это сказка не рассказывает и я сказать не могу.

У других поспрошайте.

ТРУДОВОЙ ОГОНЕК

У одной вдовы сын рос. Да такой пригожий, даже соседи налюбоваться на него не могли. А про мать и говорить нечего. Рукой-ногой ему шевельнуть не дает. Все сама да сама. Дрова-воду носит, пашет-жнет-косит, на стороне работенку прихватывает — лаковые сапоги да

звонкую гармонь сыну зарабатывает. Вырос у матери сын. Кудри кованым золотом вьются. Уста алые сами собой смеются. Красавец. Жених. А невесты не находят. Ни одна за него не идет. Отворачиваются.

Что за чудеса?

А чудес тут никаких нет. Дело простое. Чужой травой в трудовом поле сын вырос. С руками — безрукий, с ногами — безногий. Ни сено косить, ни дрова рубить. Ни ковать, ни пахать. Ни корзины плести, ни двор мести, ни коров пасти.

Солому метал — с телеги упал. Рыбу ловил — в пруд угодил, еле вытащили. Дрова носил — живот занозил. Кто такого товарищем назовет?

Хороводы водить не заывают. Работать напарником не принимают. Маменькиным божком, лаковым сапожком кличут. Круглым неумельником, на завалинке посидельником дразнят. Пустоцветом величают.

Малые ребятишки и те смеются. Каково это ему?

Затосковал парень, зарыдал. Так-то он зарыдал — кирпичная печь и та вздохнула. Дубовые стены избы и те разжалобились. Пол тоскливо заскрипел. Потолок насупился, почернел, задумался.

Жалеют!

А он в три ручья слезы льет, приговаривает:

— Зачем ты меня, матушка, так любила? Для чего ты меня, родимая, в безделье холила, в лениности пестовала, в неумельности вырастила? Куда я теперь с моими руками белыми, квелыми, неумелыми?

Похолодела мать, обмерла. А ответить нечего.

Чистую правду ей в лицо горькими слезами сын выплеснул. Поняла мать, что ее слепая любовь злосчастьем сыновним обернулась.

Ночи не спит сын — как дальше жить, не знает. Днем места не находит. Только нет на свете таких слез, которые не выплакиваются, такого горя, которое не размыкивается, такой думы, которая не додумывается. Не зря говорят, что в тяжкий час и печь разумеет, стены помогают, потолок судит, половицы с умом поскрипывают.

Наскрипели они ему что надо, утешили. Слезы высушили, добрый совет дали.

Обул сын тяжелые отцовские сапоги, надел его рабочую одежду и пошел по белому свету бездельные годы наверстывать — заново расти.

Нелегко было рослому парню в подпасаках ходить, в двадцать один год с топором знакомство сводить, гвоздь в стену учиться бить, руки белые, квелые, неумелые на ветру дубить.

Знают только лютый мороз да жаркое солнышко, какими трудами кудрявый сын до дела дошел. Мастером домой вернулся. На ткачихе женился, тоже не из последних мастериц. Как родную ее полюбила старая мать, и больше того, когда она ей внуков подарила. До того пригожие они росли, хоть на карточку снимай да в рамку ставь.

Без ума любила их бабушка, только пестовала с умом. Не как сына.

Кровью, бывало, жалостливое старухино сердце обливается, когда старшенький внук в трескучий мороз дрова пилить собирается. Сердце старухе свое твердит: «Не пускай, пожалей, ознобится», — а она: «Иди, милый внук-богатырь. Дубей на ветру. С морозом спорь. Отцовскую трудовую славу своим трудом подпирай».

У внуки, бывало, глазенки слипаются, ручонки елс веретено крутят, а бабушка ей: «Ах какая у нас тонкопряха растет проворная, да неустанная, да дреме-сну неподатливая».

Замиловать бы девчоночку, по пальчику бы ее ловкие ручки перецеловать, а старуха изъян в пряже ищет. То в нитке тонина неровна, то слабина одолевает. На изъяны укажет и хорошее заметит. Да не просто так, а дорогой бабушкиной лаской, редким огненным словом душу девчонке осветит и согреет.

Попусту, бывало, самого любимого, меньшого внука не приласкает. За работу жалует. Не велик труд чашку подать или там лукошко с угольями к самовару поднести, а для четырехгодовалого и это за работу меряется.

Как про такого за столом при всей семье не сказать: «Меньшой-то у нас трудовым человеком растет. Веник подает. Угли подносит. Самовар караулит. Кошку кормит».

А тот до ушей от радости красный, сидит да на ус мотает и думает: «Какое бы еще дело сделать, чтобы у бабушки в чести быть?» Сам себе работу ищет, дела придумывает.

Мастерами, мастерицами вырастила бабушка своих енучат. И кудри у них к лицу вьются, и дорогая лента

в косе, по заслугам, красуется, и лаковые сапоги по делам горят. Трудовой завязи люди. Умельники. В бабушку.

Пришла трудовая власть в нашу державу. Не дожидаясь до этих светлых дней старая мать-бабушка. Только и умереть не умерла.

Когда старшего внука за доменную работу награждали, горновые-то его и спрашивают:

— В кого ты, кудряш, богатырем стал? Откуда в тебе такой жар доменный?

А тот малость вздохнул да и отвечает:

— От бабушки. В работе она меня выпестовала, в труде вырастила. От нее и огонь во мне.

А внучка-ткачиха старшему брату в подпев:

— И у меня от нее нитка не рвется — ситец смеется. Она меня звонкие нитки прясть выучила. Она солнечный уток в мою трудовую основу заткала.

А младшенький внук-хлебороб отобрал самые всхожие, самые мудрые бабушкины слова и светлыми сказками глубоко запахал их в людской памяти. Глубоко запахал, чтобы не забыли. Не забыли да другим пересказывали. Пересказывали да в живых юных душах трудовой негасимый огонек зажигали...

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ

Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили. Маялись. И ниоткуда на какое счастье надежды у них не было. Совсем жить с сыном руки опустили:

— Что делать? Как быть? Куда голову приклонить?

В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. Есть отчего. Только вытье да нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и приговаривала к кузнецу Захару сходить.

— Он, — говорит, — все может. Даже счастье кует.

Как услышала это мать, к кузнецу кинулась:

— Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать.

А кузнец ей:

— Что ты, вдова! Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу. Может быть, и скует.

Пришел Тиша в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит:

— Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только подсобляй ему.

— Дяденька Захар, да я же отродясь не ковывал!

— И я,— говорит кузнец,— не кузнецом родился. Раздувай горн.

Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как меха качать, как уголья подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами поковку брать. Не сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят. Спина вечером не разгибается. А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришелся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница — лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну, да не о ней пока речь.

Пришло время, Тиша за молотобойца стал.

Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит:

— Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать.

Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, и с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит:

— Не перековать бы, Тихон! Счастье меру любит.

Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько — угас золотой гвоздь. Остыл. Потемнел.

— Не горюй, Тиша, позолотеет,— говорит кузнец.

— А когда он позолотеет, дяденька Захар?

— Тогда позолотеет, когда ты ему дашь все, что он просит.

— Ничего он, дяденька кузнец, не просит.

— А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?

— Это да, дяденька Захар. Гвоздь куда-нибудь вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына.

Кузнец думал-думал, тер-тер лоб да и сказал:

— А ты вбей его в столб.

— А столб где взять?

— В лесу выруби да в землю вкопай.

— А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет.

— Так ведь ты и не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуешь. И дерево им вырубишь.

Опять засопел-задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал парень топор — и в лес. Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник:

— Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?

Тиша на это по-хорошему ответил, кто он, и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб.

Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдовый сын, кузнеца Захара выученик.

— Вот что, — говорит, — коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби, за работу столб получишь.

Делать нечего, пошел Тиша в лес. День рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его снес. А земля бурьяном, полынью, репейником заросла. Некому работать на ней было. Притащил Тиша столб, а вкопать его нечем.

— Да зачем тебе о лопате горевать! — говорит ему мать. — Гвоздь сковал, топор сковал — неужели лопату не загнешь?

Дня не прошло, смастерил Тиша лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать начал. Исвелик труд гвоздь вбить. Когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нем можно. Вбил гвоздь Тиша и ждет, когда он золотеть начнет. День ждет, два ждет, а гвоздь не только не золотеет, а буреть начинает.

— Мамонька, глянь-ка, его ржа ест. Видно, он чего-то еще просит. Надо к кузнецу сбегать.

Прибежал к кузнецу, все как есть рассказал, а тот на это и говорит:

— Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий гвоздь свою службу нести должен.

— А какую, дяденька Захар?

— Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат.

Пошел Тиша по селу. Видит — одними гвоздями тес пришивают, другими, самыми тоненькими, дрань на крышах прихватывают, на третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают.

— Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут надо повесить. Не то ржа все мое счастье съест.

Сказал так Тиша и отправился к шорнику.

— Шорник, как хомут заработать?

— Это плевое дело. Поработай у меня до сенокоса, а от сенокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруя будут.

— Ладно,— говорит Тихон и остался у шорника.

А шорник тоже из кузнецовой породы был. Утруждать Тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не все сразу получалось. Трудновато бывало, а от хомута отступить боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит. Пришло время—пришел расчет. Получил Тихон самый лучший хомут и полную сбрую. Принес это все и повесил на гвоздь.

— Золотей, мой гвоздь! Все для тебя сделал.

А гвоздь, как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет.

Тиша опять к кузнецу, а кузнец опять свое:

— Не может хороший хомут со сбруей зря на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут.

— А для чего?

— У людей попытай.

Не стал больше Тиша у людей пытаться, задумался. Крепко задумался о коне. Думал, думал да и надумал.

Рубить он теперь мог, шорничать тоже умел, ну, а уж про кузнечное дело и говорить нечего. «Золотого гвоздя,— решил про себя Тихон,— не скую, а подручным стоять не оробею».

Простился с матерью и пошел коня зарабатывать.

Году не прошло—прискакал Тихон на своем коне в родное село.

Народ не налюбуется:

— Ах, какой конь! И откуда ему такое счастье?

А Тиша мало на кого глядит, к столбу подворачивает.

— Ну, гвоздь, теперь у тебя—хомут, у хомута—конь. Золотей!

А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а накинулся на гвоздь:

— Ты что, ржавая твоя шляпка, надо мной издеваешься!

А на ту пору у столба кузнец случился:

— Ну что тебе, Тихон, бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет — значит, еще чего-то просит.

— А чего?

— Мыслимое ли дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождем мокли!

Стал Тиша столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. «Видно, мало ему одной крыши», — решил про себя Тиша и принялся стены рубить. Теперь-то уж он все мог.

Долго ли, коротко ли рубил Тиша стены, а гвоздь как был, так и есть.

— Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? — крикнул в сердцах Тихон.

— Позолотею. Обязательно позолотею.

У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, а тут на — заговорил! Видно, в самом деле не простой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше лежал, Тихону невдомек. Молод еще был, не научился еще сказки, как орехи, раскусывать да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал.

— Чего же тебе еще, гвоздь, надобно?

На это вместо гвоздя конь Тише ответ проржал:

— И-и-хи-хи... Как мне жить без сохи!.. И-и-и...

— Да ты, Буланко, не ржи так жалобно. Если уж я тебя заработал, так соха будет. Сам лемех скую и оглобелки вытешу.

Сковал, вытесал, поперечины наладил, а на гвоздь не идет смотреть. Не до того как-то стало. Другое в голову вошло.

Коли гвоздь хомут попросил, хомут — коня, конь — соху, надо думать, соха пашню запросит.

Запряг Тихон коня в соху. Конь ржет, соха пласт ржет, пахарь песенки попевает.

Народ в поле высыпал, на Тишу глядит. Матери девок-невест вперед себя выпихивают. Авось какая приглянется. И кузнецова дочка тут же, на пашне. Так и ходит за ним, как галка по борозде. Нечесаная, немытая.

— Тишенька, возьми меня замуж! Помогать тебе стану.

Тихон даже шарахнулся от этих слов. Соха в сторону выльнула. Конь не по-хорошему озираться начал, кузнецова страшилища пугается.

— В своем ли ты уме, пугало? — говорит ей Ти-

хон.— Кому ты такая нужна! Разве на огород — ворон пугать. Так у меня еще и огорода нет.

А она:

— Я тебе посажу огород, а сама потом пугалом стану, только бы видеть тебя, Тишенька...

Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали: «Ишь ты, как любит! Пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня».

Ничего не ответил он кузнецовой дочери — к кузнецу пошел.

А кузнец его давно подждал:

— Тихон, чего я тебе сказать хочу: твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят да в свою стену вбить.

— Это как же, дяденька Захар? Что делать теперь? Не иначе, что караулить надо.

— Так, милый сын, так,— поддакивает кузнец.— Только караулить как? Дождь осенью. Снег зимой. Избу ставить надо.

А Тихон ему:

— Я только подумал, а ты уже сказал. Пойду избу рубить. Топор у меня есть, силы хоть отбавляй. Никакого дела не боюсь.

Опять высыпал народ. Опять невесты гуртом. А он рубит — только земля вздрагивает да солнышко смеется. И светлому месяцу было на что поглядеть-порадоваться. Тихон и ночи прихватывал.

Пришла осень. Сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утварь всякую в новый дом приволокли. А гвоздь не золотеет. И на душе невесело.

— А отчего-почему, милый сын, на душе невесело?

— Один я, мамонька, вперед других выскочил. Дружков опередил, товарищей оставил. Себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл.

— Да ты что, Тиша? Всякий сам своему счастьем кузнец. Так ведь тебя Захар учил?

— Так-то оно так,— ответил сын.— Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневет. Мне все помогали: и кузнец, и шорник, и лесник. А я кому?

Сказал так Тихон и пошел к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, а кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл.

Старику сани справил. Лентяя усовестил. Юнцов к делу приставил.

Зазолотел гвозды! Со шляпки начал — до середины дошел. Счастье весельем в новый дом заглянуло, дружкой людской зацвело. Не нахвалится народ на Тихона. До того дело дошло — его, неженатика, по батюшке величать начали, на миру выкликать. А гвоздь день ото дня пуще горит.

— Теперь, — говорит кузнец, — только жениться — не ошибиться. Без огня в избе светло будет.

— А какую-чью ты ему дочь присоветуешь, чтобы ошибки не было?

— Ровню.

— А кто ровня?

— Моя Дунька, — говорит кузнец.

— Ах ты, чумазый мошенник! — взъелась вдова. — Эта кикимора — ему ровня? Немытая, нечесаная, к делу не приученная? Она ему ровня? Ему, маковому цветку, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу? Да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал?

— А кто, вдова, его орлом сделал?

— Как кто? Гвозды!

— А кто гвоздь ему подсобил сковать?.. Кто?

Тут вдова вспомнила все, и совесть в ней заговорила. Совесть говорит, и любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на этакой неумехе сына женить.

Жалость в левое ухо нашептывает вдове: «Не губи сына, не губи». А совесть в правое ухо свое твердит: «Без матери кузнецова дочь росла, неряхой-непряхой выросла. Он твоего сына пожалел, как тебе его дочь не приголубить!»

— Вот что, кузнец, — говорит вдова. — С первым снегом Тиша на заработки повезет дружков-товарищей, которым он не два, не три десятка золотых гвоздей вбил. Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит. Да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила.

Выпал первый снег. Повез Тихон дружков-товарищей на заработки — гвозди золотить. Явилась Дунька ко вдовс.

— Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться.

— Уж так охота, тетенька, так охота! — заливается черномазая Дуня слезами и грязь по лицу размазывает.

ет. — Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогонял.

— Ну, коли так, будем стараться. Я ведь, Дунюшка, как и твой отец, колдую, когда придется.

Сказала так вдова и подала Дуне веретешко:

— Неказистое оно, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретешечком откупилась. Сильное веретено.

— А в чем его сила, тетенька? — спрашивает Дуня и на веретешечко косится.

Вдова на это и отвечает ей:

— Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать можно.

Тут Дуня повеселела — и хватъ веретено:

— Давай, тетенька, я прясть буду.

— Что ты! Разве такими руками немытыми да с такими волосьями нечесаными можно пряжу начинать? Беги домой, умойся, оденься, в баньке выпарься, тогда и прясть будешь.

Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, выпарилась — и красавицей пришла к вдове.

Вдова чуть с лавки не упала — и ну обнимать да целовать Дуню:

— Скажи на милость, какая ты! Давай прясть.

Села Дуня прясть, а веретешечко не вертится, нитка не крутится, куделя бугром-комом тянется, а слезы как жемчуга катятся.

— Ничего, ничего, Дунюшка. Так ли мой Тиша ковать учился, так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал... Пряди!

День прядет, два прядет. На третий день нитка получаться стала.

— Гляди, тетенька. Теперь привяжу.

А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то да и говорит:

— Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела.

— А когда я, тетенька, до дела дойду?

— А тогда дойдешь, как веретешечко золотеть начнет.

Принялась Дуня опять за работу. Моток за мотком прядет, а веретешечко как было, так и есть. За окном

уж морозы трещат, метели метут; а веретешко не золотит.

Испряла Дуня всю куделю и залилась слезами.

Вдова к ней:

— Не горюй, милая дочь. Веретешечко-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток. Холста требует. Давай ткать.

— Что ты, тетенька! Нитки изоткем, чем тогда я Тиншу к себе привяжу.

А вдова ей в ответ:

— Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила.

К весне Дуня изоткала все нитки. Много холста получилось. Только не знает Дуня, как с холстом быть.

— Рубаху, Дунюшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой.

Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается.

На славу рубаха сшита, только глаз остановить не на чем: холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать — сама придумала, как рубаху изукрасить. Накупила шелку-бисеру, серебра-золота — и ну рубаху расшивать-вышивать. Не руки, не разум, а сама любовь по рукавам, по вороту жаркий узор выводила. Маком цветет он. Золотом светит. Серебром отсвечивает. Бисером горит.

Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит.

«Непременно веретешко позолотить должно!»

Схватила она веретешко да тайно к кузнецу прибежала:

— Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты мой мошенник, чем гвоздь золотил?

— А тебе зачем?

— Веретешко позолотить надо.

— Аль и моя до дела дошла?

— Да приди погляди, какой узор она вышила. Царевича ослепить можно.

Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено.

— Да ты не жалея позолоти, хитрец. От конца до конца золоти. Стоит она того, — говорит вдова и кузнеца торопит: охота скорее Дуню порадовать.

Позолотили веретешко и оба, как молоденькие, вприпрыжку да вскачь рубаху глядеть побежали.

Прибежали ко вдовьему дому, глядят, ворота полые, во дворе Тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется и с Дуни глаз не сводит:

Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, вынула из рукава вдова золотое веретено, да и обручили ими жениха с невестой.

Народищу, дружков-товарищей — полон двор. Все сбегались. Всем любо Тихоново счастье видеть... Потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и кузнецоу хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех. Для каждого. Ни от кого не скрыл. Приходи и бери! Вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть...

РУКАВИЦЫ И ТОПОР

Умер старик и оставил сыновьям наследство: старшему — избу, среднему — корову, а младшему — рукавицы и топор.

Стал старший сын своим домом жить, средний — молоком торговать, а младший — топором хлеб-соль добывать да песни распевать.

Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молоко корова у ленивого коровника, а рукавицы да топор у радивого мастера — хоть весла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины ладят, мельницы ставят. Младший сын свой дом срубил, свою корову купил.

— Не иначе как у него заколдованный саморубный топор, — говорит старший брат среднему, — давай утащим.

Утащили братья топор и велели ему весла тесать, рамы вязать, дома возводить, мосты наводить. А топор ни с места.

— Видно, не в одном топоре сила, — сказал средний брат. — Давай и рукавицы утянем.

Утянули рукавицы. Опять ничем-ничего.

А младший брат, мастер, новый топор да новые рукавицы купил. Снова стал работать да песенку свою петь. Так поет — только щепки летят.

— Выходит, в песне сила, — решили братья. — Давай песню переймем.

Стали братову песню перенимать.

А песня хоть и проста была, да загвоздиста. Пелось

в ней, как остер топор, да не в нем сила. Сказывалось в ней, как на умелых руках холщовые рукавицы трудовой мощной обертываются. Пускай в них денег не густо, зато не бывает пусто. Каждый день новая копеечка появляется, когда мастер старается.

Персняли братья песню. Сердцем ее поняли, и хорошо у них дело пошло.

Тоже мастерами стали. Веселые песни распевать начали. В три голоса. Артельно.

Про топор с рукавицами в песне поют, а руки славят, на верный путь добрых людей песней ставят.

Далеко нынче топор пошел. Встретишь и не узнаешь. В хитроумные механизмы вышел. Голыми руками не ухватишь. Рукавицы нужны. Да не тяп-ляп. Не домашние. Фабричного качества, ученого ткачества, грамотного покроя, образованного шитья.

Вот оно, как дело-то теперь повертывается. Ясно?

Коли ясно — тогда ставь точку на эту строчку, переверачивай листок, давай свисток и дальше поедem. В новую сказку.

ТАИНА ЦЕНЫ

У дедушки Гордея легкая работа была. Он из раковин пуговицы высекал. При дедушке дотошный паренек-сирота Сергунька за родного внука жил. Все-то ему знать надо, до сути дойти. Как-то понадобилось Сергуньке обутки, одежду справить. Вырос из старого и к тому же поизносил. Гордей и говорит ему:

— Пойдем, Сергунька, на берег — хорошие обутки, пригожую одежду искать.

— А разве ее на берегу ищут? — спрашивает Сергунька.

— Пойдем, внук, увидим.

Пришли.

— Гляди, внук, сколько сапожонков, рубашонков, портков, картузов на берег волны выбросили. Знай собирай в мешок, — говорит дед Гордей и не смеется.

— Да это же раковины, дедушка. Как их наденешь?

— А ты, внук, знай собирай. Дома разберемся.

Набрали они по мешку раковин, пришли домой, выварили их, пообчистили как надо и за работу принялись.

Пуговки высекать стали. Гордей высекает, Сергунька зачищает. Дед дырочки в пуговичках сверлит, а внук их по дюжине на листки пришивает. Весело дело идет.

Много дюжин наделали. Хорошие пуговички получились. Крупные, с радужным отливом. В город поехали, в лавку сдали, расчет получили. Хватило расчета на сапоги и на картуз, на рубаху и на штаники, да еще на чай-сахар, белый хлеб осталось и новые сверла купили. Довольнешенек дед. Посмеивается, трубочкой попыхивает.

— Гляди, Сергунька, сколько мы всякого добра из раковин добыли!

Задумался дотошный Сергунька, деда спрашивает:

— Как же это так получилось, что даровые раковины стоять стали? Новым картузом обернулись, кумачовой рубахой, плисовыми портками, сапогами со скрипом?

— Цена в них вошла,— говорит на это дед.

— А когда она в них вошла, дедушка?

— Не ведаю.

— Может быть, при высечке?

— Знал бы, так сказал,— хитрит дед. Хочется ему, чтобы внук сам до сути дошел.

А внук свое:

— Может быть, при сверловке, дедушка?

А тот опять хитрит:

— Не ведаю. Тайная это сила для меня. Давно на берег хожу — даровые раковины ношу, а отчего они стоять начинают, когда в них цена входит, ума не приложу. Сходи-ка ты к гончару-кувшиннику. Может быть, у него выведаешь, когда тайная сила цены в даровую глину входит.

Пришел Сергунька к гончару-кувшиннику. Видит: гончар даровую глину в горе копает, с песком ее мнет и водой разбавляет. Квасит. Сергунька глаз не спускает. Смотрит, когда в даровую глину цена войдет.

Кувшинник тем часом бросил комок мятой глины на кружало, завертел его и принялся кувшин выкруживать. Выкружил кувшин, взял другой комок мятой глины, вытянул его, выгнул лебяжьей шеей и на кувшин ручкой приставил. Потом достал резец-палочку и принялся изукрашивать кувшин. Изукрасил его цветами-розами, заморскими птицами, виноградом-смородиной, потом раскрасил это все кисточкой и обжигать стал.

Обжег кувшинник кувшин, вынул из печи. Сергунька даже попятился, загляделся на синих птиц с изморозью, на золотой виноград с чернетью. Незнаемой цены кувшин. А когда в него цена вошла, этого он не увидел, и кувшинник толком сказать не может.

— То ли,— говорит,— на кружале, то ли,— говорит,— в печи. А может быть, она от резца-палочки. Сходи-ка лучше, парень, к лодочнику. Он из дерева ценные лодки выдалбливает. Там, может, виднее будет.

Тоже хитер был дедушкин однокашник. Хотел, чтобы Сергунька сам хитрую тайну цены понял.

Пришел Сергунька к лодочнику в тайгу. Лодочник в два обхвата даровое дерево валит. Отпилил сколько надо, долбить лодку принялся. Выдолбил, обтесал, распарил, бока распорками развел. Развернулась лодка. Иос, корма поднялись — цену лодке прибавили.

Смекать Сергунька начал, как и чем лодочник в дерево цену загоняет. К другим глядеть пошел. К мочальникам, что даровое липовое лыко дерут-мочат, в мочалу треплут, а из мочалы стоящие кули ткут.

У берестяников побывал, что из даровой бересты туески-лукошки, пестерьки-сумки на продажу вырабатывают, а до корня цены не дошел.

И у рыбаков побывал. Рыба тоже даровой в реке плавает, а поймай ее — в ней тайная сила цены объявится. И всюду так. Глядеть — замок прост, а ключа не находится.

К каменотесу забрел. Разговорился про ключ цены. А тот ему и говорит:

— Пока сам работать не начнешь — ключа не найдешь.

Очень хотелось Сергуньке ключ цены найти. Пробовать стал камни тесать. Не сразу. Сначала подтаскивал. Подтащит камень-другой и ценить его начинает. В горе лежал камень — даровым был. На место пришел — сгонить начал.

Научил его каменотес бока у камня прямить. Для строительства не какой попало камень идет — мерный. Отсшет Сергунька другой-третий камень. Видит — опять в них цена прибыла.

Фаску научил его каменотес снимать. Как даст Сергунька фаску камню — его цена чуть не вдвое вырастет.

Ну, а когда пузатые колонки, кудрявые капительки научился Сергунька из камня высекать, тогда и спраши-

вать больше не стал, в чем тайная сила цены. Сам понял. Понял и решил у дедушки побывать.

Приходит к дедушке и говорит:

— Я, дедушка, каменотесом стал. Львов-тигров, даже ценных каменных див высекаю. Яшменные пуговики тебе на пробу высек. Бери.

Глядит дед на подарок: одна другой пуговики краше.

— Большую цену за них дали бы,— говорит дед Гордей.— А в чем тайная сила цены, выведал?

— Нет, дедушка, не выведал. Сам дошел, когда работать начал. В руках, дедушка, тайная сила цены. В руках. В моих, в твоих, в кувшинниковых, в лодочниковых — в трудовых руках.

Так открыл Сергей великую тайну цены, нашел ключ ко всем замкам. И на что ни поглядит теперь — на дом ли, на стол ли, на узорчатую ткань, на ржаной хлеб, на радужные пуговицы,— труд человека видит: цену всех цен, корень всех ценностей-драгоценностей нашей земли и самой жизни.

САМОХОДНЫЕ ЛАПОТКИ

Три сына при отце жили. Земли у отца было мало. Одну десятину на троих не разделишь. Да и одну лошадь тоже натрое не раздерешь. Вот и придумали братья ремеслами промыслять. Жить-то ведь надо.

— Я по городам пойду ремесло искать,— говорит старший сын.— За которое больше платят, то мое и будет.

— А я,— говорит средний сын,— стану по базарам ходкий товар высматривать. Какой ходчее идет, тот и делать буду.

До младшего очередь дошла.

— Чем ты, мил сын, промыслять будешь?

— Хотелось бы мне, тятенька, научиться лапти плести. Всегда в спросе.

Засмеялись братья:

— Дурень и есть дурень. В спросе-то они в спросе, да цена-то за этот спрос с воробыиный нос. Вот оно что.

Поговорили так братья и разошлись.

Идет старший по городам и видит — мастера чаевничают. Подсел. Слушать стал, о чем мастера беседуют.

— А я сто одну деньгу зарабатываю,— хвалится каменщик.— Одну деньгу для души в трактир отдаю, а сто денег в дом несу.

Как старший сын услышал эти слова, и думать больше не стал. Доходнее каменного ремесла не найдешь.

— Возьми меня, каменщик, в выученики.

Посмотрел каменщик — парень здоровый, плечи широкие, руки сильные и, видать, глазастый.

— Возьму,— говорит,— если ты ремесло ниже денег ставить не станешь.

Взял его и начал каменному делу обучать.

Второй сын идет по базару и видит — дуги хорошо разбирают. А старичок-дуговичок, который дугами промышлял, возьми да похвались:

— Мошна у меня, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой. Полушку — на косушку, полтину — домой.

Как услышал это средний сын — тут же порешил дуги гнуть.

А младший лыка надрал, колодочек лапотных строил и плетет себе лапоть за лаптем. Один с косиной, другой с слабиной, третий — в руки взять совестно. Парни-однолетки, девки-невесты в один голос бедняжку просмеивают, недоумком лапотным величают. А он плетет себе да плетет. Одна неделя проходит, другая начинается. Полная баня лаптей, а обуться не во что.

На пятую неделю от лаптей вовсе тесно стало, сын-то и говорит отцу:

— Тятенька, дай лошадь, я на базар лапти повезу.

Дал отец лошадь. Привез мастер свои лапти да и свалил их в кучу.

— Почем, парень, лапти? — спрашивает народ.

— По совести.

— По какой такой совести?

— Подходи, выбирай по ноге. Если совесть заговорит — скажет, сколько заплатить надо. А если совесть промолчит, — значит, даром носи.

Много народишку налетело на даровые лапти. Живехонько разобрали. Кто грош, кто полушку кинет, а другой не то что полушку или грош, а еще к лаптям приплату просит.

— Коли,— говорит,— по совести, так по совести. Полушку заплатишь — так и быть, потешу тебя, малый, твою худую работу на свои добрые ноги обую.

Делать нечего, приплачивает мастер к своим лаптям, а сам смотрит, какие лапти складнее на ногах сидят, за какую пару приплаты не просят, а деньги дают.

Расторговался парень — ни лаптей, ни денег. А песни поет.

— Ты что, мил сын, больно весел? Аль выручку большую привез?

— Не выручку, тятя, а выучку. Выучка дороже всего.

Сказал так и пошел лыко драть — и опять за лапти.

А той порой старший брат, подучившись кое-чему, камни кладет, торопится, а средний дуги гнет, поспешает.

Пока меньшей сто лаптей сплел, старший много кирпича выклат, а средний того больше дуг нагнул.

Пришло время братьям встретиться.

— Ну, милые мои сыны,— говорит отец,— скажите, как ремеслами промышляете.

— Я, тятя, каменным ремеслом занялся. Сто одну деньгу зарабатываю. Скоро отделюсь, своей семьей заживу.

Похвалил отец старшего и среднего слушать принялся.

— У меня, тятенька, мощна будет, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой. Знай наших!

Дошла очередь до младшего:

— Моя работа вся на виду. Базар цену скажет.

Погостили сыны у отца и в путь собрались: старший — деньги за каменную работу получать, средний дуги повез на базар продавать. А младший-то и говорит им:

— Братцы, не захватите ли вы и мою работу? Вдруг да грош с полушкой выручите, и то нам с тятенькой деньги.

Поглядели братья на лапотную работу и говорят:

— Если по паре лаптей дашь — свезем.

— Да хоть по две, братцы, берите,— говорит младший, а сам радуется.

И есть чему. Если уж братья-мастера — один каменщик, другой дуговик — его работу обувают, то уж простой-то человек верняком обует.

Приехал старший брат в город деньги получать, а вместо денег ему по загривку сулят, стены на все корки ругают.

Тут старший к каменщику кинулся. А тот сидит в трактире и на одну деньгу чай с баранками распивает, а за пазухой у него сто денег лежат.

— Ах ты такой-сякой, немазанный, сухой! Чему ты меня выучил? Мои стены на все корки ругают. Деньги не платят. По заливке сулят.

А тот чаек попивает да посмеивается:

— Разве я тебя, торопыгу, учил ремесло ниже денег ставить? Вот и получай взащей.

Делать нечего. Каменное дело не к рукам пришлось, надо новое ремесло искать. Продал он половину братовых лаптей да домой и поворотил.

Средний той порой на базаре дуги расставил, а вторую половину лаптей в кучу свалил. У лаптей от покупателя отбоя нет, а на дуги даже и не глядят.

Продал он все лапти, а дуги на базаре оставил. Их в даром никто не берет.

По дороге нагнал средний брат старичка-дуговичка да и спрашивает:

— Скажи, старичок-дуговичок, почему у тебя дуги идут, а у меня лежат?

— Потому,— говорит старик,— что у тебя дуги простые, а у меня самоходные.

— Какие такие самоходные? — стал добиваться средний брат.

А старик как воды в рот набрал, только посмеивается.

Опять сошлись братья у отца. Опять их отец спрашивает, как они ремеслами промышляли. Первым стал старший рассказывать:

— Обмануло меня каменное ремесло. Еле на харчи заработал, да вот продольную пилу купил. В бревне много денег. Надо только их досками да тесом выпилить.

— И я, тятя, другое ремесло нашел,— сказал средний.— Много ли на дуге выгнешь? Полтину с полушкой. Горшки лепить буду. Станок куплю.

— Ну, а ты, меньшой, что скажешь? — спросил отец.

— За меня братья скажут. Они лапти продавали.

— За твои лапти по заливке надавали. Еле ноги унесли.

— А что в них не так?

— А то в них не так, что ты ремесло ниже денег ставишь,— сказал старший брат, а средний поддакнул:

— И к тому же лапти твои простые, а не самоходные. Я их на базаре бросил.

Задумался младший брат и еще злее за работу принялся.

И братья своим делом занялись. Один тес-доски пилит, другой горшки-плошки лепит.

Опять пришло время на базар ехать. Опять младший просит братьев счастье испытать.

Братья видят — нечем лапти похаять, а хают:

— Для тебя только, как для меньшого... Авось грош с полушкой заработаешь.

Большой базар собрался. Братья свой товар расставили, народ зазывают:

— А вот горшки, плошки!..

— Кому тес, бруски, доски!..

А про лапти ни слова. Потому как их они до базара не довезли, по дороге продали.

Чуть не все в новых лаптях ходят да похваливают:

— Ах, какая обужа! Сапоги снимешь — лапти обуешь. До чего хороши, до чего легки да увертисты.

Лапти хвалят, а от горшков с тесом нос воротят. Из милости доски на дрова взяли, а горшками с плошками дорогу вымостили. И то польза.

Приехали братья с обновками да с гостинцами, лапотными деньгами похваливаются:

— Ах, как доски ходко шли!

— А горшки нарасхват. Не нахвалится народ: до чего хороши, легки да увертисты... Ну, конечно, и лапти кое-какие продали. Вот тебе, братец, выручка.

Подали они меньшому брату полтинник с денежкой. Младший брат от радости заплясал, песни запел.

— Ну, теперь я, братцы, самоходные лапти плести начну, которые вперед денег ходят.

«Плети, дурень, плети. Мы тебя опять оплетем».

Посмеялись над лапотным мастером братья и за дело принялись. Они все-таки не совсем бессовестные были. Хотелось старшему брату хоть одну доску выпилить, которая в дело пойдет. И среднему перед собой совестно было, что его горшками дорогу мостят. Тоже стараться стал.

Опять пришло время на базар ехать. Горшки, доски на воз погрузили, под лапти три подводы наняли.

— Давай, младший братец, услужим тебе. Может, два полтинника да две денежки привезем.

А он наотрез:

— Нет. Не хочу я больше срамить вас своей лапотной работой.

— Да что ты, братец! Да мы для тебя хоть в огонь, хоть в воду. На все согласны. Ты у нас меньшей.

А младший свое:

— Зарок я дал самоходные лапти сплести.

— Какие такие самоходные? Ты что?

— А такие, которые вперед денег сами идут.

Тут братья давай уговаривать младшего. А он ни в какую:

— Ни одного лаптя из бани не выпущу, пока сам не пойдет.

Те к отцу:

— Тятенька, цыкни ты на него! Гляди, какие он слова говорит.

А отец-то давно понял, что за доски пилятся, какие горшки лепятся.

— Нет уж, сыны. Вас я не принуждал и меньшого неволить не буду. Охота ему самоходные лапти сплести — пусть плетет.

Те опять:

— Да разве лапоть может сам пойти? Ты, тятя, что?

А отец им:

— Сами же сказывали, что нужны не простые лапти, а самоходные. Значит, такие лапти есть.

Делать нечего, поехали братья на базар с кривыми горшками да с косыми досками. По дешевке, совсем задарма, доски да горшки продали. Гроши да конейки выторговали.

Тут-то подошел к ним старичок-дуговичок да и сказал:

— Вы бы, братцы, лучше лапотки привезли. Молчком бы продали.

Как только это сказал старичок, народ-то и признал братьев. И ну расспрашивать, почему лаптей нет да из какой они деревни. Братья то да се, отнекиваются, дорогу к меньшому брату не сказывают, околесицу плетут:

— Лыко ныне плохое... Убыточно стало лапти плести.

Народ видит, что братья чистую воду мутят,— давай допрос чинить. А на базаре бабепочка случилась, которая всех трех братьев знала. Она-то и рассказала все как есть.

Тут народ зашумел. Которые подвыпивши, руками стали размахивать и калеными словами бросаться. Братя еле ноги унесли.

Приехали домой, хотели было отцу наплести семь верст до небес и все лесом, как слышат — весь базар к старой бане подъехал.

— Что за диво?

— Что такое?

Глянули, а старые люди шапки ломают, почтенные мужики спины гнут, младшенького брата уговаривают лаптями оделить, Иваном Терентьевичем величают.

— Ну, скажи ты на милость, Иван Терентьевич, как народу без лаптей жить! Продай хоть по паре на рыло.

А младшенький хоть и оробел маленько, а свое гнет:

— Я зарок дал самоходные лапти сплести, а до той поры из бани не выходить.

Тут старичок-дуговичок выходит вперед и говорит:

— Твои лапти, Ванек, давно самоходными стали. Сами идут. И на базар их возить не надо.

— Тогда другое дело, — сказал мастер. Сказал и стал из старой бани лапти выкидывать. — Берите, кому какие по ноге. Продаю по совестливой цене. Кто сколько даст — такая и цена лаптям... Тятенька, получай деньги. У меня еще одна пара не доплетена. Солнце-то уж садится. Урок кончить надо.

Народ было принялся лапти хватать, только старичок-дуговичок не дал — сам лаптями стал каждого оделять. Кто пять просит — он две дает, кто две — он одну.

— Один мастер весь мир не обует. Каждому охота в такой парочке покрасоваться!

Разделил дуговик все лапти. Народ полную котомку денег навалил, не подыметь. Братья стоят ни живы ни мертвы, отцу глянуть в глаза боятся. Тогда старичок-дуговичок и говорит среднему брату:

— Не одни дуги самоходными гнутся. И лапти такими плетутся, и доски такими пилятся, и горшки лепятся.

Крепко с того дня задумались братья. Задумались и за дело принялись.

Много ли, мало ли дней прошло, только стал пилить старший брат самоходные доски, а средний самоходные горшки обжигать.

Из-под пилы доски рвут. Горшкам после обжига сстынуть не дают.

Ну, а про лапти уж и говорить нечего.

И чести братья зажили. Звонко у них дело пошло, самоходно. А как оно у вас идет — вам лучше знать. А я чего не знаю, того не знаю.

ДОРОГАЯ ЛАСТОЧКА

Как-то царь в Вятке губернатора сменил. Нового назначил.

Когда оглядывал новый губернатор старый губернский дом, возьми да и не приглянись ему мебель. А мебель самая лучшая — наших мастеров. Сна лишить-ся можно, как прожилки дерева играют. Глаза повыглядежь на резьбу в пору. Полировка такова, что себя в ней видишь. И фасон такой молодой, что через тысячу лет не состарится. Умеют наши мастера простой гранью мир удивить, из чугуна коней дороже золотых отлить, кружком с ума свести, булатом так ослепить, что не проморгаешься. Мебель в этом же ряду была. Не руками деланная — из крылатой души мастера, нуждой на радость барам выгнанная. Ну да не об этом музыка...

Стеклянные глаза вместо живых человеческих были у губернатора.

Иначе как он мог сказать:

— Выбросить эту мужичью работу. Иноземную мебель куплю.

Ахнул народ. Срамота! А делать что? Выбросили.

Вдолгости ли, вскорости ли прибыл обоз с иноземной мебелью. Из... Не упомяну города. Да и державу забыл. Может быть, и не забыл, да называть не хочу! Народ в этой державе хороший и за своих купцов-наглецов не в ответе. Нечего на него и тень бросать.

Как там бережно ни выгружали мебель, а кое-что поломали. Ножки, бомбошки, ручки там. Мало ли! Бывает.

Призывает тогда губернатор одного старого мастера и говорит:

— Можешь ли ты, мужик, такую хитрую мебель починить?

— А что ж тут не мочь? — отвечает мастер. — Если я ее сделать сумел, так починить-то починю.

— Что ты врешь, такой-сякой! — закричал губернатор.

— Зачем врать,— сказал мастер.— Поверните стульчик донцом — мою метку увидите. Отверните у стола ножку — там тоже моя ласточка летит. Она по осени в чужой край улетала, а по весне домой пожаловала.

Побелел губернатор. От злости чуть на стену не полез. А потом царю отписал об иноземной мебели, которую в Вятке делают.

Царь прочитал бумагу и приказал в этом городе, который я называть не хочу, мебели больше не брать. И повелел заказы на другой иноземный город переставлять.

С той поры в неназванный город из Вятки ни одного стула не отправили. Зато в другую иноземную державу густо наша мебель пошла. Там и стали князья да графья вятскую мебель покупать. Оттуда же и вологодские кружева, тульские переклейменные ружья и многое другое вывозили. Вплоть до уральских самоцветных камней. Вывозили да довывозились — сами вывезлись, вывелись. Кончились.

И сказка кончилась, а главные слова не сказались. А коли главных слов нет,— значит, и сказки как не бывало. Вот они, эти слова.

Берегите отцовское мастерство. Никому не давайте его переклеивать. Дорожите своей ласточкой.

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ

Один раз в сто лет самый добрый из всех самых добрых стариков — Дед Мороз — в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь, и нарисованное — оживет.

Хочешь — нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь — нарисуй корабль и плыви на нем... Или звездолет — и лети к звездам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, например стул, — пожалуйста. Нарисуй и садись на него. Волшебными красками можно нарисовать что угодно, даже мыло, и оно будет мылиться. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех самых добрых детей.

И это понятно... Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке — они могут натворить

много бед. Стоит, скажем, этими красками пририсовать человеку второй нос, и он будет двуносым. Стоит пририсовать собаке рога, курице — усы, а кошке — горб, и будет собака — рогатой, курица — усатой, а кошка — горбатой.

Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей, а потом уже выбирает, кому из них подарить волшебные краски.

В последний раз Дед Мороз подарил волшебные краски одному самому доброму из всех самых добрых мальчиков.

Мальчик очень обрадовался краскам и тут же принялся рисовать. Рисовать для других. Потому что он был самый добрый из всех самых добрых мальчиков. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме — нарядное платье, а отцу — новое охотничье ружье. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам — большую-пребольшую школу...

Он рисовал не разгибаясь весь день и весь вечер... Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день... Он рисовал, желая людям добра. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Но...

Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пестрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, что к ней даже боялись подходить близко.

На улице появились деревья, похожие на метелки. Появились лошади с проволочными ногами, автомобили с кривыми колесами, дома с падающими стенами и крышами набекрень, шубы и пальто, у которых один рукав был длиннее другого... Появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись:

— Как ты мог сотворить столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчиков?!

И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми!.. Но он не умел рисовать и только зря извел краски.

Мальчик плакал так громко, что его услышал самый

добрый из всех самых добрых стариков — Дед Мороз. Услышал, и вернулся к нему, и положил перед мальчиком новую коробку с красками:

— Только это, мой друг, простые краски. Но они могут тоже стать волшебными, если ты этого захочешь.

Так сказал Дед Мороз и удалился.

А мальчик задумался. Как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными и чтобы они радовали людей, а не приносили им несчастье? Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать.

Он рисовал не разгибаясь весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он попросил новые.

Прошел год... Прошло два года... Прошло много лет. Мальчик стал взрослым, но по-прежнему не расставался с красками. Глаза его стали зоркими, руки умелыми, и теперь на его рисунках вместо кривых домов с падающими стенами красовались высокие, светлые здания, а вместо платьев, похожих на мешки, — яркие, нарядные одежды.

Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал все, что было вокруг, и то, что еще никто никогда не видел: самолеты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие на самолеты, воздушные мосты и дворцы из стекла.

Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все радовались и восхищались.

— Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! — говорили они, хотя краски были самые обыкновенные.

Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые дни, когда нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь: и дворцы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли...

Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой и даже с простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников — руки трудолюбивого, настоящего человека.

КАК СОЛНЫШКО ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПОЧКУ ЗАЖГЛО

Жил-был на свете дотошный мальчик. Все-то ему хотелось понять, до всего дознаться.

Залюбовался как-то дотошный мальчик ярким светом электрической лампочки и спрашивает ее:

— Скажи, милая лампочка, как ты горишь? Кто тебя зажигает?

А та улыбнулась и ответила:

— Солнышко!

Не поверил мальчик лампочке.

— Не может быть! Стеклашки, которые на улице валяются, те солнышком горят — от солнышка сверкают. Луна тоже солнышком светла. Тоже от него освечивает. А чтобы солнышко лампочке свет давало — этому никто не поверит. Я ведь уже пионер, — говорит мальчик. — Я уже очень много в школе узнал. Зачем ты меня обманываешь, лампочка?

— Как же я тебя могу обманывать, если я такая светлая, яркая, электрическая, — отвечает лампочка. — А коли ты пионер, да еще дотошный, тогда сам узнай — чем я горю и как. Кто мне мой свет дает.

Обиделась лампочка на мальчика, что он ей не поверил, и... погасла.

Задумался мальчик.

Долго думал, а потом решил в дорогу отправиться — вдоль электрических проводов, по которым электричество в дом приходит.

Шел он так, шел и дошел до электрической станции. Переступил порог и увидел большую-пребольшую электрическую машину. Так-то она быстро крутится, только гул стоит: у-у-у-у...

— Здравствуйте, электрическая машина! Это вы электрическим лампочкам свет даете?

— Я,— отвечает машина,— да только не совсем я. Потому что не сама по себе кручусь — меня водяная турбина крутит.

Добрался дотошный мальчик до водяной турбины. Отсалютовал по-пионерски и задал тот же вопрос.

Турбина ответила:

— И я ведь не сама по себе кручусь. Меня вода крутит. Падает вода на мои лопасти и заставляет крутиться. Значит, вода есть главная сила, которая вырабатывает электричество.

Не будь мальчик таким дотошным, он бы на этом и успокоился: вода водяную турбину крутит; турбина — электрическую машину; электрическая машина электрический ток вырабатывает. Все ясно. А ему хотелось знать, что скажет вода.

Поднялся он на высокую плотину большого пруда и спрашивает:

— Значит, это вы, большой пруд, нам электричество даете?

А пруд заволновался голубой доброй волной и ответил:

— Моя вода с высоты на лопасти турбины падает и турбину крутит... Только воду мне мать река посылает. У нее и надо спросить...

Пришел мальчик к реке, поклонился ей и спросил, как она своему сыну — большому пруду — воду копит и откуда воду берет.

И река ответила:

— Беру я воду от малых моих рек-сестер и ручьев-братьев. А сестры-реки и ручьи-братья дождевыми тучами полнятся. У тучи спроси, откуда она дождь берет, которым реки питает.

Задумался снова дотошный мальчик, а потом решил и с тучами поговорить.

Тучи на высоких горах ночуют. Нелегко путь на вершину горы. А что сделаешь — надо дело до конца доводить. Долез мальчик до вершины горы и вежливо спросил тучу:

— Скажите, пожалуйста, глубокоуважаемая туча, откуда у вас дождик? Кто вам дает его?

— Солнышко,— отвечает туча.— Оно мне дождик дает.

Удивился дотошный мальчик: как это может раскаленное солнце туче воду давать, а спросить постеснялся.

Не стала туча ждать, как мальчик ей новый вопрос задаст. Сама заговорила:

— Солнышко из морей, из океанов своими горячими лучами воду выпаривает и в тучи собирает... А тучи ходят по белому свету и дождем проливаются. Дождем проливаются — ручьи, реки полнят. Вода электрическую машину крутит — ток вырабатывает. Электрический ток по проводам в дом приходит. Приходит и тоненькую нить лампочки досветла нагревает...

Вот и все.

Пришел мальчик домой и сказал электрической лампочке:

— Извини меня, теперь я знаю, отчего ты горишь и чем светишь.

Лампочка снова загорелась ярким светом, а солнце, заглянув в окно, сказало:

— Вот и хорошо, что ты узнал, как моя правнучка горит и чем она светит. Всегда будь таким дотошным, пионер. До всего доискивайся и все тайны до последнего узелка развязывай...

СКАЗ ПРО ГАЗ

Когда-то на земле не существовало ни городов, ни сел, не было даже землянок и Человек жил немногим лучше зверя.

Все окружающее было недружелюбно к Человеку.

Негостеприимные леса старались не пропустить в глубь своего зеленого царства. Вода преграждала Человеку дорогу, угрожая поглотить его и похоронить на речном дне. Дожди и град секли Человека, скудно прикрытого шкурой зверя.

Все было против Человека — даже ночь. Окутывая мраком землю, она помогала зверям нападать на людей. Но самый страшный и самый непонятный враг был Огонь.

Это желтое чудо, возникая неизвестно откуда, страшило Человека своим колдовским умением превращать леса в золу и пепел. Человек в ужасе убегал от Огня. Огонь для Человека был тайной.

Человек знал, что дождь проливается тотчас, как небо заволакивается темной пеленой туч. Он видел, что реки — дочери дождя — наполнились после ливней. А вот Огонь...

Огонь очень долго оставался загадкой. Но пришло время, и Человек распознал, как можно укротить давнего врага.

Человек подошел к горящему дереву и сказал Огню:

— Я тебя больше не боюсь... И ты будешь служить мне. Я приучу тебя!

— Остерегись! — предупредил Огонь. — Я никогда и никому не служил. Все боятся меня. Со мною шутки плохи. Я могу тебя сжечь, Человек, и превратить в пепел.

— Не хвались! — крикнул Огню Человек. — У меня есть друг, который живо утихомирит тебя.

— Кто? — спросил Огонь. — Кто?

— Вода, — сказал Человек. — Она твоя смерть.

Всего одно лишь упоминание этого страшного для Огня слова сразу убавило его пыл, и он присмирел.

— Вот так-то лучше, — сказал Человек. — Иди ко мне. Ты будешь гореть у меня с пользой.

Сказав так, Человек взял пылающую ветвь дерева и перенес ее в свою пещеру. От этого в пещере стало светлее, теплее и радостнее.

Много, очень много раз дни сменяли ночи, а лето — зиму. И с каждым годом прирученный Огонь служил Человеку все лучше и усерднее.

Огонь не только обогревал Человека, но и варил для него пищу, обжигал горшки.

А потом пришла пора, и Человек заставил Огонь выплавлять железо.

У Человека появились надежные инструменты. Хорошие топоры. Острые пилы. Ножи и копья. Молоты и плуги.

Человек не боялся теперь леса. Он мог проникнуть в любую чащу, прорубая тропы. Зверь стал бегать от вооруженного Человека. Земля, покорясь Человеку, превратилась в пашню. А Вода и Ветер стали молоть зерна, выращенные Землей.

А через много, очень много лет Человек подружился с Огнем и его злейшего врага — Воду. Он заставил их жить в котле паровой машины и выполнять самые тя-

желые работы. Огонь, превращая воду в пар, мѳлотиѳ хлеб, тянул поезда, двигал парохѳды.

Так Огонь стал сильным и верным помощником Человека. И Человек, благодарный Огню, сложил про него множество песен. Прославляя Огонь, Человек обидел... Дрова. Да. Дрова... И случился страшнейший скандал. С него мы начнем нашу сказку. А все, рассказанное до этого, было присказкой.

Итак, сказка начинается. Первая глава про зазнавшиеся Дрова.

Эта глава про зазнавшиеся дрова

Скандал начался на кухне. Кто-то из поваров, любясь Огнем, сказал:

— Как он хорош!.. Как он весело и дружно пыѳает сегодня!

— Да, да,— подтвердили остальные повара, работающие у огромной плиты.— Он выше похвал.

В ответ на это в топке плиты раздался выстрел. Это стрельнуло крупными искрами большое полено. Треск повторился. А потом сразу затрещали и все поленья и слышались голоса:

— Нам уже надоеѳо слышать похвалы Огню.

— Мы не можем далее молчать...

— А что такое Огонь? — воскликнуѳо пыѳающее Осинѳвое Полено.— Бывает ли на свете Огонь сам по себе? Можно ли себе представить Огонь, если что-то не горит?

— Нет,— подтвердили хором Дрова.— Огонь — это мы. Без нас нет Огня. Нет тепла...

Дрова начали так хвалиться, что у поваров, поварих и поварят волосы стали дыбом, подняв колпаки. Дрова, прославляя себя, так разгорячились, что на плите убежал суп, пережарилось жаркое и подгорели блинчики.

Но Дрова ничего не хотели знать, кричали еще громче, перечисляя все свои заслуги. Они даже заплели песню:

Мы дрова, мы дрова,
Мы всей жизни — голова.
Жарим, варим и печем,
А огонь тут ни при чем...

Эту песню слышали и подхватили все Дрова, которые пылали в топках котлов и паровозов, пароходов, паровых мельниц... Эту песню горланили теперь Дрова во всех концах земли.

А Огонь посмеивался над Дровами и весело пылал.

Глава другая про то, как и что сгорает

Конечно, никто не может похвалить Дрова за их хвастовство. Но все же они были правы — без топлива не бывает Огня. И как бы оно ни называлось — дровами, торфом, соломой или даже еловыми шишками, — топливо питает Огонь.

Поэтому Человек сказал Огню:

— Послушай, дружище, ты должен поделиться своей славой с Дровами. Ведь ты существуешь благодаря им.

Огонь на это возразил так:

— Баран тоже существует благодаря траве, но все-таки цена барану одна, а траве — другая.

Тогда Человек сказал:

— Но ведь если не будет травы, не станет и барана. Это так же верно, как и то, что без Дров ты погаснешь.

Огонь снова возразил:

— Нет. Дрова не главное мое питание. Есть топливо лучше. Жарче... Удобнее.

Говоря так, Огонь имел в виду Каменный Уголь. Человек уже знал об этом топливе, об этом великом даре подземного царства. Человеку давно было известно, что кусок Каменного Угля дает жару вдесятеро больше, чем самое огромное полено. Но земля глубоко спрятала черные пласты Каменного Угля. Много сил требовалось для того, чтобы добыть Уголь и поднять его на поверхность. Об этом знали и Дрова, поэтому они по-прежнему распевали:

Мы дрова, мы дрова,
Мы всей жизни — голова.

И спорить с ними было трудно. Паровые машины работали на дровяном топливе и приводили в движение ткацкие, токарные станки, паровые молоты, лесопилки, мельницы, пароходы, паровозы. Дрова выплав-

ляли из руды металл, отопляли жилища. Дрова выплавляли стекло... С каждым годом Дров требовалось все больше и больше, так как появлялись новые заводы, прокладывались новые железные дороги, строились новые корабли. И Дров стало не хватать. Исчезли близкие к заводам леса, и Дрова приходилось доставлять из дальних лесов.

Поднявшись в цене, Дрова еще больше задрали цены.

Но настало такое время, когда добывать под землей Каменный Уголь оказалось куда выгоднее, нежели привозить издалека громоздкие, быстро сгорающие Дрова.

И Человек сказал:

— Нужно пробивать шахты. Нужно добывать Каменный Уголь.

Услыхав это, Дрова рассмеялись. Они все еще считали себя незаменимыми. Они не верили, что Человек может добыть Каменного Угля столько, чтобы он заменил Дрова.

Про сражение, поражение и дровяное свержение

Но Дрова смеялись недолго. Человек заставил работать в угольных шахтах машины. Машины, неустанные помощники рук Человека, начали добывать очень много Угля. Уголь стал дешевым и доступным топливом.

Дрова приуныли.

Теперь смеялся Огонь.

Начались массовые увольнения Дров. Прежде всего их уволили с железных дорог. И это понятно: разве выгодно было паровозу возить на себе запас громоздкого дровяного топлива. Куда проще брать с собой Уголь. Он занимает меньше места, дает больше тепла, скорее подымает пар в котле паровоза. А пар — это сила паровоза. Чем больше пара, тем сильнее тянет паровоз. Тем он быстрее и больше везет.

Вскоре Дрова получили отставку и на пароходах, а затем и во всех котельных фабриках и заводах. Их там стали применять только для растопки. Чтобы воспламенить Каменный Уголь, его нужно было нагреть.

Дрова уже не пели своей хвастливой песни. Их уже никто не признавал главным топливом.

Количеством добытого Угля стали измерять богатство и силу страны.

Власть Дров была свергнута. Они остались только там, где еще сохранились дровяные печи и плиты.

Но Дрова не унимались. Они еще верили, что запасы Угля иссякнут и Человек снова признает Дрова главным топливом. Но напрасно! Запасы нового топлива оказались огромными.

Уголь был признан основным топливом. Он ускорил плавку руды и намного увеличил выплавку чугуна, стали. Появилось много электрических станций, работающих на Угле. Уголь стал освещать жилище Человека.

Слово «уголь» произносилось теперь с большим уважением.

Потерпев поражение, обозленные Дрова решили отомстить Углю. Они задумали поссорить его с Огнем. Этим занялись самые коварные из Дров — Осиновые Дрова.

Вот как это было.

Об осиновом тумане и угольном самообмане

Осиновые Дрова, впрочем, как и всякие Дрова, придерживались старых взглядов. Расцвет их славы пришелся на те времена, когда всюду правили жадные нари, жестокие императоры, напыщенные князья, графы, бароны.

Все это не прошло даром для Дров. И они воображали себя кем-то вроде огневых вельмож. Они кичились своей способностью гореть и давать тепло.

А Уголь вел себя просто. Не зазнавался. Не задирал нос. Он спокойно горел и был доволен тем, что приносит пользу.

Надо сказать, что Уголь по своему характеру был добродушен и доверчив. Этим-то и воспользовались Осиновые Дрова.

Они решили напустить хитрого осинового тумана, чтобы отравить Уголь своим зазнайством. Дрова начали издалека. Они рассказали Углю сказку о крыльях ветряной мельницы.

— Однажды крылья ветряной мельницы, расхвставшись, сказали, будто они мелют муку... Но вскоре обиженный на это Ветер перестал дуть, и крылья мельницы остановились.

Уголь, ничего не понимая, спросил:

— К чему эта басня?

— А к тому,— ответили Дрова,— что и Огонь, подобно крыльям, воображает себя королем.

— Каким королем? — снова удивился Уголь.

— Королем Огненной империи! — сказали Дрова.

— Разве есть такая империя? — спросил Уголь.

— А как же! А как же! — затараторили Дрова.— Огненная империя — это все топки и все котлы, все печи, все горны и все костры — это все, где жар и тепло... А король Огненной империи не Огонь, а вы.

— Я?

— Да вы — самое жарчайшее топливо!

Уголь сначала расхохотался, потом задумался. А Дрова, не умолкая, напускали все больше и больше угарного осинового тумана и так возвеличили простодушный Уголь, что тот поверил в свое могущество.

И ничего мудреного в этом нет. Даже комара можно убедить, что он сильнее вола, если вол бежит от комара, когда тот кусает вола.

Вообразив себя королем, Уголь потребовал у Огня, чтобы тот титуловал его «ваше огневое величество».

Огонь на это справедливо заметил:

— Как же я могу признать тебя величеством, да еще огневым, когда огонь и все огневое принадлежит мне?

Повторилась старая история. Уголь кричал:

— Если бы не было меня, как бы ты горел?

А Огонь твердил свое:

— Если бы ты не был нужен для моего горения, то кто бы стал добывать тебя из-под земли? Кому бы ты понадобился, ломкий черный камень?..

И чем ожесточеннее спорили Огонь и Уголь, тем жарче становилось в топках котлов. Дрова сделали свое дело. Напустив осинового тумана, они добились ужасного самообмана. Уголь поддался глупой выдумке самовлюбленных Дров и жаждал почестей, славы, поклонения.

Вот какие коварные бывают на свете Дрова!..

Про новую ложь и о правде на грош

Осиновые Дрова, поссорив Уголь с Огнем, не остановились на этом. В то время появилось новое топливо, которое не походило ни на Дрова, ни на Уголь. Оно было жидким и называлось Нефть.

Дрова, узнав, что Нефть горит жарче Угля, решили воспользоваться этим и придумали новую заvirальную историю.

— Ах, ваше огневое величество, король Уголь,— пачали Дрова,— вам угрожает Коричневая принцесса.

— Какая такая принцесса? — насторожился Уголь.

И Дрова, притворно вздыхая, принялись рассказывать о том, что будто бы старая ведьма, ворожея, предсказала гибель королю Углю.

— То есть как гибель? — удивился Уголь.— Как я могу погибнуть, если моего величества залегает под землей в таких количествах, что я буду царствовать тысячи лет.

— Это верно,— согласились Дрова,— но ваша двоюродная сестра Коричневая принцесса хочет править Огненной империей вместе с вами.

Уголь не поверил этому.

— Послушайте, осиновыe чурбаны, если вы называете Коричневой принцессой Нефть, то она не может помешать мне. Ее слишком мало, и она очень дорога!

— Когда-то вы тоже были дороги, ваше величество, а потом подешевели и вытеснили нас...— напомнили Дрова.

Уголь испугался: «А вдруг это все правда?»

Именно так и случилось.

Имя Нефть упоминалось все чаще и чаще. Ее называли отличным и удобным топливом.

На железных дорогах появлялось все больше и больше вагонов-цистерн с надписью «Огнеопасно». В них привозили Нефть.

— Нет, нет,— утешал себя Уголь,— ее слишком издалека приходится доставлять. Она не потеснит меня.

Но Уголь ошибался. Человек бурил тысячи скважин в поисках Нефти. Человек повсюду искал подземные кладовые Нефти. И его труды были щедро вознаграждены.

О глупом споре и выдуманной ссоре

Человек открыл множество подземных тайников Нефти.

— Надеюсь, нам не будет тесно на земле,— дружелюбно сказала Нефть, встретившись с Углем.— Под землей нам обоим хватало места.

А Уголь вспылил:

— Кем ты хочешь стать в моей Огненной империи? Кем ты хочешь называться?

Нефть уклончиво ответила:

— У меня много имен... Одни меня называют Черным золотом... Другие — Огненной водой... Третьи — просто Нефтью.

— Зачем ты поднялась из-под земли? — спросил Уголь, и Нефть ответила:

— За тем же, за чем и ты. Я хочу гореть. Это мое призвание.

Осиновые Дрова хихикнули и подмигнули Углю одним сучком, а Нефти — другим.

Нефть очень удивилась глупой ссоре. Она не находила причины для спора с Углем. Поэтому она решила меньше обращать внимания на чванливость Угля и по-прежнему заниматься своим делом. Превращаться в бензин, керосин, соляровое масло, двигать автомобили и подымать в синь небес самолеты.

И может быть, на этом все и закончилось, если бы не Дрова... Дрова снова придумывали завиральную сказку... Впрочем, об этом в следующей главе...

Эта глава про то, как стала Нефть дешева

Слава Нефти росла с каждым днем. Особенно хвалили ее кочегары. Она оказалась не только жарким, но и очень удобным топливом. Ее не нужно было, как Уголь, бросать лопатами в топки. Она сама текла по трубкам форсунок в топки котлов и, распыляясь там, давала ровное и жаркое пламя.

Нефть не оставляла после себя золы, как Дрова, и шлака, как Уголь. Это было еще одной приятной чертой Нефти.

Нефть легко было перегружать из вагонов-цистерн.

Ее просто сливали или перекачивали в огромные нефтехранилища. Но, несмотря на эти преимущества, Нефть оставалась вторым после Угля топливом в стране. И Уголь, привыкнув к этому, успокоился. Он верил, что Нефть не может стать выгоднее Угля. Но, к сожалению, Уголь, как и Дрова, не знал, что по сегодняшнему дню нельзя мерить завтрашний день. Уголь, как и Дрова, жил прошлым. И вот к чему это привело.

Однажды старый мастер по перекачке Нефти из вагонов-цистерн в нефтехранилища сказал:

— А почему бы нам не соорудить трубу такой длины, чтобы ее можно было протянуть от промысла, где добывают Нефть, до нашего завода?

Все прислушались к этим словам.

В самом деле, зачем Нефть катать в вагонах, это очень дорого. Пусть она день и ночь сама течет по трубам. Нефти будет больше, и она станет дешевле.

И когда это было признано всеми — везде, где требовалось, машины стали прорывать глубокие траншеи и укладывать в них металлические трубы.

Строились нефтепроводы — подземные нефтяные реки.

Это был смертельный удар по могуществу Каменного Угля.

— Как вы себя чувствуете, Уголек? — издевательски спросили Осиновые Дрова.

Дрова злорадствовали. Они отомстили Углю за свое падение, но от этого им жилось не лучше. Они по-прежнему горели в старых дровяных печах и, потрескивая от обиды, не надеялись уже больше ни на что, даже на сказки.

Они перебрали тысячи историй и не могли ничего придумать, чтобы как-нибудь насолить Нефти, которой они так же страшно завидовали. Но однажды Дровам повезло...

О том, что рассказала Сорока Вороне о принце в голубой короне

Известно, что сороки любопытны и болтливы. Однажды Сорока рассказала Вороне о таинственных голубых огнях на болоте.

— Понимаешь, кума, — удивлялась Сорока, — вчера я почевала на болоте и чуть не рехнулась. Как наступил

вечер, голубым огнем загорелись какие-то таинственные свечи. Ничего не сгорает, а что-то горит... Что это такое?

— Ты еще молода,— ответила на это Ворона,— а мне уже скоро двести лет, и я многое повидала на своем веку. Голубыми огнями на болоте горит болотный Газ...

Осиновые Дрова, лежавшие в поленнице под деревом, на котором сидели и разговаривали птицы, стали подслушивать.

Ворона оказалась достаточно осведомленной птицей и рассказала Сороке все, что знала про Газ.

— Глубоко под землей — там, где добывают Каменный Уголь и Нефть,— хранится природный Газ. Он очень, очень хорошо горит, но его трудно, даже невозможно перевозить... Поэтому им и не пользовались... Но теперь,— продолжала Ворона,— когда люди научились перегонять Нефть по трубам, они так же могут поступить и с Газом.

Слушая это, Осиновые Дрова готовы были расцеловать Ворону. Наконец-то они могут насолить и Нефти.

А Ворона между тем продолжала:

— Уже на многих кухнях заменяют дровяные плиты газовыми...

Это пришлось не по нутру Дровам, и они рассыпались. Ворона и Сорока, спугнутые рассыпавшейся поленницей, улетели.

— Ну и пусть,— сказали Дрова.— Главное она выболтала. Теперь бы только встретиться с Газом и посмотреть, что он собой представляет.

Вскоре эта встреча произошла. Она произошла именно на кухне, где дровяную плиту заменили газовой.

— Как нам увидеть вас, уважаемый Газ? — спросили Дрова.

И Газ ответил:

— Меня нельзя увидеть. Я, как и всякий газ, невидим. Зато можно посмотреть на мое голубое пламя.

Сказав так, Газ загорелся десятком голубых язычков в отверстиях круглой горелки плиты. Горящие язычки походили на голубую корону. И Дрова воскликнули:

— Значит, вы король?

Газ расхохотался и шутливо ответил:

— Нет, я пока еще всего-навсего принц...

Только это и нужно было Дровам. Они принялись сочинять новую сказку о принце в голубой короне.

Эта последняя глава объединяет Газ, Нефть, Уголь и Дрова

Осиновые Дрова столько наплели о принце в голубой короне, что, завравшись, в конце концов запутались сами. Видя это, старый работяга Уголь задумался. Слово «принц» ему вдруг показалось таким неуместным, старомодным и чужим.

«Наверно, Газ такой же принц, как и я король»,— подумал Уголь. И ему стало стыдно. Да—стыдно!

А стыд, как известно, изумительное и быстрое действующее лекарство против таких болезней, как зазнайство, самовлюбленность, яканье и спесь.

Стыд рассеял густой осиновый туман. И Уголь снова увидел себя тем, кем он и был на самом деле—уважаемым и жарким топливом.

И когда прояснилась затуманенная память Угля, он вспомнил, как его на газовых заводах превращают в Газ.

— Значит,—сказал Уголь Нефти,—Газ это мой сын.

— И мой,—подтвердила Нефть.—Ведь я тоже способна превращаться в Газ.

Но тут вмешались Дрова. Им не хотелось, чтобы восторжествовала истина.

И Дрова сказали:

— Может быть, искусственный газ, вырабатываемый на газовых заводах, и доводится вам какой-то родней, но ведь Ворона рассказывала Сороке о самородном Газе... Вы слышите, о самородном великане, залегающем под землей. О невидимом богатыре, который в ближайшие годы затмит вашу славу. Уж он-то вам никакая не родня.

— Перестаньте морочить нас! —громко сказала Нефть.—Природный подземный Газ—мой родной брат. Он залегает рядом со мной.

Тогда Дрова с каким-то неистовым визгом стали пугать Нефть и Уголь.

— Ах, вот вы как? Ну хорошо, хорошо... Вот явится принц в голубой короне и поставит вас на колени и провозгласит себя...

В это время раздался чей-то веселый смех.

— А я уже здесь,— сказал кто-то невидимый.— Я уже явился и никому не собираюсь мешать гореть и давать тепло... Мне стыдно за моего брата и за мою сестру, которые позволили себя одурачить Осиновым Дровам. Вместо того чтобы жарко пылать и приносить своим пламенем пользу людям, вы боретесь за славу...

Тут Газ вспыхнул голубым пламенем. И все увидели, как он жарок и как он прекрасен... Он не оставляет ни золы, ни сажу, ни грязи...

Все обрадовались, что будут теперь весело и дружно гореть вместе с ним. И все поняли, что им нечего делить. На всех достанет работы и топок. И они обнялись и стали теперь единой уважаемой семьей.

Дровам был вынесен строгий выговор за подстрекательство. Но, несмотря на это, Дрова не исключили из топлива. Они вступили в Великое Топливное объединение Газа, Нефти, Угля, Дров, Торфа, Камыша, Соломы и всего, что способно гореть и приносить пользу.

Не все источники тепла еще открыты Человеком. И если появится что-то новое, лучшее, его теперь примут как друга и брата в великую семью топлива.

И очень хорошо. Пусть дружно горит все, что способно давать тепло и силу людям.

ИГОЛКИНЫ БРАТЬЯ

Это случилось в давние-предавние времена, в далекие-предалекие годы. Тогда для людей многое было тайной. Даже то, что теперь известно и детям, которые еще не научились читать.

Но все же и в те давние-предавние времена, далекие-предалекие годы древние-предревные люди уже кое-что знали и кое-что могли делать своими руками. Например, каменные топоры, копья с каменными наконечниками. Они уже научились приручать диких животных, сушить и вялить плоды, ловить рыбу. Они подчинили себе огонь, который обогревал жилище и варил пищу. Они научились обжигать горшки и одеваться в шкуры животных.

Конечно, их жизни теперь не позавидовал бы никто. Однако и тогда были пытливые, думающие, побеждающие люди. Например, люди племени Не-До-Со.

Название племени Не-До-Со в переводе с недосокского языка на наш язык означает — Недовольные Собою Люди. Неуспокоенность, стремление к поискам, открытиям люди племени Не-До-Со считали самым главным и самым дорогим в человеке.

Название племени Не-До-Со тогда заменяло множество понятий — смелость, мысль, находка, борьба, победа и многое другое, что в те бедные словами времена также объединялось тремя слогами — Не-До-Со.

За это люди племени Не-До-Со были уважаемы другими племенами, и многие старались походить на них. Потому что не кто-то, а настойчивые люди племени Не-До-Со придумали каменный топор, лук и стрелу для охоты, ямы для ловли опасных хищников и многое другое, что переняли потом все остальные.

Но племенем Не-До-Со восхищались не все. Некоторые находили законы Не-До-Со слишком беспокойными. Например, люди другого, довольно большого племени Ле-До-Со. Люди племени Ле-До-со предпочитали как можно меньше двигаться, меньше работать, меньше думать. Лень, сладкий сон и жирная пища были для них самым прекрасным из самого прекрасного в жизни. Поэтому-то племя и называлось Ле-До-Со, что, как ты уже догадываешься, в переводе на наш язык означает — Ленивые, Довольные Собою Люди.

Люди племени Ле-До-Со прославляли довольство собой, довольство тем, что есть.

Сонливых и ленивых увальней из племени Ле-До-Со не уважали стремительные, всегда ищущие, вечно занятые труженики Не-До-Со, но жили с ними мирными соседями, хотя и никогда не роднились. Да и не могло быть между ними родства. Кто бы из молодых людей племени Не-До-Со, будь то юноша или девушка, захотел соединить свою кипучую жизнь с вялой жизнью ленивца или засони из Ле-До-Со. Это было бы похоже на разжигание огня водой, на ускорение работы безделием, на обучение камня искусству плавания... Это было бы похоже на самое невозможное, что даже не мог представить себе самый мудрейший из всех мудрейших мудрецов Не-До-Со или увидеть во сне самый

сонливейший из всех сонливейших засонь Ле-До-Со. Однако же...

Однако же в жизни, а тем более в сказке случается всякое.

В племени Не-До-Со подрастала девушка, удивлявшая своей пытливостью и настойчивостью всех от мала до велика. Будучи кровной дочерью племени Не-До-Со, она была недовольна одеждой из грубых шкур животных и, обеспокоенная своим недовольством, прославляла родное племя Не-До-Со новым великим открытием. Даже двумя.

Первое из них состояло в том, что из шерсти некоторых животных девушка научилась скручивать нити. Тонкие крепкие нити. На это в племени вначале никто не обратил внимания. Потому что нити скручивали и раньше из волокон растений и жил зверей. Правда, это были не нити, а скорее жгуты, получившие впоследствии название веревок и канатов. Но вскоре тонкие нити обратили внимание людей не одного лишь племени Не-До-Со, но и других.

Тонкие нити обратили на себя внимание тотчас же, как искусные пальцы девушек научились их переплетать между собой так, что получалась ткань.

И когда на свете появился первый кусок ткани, то старейшие из старейших старейшин племени Не-До-Со увидели в этом куске будущую одежду. И ловкие из самых ловких рук, настойчивые из самых настойчивых умов, пытливые из самых пытливых людей племени стали искать помощников умелым пальцам девушки, чтобы скорее и лучше превращать тонкие нити в плотную ткань.

И вот многое было сделано, и появилось ткани столько, что из нее можно было сшить первое платье. И, конечно, это первое в мире платье должна была надеть девушка, открывшая людям величайшее искусство превращения нитей в ткань. И она, как решило племя, наденет новый, невиданный до этого наряд в день своей свадьбы.

Теперь очень многие старались понравиться девушке. Понравиться не только потому, что ее мудрейшие из мудрейших мудрецы увенчали почетным венком племени Не-До-Со. Нет, не только поэтому. Девушка была красива. Красива настолько, что самый сонливейший из всех сонливых засонь и ленивейший из самых лени-

вых лентяев племени Ле-До-Со не мог теперь спать даже ночью.

И это бы еще ничего. Мало ли кто и благодаря чему не спит. Нельзя же обращать внимание на всякую бессонницу, особенно людям из племени Не-До-Со. Однако же...

Однако же девушка, научившая людей превращать нити в ткани, вдруг ни с того ни с сего стала спать гораздо больше, чем кто-либо в ее племени Не-До-Со. И это повергло всех в отчаяние. И все принялись искать причину презренной сонливости, чуждой беспокойным людям.

А отгадка оказалась очень простой. Девушке было приятно спать потому, что она видела во сне потерявшего сон юношу из племени Ле-До-Со. Когда же она стала видаться с ним и наяву, то содрогнулись даже камни. А после того как юноша из племени Ле-До-Со, набравшись смелости, преподнес девушке свадебный подарок — большую иглку из рыбьей кости, люди племени Не-До-Со чуть было не взялись за копья и стрелы. Потому что трудно было представить что-либо более оскорбительное, нежели сватовство сонливейшего из всех засонь и ленивейшего из самых ленивых племени Ле-До-Со. Однако же...

Однако же хитрейший из всех хитрейших хитрецов Не-До-Со нашел уловку для того, чтобы, избегнув кровавой расправы, отвести непростого жениха. Он сказал, что ничтожной иглой из рыбьей кости оскорбительно шить свадебный наряд знатной невесте.

Хитрейший из всех хитрейших хитрецов напомнил, что такие иглы годны для сшивания шкур жилами животных, но не прекраснейшей ткани из тонких нитей.

Жениху посоветовали подарить невесте более достойную иглу.

И юноша, поклонившись, ушел. Ушел, надеясь вернуться с новой иглой.

Решив так, он долго искал материал, из которого можно сделать тонкую, достойную платья невесты иглу. Он переловил множество рыб, вступал в единоборство с сильнейшими из зверей в поисках такой кости, из которой бы можно было сделать невиданно тонкую иглу.

Племя Ле-До-Со обжиралось рыбой и мясом животных, добытых сыном своего племени, а кость не на-

ходила. И наконец он подстерег огромнейшего из самых огромных мамонтов и добыл крепчайшую из всех крепчайших костей, а затем сделал из нее иглу. Сделал и принес невесте.

Это была очень хорошая, тонкая и острая игла. Люди племени Не-До-Со куда ласковее приняли настойчивого жениха. Они по заслугам оценили его упорство и поиски. Девушка наградила добрым взглядом возлюбленного. Но все же хитрейший из всех хитрейших хитрецов племени недовольных сказал, что хотя игла достаточно тонка и остра, но она слишком ломка.

Юноша снова отправился на поиски. Он перебрал твердейшие из камней, гибчайшие из корней и сделал из них несколько пригоршней превосходных игл, каких не знавали в племени Не-До-Со. Однако же...

Однако же хитрейший из хитрейших хитрецов каждый раз находил изъяны в иглах, хотя и все больше восторгался упорством юноши из племени Ле-До-Со, считая его более достойным женихом среди множества других. Но старик не мог победить в себе прирожденное недовольство и снова посоветовал искать лучший материал для иглы, которая будет достойна сшить свадебный наряд.

И тогда юноша отправился в дальнюю страну таинственных гор. В эту страну не отваживались ходить даже самые бесстрашные и самые пытливые сыны племени Не-До-Со.

Среди этих гор одни дышали огнем. Из них извергалось пламя и выбрасывались раскаленные камни, текли горящие реки. В другие горы небеса метали огненные стрелы, и стрелы были так горячи, что расплавляли камень.

Поселившись в стране таинственных гор, юноша заметил, что текущие из них огненные реки, остывая, отвердевают каким-то незнакомым материалом, который ни на что не пригоден. Но все же находились такие камни, которые не были похожи на своих собратьев. Их можно было плющить, вытягивать из них полосы.

Особенно хороши были эти незнакомые камни на тех горах, куда небеса метали свои огненные стрелы.

Это было очень страшно. Но любовь сильнее страха. И влюбленный решил подползти к вершине горы, когда свирепствовали громовые небеса и огненные стрелы били в торчащие пики горы. И юноша увидел,

как огненные стрелы, целясь в неизвестные ему бурые камни, заставляли слезиться их светящимися каплями. И эти раскаленные капли можно было плющить, мять, вытягивать как капли смолы.

Но смола оставалась смолой. А этот неизвестный материал, остывнув, становился тверже и тяжелее камня. Из него можно было сделать иголку. И она была сделана. Иголка оказалась тонка, крепка, остра и гибка. Теперь юноша уже мог вернуться и удивить людей племени Не-До-Со чудесной иглой.

Но разве дело в одной игле? Влюбленный хотел большего. Влюбленный хотел назваться не только мужем дочери племени Не-До-Со, но сыном и братом настойчивых, неуспокоенных, недовольных людей, открывающих новое, лучшее, счастливое. Юноша почувствовал в себе недовольство малой иглой.

Прошло много дней и много ночей. Были грозы и бури. И каждый раз небо выбалтывало тайну рождения нового материала, равного которому еще не знал ни один человек на земле.

И настал день, пришел час, когда юноша, исхудавший, усталый и очень счастливый, вернулся родным сыном племени Не-До-Со.

Он подал иголку хитрейшему из хитрецов и посоветовал не прибегать больше к хитрости, потому что даже мудрейший из всех мудрейших мудрецов не назовет материала, из которого сделана новая игла.

И пока шился свадебный наряд невесты, жених рассказал о таинственных горах и показал людям, как можно из бурого камня выплавлять огнем чудеснейший из всех самых чудесных материалов и делать из него не одни лишь тончайшие иголки, но и острейшие топоры, зубастые пилы, крепчайшие сверла и многое, очень многое другое, чего нельзя сделать из дерева, камня и кости.

И все племя мудрых, пытливых, ищущих, настойчивых, трудолюбивых людей, увенчивая чело жениха венком признания, назвало его своим прославленным сыном. А мудрейший из мудрейших мудрецов племени Не-До-Со сказал:

— Как бы ни называлось то многое, что будет делаться из материала, еще не получившего названия, все эти вещи, изделия, инструменты навсегда сохранят имя иголкиных братьев.

И он не ошибся.

Прошли годы, века, тысячелетия. Новый материал, из которого была сделана счастливая иголка, каждый народ назвал по-своему. Наш народ дал этому материалу звонкое имя — металл.

Теперь этого важнейшего материала выплавляется столько, что самый недовольнейший из всех недовольных племени Не-До-Со не поверил бы своим собственным глазам, увидев kloкочущие озера чугуна в плавильных печах, искрящиеся стальные реки сваренной стали. И даже самый настойчивый из всех настойчивых людей Не-До-Со не сумел бы пересчитать сестер и братьев первой иголки.

Да сумеешь ли пересчитать и ты ее металлическую родню? Разве это только топоры, пилы, ножи, ножницы, вилки, коньки, скобки дверей, гвозди, шурупы, писчие перья?... Разве ее родня только то, что первое приходит нам в голову?

А не бегут ли иголкины братья и сестры могучими локомотивами по железным дорогам, не разрезают ли глади морей, став огромными судами; не поднимаются ли ввысь быстрокрылыми самолетами; не вырабатывают ли нам электрический свет, не помогают ли они нам ткать, копать, шить, пахать, убирать урожай. И делать все, что делали некогда только руками. Разве заменившие теперь руки машины и станки не кровные иголкины братья и сестры?

Едва ли найдется такая книга, такой художник, который сумеет нарисовать хотя бы десятую долю иголкиных родственников. Какой же счастливой оказалась игла, порожденная любовью, и как прекрасна любовь, породившая настойчивость, неуспокоенность, пытливость людей, открывших новый материал! И об этом прекрасном материале написано сказок едва ли не больше, чем у иголки братьев.

Вот еще одна...

СКАЗКА О СТРАНЕ ТЕРРА-ФЕРРО

Где-то когда-то была страна. Эту страну называли Терра-Сильверра. Терра-Сильверра в переводе на наш язык означает Земля Леса, или Деревянная Земля.

Так ее называли потому, что там все делали из

деревя. Дерево в этой стране было главным материалом.

А потом через много и очень много лет эту страну стали называть Терра-Пьерро, что в переводе на наш язык означает — Земля Камня, или Каменная Земля.

Так ее называли потому, что все в этой стране делалось из камня. Камень там стал главным материалом.

А потом еще через много и очень много лет эту страну называли Терра-Ферро. Как ты думаешь, почему так называли эту страну?

Сейчас я тебе расскажу удивительную историю удивительного открытия одного горшечника.

В этой стране, когда ее еще называли Терра-Пьерро, или Каменной Землей, было множество разных камней. Всяких. Был там и рыжий тяжелый камень. Он высился острыми скалами. Он залегал в земле толстыми пластами. И никто не догадывался, что это удивительный, чудесный и чуть ли не волшебный камень.

Но как-то один пытливый горшечник решил сложить из этого рыжего камня свод печи, в которой он обжигал свои горшки.

Сложив свод из рыжего камня, горшечник затопил печь жаркими-прежаркими дровами. Затопил и ушел.

Жаркие-прежаркие дрова горели весь день и всю ночь. Наутро пришел горшечник, чтобы посмотреть, хорошо ли обожжены горшки. Подойдя к печи, он еле удержался на ногах и тут же закричал на все стойбище, где жило его племя:

— Ферро! Ферро!

Ферро на языке жителей этой страны значило «чудо».

Что же случилось?

А случилось неслыханное и невиданное. Расплавился камень, из которого был сложен свод, расплавился, как смола, как воск. Расплавился и залил чем-то темным и очень тяжелым горшки, которые находились в печи.

Со всего стойбища сбежались люди. Они тоже были потрясены. Они даже и подумать не могли, что камень может расплавиться.

Нужно было спасать горшки. И они принялись разбивать свод. Но это было не так-то просто. Свод спекся в большой горячий ком, и его нелегко было разбить

каменными топорами и каменными молотками. Когда же ком остыл и его разбили на куски, то все тоже воскликнули:

— Ферро!

Слово «ферро», как ты уже знаешь, на их языке означало «чудо». И это было в самом деле настоящим чудом, потому что рыжий камень, расплавившись, превратился в новый материал, который был тяжелее и прочнее камня.

Этот чудесный материал, нагреваясь, становился мягким, как глина. Его можно было плющить и ковать... Из него можно было делать топоры, наконечники стрел, мотыги, которые были куда прочнее каменных. Этот чудесный материал нельзя было назвать другим, лучшим словом, нежели «ферро» — «чудо»!

Прошло немного времени, и все стали выплавлять из рыжего камня новый материал — ферро. Вскоре ферро появилось так много, что из него начали делать то, чего нельзя было сделать из камня, например пилы, острые ножи. Теперь новый материал ферро стал главным материалом страны. Поэтому-то люди и решили свою Каменную Страну — Терра-Пьерро — назвать Терра-Ферро, что значит Земля Железа. Ты, надеюсь, догадался, что материал, который открыл горшечник, на нашем языке называется железом?

Жители Терра-Ферро стали строить большие жаркие печи. Их складывали из камня, который не боится огня. А так как большие печи напоминали дома, их называли домами. Или — доменными печами.

Год за годом страна Терра-Ферро богатела и богачела. Появились не только железные пилы, но и железные плуги, железные оси телег, железное оружие, железная утварь... А потом — железные станки, железные машины, железные корабли и железные дороги.

Страна Терра-Ферро стала очень богатой страной. Только в ней был не очень хороший порядок. Не очень хороший порядок потому, что одни в этой стране работали и делали все, но жили не очень-то хорошо, а многие даже очень плохо. Другие же в этой стране ничего не делали, а пользовались всем. Ты должен согласиться, мой мальчик, что такой порядок нельзя назвать справедливым.

Представь себе, ты удишь рыбу моим удилищем, а я сижу, развалившись на берегу. Ты поймал двадцать

одну рыбку. И я беру двадцать рыбок себе, а одну, только одну рыбку отдаю тебе. Это же бессовестно с моей стороны. Разве можно брать из двадцати одной двадцать рыбок за то, что ты поймал их моим удилищем?

Так поступали в стране Терра-Ферро те, которым принадлежало все, с теми, у кого, кроме трудовых рук, ничего не было. Но такой порядок существовал в стране Терра-Ферро.

Страной Терра-Ферро правили три короля. Да, сразу три. Одного из них называли Черным, или Железным королем. Ему принадлежало все железо и все, что было сделано из железа.

Ему принадлежали все шахты — эти огромные подземелья, где добывали Черному королю рыжий камень, который стали теперь называть железной рудой.

Ему принадлежали все доменные печи, где плавят руду.

Ему принадлежали все печи, где варилось самое твердое железо, которое называется сталью. Из этого самого твердого, самого прочного железа делали станки, машины, паровозы, корабли, рельсы железных дорог.

Черному королю принадлежали все станки и машины, при помощи которых изготовляли железные изделия, ковали валы и оси, обтачивали, строгали, сверлили и шлифовали железные части машин.

Черному королю принадлежали станки, которые плющили стальные слитки в листы и вытягивали слитки в рельсы.

Словом, Черный король был хозяином главного материала страны Терра-Ферро — хозяином и торговцем железа.

Это был очень богатый, очень сильный и очень страшный король.

Второго короля Терра-Ферро называли Деревянным королем. Ему принадлежало все дерево и все леса. Ему принадлежали все пилы и топоры. Ему принадлежало все, чем из дерева делают деревянные изделия. Ему принадлежали все заводы, распиливающие бревна на доски и бруски.

Ему принадлежали все фабрики деревянных изделий, где производят мебель. Ему принадлежали заводы и мастерские, где мастера делали бочки, ушаты,

двери, рамы, бруски для паркета, корыта для стирки, лодки, телеги, деготь, смолу, скипидар, бумагу. Да, не удивляйся, мой милый, бумага тоже, как и фанера, родная дочь дерева.

Словом, Деревянный король был хозяином и торговцем всего деревянного.

Третий король страны Терра-Ферро назывался Золотым королем. Ему принадлежало все золото страны. И хотя из золота нельзя сделать ни топора, ни пилы, ни ножниц, потому что золото — мягкий металл, но зато на золото в стране Терра-Ферро можно было купить все. Даже Деревянного короля со всем его деревом. Даже самого Черного короля вместе с его железом.

Золотой король владел всеми банками. А в банках хранились груды золотых монет, которые можно было давать в долг торговцам, чтобы те могли покупать товары и торговать ими.

Разумеется, Золотой король не давал деньги в долг бесплатно. Если он давал кому-то десять золотых монет, то ему должны были возвратить одиннадцать золотых монет.

Не правда ли, мой мальчик, это называется подлой наживой? Да и какое лучшее слово подберешь для того, кто, не трудясь, богатеет на золоте, давая его в долг?

Но уж таковы законы были в стране Терра-Ферро.

Три короля управляли страной и народом Терра-Ферро через своих верных слуг. Верные слуги носили длинные важные звания супер-сановников, обер-чиновников, вице-губернаторов, вельможных сенаторов, штабс-полицмейстеров, штабс-квартирмейстеров, юристов-курфюрстов, магнус-магистров, тайных эквилибристов... Никто и никогда не сможет перечислить всех названий, званий и чинов этих важных персон, живших в роскошных особняках и носивших особую одежду.

Но как бы их ни называли, в какую бы нарядную одежду их ни наряжали, все они были только покорными слугами трех королей, потому что короли платили им жалованье, награждали их, давали им повышения, а если были ими недовольны — прогоняли вон. А какому сенатору или губернатору хотелось остаться без места, без жалованья, без чина! И поэтому все они управляли народом Терра-Ферро так, как это было вы-

годно трем королям. Они издавали угодные королям законы, наказывали непокорных, а в газетах прославляли мудрость королей и справедливость порядка в стране.

Продажные и хитрые слуги трех королей, обманывая народ красивыми словами, запугивая ужасными муками, заставляли его безропотно работать. А кто не хотел им подчиняться, кто говорил, что в стране может быть иной порядок, того хватили и сажали в подземелье или кидали в водопад. Поэтому люди молчали и изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год трудились, как рабы, на трех королей, создавая своими руками все богатства страны, которые короли и их слуги присваивали себе.

Вот так и жили. Одни работали, а другие богатели.

Все три короля были жадны. Каждому из них хотелось подчинить себе всю страну и заставить работать всех людей только на себя. Поэтому короли враждовали. Враждовали так, что готовы были проглотить живьем один другого.

Больше всех негодовал Деревянный король, потому что дерево с каждым днем становилось дешевле, и из-за этого Деревянный король не мог стать самым богатым. Дерево дешеvelo оттого, что в стране с каждым днем появлялось все больше и больше железа. И многое, что раньше делали из дерева, теперь стали изготавливать из железа. Даже ложки. Не говоря уж о ведрах и бочках.

Еще недавно за водой ходили с деревянными ушами и пользовались деревянными бочками. А теперь их стали делать из железа. Железные бочки и ведра не рассыхались, как деревянные, и служили дольше. К тому же провели железный водопровод.

Все деревянные лавки Деревянного короля были завалены деревянными товарами, но их никто не покупал даже за половину цены.

Но главная беда Деревянного короля была не в этом. Черный король стал строить вместо деревянных мостов железные. Он выпустил дешевые железные листы для крыш, и крыши перестали крыть тесом и дранкой. Даже деревянные заборы стали заменять красивой железной оградой.

Черный король все богател и богател. И было от чего. В стране вместо деревянных кораблей стали

строить железные. А когда люди светлого ума изобрели паровозы, телефон, телеграф и трудовые руки построили все это, Железный король перестал даже замечать Деревянного короля.

Железа требовалось все больше и больше. Черный король брал в долг у Золотого короля множество бочек золотых монет и строил на эти деньги новые доменные печи, новые железодельные заводы и открывал новые рудники. А Деревянный король закрывал свои деревообделочные и лесопильные заводы.

Железо теперь было признано всеми. Из него можно было сделать все. Разве можно сделать из дерева автомобиль или даже швейную машину? Нет. Разве видел кто-нибудь деревянную проволоку или деревянные ножницы? Разумеется, нет.

И очень хорошо, мой мальчик, что так много появилось железных вещей. Плохо только то, что Черный король производил эти железные вещи не для того, чтобы людям жилось лучше, а для того, чтобы самому еще больше разбогатеть. Железный король, жадничая, решил вообще уничтожить дерево. Он ни с чем не хотел считаться. Он решил делать железную мебель. Он хотел даже деревянные полы заменить холодным железным паркетом.

— Пусть дерево не главный материал, но зачем делать из железа те вещи, которые могут быть только деревянными? — говорили люди. — Разве приятнее сидеть на железном стуле и за железным столом?

Но какое было дело Черному королю до удобства людей! Дни и ночи думал Черный король о том, как быстрее уничтожить Деревянного короля. Поэтому-то он и позвал однажды к себе в гости беззубую ведьму по имени Гниль.

Черный король угостил ведьму березовым вином, рагу из сосновых щепочек, подливкой из дубовых опилок, маринованной древесиной, сухими ветками абрикосового дерева и другими деревянными кушаньями.

Не удивляйся этому. Железный король отлично знал, что Гниль питается только деревом. Не зря же ее называли таким ужасным именем.

Хорошо накормив прожорливую ведьму, Железный король пригласил портных и велел им сшить для нее самые красивые платья. Ведьма, хотя и была стара, но все еще любила наряжаться.

— Что ты хочешь от меня за это? — спросила старуха.

И Железный король льстиво ответил:

— Глубокоуважаемая и древнейшая из волшебниц, госпожа Гниль!.. Мне очень прискорбно, что у вас пропал аппетит и вы перестали уничтожать дерево и все, что из него сделано.

Заметь, мой мальчик, как повел разговор Железный король! Подумай о том, почему это он вдруг стал заботиться об аппетите старой ведьмы.

— Ах! — ответила ведьма и сделала губы трубочкой. — Для того чтобы питаться деревом, нужны зубы. А дерево теперь просмаливают смолами, красят красками, лакируют лаками, пропитывают такими веществами, которые разрушили мои зубы. И у меня их осталось только три. Один верхний и два нижних.

Сказав так, старая ведьма открыла рот. И Черный король увидел только три зуба, да и те еле держались.

— Это ужасно! — притворно посочувствовал Черный король. — Но я сейчас приглашу зубного доктора.

Зубной доктор тотчас вошел в железный дом Черного короля и занялся ртом старой ведьмы. Он легко вынул три негодных зуба и предложил вставить тридцать два острых стальных зуба.

— Хорошо бы вставить мне золотые, — попросила ведьма.

— Что вы, что вы, — замахал руками Черный король. — Золото — очень мягкий металл. Разве золотые зубы можно сравнить с зубами из стали! Стальными зубами можно грызть даже самое твердое дерево. Дуб. Бук. Граб. Не говоря уже о сосне, ели, пихте...

Вскоре у старой ведьмы Гнили появились две стальные челюсти и три комплекта стальных зубов для запаса. И один комплект праздничных фарфоровых зубов.

— Это вам для красоты, — хитровато улыбаясь, сказал Черный король, — фарфоровые зубы ломки. Поэтому, когда вам захочется кушать, вы будете заменять фарфоровые челюсти стальными.

Ведьма поблагодарила Черного короля и этой же ночью обгрызла все углы деревянного дворца Деревянного короля. Обгрызла так, что дворец осел и покоился.

На другой день в тех газетах, которые были подвластны Черному королю, появились сообщения о том, как

недолговечно дерево и какой это плохой материал. Газеты подробно описывали, как дворец Деревянного короля, построенный из лучшего дерева, оказался съеденным Гнильюю.

Через несколько дней стальные зубы старой ведьмы причинили новые бедствия. Рухнул последний деревянный мост в столице Терра-Ферро. И газеты Черного короля напечатали крупными буквами:

«Не пользуйтесь деревом. Дерево несет гибель и разорение! Железо, и только железо — надежный материал, из которого можно делать все!»

Деревянный король похудел за эти дни на шесть пудов. Он поседел, а поседев, тут же облысел до последнего волоска. Деревянная королева пила ушат за ушатом валериановые капли. Но ничто не помогало. Из одного обморока она падала в другой. А Гниль, пользуясь своими новыми зубами, продолжала съедать все деревянное: телеграфные столбы, деревянные киоски, где продавали мороженое, деревянные стены домов, оконные рамы, полы... От нее не было спасения!

Деревянный король, отчаявшись, уже готов был броситься с высокой скалы в глубокое озеро, но...

Но он этого не сделал. А почему он этого не сделал? Что остановило его?.. Что?

Не ломай голову, мой мальчик. Ты никогда не догадаешься, что произошло, Да и не только ты... Даже самые взрослые и самые догадливые люди не смогли бы объяснить, почему у облысевшего с горя Деревянного короля вдруг опять стали расти волосы... И при том не седые, а зеленые, цвета сосновой хвои, какими они были всегда.

Дело в том, что у Деревянного короля нашлись союзники.

Кто?

Во-первых, к нему явился пузатый, как чайник, торговец посудой. Он еще так недавно успешно торговал фарфоровыми чашками, фаянсовыми тарелками, стеклянными стаканами и глиняными горшками. А теперь? Что произошло с ним теперь?

С ним произошло то же, что и с Деревянным королем.

Что же именно?

Оказывается, Черный король начал изготавливать дешевую железную посуду: железные кружки, железные

тарелки, миски и горшки, покрытые тонкой, красивой эмалевой оболочкой. Все ахнули, увидев новую эмалированную посуду. К тому же она оказалась дешевле. Она не разбивалась и не боялась огня и кипятка.

Теперь ты понял, что привело пузатого, как чайник, торговца посудой к Деревянному королю?

Пузатый торговец посудой шепнул на ухо Деревянному королю об одной невероятной тайне, которая только с первого взгляда казалась невероятной, а на самом деле была вероятнее всех вероятностей на земле.

Сказав так, он назвал Деревянному королю имя Гу-Пе. Это странное имя принадлежало одному дельцу, который по милости Черного короля стал бродягой и нищим. Описание его жизни могло бы стать поучительнейшей книгой, которую с удовольствием читали бы и взрослые и дети. Но я могу лишь в нескольких словах рассказать о том, что произошло с Гу-Пе.

Имя Гу-Пе составилось из двух первых слогов двух слов: Гусиное Перо. Оно было присвоено тому, кто лучше других умел чинить и красиво раскрашивать гусиные перья и кто поставлял их во все канцелярии страны.

Много лет Гу-Пе безбедно существовал. Он даже хотел было взять в долг у Золотого короля тысячу золотых монет и обзавестись своей собственной гусиной фермой, чтобы не вытаскивать перья из крыльев чужих гусей, но...

Но появились стальные перья. Ты понимаешь: появились стальные писчие перья. И когда они появились, то все стали писать дешевыми, удобными, долговечными стальными перьями, и бедняга Гу-Пе остался без работы.

Гу-Пе умер бы с голоду, если бы на свете не было стариков, которые привычное, старое предпочитают новому. Нашлись такие крючкотворы, которые не захотели писать стальными перьями. Вот для них-то Гу-Пе и поставлял еженедельно несколько десятков гусиных перьев, получая за это жалкие гроши.

Один из стариков, писавший только гусиными перьями, был архивариусом. Архивариусом, чтобы ты знал, называется тот, кто бережет архив. Архивом же называется склад, где хранятся старинные бумаги, письма, указы, летописи, судебные дела и многое другое, что необходимо хранить.

Однажды Гу-Пе, сидя в главном архиве, от нечего делать стал перебирать старинные бумаги. Перечитывая пожелтевшие от времени листы, исписанные порывавшими от времени чернилами, он прочел старинный указ о вечном заточении некой особы по имени Корро де Ржа.

Прочитав этот указ, Гу-Пе подпрыгнул до потолка и стремглав кинулся к своему другу — торговцу посудой. И пересказал ему всю ту самую невероятную историю, которая, как уже было сказано, оказалась вероятнее всех вероятностей.

Вот эта история. Слушай, мой мальчик, слушай!

Очень и очень много лет назад, когда в стране Терра-Ферро не было ни Деревянных, ни Железных, ни Золотых королей и люди не только сами производили свои товары, но и сами их продавали или обменивали на другие нужные им изделия, страной управляли старейшины. Старейшины, самые старые и мудрые люди городов и деревень, выбирали из своей среды Главного судью. Он и был самым главным в стране.

Однажды в стране Терра-Ферро появилась иностранка под странной фамилией Корро де Ржа.

Так как в Терра-Ферро ни один человек не знал тогда, кроме своего терра-ферристского языка, никаких других, то никто и не обратил внимания на странное имя — Корро де Ржа. Может быть, и ты, мой мальчик, тоже не знаешь, что скрывается за этим именем. Но ты будешь знать. Ты должен знать, кому принадлежит это страшное имя.

Красивую, нарядную иностранную даму по имени Корро де Ржа всюду приглашали в гости. И она везде была желанной гостьей. Но... (Слово «но» теперь будет еще чаще встречаться в этой сказке. И за этим «но» всегда будет следовать нечто удивительное.)

Но вскоре стали замечать, что там, где появляется Корро де Ржа, гибнет все железное. Ножи, ножницы, шпаги, кольчуги. Даже иголки.

Тогда за Корро де Ржа установили наблюдение. К ней была приставлена расторопная служанка. И служанка вскоре сообщила Главному судье невероятное, сказавшееся самым вероятным из всех вероятностей.

Служанка выяснила, что лицо прелестной Корро де Ржа вовсе не розовое, а ржаво-коричневое, напоминающее окраску жаб, живущих на торфяных болотах.

Оказалось, что Корро де Ржа каждое утро покрывает свое лицо толстым слоем розовой пудры. А чтобы скрыть свои руки цвета болотной жижи, она натягивает на них длинные перчатки. А ослепительно огненные волосы прячет под кружевной косынкой на подкладке из плотного шелка.

Но все это еще не так существенно. Мало ли к каким ухищрениям прибегают иногда в погоне за красотой? Существенным оказалось другое — Корро де Ржа не могла есть обычной для всех пищи: она питалась только металлическими предметами... Да, да, да... Она, как леденцы, сосала мечи и шпаги, приготавлила железную кашу из мелких звеньев панцирей, вместо макарон приправляла стальные кушанья гвоздями и даже глотала топоры, выплевывая деревянные топорща.

Главному судье стало совершенно ясно, что Корро де Ржа не кто иная, как очень опасная колдунья. И судья приказал ее схватить и заточить в тюремный замок. Но...

Но комендант замка был не столь умен, как это было необходимо для его должности. Он, зная, что колдунья питается железом, должен был сообразить, что ей ничего не стоит съесть железные решетки и железные двери тюремного замка. Это было для нее делом нескольких минут.

И колдунья съела железные тюремные двери, как шоколадные. Съела и сбежала из замка.

Ее искали все. Пехота. Кавалерия. Полиция. Горные стрелки. Лесная охрана. Лодочники. Искали свыше трех месяцев и не нашли. Но...

Но колдунью совершенно случайно обнаружил маленький смысленый сын дровосека. Как-то колдунья пришла к нему, одевшись нищенкой, и попросила гвоздик.

Сын дровосека дал ей гвоздик, а затем другой, сделав вид, будто он не замечает, как она их глотает. Догдавшись, что эта нищенка и есть самая злейшая колдунья, которую всюду ищут, он пригласил ее в дом и предложил отдохнуть на железной кровати.

Колдунья страшно обрадовалась и вошла в домик дровосека.

Колдунья обрадовалась еще более, когда мальчик попросил ее посторожить дом, сказав, что ему необходимо снести в лес обед своему отцу.

Уходя, умный мальчик запер деревянную дверь на ралку и пустился со всех ног в деревню. А колдунья тем временем принялась за железную кровать.

Сначала она съела одну спинку, потом другую. Колдунья торопилась, ей хотелось съесть всю кровать до возвращения мальчика. И это ей удалось. Не удалось только улизнуть из домика дровосека. Деревянные двери и деревянные ставни были заперты. Если б она была Гнилью, то ей ничего бы не стоило прогрызть дерево. Но ведь дерево не ее пища!

«Я в ловушке!» — решила колдунья и принялась дышать на железные петли дверей. Ее дыхание было столь губительным для железа, что достаточно было и няги минут, чтобы двери, навешенные на железные петли, вывалились из дверных косяков. Но...

Но подоспели люди. Колдунья была посажена в холщовый мешок и доставлена Главному судье.

Мудрый судья приказал мастерам-стеклодувам вынуть большую, с толстыми стенками стеклянную банку и посадить в нее опасную колдунью. И когда это было сделано, колдунью стали допрашивать. Она сразу призналась, что питается железом и что ее настоящее имя — Ржавчина.

Тогда Главный судья приказал созвать ученых. Когда ученые собрались, он их спросил:

— Как уничтожить злую колдунью Ржавчину?

Ученые сказали, что если бы это была обычная ржавчина, то ее можно уничтожить маслом, краской, эмалью... Бороться с нею не составляет особенного труда. Но перед ними чудовище, дыхание которого пожирает все железное в сто, в тысячу раз быстрее обычной ржавчины. Поэтому нужно предпринять особые меры.

И ученые попросили у Главного судьи десять дней, десять часов, десять минут для размышления. И когда прошло десять дней, десять часов, десять минут, ученые явились к Главному судье и сказали, что колдунью нужно оставить в большой стеклянной банке, залить ее самым жирным касторовым маслом, а крышку банки припечатать сургучной печатью.

— И когда это все будет сделано, — добавил Главный судья, — надо отвезти Ржавчину вместе с ее стеклянной тюрьмой в чащу леса, а затем забыть в этот лес дорогу.

Приказание Главного судьи было исполнено. Ржавчину, заточенную в стеклянную банку с касторовым маслом, отвезли в чашу леса и забыли туда дорогу.

Вот какую историю вычитал Гу-Пе в старинных бумагах и рассказал ее пузатому торговцу посудой. А тот пересказал все это Деревянному королю.

Как только Деревянный король услышал эту историю, в его голове созрел чудовищный план. Он задумал найти госпожу Корро де Ржа и выпустить ее из стеклянной банки. Оказавшись на свободе, она сможет натворить Железному королю бед куда больше, чем ему, Деревянному королю, причинила старая ведьма по имени Гниль.

С этого момента и начали расти зеленые волосы на дубовой голове Деревянного короля.

— Ха-ха! — злорадствовал Деревянный король.

Повеселевший злодей решил во что бы то ни стало отыскать банку с Ржавчиной. А решив так, он обратился с тайной просьбой к тайной полиции. Но...

Но там, где существует тайная полиция, не существует тайн. Тайная полиция, сообразив, какая опасность грозит Железному королю, за тысячу двести золотых монет тайно рассказала ему о коварных замыслах Деревянного короля.

Узнав об этих замыслах Деревянного короля, Железный король тоже воспыал желанием найти место заточения Ржавчины, но вовсе не для того, чтобы выпустить ее. Нет, он решил перепрятать ее в глубокий подвал своего дворца. И, решив так, он тайно пообещал тайной полиции бочонок золота. Но...

Но полиция, сколько бы ей ни платили, всегда хочет получить еще больше. Таков уж характер тайной полиции. Поэтому она стала тайно просить у Деревянного короля две бочки золота. И тот согласился. Тогда Железный король пообещал пять бочек чистого золота. Тайной полиции и этого было мало. Она потребовала от Деревянного короля десять бочек. И Деревянный король, как он ни был скуп и жаден, вынужден был уступить требованиям тайной полиции.

Вот тут-то и начались поиски потерянной банки. По всем лесам и чашам, как волки, рыскали полицейские. Им помогали сующие всюду свой нос сороки и вороны. Но напрасно полицейские подкармливали этих птиц — большая стеклянная банка не находилась. Даже

зайцы, которым приказали искать под страхом превращения их в заячье рагу, не приносили утешительных сведений... Деревянный король потерял всякую надежду. Но...

Но нередко в жизни случается так, что тайну открывает не мудрец, а ребенок. Так и случилось на этот раз. Тайну открыла семилетняя девочка, дочь корзинщика. Корзинщик плел корзины и поэтому жил в лесу. Пока он плел корзины, его дочурка собирала ягоды. И однажды она увидела в зарослях орешника... Впрочем, ты догадываешься, что она увидела. Это была та самая большая стеклянная банка... И когда девочка вернулась домой, она сказала отцу:

— Папа! В зарослях орешника плавает русалка.

Корзинщик удивился и не поверил.

— Если на свете и могут быть русалки, то они никак не должны плавать в орешнике.

Но дочь уверяла и тянула его в лес.

Корзинщик пошел за нею и вскоре увидел то, что так долго и упорно искала полиция.

Поразмыслив, он решил сообщить о своей находке в полицию. И полиция сразу же отправилась в заросли орешника.

— Эге! — сказал самый главный и самый тайный оберстатс-суперполицмейстер. — Теперь не нужно звать. Теперь, пока не поздно, нужно получить десять бочек золота.

Деревянный король выкатил обещанные десять бочек золота. Затем он отправился вслед за тайной полицией в лес и железным молотом разбил стеклянную тюрьму Ржавчины. Каستоровое масло вытекло, и Ржавчина вырвалась на свободу. Не сказав «спасибо», она тут же проглотила тяжелый железный молот и даже не выплюнула его деревянной ручки. Так она была голодна.

Желудок Ржавчины был настолько пуст, а ее дыхание так ядовито, что полицейские и не заметили, как исчезли железные пуговицы на их мундирах и на других предметах одежды.

Полицейские не только остались без пуговиц, но и оказались обезоруженными. Стальное оружие исчезло с такой быстротой, что никто не заметил, как в кожных ножнах и кобурах полиции остались лишь одни костяные рукоятки сабель и пистолетов.

«Отблагодарив» таким образом освободителей, колдунья Ржавчина, сверкнув своими желтыми, как у дикой кошки, глазами, исчезла в чаще.

Тайная полиция, разделив между собой золото, поклялась Деревянному королю не выдавать тайны. Корзинщику и его девочке было сказано, что в банке плавала огромная жаба, которую сдали в музей редкостей.

Корзинщик, поверив этому, так и не узнал тайны стеклянной банки. Но его поразило непонятное исчезновение стального лезвия ножа, которым он заготавливал ивовые прутья. Лезвие ножа растаяло у него на глазах, как сосулька.

Он ничего не понял. Впрочем, не очень много поняла и тайная полиция. Я думаю, что и ты тоже еще не понял даже десятой части того, что случилось.

А случилось ужасное... И я тебе расскажу об этом. И ты все поймешь, а поняв, согласишься, что на свете не зря существуют волшебные сказки.

Слушай, мой милый, слушай!..

Как только страшная колдунья Ржавчина выбралась из леса, она наскоро смыла с себя ненавистное касторовое масло и отправилась к своей тетке, вдове старого шестикрылого Дракона.

После смерти Дракона осталось несколько комплектов крыльев, а Ржавчине нужно было из них только два крыла. Она боялась теперь ходить по земле и решила летать.

Вдова Дракона помогла Ржавчине окончательно смыть всю касторку и принялась пришивать ей крылья. Это была очень болезненная операция.

Когда приросли пришитые к ее спине крылья, Ржавчина стала походить на громадную летучую мышь. Она научилась летать и могла подниматься так высоко, что ее не достали бы самые дальнобойные пули. Страшнее для нее были самолеты, но и они, летая быстрее Ржавчины, не могли бы догнать ее. Не могли догнать потому, что ей стоило толькодохнуть на самолет, как он рассыпался на части, отравленный губительным для металла дыханием Ржавчины.

В стране пока еще никто, кроме Деревянного короля и тайной полиции, не знал о том, какое чудовище вырвалось на свободу. А между тем над столицей и над другими городами страны все чаще стала появляться крылатая колдунья. Но...

Но люди заметили, что все железные предметы ржавеют куда быстрее, чем прежде.

Начались кривотолки. Торговки на базарах утверждали, что будто бы это объясняется дождливым летом. Монахи ордена Семи Премудрых Змей твердили, что ржавчина усилилась благодаря упадку веры в зменную премудрость. Доморощенные астрономы твердили, что виной всему появление новой кометы, которую называли Антиферритой, или в переводе на наш язык — Антиметаллитой.

Газеты, подкупленные Деревянным королем, воспользовались слухами и толками, чтобы подорвать могущество Черного короля. В газетах печатали, будто бы Черный король производит плохое железо из плохой руды.

Вскоре в одной из газет старый архивариус опубликовал историю заточения Ржавчины в стеклянную банку с касторовым маслом. И всем стало ясно, что Ржавчине кто-то выпустил на свободу.

Ржавчина с каждым днем давала о себе знать все больше и больше. Останавливались карманные и наручные часы: вначале исчезали стрелки, а потом часовые пружины. Это были самые тонкие части часового механизма. Вредное дыхание Ржавчины, лежащей пока еще очень высоко над землей, съедало только мелкие предметы. Швейные иглы. Писчие перья.

Гу-Пе радовался освобождению Ржавчины: люди снова стали писать гусиными перьями. С каждым днем их требовалось все больше и больше. Гу-Пе открыл мастерскую гусиных перьев и стал продавать их по тройной цене.

Стали поговаривать о том, что фарфоровая, стеклянная и глиняная посуда куда лучше железной. Даже той железной посуды, которая покрыта эмалью. Стоило отколоться маленькому кусочку эмали или появиться трещине, как Ржавчина проникала внутрь и кружка или чайник становились дырявыми. Так густо отравила Ржавчина воздух своим вредным дыханием.

Люди терпели бедствие.

Зато у торговца посудой началась бойкая торговля. Он ежедневно набавлял цены на фарфоровые чашки, фаянсовые тарелки, стеклянные стаканы и глиняные горшки. И люди были вынуждены покупать его посуду. Ведь нужно было из чего-то пить кофе, во что-то на-

ливать суп. Железную посуду уже никто не хотел покупать даже по самой дешевой цене.

Черный король лысел и чернел с каждым днем. Он, конечно, догадывался, что это Деревянный король выпустил злейшую из колдуний — Ржавчину.

Но, мой дорогой, этого было нельзя доказать, как и нельзя было теперь поймать Ржавчину и заточить ее в банку с касторовым маслом. У нее появились крылья. Но пока еще можно было терпеть. Железо хотя и ржавело, но существовало. Люди верили в лучшее и надеялись на чудо. Ждали счастливого избавления. А счастливое избавление никогда не приходит само по себе. Да, мой мальчик, никогда и никакое избавление не приходит само по себе.

И пока ждали чуда и пели священные песни боже-ству Терра-Ферро — Семи Премудрым Змеям, самый хитрый из всех хитрых королей — Золотой король — погрузил свое золото на сорок восемь самолетов и покинул страну Терра-Ферро.

Он первым понял, что стоит задержаться здесь еще на неделю, как самолеты, изъеденные Ржавчиной, перестанут подниматься в воздух.

И он был прав. Из сорока восьми самолетов, нагруженных золотом, сумели долететь до далекой заморской страны только семь. Остальные упали в море, потому что Ржавчиной были отравлены даже верхние слои воздуха, за облаками.

Это была ужасная воздушная катастрофа.

От Ржавчины спаслись только семь самолетов. И спаслись они только потому, что были сделаны из чистого золота. А люди страны Терра-Ферро и после этого все еще надеялись на чудо. Добрые, хорошие люди не знали, как безжалостна Ржавчина, как мстительна она и как жестока. Воздух с каждым днем отравлялся все больше и больше. Все чаще и чаще нарушалась телефонная и телеграфная связь. Ржавеющая проволока телефонных и телеграфных линий становилась тоньше и тоньше. Провода обрывались. Их заменяли новыми, но и эти новые провода постигала та же участь.

Города ночью погружались в темноту. Ты, наверно, догадываешься почему. Ведь электрический ток, зажигающий электрические лампочки, приходит в дома по металлическим проводам. А где они?

Улицы стали освещать кострами и смоляными факелами. В домах зажгли масляные лампы. Они коптели, давали мало света и приводили в отчаяние людей, так привыкших к электрическому освещению.

Радовался только Деревянный король. Бедствия многих тысяч людей приносили ему большие доходы. Он теперь успешно торговал дровами, потому что газовые плиты тоже перестали работать. Ведь газ приходил в квартиры по железным трубам, а они были изъедены Ржавчиной.

— Так ли еще будут покупать дрова, когда настанет зима,— ликовал Деревянный король.

Нагретая в котлах центрального водяного отопления вода не будет больше приносить по трубам в квартиры тепло, потому что трубы съела Ржавчина. Разрушилось прекрасное, удобное центральное водяное отопление. Людям придется делать кирпичные печи. Люди, как в старину, будут топить их дровами.

Все пошло вспять. Новое стало сменяться старым, старое — старейшим, старейшее — древнейшим. Где горела электрическая лампа, там зажглась керосиновая. Но и ее сменила лучина, потому что горелки керосиновых ламп делались только из металла.

Все, мой мальчик, пошло вспять. Ты только вдумайся в эти слова. Ты только пойми, как глуп Деревянный король! Он радуется гибели железных труб, по которым течет газ, теплая и холодная вода. Он доволен, что перестал существовать водопровод и люди стали рыть колодцы. Он счастлив, что рельсы железных дорог наполовину погублены Ржавчиной и от этого медленнее ходят поезда. Он хочет, чтобы поезда совсем остановились... Чтобы люди снова ездили на его деревянных телегах... Он счастлив, что по многим железным мостам запретили движение и что они скоро рухнут.

Деревянный король потирал руки:

— Скоро все будет деревянным. И я, Деревянный король, буду единственным королем в своей стране.

Жадность Деревянного короля нельзя было измерить, но все же глупость его была еще больше жадности. Глупец забыл, что дерево ему добывают рабочие руки, которые вооружены стальным топором и стальной пилой. Он не понимал, что без топора нельзя срубить даже тонкой березы. Он не понимал, что, лиша-

ясь железа и стали, он лишается всех машин и всех станков, которые на его заводах распиливают бревна на доски, делают эти доски гладкими, превращают их в столы, шкафы, стулья, ушаты, бочки и во все другое, что изготавливают из дерева.

Рубанок строгал доски своим острым стальным языком. А теперь у него нет языка. Осталась только деревянная колодка. Топорища остались без топоров. Осиротели ручки стамесок и пил. Исчезли прекрасные инструменты, которые были так нужны людям.

А Деревянному королю, ослепленному жадностью, все еще невдомек, что и он, теряя железо, теряет все, чем люди обрабатывали дерево, которое приносило ему богатство.

Он не понял того, что стало ясно даже мастеру гусиных перьев Гу-Пе, который сказал Деревянному королю:

— Ржавчину необходимо поймать и снова заточить в касторовое масло.

— Это еще зачем? — удивился Деревянный король.

И Гу-Пе ответил:

— Я потерпел крах. У меня нет ни одного ножа. Чем я буду чинить гусиные перья?

И Деревянный король сказал:

— Это пустяки. Можно писать деревянными палочками.

Его дубовая голова могла думать только о дереве. Он даже обещал выпустить деревянные часы, когда Ржавчина съела последний будильник. Он ничего не хотел признавать. Он только жаждал владеть всем и видеть все деревянным. Он даже предложил строить деревянные дороги, после того как исчезли железные.

— А что будет двигаться по этим деревянным дорогам? — спросили его. — Ведь от паровозов почти ничего не осталось. Может быть, ты, Деревянный король, построишь деревянные паровозы?

— И построю, — сказал глупец.

А колдунья Ржавчина летала все ниже и ниже над землей. Теперь уже ей были не страшны самолеты. Они давно исчезли. Не страшны были пули и снаряды. Погибло оружие, а луки и стрелы с каменными наконечниками люди не научились делать. Да и что стрела? Разве ею убьешь Ржавчину!

Теперь уже все видели огромную крылатую мышь, летавшую над столицей. И все слышали ее голос:

— Отныне я ваша королева, Корро де Ржа. Я управляю вашей жизнью!

Деревянный король тоже слышал эти слова и усмехался. Он все еще мнил себя королем. Он все еще думал о власти дерева, хотя уже ни один станок не работал на его заводах.

Коричневым порошком покрылась теперь почти вся земля страны Терра-Ферро. По ней будто прошла какая-то коричневая чума. Люди покидали обжитые дома, потому что в домах рушились полы и потолки. Ты спросишь, почему рушились полы и потолки?

Полы и потолки рушились потому, что они держались на железных балках. А теперь эти балки, становясь все тоньше и тоньше, прогибались, а затем исчезали, превращаясь в тот же ржавый коричневый порошок.

Жизнь в городских домах без железных крыш, без полов и потолков стала невозможной.

Города пустели. Все устремлялись в деревни, в леса. Там люди строили хижины и землянки. А по улицам городов бродили бездомные собаки, оставленные хозяевами. Магазины были пусты, потому что не стало железных дорог и не на чем было подвозить товары.

У Железного короля помутился разум. Скитаясь по лагерям, где жили беженцы из городов, он призывал посадить в яму Деревянного короля.

Железный дворец Железного короля исчез. Его доменные и сталеплавильные печи погасли. Заводы, где производились железные предметы, превратились в коричневые холмы.

Черный король встретил как-то в лесу свою старую знакомую — ведьму по имени Гниль. Он, став перед нею на колени, воскликнул:

— Умоляю тебя, перегрызи горло Деревянному королю.

— Чем? — ответила ведьма и открыла беззубый рот. — У меня нет больше твоих стальных зубов, а фарфоровыми можно только пережевывать мягкие гнилушки.

Жестокая Ржавчина не пощадила даже свою двоюродную сестру — ведьму по имени Гниль. Так она была зла.

Теперь уже пришел в отчаяние и Деревянный король. Он сидел голодный и злой в деревянном дворце. Дворецкий, дворня, повара и поварихи давно покинули своего хозяина. Им нечего было есть. И они ушли добывать себе пищу охотой.

Люди Терра-Ферро стали жить так, как тысячи лет назад, когда их страна называлась Терра-Сильверра, Деревянной страной. Люди потеряли самый главный материал — железо. Им не из чего было сделать даже хороший наконечник стрелы, чтобы убить зверя или дикую птицу. И люди стали учиться делать каменные наконечники, каменные топоры, такие же, как у их далеких полудиких предков в стране Терра-Пьерро, в Стране Камня.

Кое-кто сумел выковать топоры из золота. Но золотые топоры очень быстро тупились. Каменный топор оказался куда лучше золотого. Им все-таки можно было рубить и раскалывать дерево.

Золото потеряло всякую цену, потому что оно ни на что, кроме украшений, не годилось. А теперь, когда голодная смерть угрожала каждому, людям было не до золотых украшений. За две горсти золотых сережек, колец, брошек, медальонов давали одну неполную горсть пшеницы.

Почему так дорого стал цениться хлеб? Разве его стало меньше? Ведь пшеничное зерно не боится ржавчины. Да, зерно не боится ее, но его теперь стало труднее выращивать. Исчезли тракторы. Не стало железных плугов. Человек должен был деревянными мотыгами взрыхлять землю и вырывать руками созревшие колосья, а потом растирать зерно в муку между двух камней.

Много ли могли люди добыть хлеба, потеряв косилки, жнейки, сеялки, мельницы? Много ли могут сделать руки, не вооруженные машиной или хотя бы простым инструментом, как серп, коса, лопата? Очень немного.

А есть нужно было всем. Всем хотелось есть, мой мальчик.

Поэтому все должны были выращивать хлеб. Министры и судьи, полицейские и губернаторы. Им уже никто не мог платить жалованья ни деньгами, ни продуктами, потому что в стране не осталось запасов товаров, продовольствия. Страна не могла теперь содержать ни ученых, ни музыкантов, ни художников.

Теперь всем пришлось стать земледельцами, охотниками, рыболовами, чтобы не умереть с голоду.

Дети перестали учиться грамоте, потому что родители детей не могли прокормить даже одного учителя. Так мало они добывали продуктов питания — зерна и мяса. А учитель не мог, оставаясь голодным, обучать детей чтению и письму.

Люди обросли длинными волосами и бородами. Нечем стало бриться и стричься. Люди не стригли ногтей и не следили за своей одеждой. До этого ли было им теперь! Они собирали грибы и ягоды, сушили коренья, ковыряли деревянными мотыгами землю, чтобы вырастить хоть немного зерна.

Когда износились все запасы одежды, люди стали прикрывать свое тело шкурами. Их куда было проще добыть, нежели вы ткать ткань. Чтобы вы ткать ткань, нужно вырастить хлопковое или льняное волокно или настричь шерсть овец. А потом из этого волокна нужно спрядь нитки. И из ниток уже вы ткать ткань.

Но ведь станки-то исчезли. Они были железными. Разумеется, можно было сделать и деревянные станки, на которых ткали прадеды жителей Терра-Ферро, но для этого тоже нужны были железные инструменты. Хотя бы нож. А где его взять?

Да и не было времени прясть. Весь день уходил на добычу пищи. Люди боролись за жизнь.

Даже Деревянный король, ненавидевший железо, понял теперь, что от железа зависело почти все, все блага жизни. Жилища. Одежда. Питание. Перевозка товаров. Электрический свет. Водопровод. Все, что делалось из железа или с помощью железа.

Деревянный король, как дикарь, рыскал с дубиной по лесам, охотясь на ежей. Голодный, ободранный, еле прикрытый берестой, он проклинал свою жадность. Он выл от отчаяния, как зверь. Но что его слезы! Что могло изменить его раскаяние? Люди страдали, терпели лишения, гибли. И все из-за жадности королей, из-за их безумного желания владеть всем.

Именно чудовищная жадность привела Деревянного короля к величайшему злодеянию. Это он, освободив Ржавчину, принес гибель стране Терра-Ферро и ее народу. И когда Деревянный король издыхал, как дикий зверь, в лесной чаще, над ним кружились и каркали вороны, как бы торопя приближение смерти.

Немного спустя не стало и Черного короля. Он погиб от Ржавчины. Она окончательно выела ему чугунные мозги, и Черный король в беспамятстве ударился головой о дерево. Он до последней минуты враждовал с деревом и ненавидел дерево.

А несчастные, обездоленные люди страны, потерявшей железо, все еще верили, что рано или поздно придут из других стран корабли или прилетят самолеты и спасут их от бедствия. Они все еще надеялись. Но...

Но напрасно. Страна, в которой жили несчастные люди, потерявшие железо, находилась на острове. Она омывалась со всех сторон морем. И как только к ней приближался корабль, он тонул. Как только над ней появлялся самолет какой-либо державы, он рассыпался в воздухе. Ты, конечно, знаешь, мой милый, почему это происходило.

Страну Терра-Ферро во всем мире теперь называли Терра-Морра, что значит Страна Смерти, и никто не отваживался проникнуть в нее. А время шло и шло. Но...

Но в каждой стране всегда находится умный мальчик. Умный мальчик родился у дочери корзинщика, когда она стала взрослой и вышла замуж. У нее родился смысленый и отважный сын. Когда сын подрос, мать рассказала ему таинственную историю об исчезновении ножа ее отца-корзинщика. Она рассказала также и о громадной банке в лесу, и о колдунье, которую она приняла за русалку. Теперь-то уж дочь корзинщика знала, что за «жаба» плавала в банке.

И мальчик захотел побывать вместе с матерью там, где плел корзины его дедушка. Однажды они отправились туда. Мать показала сыну разбитую банку. Он долго ходил вокруг нее, будто ища какие-то следы. И наконец он увидел маленькую бутылочку на льняном шнурке.

Он, конечно, не мог догадаться, что это за бутылочка и откуда взялась. А я тебе расскажу об этой бутылочке.

Слушай!

В старину, когда преступников заточали в подземелье или в тюремный замок, тюремщики надевали им на шею маленькую бутылочку на льняном шнурке, а в бутылочку вкладывали указ, по которому был осужден

виновный. Такую же бутылочку повесили на шею колдунье Ржавчине. Но она, вырвавшись на свободу, сорвала ее и бросила в траву. Когда зоркий мальчик увидел в бутылочке бумажный свиток, он осторожно извлек его и попросил свою мать прочесть то, что было написано в свитке.

Мать прочла. В свитке были перечислены все преступления Ржавчины, проникшей в страну Терра-Ферро под именем Корро де Ржа.

И мальчик понял все. И, поняв, стал размышлять о том, как изловить Ржавчину.

Годы шли... Мальчик стал юношей и как-то...

Нет, об этом нужно рассказать подробнее. Слушай!

Однажды сын дочери корзинщика охотился в лесу на фазанов. Ему встретилась старая-престарая старуха. Она глодала трухлявый пенёк.

— Бабушка,— сказал юноша,— если вы так голодны, вот вам фазан. Изжарьте его.

Старуха, сверкнув глазами, ответила:

— Иди своей дорогой. Я не ем мяса. Я питаюсь только деревянной пищей.

Тогда юноша, будучи добрым и почтительным, предложил старухе:

— Если хотите, я вам измельчу дерево. У вас, кажется, нет зубов.

— Были,— ответила старуха,— да их погубила злая Ржавчина...

И она разговорилась. И пока юноша измельчал камнем дерево в сосновое пюре, она открыла ему тайну.

Ты, наверное, уже догадался, эта старуха была не кто иная, как старая ведьма по имени Гниль. И когда ведьма подкрепилась сосновым пюре, юноша услышал такие слова:

— Ничего, ничего, добрый юноша, эта бессердечная тварь тоже скоро найдет свою смерть. Она уже голодает.

— Почему она голодает? — спросил юноша.

И старуха ответила:

— Потому что она сожрала всю свою железную пищу и теперь питается на отвалах шлака металлическими отходами.

Юноша не понял, о чем идет речь. Он же не знал, как выплавляется железо. Ему не было известно, что из доменных и сталеплавильных печей, кроме металла,

сливается и шлак. И в этом шлаке остаются отходы чугуна или стали. Не всегда же можно слить из печи шлак настолько аккуратно, чтобы в него не попало железо. И эти жалкие капли металла, слитые вместе со шлаком, убереглись от вредного дыхания Ржавчины. Убереглись потому, что они были залиты шлаком, который, отвердев, как стекло, не давал им ржаветь. Это и привлекло голодающую Ржавчину на отвалы шлака.

Когда сообразительный юноша измелчил в пюре второй пень, ведьма Гниль подобрела еще более и рассказала все, что ей было известно.

— Она каждую ночь прилетает туда,— сообщила ведьма и указала дорогу к отвалам.

Юноша поблагодарил старуху и отправился на шлаковые отвалы.

Какая тишина царила там! Какое запустенье! Ни души. Железная дорога, по которой некогда шли поезда, груженные рудой, заросла кустарником. В безмолвии лежали груды шлака.

Не верилось, что могущественная колдунья могла питаться мизерными зернышками железа, выгрызая их из кусков шлака. А между тем это так. Принеся несчастье другим, пожрав весь металл, она оказалась в несчастье и сама.

Если бы Ржавчина поедала железо умеренно, люди бы успевали восполнять железные запасы, и ей было бы чем питаться. А теперь?

Теперь были заброшены все шахты. Погашены доменные и сталеплавильные печи... Что могла есть Ржавчина, когда в стране не появлялось ни одного куска железа?

Колдунья уже не боялась опуститься на землю. Она чувствовала себя в безопасности. Ни пуля, ни самолет не могли настигнуть ее. Но все же, будучи трусливой, она прилетала на отвалы после захода солнца.

Смышленный юноша спрятался в кустах бузины. Как только наступил вечер, он увидел в небе большую летучую мышь. И чем ниже опускалась она, тем становилась все больше и больше. Когда же село солнце, слышался шелест огромных крыльев. Было еще достаточно светло для того, чтобы разглядеть колдунью. Юношу поразило ее бледное лицо. Ржавый румянец давно покинул провалившиеся щеки. Исхудавшие руки

еле взмахивали огромными крыльями. Тонкие и длинные ноги колдуньи напоминали почерневшие стебли подсолнечника. Вот какой выглядела теперь безжалостная колдунья Ржавчина, съевшая железо, а вместе с ним и свое благополучие.

Наконец она опустилась на Землю и принялась разбивать куски шлака. Ее можно было схватить за крылья и, обрубив их каменным топором, доставить колдунью на суд людей. Но это слишком рискованно... А вдруг она вспорхнет и улетит до того, как юноша подкрадется к ней.

«Нет,— сказал он себе,— нужно действовать наверняка».

Сказав так, он, следя за колдуньей, стал придумывать ловушку. Юноша заметил, что колдунья то и дело подлетала к отверстию шахты, заглядывала в нее и жадно вдыхала носом воздух, закрывая от восторга глаза. Закрывала их, как голодный зверь, чующий пищу. Она даже пыталась проникнуть в отверстие шахты, но, видимо, трусость побеждала голод.

Когда же настало утро и полуголодная Ржавчина покинула отвалы, юноша решил проникнуть в шахту.

Это был его первый подвиг.

Не так-то легко спуститься в заброшенную шахту. Но смысленый победит все. Он добыл смолы, пропитал ею клоч сухой травы, намотанный на конец палки, высек из кремня огонь и начал спускаться.

В темное и мрачное подземелье не проникали не только лучи света, но даже и ядовитое дыхание Ржавчины. Поэтому там и сохранились случайно оставленные рудокопами инструменты. Юноше посчастливилось наткнуться в темноте на большой и почти новый молот. Рядом с ним лежал обломок старого напильника. Юноша узнал их, хотя и никогда не видел железных предметов, родившись после гибели металла. Но мать и отец много рассказывали ему о замечательных железных инструментах и даже рисовали их углем на камне.

Это была ценная находка.

Это была драгоценность. Он мог бы сейчас стать самым счастливым человеком. Подумай, мой мальчик, как много значило обладать куском железа, когда все работали каменными инструментами. Даже шили каменными иглами и рыбьими костями. Может быть, ты думаешь, что молот нельзя было вынести из шахты?

Нет, мой дружок, молот можно было вынести из шахты, потому что отошавшая и голодная Ржавчина еле-еле дышала, и ее дыхание уже не было столь губительным для железа.

И это знал юноша. Но он был осторожен и предусмотрителен. Чтобы проверить, так ли это, он вынес из шахты обломок стального напильника и положил его на бугорок.

Колдунья, учуяв запах железа, прилетела среди бела дня и слизнула обломок своим коричневым языком, а затем тотчас же взмыла в поднебесье.

— Ну,— сказал юноша,— теперь не уйдешь.

Сказав так, он принялся рыть колодец. Вырыв колодец, подрубил несколько деревьев. Он подрубил их так, что стоило только толкнуть одно из них, как остальные должны были упасть и завалить собою колодец.

Это было его вторым подвигом.

Нелегко подрубать каменным топором толстые деревья. Но он это сделал. Затем снова спустился в шахту и вынес оттуда большой железный рудничный молот. Он бросил его на дно колодца и принялся ждать. Наступил вечер, послышался шелест крыльев. Юноша притаился у дерева. Колдунья долго парила над колодцем, видимо, раздумывая над тем, как мог сохраниться такой лакомый кусок железа. Наконец она села. Села на край колодца и снова задумалась.

Колодец оказался настолько узким, что в нем нельзя было взмахнуть даже одним крылом. Тогда колдунья попробовала зацепить молот длинной палкой. Но колодец оказался достаточно глубоким, и эта попытка ей не удалась.

Из коричневого рта колдуни текла коричневая слюна. Колдунья то и дело облизывалась. И когда голод и жадность взяли верх, Ржавчина решила прыгнуть в колодец... Да, прыгнуть. Что только не делает жадность... Вспомни, мой мальчик, Деревянного короля...

И как только она, сжав крылья, прыгнула в колодец, юноша толкнул подрубленное дерево. Подрубленное дерево, падая, свалило еще три подрубленных дерева, а те повалили еще девять таких же деревьев.

Тринадцать подрубленных деревьев так завалили колодец, что даже сто колдуний не смогли бы приподнять их, чтобы выбраться наружу.

— Теперь сиди смирно, жалкая колдунья! — крикнул

ей юноша.— И если ты не хочешь страшной смерти, верни мне мой молот.

Колдунья зашипела, как змея, но подчинилась.

— Благодарю вас, сударыня,— сказал с учтивой насмешкой юноша.— Ваш поступок поможет вам умереть собственной смертью от железного голода, который вы принесли в нашу страну.

Из ямы слышались проклятья и ругательства колдуньи, но юноша уже был далеко. Юноша шел к людям.

Это был его третий и самый большой подвиг.

И когда народ увидел юношу, несущего на плече молот, все воскликнули:

— Ферро! Ферро! Свершается ферро!

И все окружили юношу. А отважный и счастливый юноша высоко поднял молот над своей головой и сказал:

— Люди, я принес вам железо!

Послышался вопль радости. Люди заплакали от счастья. Многие опустились на колени, целуя железный молот, как святыню. Вместе с родителями плакали слезами счастья и дети. Пусть они не видели никогда железа, но они слышали о нем.

— Ферро! Да здравствует Ферро! — кричали женщины и мужчины, молодые и старые.— Да здравствует ферро!

Слово «ферро», как ты помнишь, в этой стране когда-то означало «чудо». Потом им стали называть железо. А теперь это слово стало еще и именем юноши, победившего коварную колдунью.

Именем железа, именем Ферро назвали юношу. И он был достоин этого.

Когда утихли крики восторга, юноша, получивший прекрасное имя Ферро, сказал:

— Теперь, люди, я покажу вам Ржавчину.

И он повел их к колодцу.

— Вот она!

И все увидели ржавое, исхудавшее тело колдуньи. Ожесточение и злоба приблизили ее всеми желанную гибель...

* * *

...На этом можно было бы и закончить сказку о потерянном и возвращенном железе. Этого было бы достаточно, чтобы ты и твои сверстники поняли, что значит железо в жизни людей и как нужно дорожить им, веща-

ми, сделанными из него, будь то станок, трактор или всего лишь столярные инструменты... Но...

Но хочется досказать о судьбе страны Терра-Ферро, не только ставшей снова Страной Железа, но и страной справедливых законов.

Короли чуть не погубили в смертельной вражде все богатства Терра-Ферро. И народ сказал, что у них никогда больше не появится ни одного короля. Даже в колоде игральных карт.

Народ сказал, что все блага будут принадлежать тем, кто их создает.

Народ сказал, что страной отныне будут править светлый ум народа и его трудовые руки.

Так и случилось, так и стало, как захотел народ.

Людям свободной страны Терра-Ферро, страны светлого ума и трудовых рук, пришлось все начинать сначала. Они отковали из большого молота, найденного юношей Ферро, несколько малых молотов и принялись добывать ими руду.

Они сложили плавильные печи.

Прошли годы, и все забыли о жестокой колдунье. Добрые люди скоро забывают о своих несчастьях, обидах, лишениях, о войнах и разрушениях. Так уж устроено благородное человеческое сердце.

И очень хорошо, что оно устроено так, а не иначе. Но все же даже самое доброе сердце не должно убеждать нас, будто на свете, кроме Ржавчины и Гнили, нет других злых сил.

Они есть, мой милый, они есть. На свете, к сожалению, еще немало злых сил... Но...

Но об этом в другой раз. А теперь давай подумаем о том, кем ты станешь, когда вырастешь большим. Как знать, может быть, ты захочешь добывать железную руду или плавить железо, сталь. Может быть, ты, избирая свою трудовую дорогу, станешь мастером, который железо превращает в чудесные изделия. Станки. Машины. Мосты. Железные дороги. Звездные корабли...

Но если ты, мой милый друг, займешься деревом и станешь мастером деревянных изделий, это будет ничуть не хуже. Потому что в стране, где мы живем, одинаково уважаемы и все материалы, и все мастера, и все мастерицы...

Так дед закончил свою сказку о железе.

ДЕДУШКИНЫ ОЧКИ



ОБМАННОЕ ОЗЕРО

То, что мне рассказал на берегу Обманного озера Егор Иванович, могло произойти только здесь — в степных сибирских просторах, где природа сказочно щедра.

— Почему так странно называется это озеро? — спросил я у Егора Ивановича. — Кого-нибудь обманули здесь? Или у него обманное, топкое дно?

И Егор Иванович ответил:

— Сто лет отгадывай — не отгадаешь. А прозвание «Обманное» этому озеру куда как смешно пришло. Слушай...

На этом самом месте годков сорок тому назад, а то и больше, была Макарова заимка. Дедушка Макар тут жил. Он моему отцу какой-то дальней родней доводился. Под старость старик Макар стал искать тишины. Облюбовал он эту глушь на берегу безымянного озера и поставил тут пластяночку на два окна. И каждый год летовал в этих местах. Много ли старику хлеба надо, а рыбы и мяса тут невпроед. И теперь, как видишь, озеро глуховато, а в ту пору и говорить нечего.

Внуков у дедушки Макара не было — только внучки. Вот он и приспособил меня приемышем. Мой отец рано помер, а у матери нас шестеро на руках осталось. И мать с превеликим удовольствием меня на лето отпускала к Макару.

Сначала мне тоскливо было: я да он, озеро да степь. Случалось, и слезишки лил. А дедушка Макар любил меня и придумывал разные забавы. То уток учил петлями ловить, то верши плести да ставить. Зверюшек выслеживали. Под курицу для забавы утиные яйца клали. Высидит курица вместе с цыплятами утят, и такое представление начнется — вдвоем за семерых нахохочемся,

когда курицыны утята в озере плавают, а их мать по берегу как умалишенная бегает, на всю степь кудахчет: «Куда-куда!.. Куда вы, цыплятушки?.. Утонете!» А утятам и горя мало. Наплаваются — и под куриное крыло. Посидят, посидят — и снова в воду. Бедная мать опять кричит, надрывается во всю головушку, а мы с дедушкой до хрипоты хохочем.

Шутка эта старая, известная. Не один дед-шутник так внуков веселил, не одна курица утят высиживала. Только эта никчемушная шутка на умное дело дедушку Макара навела.

— Егорша, — как-то говорит он мне, — а что, если мы с тобой дикую утку домашних утят заставим высиживать?

— Как это, — говорю я, — так? А если она не сядет?

— А почему, — говорит он, — ей не сесть? Умнее, что ли, она курицы? Облюбуюем два-три гнезда диких уток да и подменим яйца дикой утки яйцами наших домашних белых уток.

Тут надо сказать, что у дедушки Макара были хорошие утки, ноские. Неслись куда больше, чем для гнезда надобилось. Вот эти избыточные яйца и задумал Макар под диких уток класть.

Дело не мудреное. Утиное гнездо на этом озере найти еще легче, чем щуку поймать.

Только я сомневаться стал.

— А вдруг, — говорю, — дедушка, дикая утка домашних утят дикими вырастит! Летать их научит и в теплые места по осени лететь заставит.

А дедушка Макар на это мне, смеясь, говорит:

— Наша курица тоже хотела утят петушками вырастить, а они селезнями выросли. Из кукушкиного яйца в любом гнезде кукушонок проклюнется. Так и тут. Давай пробовать.

Я рад стараться. Накопили корзинку яиц от наших домашних уток. Сели в лодку. Дедушка на корме с веслом управляется, а я на носу с корзинкой пристроился. Как где дикая утка взлетит, туда и правим. Найдем гнездо и живехонько произведем подмену яиц. Дикие — в лодку, а домашние — в гнездо.

Через недельку наши белые утки снова корзиночку яиц нанесли. Мы с дедом опять в лодку. И так раза три. Сердчишко у меня колотится — выскочить готово. Во сне даже белых утят вижу с дикой серой матерью.

Одного только не понимаю — как мы потом утят выловим.

— Не горюй, — говорит мне дедушка Макар. — Уж если мы диких уток обманули, домашних-то утят обязательно перехитрим. Куда им деваться, когда озеро застынет? Чем питаться будут, когда снежок выпадет?

— Это верно, дедушка, — говорю я и жду не дожусь, скоро ли дикие утки нам домашних утят высидят.

Как ни долго тянулись дни, а пришло время, когда утята вывелись.

Сотни выводков на озере, и все желтые. Не различаешь. Только стал я замечать, что у диких уток не все утята пугливые. Другие даже к лодке подплывают, если им кусочки бросать. Мать в камыши, а они хоть бы что.

Подошел срок — утята оперяться начали. Неслыханное дело на озере: утка серая, а утята белые. И серые и белые между собой в ладу. Ни драки, ни разногласий. Ничего. Всем корму хватает. Я день-деньской с озера не ухожу. Осени жду. Не нагляжусь на белых утят.

Подошла осень.

Затабунились утки. Волнение на воде. Разговор. Выводки в стаи объединяются. Пробные взлеты начались. Старые молодых к дальней дороге готовят. А белая молодь, что из подложных яиц вылупилась, сама по себе плавать стала.

Мы с дедушкой Макаром глаза готовы проглядеть. К себе молодь зовем. Прикармливаем — не идут. Своих, домашних уток подбрасываем, чтобы те привели их к нам на займку, в утиный пригончик. Не получается.

Стали ждать, когда застынет озеро.

Недолго пришлось ждать. Настал счастливый день, ударил первый морозец. Сковало льдом озеро. Не все: с краев. А белые утки на середине держатся. Серые-то уж давно за море улетели. Тут дедушка Макар, не будь плох, стал овсеца им подкидывать, пшенички. Утки вышли на лед, клюют. А потом мы с дедушкой овсяную дорожку стали насыпать. От озера — в свой пригончик. Своих, домашних уток опять для приманки выпустили. Ключуло ведь дело! До единой к нам в пригончик пришли да еще двух-трех уродцев из диких привели, которые улететь не могли.

Так оно и началось. Не один год мы с дедушкой уток обманывали. Не для забавы уж, а для дохода. А потом войны пошли... Дедушка Макар умер... Забыли

озеро. Годы, дожди да ветры нашу пластаночку с землей сровняли...

А недавно, когда я сам дедом стал, меня тоже к тишине потянуло. И главное, как вышло-то это. Инкубатор у нас завели. Маленький инкубатор, сотни на две яиц. Хорошо дело пошло. Яйца закладывают, электрическое тепло из них утят, гусят, даже индеек выпаривает. Тут-то я и вспомнил свои ребяческие годы да дедушку Макара. Вспомнил и выступил на собрании.

— Инкубатор,— говорю,— штука хорошая. Только,— говорю,— инкубаторных-то утят кормить надо. А дикая,— говорю,— утка по нашей местности — даровой инкубатор и даровая кормилица.

Рассказал все, как было. Меня, конечно, на смех подняли. Да только не все смеялись — нашелся человек, который ко мне вечером заглянул, а наутро мы с ним на озеро в его райкомовской машине покатали.

Недели не прошло — заповедником это озеро сделали. Меня в водяные произвели, главным начальником поставили. Дом, видишь, какой сгрохали. Племенной утятник построили. Пятьдесят несушек поселили. Птичицу прикомандировали.

А что касасямо подмены яиц в диких утиных гнездах, этим теперь детвора занимается. Как уткам садиться в гнезда, то из одного класса десятков помощников пожелует, то из другого пятнадцать веселых утиных обманщиков приедут. Живехонько гнезда разведывают, подмену произведут — и на том же грузовичке домой.

— Теперь, я думаю, тебе не надо досказывать, почему это озеро у нас Обманным прозвали. И так ясно.

МАМА И МЫ

Если обо всем своем детстве говорить, недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что — пожалуйста. Вот, например, случай был...

Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падая крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними:

— Скачут, как первоклассницы!

Снег падал все гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило до половины валенка.

— Не заблудиться бы! — предупредил нас, на правах самого дальновидного, мой младший братец.

— Да ну тебя, трусишка! — отозвалась Лида. — Через пятнадцать минут будем дома.

Снегопад между тем усиливался. Забеспокоился и я, зная, как жестоки наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу, но этого сделать уже было нельзя по глубокому слою снега, покрывшему дорогу.

Стало еще темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг закружились... Закружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран.

Девочки закутали лица платками. Мы с Федей опустили у шапок уши. Узенькая дорожка, которая вела в наше село, то и дело исчезала под ногами. Я шел первым, стараясь не потерять под ногами дорожный накат. До дому оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся благополучно.

Напрасно.

Дорога исчезла. Будто ее из-под ног украл кто-то очень недобрый из сказки моей бабушки. Может быть, Шальная Метелица... может быть, злой старик Буран Буранович.

— Вот я же говорил! — упрекнул нас Федя.

Лида еще бодрилась, а Тоня почти плакала. Она уже побывала в пурге со своим отцом. Она ночевала в снежной степи. Но тогда в саних был запасной теплый тулуп, и Тоня, укрытая им, благополучно проспала ночь. А теперь?

Теперь мы уже выбивались из сил. Я не знал, что делать. Снег таял на моем лице, и лицо от этого обледенело. Ветер свистел на все лады. Чудились волки.

И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери:

«Кого ты испугался? Пурги? Тебе хочется кричать? Кто тебя услышит при таком ветре! Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? Зря. Какая собака пойдет в степь при такой погоде! У тебя осталось только одно: зарыться в снег».

Я так отчетливо слышал голос моей матери, отлично зная, что маминым голосом я разговариваю сам с собой в моем воображении. И я сказал:

— Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замерзнуть. Давайте зарываться в снег, как это делают кочевники.

Видимо, я объявил об этом так твердо, что никто не возразил мне. Только Тоня плачущим голосом спросила:

— А как?

И я ответил:

— Так же, как куропатки.

Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась толста; тогда я вынул из сумки географический атлас в прочном картонном переплете. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом Тоня.

Тоня даже развеселилась:

— Тепло как! Попробуй, Лидочка. Разогреешься.

И мы стали поочередно рыть колодец в снегу. После того как колодец достиг нашего роста, мы стали прорывать пещерку в его снежном боку. Когда метель заметет колодец, мы окажемся под снежной крышей вырытой пещерки.

Вырыв пещерку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замел снегом колодец, не задувая в пещерку. Мы оказались под снегом, как в норе. Будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и «утонув» в нем, потом проделывают подснежные ходы и чувствуют себя там самым великолепным образом.

Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием маленькое пространство нашей каморки, мы почувствовали себя довольно уютно. Если бы ко всему этому еще оказался огарок свечи, мы могли бы видеть друг друга.

У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. И, если бы спички, я бы сделал фитиль из носового платка, и у нас бы появился светильник. Но спичек не было.

— Ну вот, мы и спаслись,— сказал я.

Тут Тоня неожиданно объявила мне:

— Коля, если ты захочешь, я подарю тебе моего Топсика.

Топсиком назывался ручной суслик.

Суслик мне был не нужен. Я ненавидел сусликов. Но мне было очень приятно Тонино обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала:

— Ты, Николай, теперь у нас сила! Мужчина!

В ее голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, даже если ей всего только двенадцать лет, есть какая-то материнская хитринка, подбадривающая мужчину, если этому мужчине тоже только двенадцать лет.

Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потому, что боялся уснуть. А когда я усну — уснут и остальные. А это было опасно. Можно замерзнуть. Одну за другой я рассказал, наверное, тридцать, а может быть, и больше сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки были скучными. Послышался легкий храпоток.

— Кто это?

— Это Тоня, — ответила Лида. — Она уснула. Мне тоже хочется спать. Можно? Я вздремну только одну минуточку.

— Нет, нет! — запретил я. — Это опасно. Это смертельно опасно.

— Почему же? Смотри, как тепло!

Тут я нашелся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал даже дремать. Я сказал:

— Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы услышать, как храпит человек.

Сказав так, я привел уйму случаев, выдумываемых мною с такой быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог...

Теперь рассказывали другие. По очереди.

Время шло медленно, и я не знал, полночь сейчас или, может быть, уже брезжит рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела пурга.

Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, затем открыть.

У нас не было шеста, и нам не на что было надеяться. Только на собак. Но и они бы не учуяли нас сквозь толщу снега.

Мое сало давно было разделено и съедено, как и Лидин ломоть хлеба.

Всем казалось, что уже наступило утро, и хотелось верить, что пурга кончилась. А я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом пещерку, вымокнуть и, может быть, очутиться снова в белой снежной мгле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили всем. Нас, может быть, ищут, кличут в степи... И я представил свою маму, которая кричит сквозь востер:

«Колюнька... Федюнька... Отзовитесь!..»

Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнеющую луну и гаснущие звезды. Занималась какая-то сопливая, словно невыспавшаяся, бледная заря.

— Утро! — крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы выбраться остальным.

С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш ветряк. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми струнами. Люди проснулись. А может быть, они и не спали в эту ночь...

Вскоре мы увидели наших ребят. Они обрадованно бежали к нам и кричали:

— Живые! Все четверо! Живые!

Мы бросились к ним навстречу. Я не стал медлить и слушать, что рассказывали об этой ночи, обо мне Тоня и Лида. Я побежал к нашему домику.

Саней на дворе не было — значит, отец еще не вернулся. Открыв дверь, далеко оставив за собой Федюньку, я бросился к маме. Бросился и... что было, то было... и заплакал.

— Да о чем ты? — спросила мать, утирая мне слезы передником.

И я сказал:

— О тебе, мама... Ты, наверное, голову потеряла без нас.

Мать усмехнулась. Освободилась из моих объятий и подошла к кровати Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. И сказала ей: «Спи». Хотя та и без того спала и одеяльце незачем было поправлять. Потом она подошла к подросшему Федюньке и спросила:

— Валенки не промокли?

— Нет,— ответил он.— Под валенками атлас был. Полушубок вот подмок. Есть я хочу...

— Переобувайтесь да живо за стол,— сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи.

«Да любит ли она нас? — впервые подумал я.— Любит ли? Может, эта ревунья Леночка у нее один свет в глазу?»

Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала:

— Я постлала, ложитесь. В школу не пойдете. Нужно выспаться.

Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в темной горнице, с закрытыми ставнями.

Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал все от Лиды и Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое, но настоящее ружье. Он удивлялся моей находчивости.

А мать?..

Мать сказала:

— Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с товарищами не спас.

— Анюта!.. — укоризненно заметил отец матери.

А мама перебила отца и сказала:

— Ешь давай! Каша стынет. Хватит разговоры разговаривать! За уроки им браться надо. Ночь пробродяжничали — день потеряли...

После обеда Тоня принесла мне Топсика. Я не взял его.

Лидина мать, Марфа Егоровна, явилась с большим гусакom и, низко поклонившись матери, сказала:

— Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила! Двух девок спас. У Тоньки-то сестры есть, а Лидка-то у меня одна...

Когда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала:

— Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотепу Кольку героем выставлять! — И, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака.

Вечером мы остались с бабушкой вдвоем. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела — болит голова.

С бабушкой мне всегда было легко и просто.

Я спросил ее:

— Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие вестоящие?

— Дурень ты, больше никто! — ответила бабушка. — Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишенная. С собакой по степи вас искала. Колени обморозила... Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я ее люблю...

Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:

— Фсельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдет.

Я бросился к матери и обнял ее ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что ее колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда еще не был так ласков с нею. Я никогда еще так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал ее обветренные руки.

А она всего лишь, как бы между прочим, будто теленка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно.

В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.

ЧУЖАЯ КАЛИТКА

Алеша Хомутов рос мальчиком старательным, заботливым и работающим. Его очень любили в семье, но больше всех Алешу любил дедушка, любил и, как мог, помогал ему расти хорошим человеком. Не баловал дед внука, но и не отказывал в том, в чем можно не отказывать.

Попросит Алеша научить его ловушки на хорьков ставить — пожалуйста. Трудно ли деду показать, как эти ловушки ставятся! Дрова пилить вздумает Алеша — милости просим! Дед за одну ручку пилы держится, внук — за другую. Помучится парень, да научится.

Так и во всем... Красить ли крылечко задумает малец, огурцы ли на окошке в ящике выращивать — дедушка ни в чем не отказывал. Одного только от внука требовал:

— Коли берешься за дело — доведи его до конца. А если видишь, что дело тебе не по рукам, — подожди, когда вырастешь.

Вот так и жил Алеша. Всех в своей большой семье радовал и сам радовался, настоящим человеком себя чувствовал, и другие его таким же называли.

Хорошо на свете жить, когда тебя люди хвалят, когда все тебе удается. Даже в пасмурный день на душе светло и весело. Но как-то и с удачливым Алешей случилось такое, что пришлось призадуматься...

А все началось с того, что пошел он с дедом в лес тетеревов добывать. А дорога шла через садовый питомник, где выращивались молодые деревца. Питомник был хорошо огорожен. Потому что и стадо может забрести да повытоптать саженцы. И лосей теперь столько развелось, что они даже в село, как домой, приходят. А уж про зайцев и говорить нечего — обгложут кору молодых яблонек и груш — и конец.

Пришел Алеша с дедом к питомнику и видит, что калитка открыта. Хлопает калитка на ветру. Щеколда у калитки оторвалась. Заметил это Алеша и говорит дедушке, как взрослый:

— Хозяева, тоже мне... Пустое дело — на три шурупа щеколду привернуть, а не хотят... Потому что чужая щеколда и ничья эта калитка...

— Что говорить, Алешенька, — поддержал дедушка разговор, — и петли бы у калитки не худо сальцем смазать, а то, того и гляди, переест их ржа и калитка на землю свалится...

— И свалится, — подтвердил Алеша, — она и так еле держится. Плохо, дедушка, быть чужой калиткой...

— Да уж куда хуже быть чужой калиткой, — опять согласился с внуком дед, — то ли дело наша калиточка. И синей красочкой она тобой покрашена, и петельки чистым нутряным сальцем смазаны, и щеколда у нее «трень-брень», как музыка... Свое оно и есть свое.

Тут дед посмотрел на внука, улыбнулся чему-то и дальше зашагал. Прошли они сколько-то — может, километр, может, два — и решили на скамейке посидеть на лесной просеке.

— А чья, дедушка, эта скамья? — вдруг спросил Алеша.

— Ничья, — ответил дед, — чужая. Какой-то человек взял да вкопал два столбика да прибил к ним доску.

Вот и получилась скамья. Кому надо — отдыхай. Никто этого человека не знает, а все спасибо ему говорят... Только скоро эта скамейка тоже, никак, кончится. Столбики у нее подопрели. Ну, так ведь чужая скамья, и никому до нее нет дела. Не то, что наша у ворот, ухоженная да покрашенная...

Тут дед снова посмотрел на Алешу, потрепал его за розовую щечку и опять улыбнулся чему-то.

В этот день они добыли трех тетеревов. Из них двух Алеша выследил. Дома шуму-гаму было выше потолка.

— Вот так охотник растет у нас! — нахваливает Алешу мать. — Подстрелить тетерева всякий может, а выследить его редкий умеет.

Веселый был ужин в этот воскресный вечер, но Алеша почему-то молчал и о чем-то думал.

— Устал, наверно, милый сын? — спросил Алешу отец.

— А может, с дедом не поладил? — спросила бабушка.

— Да нет, нет, — отмахнулся Алеша, — не устал и поладил с дедушкой. Очень даже поладил.

Прошла неделя, а может быть, и две. Опять старого да малого послали в лес. Зайца наспиговать решили.

Отправились дед с внуком по первому снегу на охоту. Опять пошли через садовый питомник. Глядит дед и глазам не верит. У чужой калитки не только щеколда на хорошие шурупы привернута, не только ее петли белым салом смазаны, но и краска на калитке, как небо в мае месяце.

— Алеша, ты погляди, — указывает дед, — никак, у чужой калитки родня нашлась.

— Наверно, — отвечает Алеша и дальше идет.

Шли они опять по старой дороге и на просеку вышли. Добрались до скамейки, где в прошлый раз отдыхали, а скамейки не узнать. Столбики новые вкопаны, доска той же синей краской покрашена, что и калитка, да еще спинка у скамьи появилась.

— Вот тебе и на, — удивляется дед, — у ничьей скамейки хозяин нашелся. Омолодил скамеечку, а спасибо сказать некому. Знай бы я этого человека, в пояс бы ему поклонился и руку бы ему пожал.

Тут дед снова заглянул в Алешины глаза и спросил:

— А ты не знаешь, как звать этого мастера, Алексей?

— Нет,— ответил Алеша,— я не знаю его, дедушка. Знаю только, что весной наши ребята хотят школьную изгородь подновлять. Совсем покосилась. Она тоже чужая, а — наша.

— Это хорошо,— сказал дед.

— А что хорошо? — спросил Алеша.

— Хорошо, что ты мастера не знаешь, который скамью починил и чужую калитку за свою посчитал... А что касается школьной изгороди,— сказал дед, разводя руками,— я даже слов подобрать не могу... Видно, приходит, Алеша, такое время, когда все оказывается свое и наше...

Дед опять заглянул внуку в глаза.

За лесом в это время поднялось позднее зимнее солнце. Оно осветило дым далекого завода. Алеша залюбовался золотистым, окрашенным солнцем дымом. Дед заметил это и снова заговорил:

— А завод-то, Алеша, который дымит, тоже чужим кажется, если глядеть на него не подумавши... А он ведь наш, как и вся наша земля и все, что на ней есть.

СЛАВКА

У агронома в колхозе «Ленинские искры» подрастал сын Славик. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он заявил отцу:

— Папа, я тоже хочу быть агрономом. Я тоже, как ты, хочу выращивать хорошую пшеницу.

— Это очень приятно,— согласился отец.— Давай я отведу тебе поле.

И агроном отвел своему сыну поле в палисаднике перед окнами дома, где они жили. Поле мальчику показалось очень небольшим. Оно было в один метр длиной и в один метр шириной — квадратный метр.

— Это не беда,— сказал отец.— И на этом поле можно вырастить знаменитую пшеницу.

Вскоре мальчику было показано, как нужно рыхлить землю, на какую глубину засеять маленькую пашню пшеничным зерном и как нужно за ней ухаживать.

Когда появились всходы, Славик очень обрадовался. Он тщательно пропалывал их, а когда земля подсыхала, поливал свое крошечное поле из маленькой лейки.

Пришло время убирать урожай. Славик вместе с отцом срезал колосья, а затем занялся молотьбой. Молотили дома, на столе. Молотили карандашом, выбивая из каждого колоска зерна.

Зерен оказалось много. Ими можно было засеять всю землю палисадника. Но отец сказал:

— Давай посеем только лучшие зерна.

И Славик стал отбирать лучшие зерна пшеницы — самые большие, самые пузатенькие. Нелегко было перебрать весь урожай. Не один час потратил Славик в долгие зимние вечера на сортировку зерна. Лучшие взял для семян, а остальные скормил уткам.

Пришла весна. Весной Славик снова перебрал отобранные семена и снова вместе с отцом взрыхлил и удобрил свое маленькое поле. Теперь уже отец работал меньше и меньше указывал.

Весело зазеленели всходы. Выше поднялись стебли. И понятно почему: поле было засеяно лучшими из лучших семенами. А когда появились большие колосья и стали наливаться тяжелым зерном, Славик часами просиживал у своего поля. Он не мог дожидаться урожая. Очень хотелось узнать, каким будет на этот год зерно.

Но однажды пошел дождь с крупным градом. И Славик заплакал. Он боялся, что град погубит урожай, а поле закрыть было нечем. Но бабушка бросила через окно большой отцовский зонт, и мальчик раскрыл его над полем. Град больно хлестал Славика, потому что сам-то он был не под зонтом. Он держал зонт на вытянутой руке над своим полем. Из глаз Славика катились слезы. Но Славик не уступил граду, не ушел с поля.

— Ты настоящий мужчина, — сказал ему отец. — Только так и можно было защитить дорогие семена.

Чудесный урожай собрал Славик на вторую осень.

Теперь он уже знал, как нужно подсушить колосья, как их обмолотить, легонечко постукивая по ним карандашиком. Не дожидаясь совета отца, Славик отобрал самые крупные зерна. Их нельзя было сравнить с прошлогодними. Те были куда мельче и легче.

На третий год Славик засеял поле самостоятельно. Он хорошо удобрил землю. Хорошо взрыхлил и засеял два квадратных метра. Он переходил уже во второй класс, и ему было под силу справиться с таким опытным полем. И он справился. К тому же ему помогал школьный товарищ.

Намолотив осенью достаточно пшеницы, мальчик пригласил сортировать зерна друзей из своего класса, и те предложили Славику засеять ими большое поле.

Сказано — сделано. Весной ребята огородили большое поле в школьном саду — поле в десять метров длиной и в два метра шириной.

Славика ребята избрали главным агрономом и слушались его во всем. Кропотливо рыхлили землю и полжи сорняки.

Летом пшеница заколосилась еще лучше, чем в прошлые годы. Заколосилась так, что на нее обратили внимание старики колхозники. Какая это была радость!

Однажды председатель колхоза сказал шутливо Славику:

— Товарищ главный агроном, продай колхозу урожай на семена.

Славик покраснел. Ему показалось, что председатель смеется над его полем. А председатель не смеялся. Осенью он пришел на обмолот урожая. Урожай теперь молотили почти всем классом Славика. Молотили в тридцать два карандаша.

— Давайте, молодые семеноводы, засеем этим хорошим зерном большое поле. Вместе,— предложил председатель.

Ребята согласились. И вот наступил пятый год. Ребята вышли на сев вместе с колхозниками. И вскоре был снят пятый урожай. Теперь его уже нельзя было обмолотить даже тысячью карандашей. Молотили на току, по старинке, ударяя колосьями по плетеному коробу. Боялись повредить зерна.

На шестой год было засеяно огромное поле. А на седьмой и на восьмой новым, чистосортным пшеничным зерном засевались поля соседних колхозов. За ним приезжали издалека. Но всех немисливо было оделить семенами этого нового, урожайного сорта пшеницы. Давали семян по горсти, по две. Приезжие благодарили и за это.

...Когда я приехал в колхоз «Ленинские искры», мне показали эту отличную пшеницу и сказали:

— Это новый сорт пшеницы. Называется этот сорт «славка».

Тогда я спросил, почему так называется эта пшеница и откуда взялось это название. Может быть, от слова «слава» или «славная»?

— Да нет, нет,— ответил председатель.— Она так называется от имени Вячеслав, которого в детстве звали Славиком, а попросту — Славкой. Я познакомлю вас.

И меня познакомили с высоким голубоглазым застенчивым юношей. Он был очень смущен, когда я его стал расспрашивать о пшенице, а потом рассказал историю этой пшеницы, начиная с первого урожая в палисаднике.

ДЕДУШКИН ХАРАКТЕР

На берегу большого сибирского озера Чаны есть старинное село Юдино. Там я частенько жила в доме старика рыбака Андрея Петровича. Старик овдовел и в большой семье был одинок до тех пор, пока на свет не появился внук. Тоже Андрей и тоже Петрович.

Все стариковские чувства, вся его любовь стали принадлежать теперь мальчику, который как бы начинал вторую жизнь Андрея Петровича. Во внуке дед узнавал свои черты, свой характер. Он так и называл его — «дедушкин характер».

Воспитывал внука сам Андрей Петрович. Помню, он говорил ему: «Не можешь — не берись. А если уж взялся — сделай. Умри, но сделай!»

Внуку тогда было шесть лет.

Стояла морозная зима. Как-то я с маленьким Андреем отправился на субботний базар. Народищу — черным-черно. Понавезли на базар и мяса, и пшеницы, и дров, и всего, чем богаты эти края.

Мальчику бросилась в глаза большущая замороженная щука. Она была воткнута хвостом в снег. Не знаю, сколько весила эта щука, только ее длина была в добрых полтора роста Андрюши.

— Как только ловят таких щук? — осторожно спросил меня Андрей.

И я рассказал, что для ловли больших щук берут крепкий шнур, делают поводок из мягкой крученой проволоки. Сказал также, что для насадки крупного живца и крючок должен быть побольше, покрепче, чтобы сильная рыба не сломала, не погнула его.

Об этом разговоре я забыл и вспомнил только после того, как произошло нечто, удивившее меня.

Мы сидели и сумерничали с Андреем Петровичем в

горнице. Старик то и дело поглядывал в окно. Поджидал внука.

Маленький Андрей, как и многие другие его одноклассники, часто рыбачил на озере. Мальчики продавали во льду лунки и опускали в них свою нехитрую рыболовную снасть. Без удачи ребята домой не возвращались. Озеро Чаны очень богато рыбой. Для удильщиков здесь сушее раздолье.

— Не приключилось ли что с ним? — забеспокоился старик. — Не побежать ли мне на озеро?

Я вызвался пойти туда вместе с Андреем Петровичем. Оделись, вышли на лед. Озеро в ста шагах. Мороз двадцать — двадцать пять градусов. Тишина да снег.

Вдруг я заметил черную точку:

— Не он ли?

— Не иначе, что он, — сказал старик, и мы направились к черной точке, которая вскоре оказалась внуком Андрея Петровича.

Мы увидели мальчика в обледеневших слезах. Руки его были до крови изрезаны рыболовным шнуром. Он явно поморозил нос и щеки.

Старик подбежал к нему и начал оттирать снегом лицо мальчика. Я взял из его рук шнур. Для меня стало сразу все понятно: мальчик поймал щуку, которую не мог вытащить.

— Побежим, внучонок, домой, — торопил его дед.

— А щука-то? Как же щука? — взмолился мальчик.

Тем временем я вытащил щуку. Утомленная рыба не сопротивлялась. Это была одна из тех щук, которых привозят на базар не столько для барыша, сколько для погляда. Их мясо невкусно и жестко.

Щука не долго билась на морозе.

Дед с гордостью посмотрел на громадную рыбу, потом на внука и сказал:

— Не по плечу дерево... Ну, да ведь ты не знал, что разбойница тяжелее тебя попадет... Давно ли попалась?

И мальчик ответил:

— В обед.

Андрей Петрович улыбнулся в бороду:

— Значит, ты с ней часа четыре валандался.

— Долго! — ответил, повеселев, Андрюша. — А привязать было не к чему.

Старик, оттерев лицо и руки мальчика, повязал его, как платком, своим шарфом, и мы отправились к дому.

Уснувшую щуку я тянул за собой по снегу на шнуре. Дома Андрюшу раздели, разули, натерли снадобьями, перебинтовали его изрезанные руки. Он вскоре уснул. Спал тревожно. У него был легкий жар. Он бредил во сне:

— Не уйдешь, зубастая, не уйдешь!.. У меня дедушкин характер.

Андрей Петрович, сидя на дальней лавке горницы, незаметно вытирал слезы.

К полуночи мальчик успокоился. Жар спадал. Наступил ровный, спокойный детский сон.

Старик в ту ночь не сомкнул глаз. А утром, когда Андрюша проснулся, старик сказал ему:

— А все-таки ты, Андрей Петрович, худо дедов наказ помнишь! Не по своей силе рыбину задумал поймать. Крюк-то гляди какой привязал — как якорь... Значит, именно ты метил срубить дерево не по плечу. Худо это, худо...

Мальчик, потупившись, молчал. А дед продолжал внушать:

— Ну, да первая оплошка в счет не идет. Она как бы за науку считается. Впредь только таких щук не лови, которых другим за тебя надо вытаскивать. Стыдно это. Народ просмеивает тех, что не по спине мешок на себя взваливают, что не по кулаку замахиваются... А то, что ты не отступился от нее, — это правильно.

Тут два Андрея Петровича обменялись улыбками, потом обнялись.

Щука лежала в сугробе, припорошенная снегом. Когда же пришла суббота, Андрей Петрович вынес ее на базар и воткнул хвостом в снег. Он просил за нее слишком дорого, потому что ему вовсе не хотелось продавать эту чудо-рыбину. Ему нужно было рассказать людям, каков характер у его внука, Андрея Петровича Шишкина, шести лет от роду, который знает уже одиннадцать букв и может сосчитать до двадцати без осечки.

СЕРЕЖА

Теперь-то уж Сережа большой человек. Сергеем Ивановичем его зовут.

А я его знал совсем мальчишкой. Лет четырнадцать ему было, когда мы с ним познакомились в лесной сто-

рожке, где мне пришлось заночевать у старика Ивана Макаровича.

Вечер стоял теплый, светлый. Недаром июнь на Урале считается белым месяцем. Сидим мы на берегу, разговариваем. Для попугу комаров костер развели. Тишина. Речонка еле-еле журчит. Будто тоже дремлет, как и лес, как и травы. И вдруг слышим: «Буль, буль, буль...» Не то кто-то идет, не то плывет по речке...

— Уж не выдра ли? — насторожился Иван Макарович. — Не похоже... А если корова, так откуда ей здесь быть... Да и зачем ей речкой идти понадобилось...

Бульканье ближе.

Вскоре появился мальчуган. Довольно высокого роста. Белокурый. С синими веселыми глазами.

— Здравствуйте! — сказал он.

— Здравствуй, — ответили мы.

Разговорились. Пригласили его к костру. Спросили, кто и откуда, как звать. Куда он по речке путь держит.

Мальчик назвался Сережей и рассказал прелюбопытную историю.

История состояла в том, что Сергея еще в прошлом году заинтересовал необыкновенный состав воды речки Людянки.

— Ненормальная какая-то вода, — сказал он. — Не то жесткая, не то мыльная... Странная вода.

— Ну и что из этого? — спросил я.

Он повернулся ко мне и ответил:

— Пока ничего. Но меня и моего друга, Володю химика, это заинтересовало. Он очень хороший химик. Мы с ним в одном классе учимся. А потом стали исследовать воду Людянки. Нам помог преподаватель химии. И мы обнаружили в составе воды мельчайшие частицы слюды.

— Ну и что же? — еще раз спросил я.

— На этом основании, — неторопливо и солидно продолжал Сережа, — я и сделал предположение, что речка Людянка или один из ее притоков проходят через залежи или хотя бы через слои слюдяного месторождения и вымывают из слоя мельчайшие частицы.

Мы незаметно переглянулись с Иваном Макаровичем, слушая рассуждения и доводы Сергея.

— К тому же, — продолжал он, — в одной из старых книг нам удалось обнаружить, что эта речка называлась не Людянкой, а Слюдянкой. Буква «С», может

быть, потерялась со временем или какой-нибудь землепроходец или даже писарь неправильно записал ее название. И речка, названная от слова «слюда», стала называться более знакомым именем от слова «люди».

— Смотри ты, как оно дело-то поворачивается! — любуясь парнем, сказал Иван Макарович. — И я это же самое слышал. От бабки... — Затем, обратившись к Сереже, он спросил: — И что же ты теперь хочешь?

— Ничего особенного, — ответил Сережа. — Найти слюду. Она очень необходима. Неподалеку от нас артель высекает изоляционные шайбы, прокладки. Им привозят слюду издалека. И если мы найдем свою слюду, разве это плохо?

Мы опять переглянулись. Сергей, не замечая этого, продолжал:

— Ведь когда-то, в петровские и в допетровские времена, вывозили слюду с Урала. Не могли же ее всю вывезти! Не правда ли?

— Вы правы, молодой человек. — Мне захотелось поверить этому хотя бы для того, чтобы поддержать Сережу в его догадках.

— И давно ты идешь по реке? — спросил Иван Макарович.

— Четвертый день, — мягко ответил Сережа и, как бы оправдываясь, сказал: — Приходится останавливаться. Делать анализы чуть ли не у каждого ручейка, впадающего в Людянку-Слюдянку, чтобы не потерять путь к месторождению.

— Как же это ты один отважился? — задал сочувственный отеческий вопрос Иван Макарович.

И Сережа сказал:

— Мы вышли вдвоем. С моим товарищем. С Володсей. С химиком. Он, хороший химик, оказался плохим путешественником. Он побоялся идти по реке в глубь леса. К тому же встретилась змея...

— Так-так-так, — снова отозвался Иван Макарович. — А ты, значит, не боишься...

— Нет, я тоже боюсь, — сознался Сережа. — И еще как!.. Но ходить по лесам, речкам, горам — моя будущая профессия. К ней надо привыкать уже теперь...

Снова послышалось «так-так», и Сереже было предложено отужинать с нами. Он не отказался. И, слегка покраснев, сознался, что его продуктовые запасы, рассчитанные на десять дней, иссякают.

Мальчуган, появившийся здесь десять-пятнадцать минут тому назад, вдруг стал милым сыном и любимым внуком для двух чужих и неизвестных ему людей.

Его уложили спать в сторожку. Дали ему подушку и покрыли марлевым пологом от комаров. Мы же прокоротали ночь у костра, надеясь отоспаться днем.

Когда Сережа уснул, Иван Макарович объявил мне:

— Далеко пойдет парень. Такой не только слюду найдет — всю землю наизнанку вывернет, все золото выпотрошит! И там, где о нем не слыхивали.

И я верил в это. И мне так хотелось, чтобы Сережа нашел слюду! Пусть тоненький пласт. Пусть крохотное месторождение, не имеющее большого значения. Это подымет его в своих собственных глазах. Это будет настоящим началом трудной профессии.

Сережа проснулся поздно. Уха, сваренная Иваном Макаровичем, уже остыла. Подогрели. Старик приготовил ему пополнение продуктовых запасов. Я подарил Сереже свой «вечный» электрический фонарик.

Он сказал:

— Ой, что вы! — А увидев, что фонарик дарится ему от всего сердца, сказал: — Я давно мечтал о нем...

Затем, проверив, как работает фонарик, он еще раз поблагодарил меня и положил его в нагрудный карман...

Сережа не торопясь надел свои резиновые сапоги, взвалил потяжелевший вещевой мешок, затем вооружился своим посохом с железным наконечником, напоминающим копьё, и стал прощаться.

Мы обменялись адресами. Вскоре послышалось удаляющееся «буль-буль». Сережа уходил вверх по реке...

— Найдет, думаешь? — спросил Иван Макарович и, не дожидаясь ответа, сказал: — Обязательно найдет. Такие всегда находят.

ЧИЖИК-ПЫЖИК

Осенью Маврик упросил бабушку купить ему Чижика. И бабушка купила.

— Вот тебе твой Чижик-Пыжик, — сказала она и поставила на стол большую деревянную клетку. — Заботься о нем. Не забывай кормить и поить. А придет весна — выпустишь.

Обрадовался Маврик: теперь Чижику-Пыжику не придется мерзнуть на ветру и летать до устали с места на место в поисках еды.

Каждую неделю Маврик чистил клетку. Он исправно менял воду в поилке и вдоволь насыпал в кормушку зерен.

Чижик прожил в тепле и в холе всю долгую зиму. А когда пришла весна, наступило время выпускать лесного жителя. И повез Маврик клетку с Чижилом-Пыжилом через весь город на автобусе. А потом до леса пешком. Облюбовал в лесу пенек, поставил на него клетку и открыл дверцу. А сам отошел в сторону:

— Лети, Чижик-Пыжик, лети на волю!

Чижик прыгнул на порожек дверцы, отряхнулся и... обратно в клетку.

— Ну что ж ты не летишь, глупый?

И тут Чижик словно понял, что от него хотят, взмахнул крыльшками и выпорхнул из клетки. Взлетел на таловый кустик, оттуда на маленькую березку. Огляделся кругом и принялся клювом чистить перышки. А потом услышал чижиный зов и порх-порх — с ветки на ветку, с дерева на дерево — добрался до березовой чащи.

Вскоре Чижик-Пыжик проголодался. Принялся он искать знакомую кормушку. До самых потемок проискал, да где ж ее найдешь в лесу.

Наступила ночь, и хоть была она не очень холодная, Чижик все равно продрог. Он весь нахохлился, его взъерошенные перья походили на шубу. Но ничего не помогало. Голодный, дрожащий от холода, он с трудом дождался утра.

А утром увидел, как птицы добывают еду, и вспомнил забытое. Он тоже отправился искать себе корм, но крылья плохо слушались его. Что-то случилось с его сильными, легкими крыльями. Раньше он летал и далеко и высоко. А теперь едва-едва мог перелетать с дерева на дерево. Отвык за зиму.

Плохо стало Чижику, страшно. Ни корма добыть, ни от хищника спастись. А тут еще собралась чижиная стая улетать к родным гнездовьям. Отправился с ней и Чижик-Пыжик, но скоро устал, оторвался от стаи и в изнеможении упал в траву. Этого только и ждала хитрая лиса...

Тем временем наступило лето. Маврик думал, что

Чижи́к-Пыжи́к давно уж обзавелся гнездом и птенцами, но все-таки надеялся, что его любимец вернется к нему зимовать. И ждал, когда же тот постучится в окно своим маленьким клювом.

Но прошла осень, и пришла зима. А Чижи́к-Пыжи́к не прилетал. Видно, не нашел дома, где когда-то жил у мальчика и где была вкусная пища.

Так думал Маврик. Ему и в голову не приходило, что Чижи́ка-Пыжи́ка давно уже нет.

Откуда было знать Маврику, что лесные птицы — чижи, синицы, щеглы, — пожив в клетке даже немного, гибнут потом, очутившись на воле.

ДЕДУШКИНЫ ОЧКИ

У деда внук был. Не ахти какой самоцвет — парень и парень. Только старик очень внука любил. И как не любить, когда он — дедушкин портрет, бабушкина улыбка, сыновняя кровь, невесткина бровь и ее же румянец.

Отец, мать на работе, а внук при дедушке.

Старик сам на всю семью валенки подшивал и сапожничал по домашности. Внук около деда вертится — хочет узнать, что к чему. Глазами дедушке помогает. И руками подсобить не отказывается.

Провоцит, скажем, дедушка дратву, а щетинку в ее конец не может воскать.

— Дай, дедушка, я воску. Ты плохо видишь.

— Да воскeshь ли, внук? Дело хоть простое, а трудное.

Час, другой, третий бьется внук, а научится. И так всегда.

— Ах ты, дедушкины очки! — скажет старик. — При тебе и без глаз остаться не боязно. Увижу.

Подопрели как-то у старой избы нижние венцы. Менять надо.

— Давай, внук, сами венцы сменим.

— Давай, — отвечает внук. — Только я, дедушка, никогда этого не делывал.

— Не беда, — отвечает дед. — Были бы глаза, а руки при хороших глазах что хочeshь сделают. Тщи пилу. Точить будем. Развод зубьям хороший дадим.

Приташил внук пилу и побаивается, чтобы дед руки не повредил.

— Я сам, дедушка. Только ты мне показывай, как зубья разводить, как напильник при точке держать.

Показал дед, как развод зубьям давать, как напильник держать. Поторопился внук — поранился маленько. А дедушка палец перевязывает да и говорит:

— Пила-топор торопливых не милуют. А мы их терпением обманем да сноровкой перехитрим.

Обманул внук пилу терпением, топор сноровкой перехитрил. Выточил так, что они в дерево, как нож в масло, идут.

— Пойдем теперь, внук, в лес дерева на венцы валить. Только побереги меня, Вася, в лесу от смерти.

— От какой смерти, дедушка?

— Деревя знаешь какие вредные? От себя валишь, а на тебя упадут. Боюсь, как бы меня какое дерево не прихлопнуло. Я ведь еще хуже видеть стал.

— Ничего, дедушка. Зато я в оба глаза буду глядеть.

Пришли в лес. Дедушка показывать начал, как запил зарубать, куда наклон у дерева, как по ветру дерево валить.

Хорошо с делом справляется внук — деда оберегает. Сторожко, с умом дерева валит, ноги бережет.

Пришло время венцы подводить. Дед опять на глаза жалуются:

— Васенька, ты теперь уж вовсе моими очками стал. Гляди, а я рассказывать буду.

Рассказал дед, как бревно замерять, как паз в бревне выбирать, как угол в лапу рубить.

Старается внук. Что дедушка говорит, то и делает. А старик на ощупь руками проверяет, где и что не так — указывает. Подвел внук венцы, новым мохом пазы проложил, проконопатил. Васины отец-мать диву дались.

— Как это ты все можешь, сын?

А Вася им:

— Да это не я, а дедушка.

Прошло сколько-то там времени, дед пуще прежнего на глаза жаловаться стал.

— Не могу я, Василий, без работы жить. Руки без дела слепнут, душа старится, сердце останавливается.

А внук припал к дедушке и давай его обнадеживать:

— Не горюй, дедушка. Я за двоих вижу. Моих глаз нам на обоих хватит. Давай работать. Ты только говори, а я сам увижу.

Работают дед и внук. В два глаза глядят, в четыре руки мастерят. Печи перекладывают, трубы выводят, рамы стеклят, полы стелют, крыши щепой кроют. Нарахвват мастера.

Как-то они навесы к рамам привертывали, и внук отвертку потерял. Искал, искал — не может найти. А дед ему:

— Да вон она, Васенька, в стружке лежит.

— Это как же ты, дедушка, увидел ее?

— Видно, внук, глаза от работы прозревать начали.

— Может быть, и бывает так, только я не слыхал, чтобы к старости глаза лучше видеть начинали.

Опять прошла неделя, другая. Тонкую работу дед с внуком взяли. Старинный узор в барском доме для колхозной чайной нанялись подправлять.

— Ты, — говорит внук, — сиди, дедушка, это не по твоим глазам, а я прожилки у листочков наводить буду.

Стал внук прожилки кисточкой выписывать, а дед и говорит:

— Васька, да ты это что? Прожилки листам надо во всю их живую силу давать, а ты их тоньше волоса выводишь.

Слез Василий с подмостей и спрашивает:

— Как это ты, дед, с полу прожилки на листья можешь видеть, когда я их плохо разглядываю?

А дедушка не потерялся да и говорит:

— Молод еще, значит, мастер. Не можешь пока без дедушкиных очков работать.

Тогда внук и спрашивает:

— Так кто же для кого очки? Ты для меня или я для тебя?

— А это уж тебе, внучек, лучше знать.

Понял тогда Василий про дедову слепоту. Обнял старика:

— Хитрый ты у меня, дедушка. Беда какой хитрый!

А старик на это, не таясь, отвечает:

— Если деду хитрому не быть, так откуда внуку умному да работающему вырасти?

Много лет прошло. Громко Василий работать начал. Во всю силу его трудовая слава зацвела. Василием Петровичем величать стали, редким мастером. Когда же состарился он, сам стал молодым мастерам хитрые «дедушкины очки» надевать. Чтобы глубже свое дело видели да на работу шире смотрели,

ТОНКАЯ СТРУНА



ПАМЯТНАЯ ОХОТА

У нас с братом ружья появились рано. Ему было шестнадцать, а мне четырнадцать лет. Обращению с ружьями обучал нас дядя; он и подарил их нам. Дядя буквально вдавливал нам в голову все меры предосторожности на охоте. Приводил примеры несчастных случаев. Даже таких, которые могли произойти раз в сто лет. И мы свято соблюдали все его охотничьи наставления.

На станции Кулунда жил второй наш дядя — дядя Федор. Он очень расхваливал свои озера и прославлял тамошнюю дичь. И мы с Васей отправились в Кулунду.

Все сказанное дядей подтвердилось. Птицы было так много, что немыслимо было вернуться с охоты без уток. Мы главным образом и охотились за ними. Гуси не подпускали нас. Как мы ни ухищрялись, какие только меры ни принимали, а удачи не было. И подползали к ним против ветра, и устраивали ночные засады — бесполезно!

Чуткие птицы взлетали задолго до того, как мы подходили к ним на ружейный выстрел. А утки уже порядком надоели. Их подавали к завтраку, и на обед, и на ужин.

Тетя Катя, дядина жена, сказала однажды:

— Надо же когда-то съесть хоть одного гуся!

И мы решили добыть во что бы то ни стало гуся.

С вечера мы ушли далеко в степь и заночевали в стогу соломы. Проснулись на восходе.

Солнечное утро прекрасно всегда и везде. Хорошо оно и в степи на берегу озера. Утренняя заря так окрасила воду, что она напоминала нам Урал. Там мы в раннем детстве всегда любовались, как в овраг из шлаковозных ковшей выливался огненно-красный доменный

шлак, образуя оранжево-красное озерцо. Но то было маленькое, а это — огромное алое озеро.

Любуясь с пригорка цветом озера, мы увидели двух розовых птиц. Мы их узнали сразу: это были лебеди. Так окрасила их белоснежные перья заря.

Лебедей в этих краях не бьют — не принято. Одни считают убийство лебедя грехом, другие, может быть, и не видят в этом греха, зато находят охоту на лебедей такой же нелепостью, как стрельбу по чайкам, журавлям. Ни к чему! Разве только для чучела. К тому же в народе были распространены рассказы о том, что, если погибает один лебедь, гибнет и второй. Так будто бы дружны и неразлучны лебединые пары. В этом была какая-то правда.

Мы с братом в прошлом году были на озере Чаны. Это огромное озеро. Есть места, где с одного берега не видно другого. На нем собираются сотни стай отлетающей птицы: уток различных пород, гусей, лебедей. Даже с плохоньким биноклем можно часами любоваться птицей перед отлетом... У гусей и уток не различишь пар — они плавают стаей. А вот лебеди — исключая разве молодых — и в стае плавают попарно. Может быть, в этом наблюдении было больше нашего желания видеть их парами, чем истины, — я не знаю, но так они запомнились мне.

Розовая лебяжья пара плыла медленно, грациозно.

Тут брат сказал:

— А при Иване Грозном лебедей подавали к столу. Даже картина есть, где несут лебедя на блюде. В пере. Значит, это не считалось запретным. Почему же теперь вдруг нельзя стало охотиться на лебедей?

И я поддержал брата. Мы зарядили ружья и направились к озеру.

Лебеди на нас не обращали никакого внимания. Старожилы рассказывают, будто лебеди подпускают человека, сидящего верхом на лошади, так близко, что человек может ударить лебедя кнутом. В этом, конечно, есть преувеличение. Но то, что лебеди, за которыми здесь не охотятся, очень смелы, — правда.

И вот мы подошли довольно близко к прекрасным птицам. Солнце уже поднялось, и они побелели. Но их закрыли камыши.

— Пройдем через камыш, — предложил брат. — А потом ты — в правого, а я — в левого.

Пошли бродом по камышу. Шли осторожно, не булькая, как учил дядя. Наконец камыш поредел. Лебедей мы увидели совсем близко и стали целиться. Я — в правого, а Вася — в левого. Командовал он. Командовал, как в детстве, когда мы играли в войну:

— Раз, два, три... Пали!

Прозвучали два выстрела. Один лебедь взлетел. Братов. Мы успели перезарядить наши берданки и дали еще по выстрелу в улетающего. Но тот преспокойно улета.

— Это лебедь,— сказал брат.— У него перо крепче. Дробь на него нужна крупнее. Пойдем за лебедкой.

И мы пошли за добычей по розовому следу на воде, окрашенному уже не солнцем, а кровью. Вода оказалась по пояс. А мы шли. Вскоре след привел нас в камыши.

Привел и затерялся. Лебедь исчезла.

Так мы пробродили минут сорок. Продрогли. Вышли на берег.

— Смотри,— указал мне вверх брат,— он не улета-ет! Он кружит над озером.

И я увидел парящего высоко в небе лебедя.

— Не покидает ее,— сказал брат.— Значит, это правда.

Он не сказал, что имел в виду, говоря «значит, это правда». И мне вдруг стало стыдно. Ведь это я стрелял в нее. Ведь я принес ему беду.

А лебедь все парил и парил, делая круги над озером, плавно взмахивая крыльями.

Мне хотелось уйти, и уйти как можно скорее. И я сказал брату:

— Уйдем, Вася, отсюда и посушимся.

Брат согласился и вдруг пронзительно крикнул:

— Ай, он падает!

И я увидел лебедя, падающего белым камнем. У меня подогнулись ноги. Я сел на землю. Лебедь упал на середину озера с шумным всплеском.

— Может быть, он от разрыва сердца? — тихо спросил Василий.— Я слышал, что такое бывает.

— Не знаю, не знаю...— отозвался я.

Мне вдруг очень захотелось пить, и я стал пить прямо из озера горько-соленую воду.

Начался легкий ветерок; он стал прибивать птицу к берегу, свободному от камыша. Теперь лебедя было легко взять. Но ни я, ни брат даже не подумали об этом.

Возвращались мы молча, с пустыми руками. Дома ничего не сказали о нашей охоте. И только через несколько дней спросили доктора, приехавшего на станцию, мог ли лебедь умереть от разрыва сердца, не пережив смерти своей подруги.

Доктор на это сказал:

— Не приписывайте, друзья мои, птице человеческих чувств. Лебедь, наверное, был тоже ранен, и, пока силы не оставили его, он летал, а потом разбился о воду.

Может быть, это и так. Вернее всего, что это именно так... Только с тех пор я никогда не охотился на лебедей и ни при каких обстоятельствах не буду охотиться на них. Мне и до сих пор, спустя много лет, как-то совестно смотреть на них, если я встречаюсь с ними на пруду зоопарка или даже на картинке.

ТОНКАЯ СТРУНА

Время было трудное, военное... В деревне, где жил Сергунька, питались хотя и скудно, а все же хлеб, картофель и сало были. Не каждый день, но варили кусочек мяса или косточку. А вот чай, сахар доставали с трудом.

Худо приходилось Сергунькиной бабушке. Одна забава у старухи осталась — чайку попить, а война и этого ее лишила.

— Был бы жив мой Петрован,— говорит как-то она про Сергунькиного деда,— он бы живо петель наставил, зайцев наловил. В охотничьей лавке за них сколько хочешь чаю дают. Хоть фунт.

Слушает Сергунька эти бабушкины слова да на ус мотает. Ему хоть и девять лет, а один мужик в доме остался. Отец на войне. Приходится соображать.

Раздобыл Сергунька проволоки, стал из нее петли на заячьи тропки ставить. Не вышло дело: не попадают косые. А у Петьки Чебакова что ни день, то заяц. И по два на дню ловились.

Решил тогда Сергунька расспросить Петьку, из какой проволоки он петли делает, как их ставит, где места выбирает. А Петька с хитрецей парень был. Зажимистый.

— Слово тайное знаю, вот и ловлю.

Не поверил этому Сергунька, а все-таки попросил его:

— Скажи мне это тайное слово, Петя!

А тот опять увильнул:

— Как я тебе его скажу, когда оно наше родовое — чебаковское, дедовское? И потом, если это слово в одной деревне будут знать двое, тогда ни у которого зайцы попадаться не будут.

«Ну ладно,— решил тогда про себя Сергунька.— Скоро четверть кончается. У меня по арифметике тоже «тайное слово» найдется».

Не долго ждать пришлось. Замаячил конец четверти. А у Петьки в тетрадке одни гуси-лебеди о двух крыльях летают: двойки. И в четверти «гуся» обещают. Как такой табель Петька отцу на фронт перепишет? Чем рапортовать будет? Не зайцами же!..

Петька к Сергуньке кинулся:

— Скажи, Сергуня, как это ты по арифметике только пятерки получаешь?

Сергунька, не будь плох, отвечает:

— Слово тайное знаю, вот и получаю.

Не стал Петька дальше расспрашивать и повел товарища в березовый перелесок. Показал ему, из чего он петли делает и как их ставить нужно.

Понял Сергунька, что у него было плохо, и тут же смекнул, из чего он может сделать петли еще лучше. А потом так натаскал Петьку по арифметике, что для него и четверка не в новость стала.

А у Сергуньки охота хорошо пошла — и по три зайца за ночь ловил. А дома об этом ни слова. Зачем до поры до времени говорить! Могут и хвастунишкой называть.

Снесет свою добычу Сергунька в охотничью лавку — там ее в книжку запишут. Копит охотник зайцев на фунт чаю да на пять пачек пиленого сахара. Сразу чтобы. Что там по осьмушке чай таскать,— пускай бабушка полной горстью его заваривает и сахар не растягивает по куску на два дня.

Все гладко шло, да только Сергунькина мать сказала, что у гитары струны пропали. Все семь. А ей без гитары — как бабушке без чаю. Когда матери бывало совсем невмоготу, когда письмо с фронта долго не приходит, запрется она в маленькой горенке и начнет струны перебирать да тосковать тихим голосом по Сергунь-

киному отцу. Попоем, поплачет, и легче ей станет. Отойдет.

Косится мать на Сергуньку, а спрашивать не спрашивает. Но все-таки однажды сказала:

— Не могли же струны сами по себе с гитары сняться и уйти!

А бабушка на это свое слово вставила:

— Конечно, не могли. Не иначе, что домовый их унес. Кому же больше? Ну, да беда не велика. Побалуется озорник и опять их на гитару натянет.

И вот пришло утро.

Бабушка поднялась раньше всех:

— Батюшки! На гитару струны вернулись!

Потом смотрит — на столе восемь осьмушек грузинского чаю красуются в виде буквы «С». И тут же пять пачек пиленого сахара разложены.

Радости было на весь дом. Каких только ласковых слов не сказала Сергуньке бабушка! И мать тоже. Особенно когда на гитаре струны увидела. А потом смотрит — одной струны нет. Самой тонкой.

— Как же это так? — говорит. — Почему же наш озорник «домовой» не все струны отдал?

Теперь Сергуньке таиться было больше не для чего, и он прямо сказал:

— Мама, тонкую струну заяц оторвал вместе с кустиком, к которому она была привязана. Видно, большой заяц был. Русак.

— Жалко, — говорит мать, — такую струну: она самая главная.

Тут бабушка поднялась с лавки и опять свое слово вставила.

— Плохо ты видеть, Анна, стала! Твоя самая главная, самая тонкая струна за столом сидит, чай с пиленным сахаром пьет, — сказала старуха и кивнула на раскрасневшегося от чая и бабушкиной похвалы Сергуньку.

...Через два дня на гитаре появилась недостающая струна. И никто не мог понять, откуда могла она взяться. Даже дотошный Сергунька и тот доискаться не мог, кто это сделал.

А сделал это Петька Чебаков. Тайно. Захотелось, видно, парню стать не хуже товарища и тоже звенеть «тонкой струной».

ВОЛЧОК

Мой дядюшка Петр Артемьевич служил старшим конюхом на опытном поле в Кулундинской степи. Дядюшка был очень любознательный человек. Его затеи привлекали внимание окружающих. Приручал ли дядя лису для охоты, одомашнивал ли диких гусей, придумывал ли новые способы ловли куропаток — всегда было интересно.

Однажды он добыл в логове волчат и одного из них решил воспитывать вместе со щенком немецкой овчарки. Того и другого кормила мать щенка, крупная собака Альта.

Когда волчонок подрос, дядя, боясь, что он убежит, поместил его вместе со щенком в вольер, за проволочную сетку. Волк получил имя Волчок, а собака была названа Стрелкой.

Когда Волчок и Стрелка подросли, когда пришло им время позаботиться о потомстве, дядя соорудил вместо конуры подобие логова. Вскоре у Стрелки появились дети. Дядя уже не входил в вольер — волк показывал зубы и не подпускал к логову.

— Как же теперь, Петр Артемьевич, их называть? — спросил сторож опытного поля Аким Романович. — Волчатами или щенками?

— А это будет видно, — ответил дядя.

Мало-помалу дети Стрелки подросли и стали выходить из логова. Их было пятеро.

Дядя, внимательно рассматривая их, сказал мне:

— Вот эти двое — волчата, а эти два — щенята... А это — ни то ни се.

Я не поверил дяде. Как могли родиться у одной матери и щенки и волчата!

— Подрастут — увидишь, что одни в мать, а другие в отца. Так не только у волков, а у многих бывает.

Живущие на опытном поле тоже считали, что дядя мудрит. Когда же волчата-щенята стали подрастать, все ясно увидели, что двое все больше и больше похожи на отца, двое — на мать, а пятый — на того и на другого. Ни то ни се. Так и прозвали его: «Нитонисей». Волчата походили на отца не только по окраске шерсти, но и по характеру. Они были жаднее. В их глазах стояла какая-то затаенная злоба, ненависть к людям, хотя люди ничего, кроме добра, для них не делали.

Дядя да и все остальные знали, что пословица «Сколько волка ни корми, а он все равно в лес глядит» — не только крылатые слова, но и правда. И дяде очень хотелось проверить, насколько крепка эта семья. Сумеет ли удержать Стрелка детей Волчка, выросшего среди людей и вскормленного собакой? И всем это хотелось знать.

Однажды дядя объявил:

— Завтра узнаем...

Наутро Волчка и Стрелку вместе с волчатами-щенятами перегнали в клетку. Клетку поставили на телегу и поехали в степь. С нами отправились — кто в бричках, кто верхом — человек пятнадцать любопытных. Когда мы приехали в степь, клетку поставили на землю, и все отошли метров на сто. Дядя потянул шнур, чтобы открыть им дверцу клетки.

Первым вышел Волчок и позвал за собой остальных. Оказавшись в степи, волчата и щенята стали резвиться, кататься, играть. Волчок посмотрел на нас, сидящих поодаль, прищурился, потом повернул морду к березовому колку леса. Потянул носом, будто не веря, будто проверяя, лес ли это. Потом, воровски озираясь, направился к березняку. Остановился. Оглянулся и, увидев, что за ним не пошла его семья, вернулся. Вернувшись, он куснул Стрелку, словно приказывая ей следовать за ним.

— Неужели,— забеспокоился главный агроном опытного поля,— Стрелка изменит человеку?

И я думал о том же.

Стрелка, до этого игравшая со своими детьми, поднялась и нерешительно последовала за Волчком. За нею побежали ее дети.

— Крикни ты ей, Петр Артемьевич! Позови! — попросил дядю главный агроном.

И дядя свистнул, а потом крикнул:

— Стрелка, ко мне!

Собака остановилась. Села. Остановились и ее дети. Остановился и Волчок. Потом он подошел к Стрелке и, угрожая, оскалил зубы. Послышалось рычание. Если собачий язык можно переводить на человеческий, то Волчок сказал нечто вроде: «Смотри у меня, собачье отродье! Я тебе покажу, что такое волчьи зубы!»

Эта ли угроза или что-то другое — может быть, чувство материнства — заставило Стрелку, виновато опу-

стив голову, следовать за Волчком. Но дядя снова свистнул и снова крикнул:

— Стрелка, куда ты? Стрелка!

И Стрелка решительно повернула обратно. К нам, К людям. Мы ее подбадривали, кто как умел.

Вместе с нею вернулись и два щенка. Это были именно щенки. Главный агроном наблюдал за ними в бинокль, а я их отлично различал и без него.

Трое волчат следовали за отцом к лесу; один же из них, бежавший последним, поминутно оглядывался на мать. Это был Нитонисей.

— Жалеет, видно, Нитонисейка мамашу,— сказал сторож Аким Романович.— Как-никак выкормила она его. На ноги поставила. Свою овчарью кровь отдала.

И в это время Нитонисей сел и заскулил, подняв голову. Стрелка оглянулась и мягко тявкнула, будто сказала этим лаем: «Если хочешь, если любишь, оставайся со мной, мой волчоночек!»

И Нитонисей, услышав этот добрый материнский лай, опрометью бросился догонять Стрелку и братьев-щенков. Увидев это, отец зарычал, в два-три прыжка нагнал Нитонисея, куснул его на ходу и кинулся к Стрелке. Он больно укусил ее за бок. Стрелка ответила тем же.

Началась смертельная грызня волка и собаки. Их уже ничто не соединяло теперь. Ни дети, ни время, проведенное вместе. Ничто.

Я не знаю, чем бы кончился этот поединок, если бы дядя не выстрелил в воздух. Он никогда не выезжал без ружья в степь. За первым выстрелом последовал второй. Волк пустился наутек, а за ним двое его волчат и Нитонисей. Выстрелы будто окончательно размежевали семью собак и волков.

Стрелка приползла к нам. Ласкаясь, легла у ног дяди. А неблагоприятные разбойники давно скрылись из виду.

Мы благополучно вернулись. Стрелка и ее щенята бсжали рядом с нашей телегой. Но на этом не кончилась история.

Утром к матери прибежал Нитонисей. И дядя сказал тогда:

— Он убежит. Он волк.

И он убежал на третий день И я видел, как он убегал. Отбежит и начнет скулить: «Мама, мама... Мамоч-

ка, побежим вместе! В степи так привольно...» В этих или в каких-то других словах следует выразить его зов, я не знаю, только мое воображение подсказывало мне тогда именно эти слова.

Стрелка не последовала за ним из конуры. Нитонисей убежал. Но и на этом не кончилась волчья история...

Зимой на опытном поле появились волки. Они пришли сюда «по знакомству». Им, наверное, казалось, что Стрелка и ее дети не будут лаять в эту ночь и дадут поживиться им в голодную зиму кровью и мясом овец.

Этого не случилось. Овчарки подняли лай. Дядя выскочил в исподнем, с ружьем. Он ранил одного из волков, остальные убежали невредимыми. Ночь была морозная и темная, дядя не стал преследовать раненого. И лишь утром он направился по волчьему следу.

В двух километрах от опытного поля дядя увидел умирающего Волчка. Его не трудно было узнать по ошейнику. Волчок, как рассказывал мне дядя, оскалил на него зубы. А потом, видимо узнав, опустил голову и прищурил глаза.

— Волк-то он, конечно, волк,— говорил дядя,— но, видно, не зря прошло для него время, которое он прожил у нас за сеткой. Он узнал меня. И мне почудилось, будто он, перед тем как кончиться, по-собачьи вильнул хвостом. А может быть, это все только почудилось мне от моего давнего желания — особачить волка.

РАЗНЫЕ ЦВЕТЫ

Ромаше Ваганову до всего было дело. Он все принимал близко к сердцу. Всюду старался приложить свои руки.

На его глазах вырос поселок Никитово. Он помнит, как в ковыльной степи закладывали первый дом. А теперь красуются три улицы да еще намечаются две. Никитово будет маленьким совхозным городком. Так его можно назвать и теперь. В поселке есть и школа, и почта, два магазина, детский сад, но нет цветов. Почти нет. Нельзя же считать цветами долговязые мальвы да крошечные маргаритки, которые растут в двух-трех палисадниках. Цветы — это розы, пионы, тюльпаны, георгины, нарциссы, флоксы и другие, которые так нарядно

«цветут» на страницах книг о цветах и цветоводстве. Таких книг, надо сказать, в магазине поселка было достаточно, а цветочных семян — ни пакетика. Наверно, магазину было не до семян, потому что самые главные товары едва успевали завозить. Заведующий магазином прямо сказал:

— Не разорваться же мне...

Прав он, конечно. У него забот без цветочных семян достаточно, а все-таки он своего милого племянника Стасика не забыл. Подарил ему семена. Разные. Стасик сам говорил об этом в школе. Стасик хоть и не плохой мальчишка, а любит похвастаться.

Конечно, Ромаша мог бы у Стасика Поливанова попросить семян, да как-то язык не повернулся. Не любит Стасик с другими делиться. Он не то чтобы жадненький, а какой-то чересчур бережливый. Мяч футбольный и тот жалеет, хотя одному никак нельзя даже в самый простой футбол играть. Хоть двоих, да надо: один мяч в ворота загоняет, а другой ворота защищает. Поэтому ребята в классе старались у Стасика ничего не просить. Махнул Ромаша рукой на Стасика и пошел к дедушке. Дедушку тоже Романом звали. Сидят два Романа в на-топленной кухне и совещаются о цветах. Совещались они, совещались, придумывали разные ходы-выходы, а потом дед и говорит:

— Ромка, свет-то ведь не клином сошелся. И неужели все дело в Стаськины семена уперлось? Мир-то ведь велик. Разве мало у нас народу живет, которым некуда деть цветочные семена!

— Это верно, дедушка,— сказал Ромаша,— но ведь как узнаешь, у кого лишние семена есть.

— Да ведь ты грамотный человек,— говорит дед,— кликни клич, что, мол, так и так, в хорошем поселке Никитово все есть, а с цветами конфуз получается.

— А как я клич кликну,— спрашивает внук,— по радио?

— Можно и по радио, но через газету вернее. Все прочитают. И хоть один человек да откликнется.

Долго сочинял Ромаша письмо. Дед в двое очков читал написанное. Исправлял. Советовал. Подсказывал. И наконец получилась короткая и хорошая заметка. Ничего в ней ни у кого не просил Ромаша, а рассказывал то, что есть. Про новую школу, про электрическое освещение, про широкие улицы, про хорошие дома... Ничего

не выдумал. Всему точное слово вместе с дедом нашел, а потом перешел на цветы. Не жаловался, а просто сказал: «Так уж случилось, что не до цветов пока было нам в молодом целинном поселке Никитове. С другими делами еле справлялись». А потом в самом конце приписал: «Хорошо бы, если бы кто-нибудь прислал нам хоть немного цветочных семян. Ни одному бы семечку пропасть не дали».

Подписал свое имя и фамилию Ромаша, указал адрес поселка, перечитал написанное, проверил до запятой и послал заказным письмом в «Пионерскую правду».

А вдруг да в самом деле напечатают! А если не напечатают, то все равно напишут ответ и скажут, куда ему лучше всего обратиться. Время еще терпит. За окном еще метелицы метут, а снег и не думает таять.

Почти каждый день дед с внуком о письме вспоминают, ответа ждут.

А потом, как это и бывает, забыли о письме. У Ромаша школьные дела. А у Романа Васильевича тем более прибавилось работы с приближением весны. Проверка ремонта тракторов и подготовки к посеву. Проба семян на всхожесть. Беседы с молодыми механизаторами. А депутатские дела — сами собой. Они круглый год не останавливаются. Беспокойная старость у старика, зато веселая — на людях с утра до вечера.

А письмо Ромаша между тем было прочитано в редакции, похвалено и напечатано. Ромаша и не знал, получив номер «Пионерской правды», что в нем красуется в рамочке с цветочками его заметка. Он, как всегда, пришел в школу, сунул в парту свою сумку и решил сбегать в уголок живой природы, проверить, как себя чувствуют ежи. В коридоре его остановил Стасик:

— Пришлют, думаешь? — спросил он.

— Ты о чем?

— О газете.

В руках Стасика была газета «Пионерская правда» с заметкой. Ромаша хотел взять газету, но верный себе Стасик сказал:

— Я сам еще не всю прочитал...

Ромаша не успел сказать Стасику то, что нужно было сказать, как в его руках оказалось сразу три газеты.

Какое счастье читать в газете написанные тобой слова! Не беда, что заметку немножечко сократили. Зато

жирными буквами приписали от редакции очень хорошее обращение. Редакция надеялась, что школьники поселка Никитово не останутся в этом году без цветочных семян. И надежды редакции оправдались.

Не прошло и дня, как пришли сразу три телеграммы о присылке семян. Затем пошли письма. Никогда еще в Никитовское почтовое отделение не приходило столько писем, бандеролей и посылок. Ромаша и не предполагал, что «Пионерскую правду» читают миллионы ребят. Не ожидал этого и его дед. Стали приходить ящики с луковицами, корневищами, черенками, отводками. Все это нужно было где-то хранить. Радость перешла в испуг. Часть присланного стали складывать в школе, а потом ребята были вынуждены обратиться в дирекцию совхоза.

— Мы же не знали, что так будет,— жаловался директору совхоза Ромаша.— А бабушка говорит, что это только начало, что потом еще больше будет. Что делать, Николай Петрович?

Николай Петрович был из тех директоров, у которых на все хватит времени и внимания, для которых должен быть решен каждый вопрос, каким бы он ни был. И он сказал Ромаше:

— Что же ты наделал, товарищ Ваганов? Ударил в колокол, а о последствиях своего звона и не подумал. И деда вовлек, и почте работы задал... Не планоно, братец, это, не планоно.

Ромаша не оправдывался.

Николай Петрович, во-первых, предложил создать комиссию по распределению семян и предложил председателем комиссии Ромашу.

И вот началось распределение. Жители Никитова получали первые цветочные дары. По всему было видно, что розданные семена попадают в хорошие руки.

И у каждого, и у всех появились цветы. Они зацвели в палисадниках перед окнами, в школьном саду и на площади поселка. Они зацвели возле почты и у магазина. Они появились и в глиняных горшках на подоконниках домов. И все говорили о цветах.

Молчал только Стасик. Цветы не радовали его. Они не то посмеивались над ним, не то упрекали его, и Стасик старался обходить их. Но этого сделать было нельзя. Этого сделать было нельзя вовсе не потому, что Стасик всюду встречался с цветами, а потому, что никому не

удавалось уйти от своей памяти, от своей совести. Не ушел от них и Стасик.

Ребята уже забыли, что Стасик пожалел для них цветочные семена, а он помнит и никогда не забудет этого.

РАЗБОЙНИК

На зимние каникулы отец с матерью уехали в Омск. Я и моя младшая сестра остались дома с бабушкой. Мне тогда было двенадцать лет. Мы жили на краю села, в новом саманном домике, построенном колхозом моему отцу и матери. Оба они преподавали в школе, где учились и мы с сестрой.

Наш дом был самым крайним в селе. Из окон дома, стоявшего на возвышении, открывался прекрасный вид в степь. Может быть, поэтому отец и выбрал именно это место. Двор дома не успели огородить — помешала ранняя зима. Построек на дворе тоже пока еще не было, если не считать закутка, где жили два ягненок. Мой баранчик и Танина ярочка. Их купил нам отец.

Закуток для них был наскоро сделан из жердей, заваленных земель. Для тепла. Дверки сделал отец из прочных сосновых досок. Замок мы с Таней приладили сами. Настоящий большой висячий замок. Как будто кто-то мог похитить моего баранчика и Танину ярочку! Но ведь мало ли что могло случиться... И случилось. Случилось, правда, так, что никто не мог и предположить себе подобной истории.

У нас в те дни ночевал мой школьный товарищ Коля Мякишев. Поздно вечером, на третий или четвертый день каникул, когда бабушка спала на глинобитной лежанке, мы втроем — я, Коля и Танечка — сидели на скамеечке, поставленной на стол. Нижние стекла окон были заморожены, а верхние нет, и через них можно было смотреть на степь, освещенную луной.

Эта красота серебряно-голубого снега, волшебного лунного освещения и морозной прозрачности воздуха вводила нас в сказочный мир, в мир мечтаний.

Снежная степная низина распростерлась такая бескрайняя, что нам чудилось, будто мы сидим у штурвала воздушного корабля, который вот-вот двинется и полетит между звёздами и снежной равниной над миром.

Хорошо! Всюду мороз. Тридцать, а может быть, и сорок градусов. А мы сидим в своем воздушном корабле. В одних чулках. И нам не холодно. Если бы бабушка не похрапывала, то ничто бы не нарушало нашего воображения.

И вот, любуясь далями, мы заметили темную движущуюся точку.

Первой заметила ее Танечка и шепнула Коле:

— Волк!

Всякой другой девочке Коля сказал бы обидное, а Танечке он всего лишь мягко разъяснил:

— Волки не бегают зимой в одиночку. Да еще по дороге. Это отставшая собака возвращается в село.

Мне тоже хотелось думать, что это волк, и я поддерживал сестру, сказав, что такой походки у собак не бывает. Хотя я и не знал, какая походка у волка.

Животное между тем приближалось. То останавливаясь и присаживаясь на несколько секунд, будто отдыхая, то снова переходя на крупную рысь, неизвестное четвероногое не сворачивало с дровяной дороги, ведущей в дальний березняк.

— Ну, теперь видите, что это овчарка? — сказал Коля. — Это Дозор Щекиных.

Но когда этот самый Дозор снова остановился и, подняв голову, завыл, что называется, на луну, Танечка прижалась ко мне и, делая вид, будто дрожит, сказала:

— Васечка, мне страшно! Это серый.

— Это волк, — подтвердил Коля.

Да, это был волк. Через двойные рамы окна не было слышно воя, зато было видно, как волк открывал свою пасть. Мне даже показалось, будто я вижу его зубы.

Повыв так, волк направился дальше. Зимняя дорога в березняк проходила мимо нашего дома, и мы увидели волка совсем близко. Я посмотрел на стену, чтобы убедиться, тут ли папино ружье. Как будто оно как-то могло пригодиться! Я никогда еще в жизни не стрелял из ружья. Но мне показалось, что в случае крайней необходимости я могу выстрелить в волка через форточку.

И эта возможность вскоре представилась, но я в эту минуту забыл не только о ружье, но и о своем собственном существовании.

Волк подошел к окну. Подошел и приподнялся. Стоя на задних лапах, передними он едва не касался окна.

Теперь никто из нас не делал вида, будто мы дрожим. Стучали даже зубы. Но бабушку мы не разбудили. Коля предложил взять из ящика стола ножи. Это были столовые ножи. Мы их взяли.

А волк тем временем, словно проверив, что в доме все спокойно, направился к нашему ягнятнику. Мы перешли к другому окну.

Бедные ягнята!

Коля нашел в кухне топор. Это придавало ему еще более воинственный вид. А я взял лом. Это было тоже достаточно нелепо, но, видимо, необходимо в те минуты.

Волк трижды обошел ягнятник, затем влез на его крышу и стал разрывать лапами снег, затем мерзлую землю. Таня, схватив меня за руку, сказала мне, как взрослая взрослому человеку:

— Василий, ты должен выстрелить в него и спасти ягнят.

— Это невозможно,— сказал я,— потому что в кухонном окне крепко-накрепко замазана форточка.

Волк, убедившись, что замерзшей земли ему не разрыть, подошел к двери ягнятника. Он долго принюхивался, затем стал ломиться в дверь.

Но напрасно. Будто обессилев и отчаявшись, он сел. Тут его привлек другой запах. Он направился к бочке.

Это была узкая и длинная бочка. Отцу отдали ее на салотопенном заводе. Она была пропитана жиром. И отец хотел вкопать эту бочку в землю около канавки, для того чтобы собирать сточные и талые воды для поливки будущего нашего садика и огорода. В бочке можно было держать запас воды в семьдесят-восемьдесят ведер. Это не маленький запас. Просаленная бочка, по мнению отца, могла долго простоять в земле как сруб наливного колодца.

Запах лежащей на боку бочки привлек волка, и он влез в нее. И нам показалось, что мы слышим, как он сгрызает жирные бока бочки.

Так прошло минут двадцать. Покинув бочку, волк сел возле нее, облизываясь. Облизываясь точь-в-точь как Дозор Шекиных. И я подумал: а не Дозор ли это?

Нет. Сомнения мои рассеялись тотчас, как только чего-то испугавшийся волк сделал огромный прыжок и пустился наутек.

Мы снова перешли в большую комнату, взобрались на стол и наблюдали, как он удирает по той же дороге.

Часы пробили три, а нам было не до сна. Мы забрались на печку и шепотом, чтобы не разбудить бабушку, делились впечатлениями и обсуждали планы поимки волка. Чего только мы не выдумали тогда!

Коля, например, предлагал зарядить ружье картечью, укрепить его на треноге, затем нацелить на бочку. И, как только волк появится снова и начнет выгрызать сало, дернуть за шнурок, привязанный к спусковому крючку ружья.

Я предлагал поставить капканы. Но где их взять?

Танечка предложила приделать к бочке крышку. Приделать ее так, чтобы она захлопнулась тотчас, как только волк войдет в бочку. Это на первый взгляд нам показалось нелепостью, а наутро мы увидели в Танином предложении разумное зерно.

Коля сказал:

— Если крышку сделать с защелкой, волк не откроет ее.

— Но как сделать, чтобы она захлопнулась? — спросил я.

И Таня сказала:

— Так же, как дверку мышеловки.

Это опять показалось нелепым, но мы сделали именно так, как советовала Танечка.

Соорудив крышку, мы навесили ее на петли. Защелкой послужила нам воротная щеколда с пружиной. На крышку мы положили три кирпича, чтобы она быстрее захлопнулась. Внутри бочки мы протянули бечеву, на конец которой было решено подвесить мясо, как это делают в мышеловке. Как только зверь потянет за мясо, он сорвет крючок рычага, удерживающего крышку бочки в поднятом состоянии.

Когда сооружение было закончено, мы с Колей поочередно изображали волков, залезая на четвереньках в бочку. Крышка исправно захлопывалась, и щеколда запирала ее.

Все это делалось тайно. Бабушке было сказано, что мы строим зимнюю избушку для игры.

Наступила вторая ночь. Мы заняли сторожевой пост. Волк не появлялся. Мы уснули после того, как часы пробили четыре утра.

Наступила третья ночь. Мы верили, что он рано или поздно явится. И он явился. Мы его узнали издали. На этот раз он, не останавливаясь, мчался к бочке. Мы

стремглав перебежали к кухонному окну. Коля споткнулся в темноте. Это насторожило волка, но вскоре он успокоился и подошел к отверстию бочки.

Что было с нашими сердцами! В них работало по молотобойцу. Танечка даже как-то подскуливала пощечьи от нетерпения.

Волк сунул голову в бочку. Понюхал и вернулся. Сел. Облизнулся. Снова подошел к бочке. Затем посмотрел на крышку, нависшую над входом в бочку, и снова отошел.

— Пахнет железом,— сказал Коля.— Боится.

— Да ну тебя! — огрызнулся я.— Как он может различать запахи? Не придумывай!

Посидев, волк направился к двери ягнятника. Он еще раз сделал попытку нажать на дверь и оставил ее. Затем посмотрел на наше окно. Нам показалось, что он злобно сверкнул глазами и сказал:

«Не проведете! Я бывалый волк!»

Будто сказав именно так, он побрел в сторону. Может быть, в село. Хотя на это он едва ли мог отважиться.

Уснули мы огорченные. Мне ночью снилось, будто волк написал нам письмо на бересте, в котором сообщал: «Вот если бы не пахло железной щеколдой и железными петлями, я бы, так и быть, попал в вашу бочку».

Ужасно глупое письмо! Такое может только присниться. Но наутро мы помазали растопленным бараньим салом и щеколду и петли. Мне это казалось тоже глупым, но Коля настаивал, и Таня говорила:

— Он же тебя сам просит об этом в письме на бересте!

Наш секрет каким-то образом стал известен ребятам, и над нами стали смеяться:

— Волка вздумали бочкой поймать!

— Наврали три короба и сами себе верят!

— Прославиться хотят!

Это было очень обидно. Мы решили еще подежурить ночь у окна. Так и сделали. Но в полночь пошел снег, и все заволокло. Не только волка не увидишь, даже бочки не различишь.

Утром снег прошел. Я проснулся и подбежал к кухонному окну. Бочка как была с настороженной крышкой, так и осталась. Я снова лег.

Проснулись мы часов в девять. Бабушка дала нам поесть, и мы решили отправиться на лыжах, чтобы не

встречаться с ребятами, которые снова начнут подсмеиваться над нами. Когда мы вышли из дому, то увидели, что крышка бочки захлопнута. И первое, что пришло в голову: «Это проделки ребят!»

— Они нарочно захлопнули ее, чтобы посмеяться над нами.

— Ну и пусть! — сказала Танечка. — А мы снова насторожим нашу волковку! Когда-нибудь да попадется. Будет для него еще голодное время...

Согласившись с ней, мы решили насторожить крышку под вечер и стали прилаживать лыжи. Когда мы были готовы тронуться в путь, услышали возню.

— Это в бочке, — сказала Таня. — Это в бочке.

Я не поверил, но легкий озноб радости пробежал по моим жилам.

— Там кто-то есть! Там определенно кто-то есть! — сказал Коля. — И я думаю, что ребята посадили туда какую-нибудь собаку, чтобы поднять нас на смех.

И мне показалось именно так. Потому что я видел бочку с настороженной крышкой, когда уже начинало светать. В эту пору не мог прийти волк.

— Сейчас мы ее выпустим, — предложил я.

Но Таня остановила:

— А вдруг да...

«А вдруг да там он? — подумал я и сам поверил, что там именно волк. — Но почему он притаился?»

Я направился к бочке и тут же отскочил от нее. Я услышал волчий вой. Волк заметался внутри бочки так, что она заходила ходуном.

Мы боялись приблизиться к нашей волковке. Мы опасались, что щеколда каким-нибудь образом перестанет держать крышку, и он или кинется на нас, или просто убежит. Тогда уж никто не поверит, что мы поймали волка.

— Вот что, — крикнул мне Коля, — неси из кухни лом! Мы прирем крышку, а затем крепко-накрепко начнем заколачивать ее гвоздями.

Заколачивать крышку бочки, в которой рычит волк, было страшно. Но Таня... Я еще больше полюбил в этот день мою сестренку! Она подавала гвозди и успокаивала:

— Ты посмотри, какие обручи на бочке! Он забился сейчас в глубь бочки. Вбивай не торопясь... Он нас боится больше, чем мы его.

Губки Танечки были бледными. Они дрожали, как и голос, как и руки, подававшие гвозди, но она вселяла уверенность.

Не заколотив еще всех гвоздей, мы услышали насмешливые голоса:

— Волка поймали?

— Заколачиваете, чтобы не убежал?

И Таня ответила ребятам:

— Да! И очень большого!

Ответила она так серьезно, что все поверили. Некоторые из ребят приблизились к бочке, а другие дали деру.

Вскоре пришли взрослые, в том числе и охотники. Они наперебой друг другу пересказывали, как мы изловили бочкой волка.

В этот день бочка с волком была погружена на сани. Волка поселили в глубоком сусеке хлебного амбара. Сусек затянули проволоочной сеткой. Он жил там неделю или больше. Потом надоело его кормить, и он вскоре переселился в школу. Чучелом. Ему подобрали стеклянные глаза. Мы их выбирали сами. Они были точь-в-точь такими же, как в ту ночь, когда он, уходя от бочки, злобно сверкнул ими, покидая наш двор.

После этого мы еще много раз настораживали нашу бочку, но, видимо, остальные волки были умнее или менее голодны. Ни один больше не заходил в бочку.

А чучело волка и по сей день стоит в школе.

Мех только немного попортила моль, но его теперь посыпают нафталином.

ТОПОЛЯ

От станции до совхозного поселка Малиновка не более километра. Мой багаж состоял из заплечного мешка и походной сумки. Меня должен был встретить главный агроном совхоза, но, видимо, он проспал. И не мудрено — поезд пришел в четыре часа утра. Мне указали дорогу, и я направился в Малиновку.

Дорога была на редкость прямой. Буквально как струна. По обе стороны дороги росли довольно большие тополя. Они так украшали ее, что слово «аллея» мне показалось более точным для этого зеленого коридора.

Я не прошел и ста шагов, как увидел бегущего навстречу мне человека.

«Наверно, это и есть проспавший Николай Иванович Чумаков?» — подумал я.

Так и оказалось.

Мы познакомились «очно», до этого мы были знакомы только телефонно. По телефону Чумаков зазвал меня в Малиновку, чтобы посмотреть новейший сорт гороха.

Главный агроном еще раз представился мне, и мы пошли вместе. Ему не терпелось, и он сразу же начал рассказывать о достоинствах своего гороха. Заметив, однако, что я люблюсь стройными тополями, Чумаков сказал:

— Все почему-то на них обращают внимание.

— На них нельзя не обратить внимания. Они все, как один. И такие стройные. Неужели вы не замечаете этой красоты? — спросил я.

— Да нет — замечаю. Только я как-то стесняюсь обращать внимание на эту красоту.

— Почему?

— Нескромно.

Я не понял ответа и переспросил:

— Почему же нескромно?

— Лучше не спрашивайте. Я уже побывал в хвастунах за эти тополя. Рассказывал как-то одному приезжему, а он не поверил. Не поверил и сказал мне, что будто бы я люблю набивать себе цену. Я цены никакой не набивал. Я сказал то, что было...

— Что же было-то?

— Увольте. Честное слово, увольте. Я боюсь, что упадет от этих тополей нехорошая тень на наш хороший горох.

— Нет уж, не уволью, — сказал я, чувствуя, что с тополями связано нечто интересное. — Коли начали, Николай Иванович, так рассказывайте!

Мой новый знакомый густо покраснел, потом предупредил:

— Тогда я не чистую правду расскажу. Потому что правда не очень правдоподобно выглядит. И мне даже самому теперь не верится, что было это именно так. Слушайте.

И он принялся рассказывать.

— В нашей Малиновке, которая тогда еще была деревней, а не совхозным поселком, жил мальчик. Не я. Этот мальчик очень тянулся к растениям и с малых лет так любил их, что его родители начали побаиваться, как бы их сыночек не свихнулся на этом. Посудите сами, если у него в двенадцать лет не только свои парники, но и теплицы собственной конструкции. И как-то этот самый мальчик, который уже очень много знал о растениях, удивился самому простому — живучести тополей. Надо сказать, что и теперь, спустя много лет, этот мальчик, получив высшее агрономическое образование, не перестает удивляться чуду тополиного черенка.

А в те годы он даже не поверил, что из черенка длинной немногим больше карандаша может вырасти дерево. Но журнал, в котором он прочитал статью о тополях, утверждал именно это. Там говорилось, что по весне обычно стригут старые тополя и выбрасывают их ветви. А между тем из каждой ветки можно нарезать не один десяток черенков. Так и сказано было в журнале.

Раздобыв тополиных веток, нарезал из них черенков и посадил их в землю. Одни он полил, а другие для проверки оставил без воды.

Прошла неделя, лопнула верхняя почка и дала листки. А потом из листиков стали расти веточки. Хлыстик такой. И можете себе представить, уже к осени эта веточка переросла парнишку чуть не в полтора раза. Почти деревце. Но деревце без ветвей. Теперь ему нужно было дать ветви. Это проще всего.

Каждый хлыст или ствол будущего тополя мальчик обрезал. Оборвал с хлыста лишние листочки и оставил их по пять-шесть, чтобы из них выросли ветки, а верхушку укоротил. Весной на месте каждого оставленного листочка или, вернее, почки появились веточки. Начала образовываться крона. Точно, как было написано в журнале. И это, верите или нет, было интереснее самой интересной сказки...

И мальчик стал думать: а что, если посадить черенки тополя от станции до Малиновки? Вот тут. По обе стороны дороги. У мальчика была очень горячая голова. Но все же он никогда не задумывал ничего такого, что было ему не под силу. И он стал считать. От станции до Малиновки тысяча сто метров. Тысяча сто... И если через каждые два метра посадить по черенку, то потребуется всего лишь пятьсот пятьдесят черенков. Это по

одну сторону. И столько же по другую. Тысяча сто. А если через три метра, то и того меньше.

А что такое тысяча сто черенков?

Тысячу сто черенков вдвоем можно заготовить не спеша за два-три дня.

А что такое посадить тысячу сто черенков? Много? Очень много. Но так ли уж много, если принять во внимание капустную рассаду... А черенки сажаются еще проще. Да, да... Они сажаются совсем просто.

Прошу минуту внимания. У вас в руках небольшой лом. Можно и кол. Вы протыкаете в земле отверстие. Затем суετε черенок. Затем ногой уплотняете влажную землю. И все. Понимаете, все. Это раз и два. И еще раз-два-три...

Когда Николаша все это спланировал, и его товарищ, которого звали Гришкой, а теперь Григорием Матвеевичем, я вам его покажу, для точности... так вот, когда его товарищ, которого звали Гришкой, тоже поверил в реальность этого предприятия на тысячу сто тополей, они поклялись тайно обсадить дорогу в Малиновку. Тайно — не потому, что это были чересчур скромные мальчишки. Я этого не скажу. Они были вполне обыкновенные ребята. И тому и другому было боязно, что вдруг да ничего не получится. Вытопчут черенки. Или посохнут. Хотя этого ожидать было нельзя. Короче говоря, принялись за дело. И опять же по плану.

На станции ежегодно ранней весной обрезают тополя. Ветки кладут в кучи и потом сжигают. Сгорают тысячи будущих деревьев. Этими-то ветками и воспользовались ребята.

Сначала наготовили черенков. Не по карандашу, а подлиннее. Чтобы с гарантией. И не тысячу сто штук, а больше. Почти две тысячи. И в погреб. Для профилактики от высыхания. А потом до школы и до солнышка бежали на дорогу. Со шнуром. С рулеткой. Чтобы не как попало, а по черте. И так дней пять. Утром часа три и, как темнеть начнет, тоже часа два. Чтобы меньше глаз видело. А потом для перестраховки еще штук триста понатыкали. Мало ли? Выпад? Неудачный черенок? Или даже корова копытом наступила, и конец черенку... Извините, я очень долго рассказываю. Но теперь уже не больше двух минут попрошу вашего внимания...

Высадили, так сказать, попотели, а усталости никакой. Потому что, когда горит человек в труде, какое же

может быть уставание! Надеждой жили. И надежда не обманула. Вот она как сказалась. Можете верить, можете нет. Пятьсот пятьдесят по эту сторону, и пятьсот пятьдесят по ту. Подсаживали, конечно. Берегли. А потом, когда тополя вошли в полную силу, без надзора, без нянек стали расти...

* * *

Закончив рассказ, Николай Иванович вздохнул, затем оглянулся на две ровные линии тополей и задумался, улыбаясь деревьям.

И я остановился в конце дороги, тоже любуясь уходящими к станции тополями, думал, как много заключено в детских настойчивых руках...

ТЕМКА

По вечерам мы нередко проводили время в корабельном салоне, и бывалый моряк Сергей Сергеевич рассказывал нам презабавные истории. Вот что он рассказал однажды...

— Наш крейсер находился в учебном плавании. Был тихий летний день. Море — как зеркало. Хорошая видимость, только солнце слепило глаза вперёдсмотрящим.

Вперёдсмотрящими в этот час вахты были старший матрос Коробов и матрос Ванечкин. Зоркие моряки! Корабль ли какой появится на горизонте или шлюпка, обязательно первыми доложат по корабельному телефону на ходовой мостик. Даже если, допустим, ящик какой-нибудь плывёт — не упустят. И правильно. Мало ли в море случаев бывает — и безобидный ящик может плавающую мину прикрывать.

И вот изволите ли видеть, вдруг старший матрос Коробов по полной форме докладывает:

— Товарищ командир, прямо по носу в семи кабельтовых стиральное корыто, а в корыте кошка!

— Есть, — отвечает командир, — прямо по носу стиральное корыто, а в корыте кошка!

На ходовом мостике раздался дружный хохот. Приникли к биноклям. Точно: прямо по носу стиральное корыто, а в корыте кошка.

Корабль замедлил ход, затем остановился. Спустили шлюпку. Кстати, это входило в программу нашего учебного плавания. Отрабатывали исполнение команды: «Человек за бортом».

Вскоре корыто и кошка по всем правилам спасания на водах были подняты вместе с матросами и шлюпкой на палубу. Рыжий кот обрадовался кораблю, как берегу.

Начались догадки:

— Откуда? Как? Почему кот очутился в корыте?

Строились самые различные предположения. Может быть, мальчишки созорничали и пустили несчастного кота в плавание? Вернее всего, что это именно так и было. Но какие мальчишки? Стали исследовать, в какой стране делаются такие корыта. Мнения раскололись, «национальная принадлежность» корыта так и не была определена. А спасенного пловца определили в боцманскую команду и назвали Темкой — в память погибшего корабельного кота Темки.

Нового Темку для порядка поселили в клетку. На карантин. Мало ли... Может быть, больной, нарочно кем-то зараженный кот. На корабле во всем необходимы предосторожности.

Через неделю корабельные медики нашли Темку совершенно здоровым, и он перешел на постоянное место жительства в боцманскую команду.

Животное оказалось ласковым, общительным; от него пахло домом, берегом. Всякая кошка напоминает семью, детство.

Полюбили Темку. Приучили Темку бегать по команде за обедом и ужином в камбуз. Зазвучит горн на обед, скажет корабельное радио: «Команде обедать!» — смотришь, Темка хвост трубой — и в камбуз, к своей миске.

Прижился кот на корабле, но вскоре заметили, что кот хиреет, избегает ступать по корабельной палубе. И снова заговорили, что второй Темка, как и первый, как, впрочем, и все кошки, — не жилец на корабле. Электрики объясняли это тем, что на нежные подошвы-подушечки кошачьих лап действуют электрические токи палубы. Находясь длительное время под действием этих токов, кошки гибнут.

— Железная палуба для кошек, — объяснил боцман, — как бы электрический стул замедленного действия.

Так это или нет — с боцманом не спорили, только Темку хотелось сберечь всем, начиная от командира. Не для того же спасли, чтобы погубить!

И вот, изволите ли видеть, однажды корабельный сапожник, старшина первой статьи Ожигов, доложил командиру:

— Разрешите, товарищ командир, сшить Темочке предохранительные сапоги!

Это сначала рассмешило командира, а потом он сказал:

— Будет ли только кот в сапогах ходить? Он ведь не сказочный, а настоящий.

Корабельный сапожник на это ответил:

— Товарищ командир, если сапожки ему сшить легонькие, с шелковой шнуровочкой, с завязочками, куда тогда коту деваться? Будет в сапогах ходить. А чтобы сапоги не скользили, подошвы из губчатой резины приспособим. Они и от электричества его лапки предохранят.

Весть о сапогах для кота облетела все кубрики. Всем тоже показалась очень смешной затея Ожигова. Но в смехе моряков сквозило сочувствие. Всем им хотелось видеть кота в сапогах и верить, что сапоги спасут ему жизнь.

В сапожную мастерскую то и дело забегали матросы, старшины и офицеры крейсера.

Терпеливо корабельный сапожник, старшина первой статьи Ожигов, снимал мерку, искал форму сапога, искал способы, чтобы Темка не сбросил сапоги, не стащил их зубами. Все давали советы, вносили предложения, исправления...

И вот настал день примерки красных сафьяновых сапожков на шелковой шнуровке. Кот упирался. Мяукал. Вырывался.

И его уговаривали:

— Темочка, голубчик, тебе жизнь спасают!.. Привыкнешь, дураша!

Наконец кота обули. Пустили по палубе. Темка ни за что не хотел становиться на ноги. Валялся. Стаскивал сапоги. Да куда там!..

Всечером кота разували, утром обували. С каждым днем кот сопротивлялся все меньше и меньше. Увереннее ходил по палубе, изредка трясся то одной, то другой лапой, словно желая сбросить сапог.

Вскоре стали замечать, что у Темки появился аппетит. Нашлись в медицинской службе радетели, которые взвешивали кота. Докладывали командиру о прибавке веса.

Кот теперь довольно быстро бегал даже по трапам. Ему только не хватало одного — когтей. Когти были спрятаны в сапоги. Ожигов, раздумывая над этим, внес усовершенствование: он проделал в сапогах отверстия для выпуска кошачьих коготков. Кот после этого почувствовал себя куда увереннее.

За жизнь Темки уже никто не беспокоился. К нему так привыкли, что даже перестали замечать. Но как-то Темка напомнил о себе и привлек всеобщее внимание.

Однажды Темку забыли обуть. Было не до кота — готовились к большому походу. Голодный, забытый кот терпеливо сидел в кубрике до обеда. Но, когда послышалось в репродукторе: «Команде обедать!» — раздался дикий кошачий рев. Кот требовал сапоги. Он ни за что не хотел отправиться в камбуз «босым» по длинной железной палубе. И, как только Темку обули, он стремглав бросился к коку, где его давно ожидал остывший обед.

Время шло. Темка стал большим, разжиревшим, толстомордым котом. Он стал медлительнее в движениях, важно следовал по палубе в своих сафьяновых сапогах, будто кичась своей красивой обувью.

ШЕСТОЙ МАЛАХАЙ

Мне было тогда лет семнадцать. Я служил в заготовительной конторе разъездным. Это была должность «человека верхом». Куда пошлют, туда и едешь. Что поручат, то и выполняешь.

Как-то ранней весной меня послали на Копылуху, где выпасались табуны нашей конторы. Я поскакал туда с большой радостью.

Там у меня был друг Кусаин, и я всегда останавливался у него в юрте.

Перед казахскими юртами нередко можно было встретить лисенка, привязанного к колу. Делалось это так: вбивали в землю кол, на кол надевали скользящее кольцо с ушком, к ушку привязывали цепь, а на цепь

сажали лисенка в ошейнике. Лисенок бегал вокруг кола. Скользящее кольцо не позволяло цепи запутываться. С лисенком играли дети, кормили его, ухаживали за ним. К зиме лисенок становился лисой, а затем — малахаем, особой казахской шапкой, напоминающей треух.

Приехав к Кусаину, я увидел большую красивую лису, привязанную к колу. Она, развалившись, кормила пятерых лисят. Лисята не были на привязи.

— Добыл всю семью, кроме отца, — сказал Кусаин.

— Как же они не убегают? — спросил я у него.

— Куда им бежать? — ответил тот. — Зачем бежать им от матери? Как они будут жить? Кто их будет кормить? Маленькие. Плохо бегают. Охотиться не могут. А тут им хорошо. И мне хорошо: вырастут — шесть малахаев будет.

Пока я жил у Кусаина, все свободное время отдавал лисе и ее детям. Кусаин вырыл неподалеку от кола нору и застлал ее шерстью. Лису кормили сырым мясом и потрохами. Лисят подкармливали кобыльим молоком.

Лиса временами забывала о неволе. Она радовалась вместе с резвящимися лисятами, тщательно вылизывала их, играла с ними и покорно растягивалась у норы, когда приходило время кормить своих крошек.

Лиса — трудно приручаемый зверь. Шумы и голоса людей пугали ее, дым и огонь костра страшили ее. Соседство собаки — опасное соседство. Но у нее дети, она мать. Чувство материнства заставило лису примириться со всем. Оно сильнее страха. Оно заставило ее забыть о цепи и ошейнике — о неволе.

Иногда лису выводили на прогулку. Это делал сын Кусаина. Он надвизывал цепь и бегал с лисой по степи. Лисята бежали следом.

Лиса, туго натягивая цепь, стремилась в глубь степи — подальше от жилья, от чужих запахов, в родные просторы. И каждая такая прогулка ей, наверное, казалась началом освобождения. Но напрасно: цепь возвращала ее. Мы поворачивали назад. И лиса теперь не стремилась бежать первой. Она плелась за нами, понурив голову. Плелась к ненавистному колу, в настоящую, выкопанную человеком нору. А лисята ничего не понимали. Они бежали, перегоняя один другого, завывая дорогой безобидную грызню...

Завершив свои дела, я уехал к себе. После этого я

не был у Кусаина несколько месяцев. А поздней осенью меня снова послали на Копылуху.

Погода стояла отвратительная. Тучи ползли над степью так низко, что, казалось, их можно было хлестнуть плеткой, если чуточку приподняться на стременах.

И вот я приехал. И, конечно, сразу же к Кусаину. И тотчас же спросил о лисе.

— Посмотри,— сказал он.— Посмотри...

Не расседывая лошади, я побежал к лисьему колу, за юрту. Там я увидел неподвижно сидящую лису. Ее исхудавшая острая морда стала вытянутой и тонкой. Лиса напряженно смотрела в степь. Ее скулы нервно вздрагивали. Она не обратила на меня никакого внимания. Изредка устало и медленно мигая, лиса не переставая вглядывалась вдаль, будто желая кого-то увидеть сквозь мгlistую пелену.

У норы лежали куски мяса.

Она не прикоснулась к ним.

— Они той ночью бросили ее...— грустно сказал Кусаин.— Зачем им теперь мать? Она выкормила своих детей. Она им дала все. Острые белые зубы. Теплую рыжую шубу. Быстрые ноги. Крепкие кости. Горячую кровь. Зачем им теперь старая лиса?

Наверное, в детстве мне довелось много слышать слезливых сказок, и они научили меня жалеть даже сломанное дерево... Мне безумно было жаль лису. Лису, так заботливо и так нежно воспитавшую в страхе и неволе, рядом с шумным и дымным жильем человека, пятах лисят. И они теперь оставили свою заботливую мать наедине с ненавистным колом. Они покинули ее темной осенней ночью, когда все спали, и ни выстрелы, ни собаки их не могли догнать. Это была хитрость. Хитрость, которую, как и свою жизнь, они тоже получили от матери.

Для зверей все это вполне законно. Но человек и зверя хочет видеть лучшим, чем он есть на самом деле. Так уж устроены благородные человеческие глаза.

— Она звала их,— сообщил мне Кусаин.— Очень жалобно звала. Она вчера лаяла на всю степь. Как по мертвым... Жалко. Очень жалко. Большой убыток. Пять малахаев убежали...

А потом Кусаин посмотрел на меня и умолк. Что-то вдруг изменило мысли моего степного друга. Может быть, мое молчание. Ведь мы с ним обменивались не

только подарками, но и добрыми чувствами. Постояв минутку потупившись, он направился к лисе.

— Если пропали пять малахаев, пусть пропадает шестой. У меня каждый раз будет болеть голова, когда я надену шкуру такой несчастной лисы. У всякого свой головной боль,— сказал он, хорошо говоривший по-русски, нарочито коверкая слова, будто высмеивая этим свой явно не охотничий поступок.

Сказав так, он снял с лисы ошейник и крикнул на нее. Лиса не убегала.

Тогда он пронзительно свистнул. Лиса сжалась и кинулась в нору подле кола.

— Уже не верит в свободу,— сказал он.— Не верит, что мы с тобой немножечко смешные люди.

Утром нора оказалась пустой, и Кусаин, входя в юрту, сказал:

— Вставай. Чай пить будем. Шестой малахай убежал искать свои пять малахаев. Она их найдет, обязательно найдет. Найдет и скажет: «Эх вы... эти самые...» А может быть, промолчит? Простит! Она ведь мать.

КРАСНЫЙ ВАГОН

Приехав в Кулундинскую степь, в те места, где началась моя юность, я не нашел ничего знакомого глазу. Ни юрт, ни зимовий казахов-кочевников, ни ковыля.

Я будто стоял посреди огромного зеленого ковра, постланного могучими, молодыми руками комсомольцев-целинников, ковра, красующегося от горизонта до горизонта пшеничными всходами.

Даже запах в степи был другой. Пахло полем, а не польнью. Пахло так же, как под Орлом, под Курском. Пахло свежевспаханной землей.

А люди остались. И ко мне подошел невысокий казах моих лет, подошел и сказал:

— Ты, наверное, забыл меня. Вспомни красный вагон...

И я вспомнил. Вспомнил с такой отчетливостью, будто это все было на прошлой неделе.

Слушайте. Я вам расскажу эту забытую историю...

В этих местах формировались гурты овец нашей заготовительной конторы. Здесь я, впервые сев на лошадь,

изведал всю радость верховой езды. Здесь же я познакомился с изобретательным и передовым для тех лет казахом, которого звали Шарып.

У Шарыпа был сын с русским именем Миша, тремя годами моложе меня. Миша рос пытливым, жадным до знаний мальчиком. Я что мог делал для него: рассказывал, читал, обучил грамоте. И Миша не оставался в долгу: он преподавал мне хитрое умение ездить ночью в степи по звездам, брать живьем лис, выслеживать гусей; он научил меня ловить арканом пасущихся в степи коней и сидеть в седле так, будто ты привинчен к нему.

Как-то нас занесло к железной дороге, идущей на Славгород. Шарып и его сын, любуясь проходящим поездом, оживленно разговаривали по-казахски. Они будто что-то скрывали от меня.

Когда мы остались вдвоем, Миша сообщил мне:

— Отец хочет кончать с юртой. Отец хочет вагон строить. В вагоне кочевать. Четыре колеса, шесть лошадей... Как хорошо!..

Вскоре и Шарып поделился со мной своей затеей. Он был прирожденным кочевником и кочевой образ жизни считал единственно правильным и выгодным для скотоводства в этих степях. И только одно не нравилось Шарыпу при перекочевках — это разборка и сборка юрты. Для этого нужно было снять тяжелые пластины войлока, вынуть из гнезд кривые палки, образующие каркас полусферы юрты, затем развязать боковины каркаса, сложить их, как это делали деды, прадеды и прапрадеды... как это делали тысячу и более лет. Затем разобранный нужно было погрузить на телеги, а потом, приехав на новое пастбище, снова собирать юрту. Хотя казахи не так много тратили на это времени, но все же — занятие не из приятных. И Шарып решил строить вагон. А то, что решил Шарып, всегда осуществлялось. Это был настойчивый человек, умный человек, хотя и не пользовавшийся уважением стариков.

— Как так? — жаловался мне отец Шарыпа. — Весь народ в юртах живет — зачем моему дураку нужно жить в вагоне? Смеяться будут. Мне стыдно будет.

А Шарып не обращал на это внимания. Какими путями, прямыми или побочными, добыл он на станции железной дороги старый вагон, я не знаю. Наверное, обошлось без подарков.

Став владельцем старого вагона, Шарып перевез его уцелевшие окна, двери, обшивку, кровлю, утеплительные материалы в свое кочевье.

Вскоре в степи появились два плотника, из станционных. Они взяли очередной отпуск и решили, отдыхая на готовом кумысе, построить Шарыпу небольшой вагон.

Этот вагон я видел уже в готовом виде. Мне его показывал Миша.

— Посмотри, пожалуйста,— говорил он,— настоящий вагон. Меньше только. Сюда иди. Отсюда надо начинать...

И Миша провел меня на переднюю площадку вагона. Через переднюю площадку был вход в мужскую половину вагона, через заднюю площадку входили женщины в свое отделение. Обе половины, мужская и женская, соединялись дверью. В юрте женщины были отделены всего лишь занавеской, а тут настоящая перегородка, настоящая комната на колесах. В комнате шкаф, привинченный к стене. В шкафу женская одежда. На низеньком столике швейная машина. В одном из простенков зеркало, в другом — портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— Мама на кровати спит. Сестры на второй полке спят. Хорошо спят. Осенью одеяло им купим. Весной большой белый постельный платок купим,— говорил мне Миша, имея в виду простыню.

Мать Миши то ли не считала меня взрослым, то ли, как и Шарып, не боялась нарушать обычаи казахской старины. Она с удовольствием беседовала со мной, хотя и знала мало русских слов. Зато я знал немного по-казахски, и мы понимали друг друга. Мишиных сестер тоже не прятали от меня. Шарып разрешал им даже сидеть за общим столом. Конечно, не при деде. Закон не позволял.

— Вырасту,— говорил Миша,— в партию вступать буду. Сестер за партийных товарищей отдам. Себе другой вагон строить буду. Больше. Шире. Выше.

Покинув вагон, я стал осматривать его снаружи. Основой вагона была деревянная рама с осями. Оси были сделаны также из дерева. Все это сооружение на колесах весило едва ли больше двух тонн вместе со скарбом.

Шарып выкрасил вагон в ярко-красный цвет. И не

случайно. Это был цвет утверждения нового, лучшего, передового.

Это был цвет вызова старому.

Над Шарыпом смеялись, хотя в его жилище на колесах и не было ничего смешного. Пусть вагон шесть маленьких сибирских лошадок двигали медленно, и он скрипел на всю степь, зато можно было делать короткие перекочевки. На километр, на два — вслед за скотом, поедавшим траву.

Пришла зима, и сородичи Шарыпа перебрались на зимовье в низенькие, тесные, смрадные землянки. А Шарып жил, как «русский человек», как «главный кондуктор», в чистом вагоне. Правда, ему приходилось много топить. Но ведь если у человека есть бараны, будет и топливо.

Шарыпу завидовали. Вагон был признан «якши» — хорошим. Но все же изменить юрте, оставить жилище отцов, видимо, было не так-то легко и просто. Потому что старое, привычное во все века противилось новому, глушило его, а иногда и уничтожало. Но все разумное, появившееся на свет, нельзя умертвить.

...Прошли многие годы, и здесь, на целинной земле, появились тысячи вагончиков. В одном из них поселили меня. В другом жил казах с русским именем Михаил и с казахским отчеством Шарыпович.

Это он окликнул меня. Это он напомнил мне о первом красном вагоне его отца, которого уже не было на свете...

Пусть вагон Шарыпа был жалок по сравнению с этими целинными, добротно сделанными на заводах вагончиками — вагончиками на хороших, металлических колесах, — ну и что же?

Ведь первые автомобили, первые паровозы тоже выглядят смешными в наши дни. Все же они остаются предками, родоначальниками всех автомобилей и всех паровозов.

Мы допоздна сидели с Мишей подле низенького казахского столика, поджав под себя сложенные калачиком ноги. Но так уже не сидела Мишина семья и его дети. У них была обычная мебель, как в обычных домах. А нам приятно было сидеть по старинке, как в дни нашей юности, когда мы пивали чай в кругу семьи Шарыпа, на белом войлоке, разостланном в степи, подле красного вагона...

Вот и весь рассказ. Может быть, к этому следует добавить только то, что мечта Миши сбылась: он вступил в ряды партии, он стал земледельцем, получившим агрономическое образование.

Красного вагона, построенного Мишиным отцом, давно уже нет — его остатки, наверное, уже сгорели в степных кострах. Между тем для меня с Мишей этот вагон живет и поныне. Живет и, увеличиваясь в размерах, движется в глухую глубь безлюдной степи, застилая ее зелеными пшеничными коврами, утверждая в ней новое, лучшее, передовое...

ПАЛЬМА

На берегу Черного моря, неподалеку от Ялты, стоит веселое здание столовой пионерского лагеря.

Когда наступает время завтрака, обеда или ужина и горн приглашает к столу шумное население, появляется Пальма. Это очень привлекательная крупная собака. Статная, черная с рыжими подпалинами, она обращает внимание всякого. Пальма — общая любимица ребят. Ее взгляд умилен и ласков. Она приветливо помахивает хвостом и с охотой разрешает гладить себя детворе.

Как такой милой собаке не сохранишь косточку, хрящик или недоеденную котлету!

Пальма, неторопливо и благодарно облизываясь, съедает все лучшее из брошенного ей, а затем отправляется дремать в прибрежные кусты дикой маслины. Иногда Пальма купается в море, а потом сушится, растянувшись на золотистом песке, как настоящая курортница.

Собака очень свободно чувствовала себя среди привечавших ее детей, и всегда, опустив хвост, уходила прочь, как только на берегу появлялся старик рыбак. Старик жил поблизости от лагеря, и за ним всегда приходил баркас.

Как-то в час купания, когда Пальма грелась на солнце, появился рыбак. Почувяв его приближение, собака открыла глаза и, поднявшись, покинула берег. Пионеры решили узнать, в чем дело, почему Пальма так не любит или боится доброго старика, и спросили его об этом.

— Стыдится она меня, — ответил рыбак. — Видно, в ней еще осталась совесть. Хоть и собачья, но все-таки совесть.

Ребята обступили старика и спросили, почему Пальме должно быть стыдно.

Старик посмотрел из-под руки в море и, увидев, что баркас еще далеко, принялся рассказывать:

— В нашем поселке, вон за той горой, жил-был, да и сейчас живет, уважаемый рыбак и хороший охотник Петр Тихонович Лазарев. Как-то осенью, в ветер и дождь, шел Лазарев берегом моря. Слышит — кто-то подскуливает. Остановился. Огляделся. Видит, в траве под пальмой щенок. Нагнулся, разглядел щенка. Понравился. Сунул его за пазуху, принес домой и назвал Пальмой.

Ребята, окружившие старика, притихли. Всем хотелось знать, что будет дальше. И старик, раскурив потухшую трубочку, не заставил себя ждать:

— Выкормил Лазарев Пальму, выучил сторожевому делу и к охоте приставил. Понятливая собака оказалась. Даже записки рыбакам относил. Мало ли... И в этом бывает надобность. Всему поселку полюбилась собака. И всякий рыбак знал ее по имени. А потом... потом что-то случилось с собакой. День дома — два дня где-то бегает. Что такое? Решил Лазарев проследить собаку. И проследил. Сидит она подле вашей столовой, облизывается, косточки ласковым взглядом выпрашивает, сладенькие объедки хвостом вымахивает.

«Ты это что, Пальма? — спрашивает ее Петр Тихонович. — Аль дома впроголодь живешь? Как тебе не стыдно!»

Собака туда, сюда. Заскулила виновато. К хозяину приползла — дескать, прости. И за ним домой.

День, два, три пожила дома, а потом нет и нет ее. Что такое?

Лазарев снова к столовой. Пальма хотела улизнуть, да не тут-то было. Лазарев ее за ошейник да на веревочку. А как же иначе? Коли добрых слов не понимаешь, значит, получай взыскание. Привязал ее и говорит: «Смотри, гулена! Одумайся!» А она эти слова мимо ушей. Мало того, привязь перегрызла — и ходу на даровые хлеба, к легкой жизни.

Наутро Лазарев пришел в лагерь, увидел неблагодарную изменницу — и к ней. А она зубы скалит, рычит. А на кого, спрашивается, рычит? На того, кто сдохнуть ей в ветровую, осеннюю погоду не дал, кто соской ее выкормил, к охотничьему ремеслу приучил, к сторо-

жевому делу приставил! Он ее за ошейник, а она его за руку — хватать! И до кости.

Опешил Лазарев. И не столько от боли, сколько от удивления и обиды. Промыл морской водой рану и сказал:

«Живи, Пальма, как знаешь. Не будет тебе счастья, бездомная гуляйка!»

Трубка снова потухла. Старик снова разжег ее. Потом посмотрел в сторону подходившего баркаса и сказал:

— Вот и весь сказ... А дальше видно будет, как это кончится.

На другой день рассказ старика о Пальме стал известен во всех палатках лагеря.

Пришло время завтрака. Горн пригласил к столу, и, как всегда, появилась раздобревшая попрошайка. Она привычно уселась подле входа в столовую, ожидая даровых лакомств. Заранее облизываясь, Пальма по запаху знала, что сегодня ей перепадет достаточно бараньих косточек.

И вот завтрак кончился. В дверях появились ее знакомцы, но их руки были пусты. Ни один из них не вынес ей ни косточки, ни хряща. Ничего. Ребята, проходя мимо, даже не взглянули на нее. Они, не сговариваясь, но будто сговорившись, платили собаке-бездельнице презрением. И только одна девочка хотела было бросить Пальме косточку, но ей сказали:

— Настя, зачем ты идешь против всех?

И Настя, зажав косточку в кулаке, прошла к морю, а затем бросила ее рыбам, крабам, морским ежам — кому угодно, лишь бы она не досталась собаке, изменившей своим обязанностям.

ШАРИК И ТОРИК

Коля и Витя были хорошими ребятами. Они прилежно учились, весело отдыхали. Мальчики очень любили охоту.

Охотиться с ружьями им было еще рановато да и не под силу. Но ведь на охоту можно ходить и без ружья: силки, петли, ловушки, капканчики... Мало ли всяких охотничьих хитростей знают уральские мальчики! Та-

кие тугие луки натягивают да такие точные стрелы мастерят, что даже можно охотиться на белок. Ну, а если у охотника есть собака, тогда и голыми руками можно добыть зверька или птицу.

Уж кто-кто, а Коля и Витя знают, как хорошо охотиться с собакой. Поэтому-то они и решили обзавестись щенками.

Коле отец достал очень красивого щенка — стройного, подвижного. И не просто щенка, а с родословной, в которой назывались по именам все его предки: дедушки, бабушки. И у всех у них были золотые и серебряные медали, полученные на собачьих выставках. В этой же родословной было напечатано крупными буквами имя щенка: «ТОРИ».

Дорого заплатил Колин отец за породистого щенка. Стоил он этого. Да и Коля заслуживал такого подарка. Учился он хотя и не на круглые пятерки, но троек тоже не получал. Да и потом, собака не для баловства покупалась, а для дела — для охоты.

И у Вити появился щенок. Без родословной. Конечно, у него была какая-то родословная, но ее никто не знал, поэтому даже не могли назвать породы щенка. Щенок получил простое, незатейливое собачье имя: «Шарик».

Вите немножечко было обидно, что Шарик — никто. Незвестный щенок. Зато он ничего не стоил, его просто отдали даром, потому что у Вити была большая семья и его отцу труднее было купить дорогую собаку. Но отец, чтобы ободрить Витю, сказал:

— И даровые щенки хорошими собаками могут вырасти, если этого захотят их хозяева.

Витя, конечно, очень хотел, чтобы Шарик вырос хорошей собакой. И Шарик рос. Рос и с каждым месяцем становился смешнее. Неуклюжее. И все над ним посмеивались, давали ему обидные прозвища. Называли его «Пучеглазиком», «Пучешариком», «Пустолайчиком» и даже просто-напросто тупой собачонкой.

А Тори рос красавцем, общим любимцем. Приятно было Коле пройтись по рабочему поселку с такой собакой. Все называли щенка ласково: «Торик». Школьники угощали Торику печеньем, сахаром и сулили ему славу знаменитого охотника.

Дома Торик жил в холе. Он спал на ватной подстилке. Сестры Коли мыли щенка в теплой воде, мы-

лили хорошим мылом, вытирали специально купленным для него махровым, пушистым полотенцем, затем расчесывали. От этого мягкая шерсть собаки становилась еще шелковистее и еще блестящее.

Такого ухода, разумеется, и вполонину не видел Шарик, спавший в холодных сенцах и получавший довольно простую пищу.

Любил ли его Витя?

Пожалуй, не очень. Витя жалел его. Жалел за всё: и за малый рост, и за жесткую кудлатую шерсть непонятной окраски, и за короткие уши, которые нельзя было назвать ни стоячими, ни висячими. Жалел и за выпученные глаза, жалел и за хвост.

Хвост был у Шарика крючком. А разве с такими хвостами бывают охотничьи собаки? Но ведь не прогонять же за это Шарика на улицу! Это не по-пионерски. Нужно было мириться и давать собаке необходимое собачье воспитание, заниматься с нею, приучать ее к охотничьему делу. И Витя отдавал ей немало времени.

Коля и Витя теперь виделись редко. Нельзя сказать, что их поссорили собаки, но все же водить на прогулку пучеглазого, косолапого Шарика рядом с таким осанистым Ториком стало неудобно. Шарик, идя с Ториком, выглядел еще смешнее и страшнее. Даже у хороших, доброжелательных людей, видевших Шарика и Торика вместе, появлялась улыбка, и это причиняло большие страдания Вите. И, чего скрывать, он даже как-то раз всплакнул, обнимая Шарика:

— Ну зачем ты, Шарик, зачем ты становишься все хуже и хуже? Даже новый кожаный ошейник не украшает тебя!

А Шарик в ответ на это поскуливал, лизал Витину руку, смотрел умильно и преданно в глаза своему хозяину и будто старался скрасить какой-то собачьей улыбкой свою удивительно некрасивую морду и от этого становился еще некрасивее...

— Ничего, Витька, ничего! — ободрял отец сына. — Терпи! Поближе держись к своему школьному товарищу. Подле его Торика и твой Пучеглазик на охоте поднатаскается. Привыкнет.

— Это верно, — утешал себя Витя. — Торик научит охотиться моего Шарика.

Друзья стали встречаться чаще.

И вот пришло время первой охоты с молодыми соба-

ками. Ребята вышли до света. Подойдя к лесу, они пустили собак.

Торик, освободившийся от поводка, показал такую резвость, что можно было забыть об охоте, любуясь его грациозными прыжками, кувырканиями, восторженным лаем. А Шарик, отпущенный на свободу, побежал как-то боком, опустив низко морду, будто он был близорук и рассматривал землю, тычась в нее носом.

Вскоре Торик вспугнул какую-то большую птицу. Может быть, тетерева. Птица с шумом взвилась и скрылась в лесу. Торик шарахнулся в сторону и залаял на дерево.

— Вот видишь,— сказал Коля,— уже нашел дичь! Пойдем дальше.

Дальше была встреча с зайцем. Заяц бежал на Торика, а Торик и не заметил его.

— Что же ты, Торик? — крикнул Коля. — Ату его!

Тут Торик поджал хвост и в испуге кинулся прочь. Коля смутился, а Витя ободрил его:

— Это ничего. Он еще молоденький. Первый раз в лесу.

— Да, конечно, конечно,— согласился Коля и, оглянувшись на треск в кустах, увидел Шарика.

В зубах Шарика был заяц. Живой. Когда зайца отобрали у Шарика и положили в мешок, стали искать Торика. Вскоре его нашли дрожащего, под елью.

Это была первая охота.

Вторая охота оказалась еще интереснее. Шарик отыскал нору с лисятами. Торик отказался подойти к норе. Коля волочил его за ошейник, а он, упираясь лапами, всячески старался вырваться. И, вырвавшись, убежал. Убежал домой, на мягкую подстилочку, где он стал выскуливать у сестер Коли еду. И те угостили своего любимца коржиками. А Лида, младшая Колина сестра, поделилась с милым Ториком своей конфеткой.

Лисята были подарены юннатам. Шарик стал известен не только в школе — о нем поговаривали и взрослые охотники. Хвалил Шарика даже токарь-карусельщик Иван Сергеевич Кожевников. Это был знаменитый охотник. Он первый назвал Шарика красавцем.

И в самом деле, с Шариком произошло что-то невероятное. Его морда, оставаясь той же, вдруг стала выглядеть красивее. Про выпученные глаза Шарика один старик охотник так и сказал:

— Глазастый пес! Все ему видеть хочется, даже глаза из него выскочить норовят.

Новые успехи Шарика приносили ему новую славу. После первых заморозков Шарик выследил и добыл выдру. Коля махнул рукой на своего Торику и отдал его сестрам.

Вскоре Торику потребовали на собачью выставку. Туда свозили породистых собак со всей области. Торик там получил золотую медаль — за рост, за вес, за ширину груди, за цвет шерсти, за длину ушей и лап, за удивительную красоту сложения, равного которому не знали даже опытные, образованные собаководы.

А Шарик за это время добыл еще одну выдру и разведal две лисьи норы. С ним теперь и охотились два неразлучных друга — Коля и Витя.

Коля был убежден, что Шарик принадлежит к какой-то неизвестной собаководам, но очень знаменитой породе собак. А Витя не думал так, потому что он знал, каких трудов ему стоило обучить охоте простую собаку с простой уральской кличкой «Шарик».

Торику купили на выставке за большие деньги, а затем увезли в питомник, в Москву. Вскоре, наверное, появятся прекрасные щенки. И, наверное, они станут отличными охотниками, если их будут обучать так же прилежно, как это делал Витя. А может быть, из этих щенков вырастут такие же красивые баловни, бездельники, каким остался в памяти ребятам уральского рабочего поселка изнеженный красавец Торик...

БАЛКУНЧИК

В Крыму, между поселками Планерское и Щебетовка, перегородили плотиной сырую балку, и получился отличный ставок.

Прослышав, что в этом водоеме водится рыбешка, мы отправились попытать счастья.

Беседуя о том о сем и, конечно, о крупной рыбе, мы дошли до ставка.

Тишина. Ни души.

Вдруг в кустах мелькнула чья-то полосатая тельняшка.

— Здравствуйте, товарищ капитан! — окликнул мой спутник паренька лет двенадцати.

— Здравствуйте,— ответил тот.

Познакомились. Отрекомендовались друг другу. Он назвался временным помощником пастуха.

— В каникулы дяде помогаю скот пасти да вот рыбачу.

— И удачно? — спросил мой товарищ.

— Еще бы! Тут рыбу не переловишь.

— А какая здесь рыба? — спросил я.

— Балкунчики,— ответил он.

— Балкунчики? — переспросил я.

— Да. Жирные-прежирные балкуны. Даже на чистой воде жарить можно.

Мы переглянулись. Ни один из нас не только не видал рыбы с таким названием, но не слышал о ней. А сознаваться не хотелось — рыбацья гордость не позволяла. Тогда мы пошли в обход.

Мой товарищ спросил:

— Крупные балкуны попадаютсся?

— Не очень. Зато помногу. Сейчас увидите. Я вершу вытаскивать буду.

Тут наш новый знакомый запустил руку по самую шею в воду и добыл конец бечевы, к которой, как оказалось, была привязана верша.

— Теперь смотрите! — крикнул он и рывком вытащил вершу, сооруженную из проволоки и мелкой металлической сетки.

В верше кишмя кишела рыба. Мы увидели самых обыкновенных карасей.

— Это и есть балкунчики? — спросил мой товарищ.

— Ну конечно! — с гордостью ответил удачливый рыбац, выбирая из верши рыбу.

Крупных карасей мальчик клал в холщовую торбочку, а мелочь — в ведро с водой.

— Это же караси! — сказали мы в один голос. — Это же самые обыкновенные караси.

— Не-ет... — возразил улыбаясь мальчик. — В других ставках караси — это караси. А это — балкунчики.

— Да почему же, — спросил мой товарищ, — они так называются?

И мальчик ответил:

— По дедушке Балкуну. Он умер тем летом. А в пятьдесят третьем году дедушка Балкун в ведре пятнадцать икряных карасей принес. Золотых. И пустил сюда, в ставок. От тех карасей и стали нарождаться балкунчи-

ки. Тысячами пошли. Успевай только закидывать... На удочку с того берега балкуны хорошо клюют. Вечером. Без тридцати штук не уйдете.

Разговаривая с нами, мальчик погрузил вершу, деловито спрятав конец бечевы на дно и стал объяснять свой уход.

— Как бы не заснули они,— указал он на ведро с мелочью.— Их мне через две горы нужно пронести... А красные черви у вас есть? — спросил он, уходя.

— Есть,— ответил я и спросил: — А зачем тебе нужно эту мелочь за две горы нести?

— Как зачем? Наше звено обязательство выдвинуло — пятьсот балкунов переселить в новый пруд. Триста с чем-то уже переселили, да здесь их штук сорок. Значит только сто шестьдесят останется... Ну, я пошел, а то уже один балкунчик перевернулся. Ничего, отойдет. Они живут...

Мальчик, махнув нам рукой, скрылся.

Вскоре я увидел его легко взбирающимся на горушку. Он нес ведро поочередно то правой, то левой рукой.

Видимо, ведро, наполненное чуть не до краев водой, было для него нелегким грузом. Но он спешил. Ему хотелось как можно скорее поселить в новый пруд балкунью мелочь.

Поздно вечером мой товарищ возвращался с большим уловом балкунов.

И я, не прикоснувшись к удилищу, тоже уносил своего так счастливо пойманного балкунчика, ставшего теперь этим рассказом. Рассказом о старике, прославившем свое имя пятнадцатью карасями, бескорыстно пущенными в безымянный прудок для внуков, и раздумий о маленьком заботливом наследнике, каких уже много у нас, очень много, и не только в Крыму..

ВОЛШЕБНЫЙ ОШЕЙНИК

В одном большом доме жил черный мальчик и жил белый мальчик. Они очень любили друг друга.

Белый мальчик любил черного мальчика за верность и дружбу, за ум и храбрость. Он любил его и за оливковый цвет лоснящейся кожи, за белизну зубов и кудря-

вые волосы. Ему было все мило и дорого в черном мальчике.

Черный мальчик любил белого мальчика за прямо-ту и доброе сердце, за смелость суждений и отвагу. Он любил золото его волос и синеvu глаз. Глядя в них, чер-ный мальчик видел себя полноправным мальчиком среди всех сверстников этого города, где равенство между людьми разного цвета кожи не признавалось. Поэтому белый отец запретил своему сыну видаться с черным мальчиком. Отец лишил его этой радости. А собаке бело-го мальчика было разрешено все. Она могла, когда ей вздумается, встречаться с черным мальчиком и с лаем бросаться в его объятия. Она даже могла лизнуть его щеку.

Белый мальчик очень завидовал своей собаке. Он с грустью глядел из окна большого дома, когда та резви-лась с его черным другом. Это было так мучительно и так несправедливо, что белый мальчик заболел.

Его щеки осунулись. Он стал задумчив. Его мучила бессонница.

Созвали всех белых докторов города, но ни один из них не нашел причину болезни. Они прописывали боль-ному порошки и капли. Предписывали уколы и ванны, но мальчику не становилось лучше. Он не спал.

Тогда сказали, что нужно позвать черного доктора. Это был лучший доктор города. Ему удавалось вылечить даже тех, кто терял рассудок.

И белый отец послал за черным доктором.

— Хорошо,— сказал черный доктор,— я, может быть, сумею вылечить вашего мальчика, если вы не будете мешать моему лечению.

— Нет,— ответил отец белого мальчика,— мы не бу-дем мешать. Мы готовы на все, чтобы его спасти.

Черный доктор лечил по-своему. Он не прописывал порошков и капель. Он не предписывал уколов и ванн. Доктор разговаривал и шутил с мальчиком, стараясь выяснить причину тяжелой болезни.

Разговаривая так о том, о другом и как будто ни о чем, доктор спросил однажды:

— А чего бы тебе хотелось больше всего на свете?

Мальчик испуганно окинул помутившимся взором комнату и, убедившись, что его никто не подслушивает, очень тихо, почти шепотом сказал:

— Доктор, мне хочется стать собакой!

Плохой доктор стал бы расспрашивать у больного, за чем-де, почему ему захотелось стать собакой. А это был хороший доктор: он знал, что лучшее лекарство для такого больного — исполнить его желание. Поэтому он так же тихо, чтобы никто не слышал, сказал:

— Очень хорошо! Я помогу тебе стать собакой, только умеешь ли ты лаять?

— Не очень хорошо, — ответил мальчик. — Но я учусь... И у меня уже получается. Послушайте... — И мальчик принялся лаять.

— Превосходно, — сказал доктор. — У тебя чудесный лай. Теперь тебе остается немного.

— А что? — спросил испуганно мальчик. — Научиться бегать на четвереньках? Извольте. Я могу!

И он стал изображать бегающую собаку, а потом, задумавшись, сказал:

— Но у меня не хватает хвоста...

— Это необязательно, — мягко утешил доктор. — Бывают и бесхвостые собаки. Тебе нужен волшебный ошейник. И как только я надену его на твою шею, всем будет казаться, что ты та самая собака, какой тебе хочется стать.

Мальчик улыбнулся. Тут доктор погладил своей иссиня-черной рукой белый потный лоб мальчика и таинственно сообщил:

— Сегодня ночью я отправлюсь в ущелье семи драконов и отберу запертый под семью замками волшебный ошейник. Но... но...

— Что, доктор?

— Но чтобы я мог победить драконов, ты должен заставить себя спать. Спи же! — приказал доктор. — Спи!

— Я сейчас, — сказал мальчик засыпая.

— Ему, кажется, лучше? Он спит? — спросила мать белого мальчика.

— Да! Ему, кажется, лучше! Будем надеяться, что я завтра сумею продолжить счастливо начатую сказку, а он нам подскажет, как правильнее продолжать волшебный курс лечения.

Так сказал доктор и направился в охотничий магазин.

Мальчик впервые спокойно спал. Дыхание его было ровным. Он улыбался кому-то во сне, изредка подскуливая по щенячьи.

Доктор пришел рано утром. В таком виде он никогда не появлялся. Рукав его пиджака был наполовину оторван, бровь забинтована, на щеке была пластырная нашивка. Он вошел, опираясь на костыль.

— Что с вами, доктор? — спросила мать белого мальчика.

— Мама! Доктор сражался с драконами, — сказал больной мальчик. — Оставь нас, мама, вдвоем.

Доктор подал знак, и мать покорно ушла.

— Они изувечили вас? — участливо спросил мальчик.

— Сушие пустяки, — ответил доктор. — Когда я свалил трех драконов, то остальные четыре бросились на меня. Двое из них покусали мне ногу, третий хватил хвостом по лицу, а четвертый — самый глупый — принялся мне отгрызать рукав. Тут я рассвирепел и принялся избивать их тростью с тяжелым серебряным набалдашником. И когда трое из четверых полегли, то последнего я решил добить калошей.

Мальчик ликовал. Его глаза стали яснее.

— Что же дальше, доктор?

— Дальше открылись семь замков, и я схватил волшебный ошейник. Вот он. Сейчас я надену его тебе на шею, и ты начнешь превращаться в собаку.

На бледном лице мальчика проступил яркий румянец. Он был вне себя от радости, превращаясь в собаку. И когда пряжка ошейника была застегнута, мальчик взвизгнул и пролаял:

— Гав! Гав!

А потом, спохватившись, спросил:

— А если папа узнает, что я его сын?

— Никогда! — твердо заявил черный доктор. — Даже я теперь в тебе не могу узнать мальчика. Беги и лай!

Тут белый мальчик спрыгнул с постели и на четвереньках побежал через малую гостиную и приемную отца. Громко лая, он спустился по широкой лестнице и выбежал во двор.

— Гав-гав-гав! Вау-вау! — заливался он, подбегая к черному мальчику, бросаясь в его объятия.

Белый мальчик, оглядываясь на окна, боялся, что в нем обнаружат человека и снова вернут его в дом. Поэтому он не поцеловал своего товарища, а лизнул его в щеку и, подскуливая, сказал:

— Джони! Уведи меня на поводке в сад и не узнавай меня, пока на нас смотрят.

Джони так и сделал.

А в это время из окна смотрели трое: белый отец, белая мать и черный доктор.

Они молчали. Первым нарушил молчание отец:

— Доктор, скажите, сколько дней он должен оставаться собакой, чтобы окончательно вылечиться от этой душевной болезни?

— Я думаю, господин губернатор,— ответил доктор,— не более недели.

— Благодарю вас,— сказал губернатор, пожимая иссиня-черную руку доктора.— Волшебная и целительная сила ошейника неоспорима. Только я не верю, доктор, что вами окончательно умерщвлены те семь драконов, с которыми вы сражались. Они, кажется, все еще шевелятся во мне. Нужна иная целительная сила, чтобы такие, как я, могли истребить их в своем сознании...

Тут белый губернатор припал к плечу черного доктора. Он рыдал на его плече счастливыми слезами раскаяния, но драконы от этого не переставали жалить его мозг.

Это были очень живучие и ядовитые драконы. Они жалият и поныне тысячи светлых голов и добрых сердец...

ДЕДУШКИНЫ ГЛАЗА

Семья Тагильцевых — коренная уральская семья. Старiku Тагильцеву Миرونу Петровичу без малого семьдесят лет, а сталеварского дела он не бросает.

— Рад бы,— говорит он,— бросить, да без дела состариться боюсь. А для старика самое главное — не стареть.

Говорит он так, а в глазах смешинка. Веселая такая... С искоркой. Слух идет, что он ее в 1917 году у Владимира Ильича Ленина перенял. Потому что Тагильцеву не раз приходилось Ленина охранять. Доверяли молодому большевику жизнь Владимира Ильича. Сам-то Владимир Ильич и не знал, что Центральный Комитет партии к нему то одного, то другого коммуниста представляет. Не любил Ленин заботы о себе. А как не заботиться, как не охранять, коли тогда столько врагов про-

тив пролетарской революции, против ее вождя нож за пазухой носили... Только не об этом речь. Речь о том, что молодой по тем годам коммунист Тагильцев больше всего на светлом ленинском лице любил его глаза с прищуром.

А кто что любит, тот то и перенимает, даже, может быть, и сам того не замечая.

Тагильцева как-то спросили товарищи:

— Мирон, ты нарочно по-ленински глаза щуришь или само собой получается?

А тот даже оторопел.

Испугался:

— Да что вы, братцы... В уме? Разве осмелюсь я на Ленина походить, хотя бы даже одним прищуром?

Говорит так и по-ленински щурится, а в глазах смешинка. Умная такая искорка. Ласковая.

Много лет с тех пор прошло. Не баловала жизнь Мирона Петровича. В самые трудные, в самые узкие места партия его посылала. И куда ни пошлют Тагильцева, что ни поручат ему — всегда справляется. И главное, без шума, без крика. Слово, другое скажет, объяснит, прищурится карим глазом и так душу согреет, что все за ним хоть в огонь, хоть в воду.

Умел Мирон Петрович малыми словами и большими делами народ за собой повести. Через всю жизнь пронес он негаснущую искорку от великого ленинского огня. Зажигает она людские души, не меркнет.

Теперь о душах.

В старом рабочем тагильцевском доме душ жило порядочно.. Но разговор пойдет о трех душах. О мужских. При старике Тагильцеве жил только старший сын Василий. Остальные кто куда — по разным заводам разбрелись, а Василий Миронович при отце остался. Специальность у него была тоже не из простых. Строитель. Строитель не по домам, а по печам. Доменные, мартеновские и другие печи возводил. На хорошем счету числился. Три ордена, семь медалей. Того гляди, Золотую Звезду получит. И есть за что. В полтора года свою пятилетку мастер выполнил. Руки такие. И в голове немало положено.

Старик Тагильцев никого из пяти сыновей умом не обделил и на внука кое-что оставил.

Внука Мирона Петровича в честь деда называли Мирошей. Самая младшая в тагильцевском доме мужская

душа. Росточка невысокого, чуть не последним в школьном строю стоял, а рукастый мальчишечка. За что схватится — не отпустит.

Взять, к примеру, озеленение. Мироша перед школой пять липок посадил. И все принялись. Другие по десять посадили, а не ухаживали. Вот и посохли. Или большой школьный аквариум взять. Для него Мироша двух редких ершей поймал. Как сомята плавают.

А кто классную доску заново черной краской выкрасил? Мироша. Да так хорошо, что за весь год ни одной плешинки не появилось.

Разве не приятно это все Мироше? Конечно, приятно. И отцу радостно, что в его сыне с малых лет рождается великое чувство трудовой гордости.

Вот как-то и разговорились три Тагильцева о трудовой гордости.

В огороде это было. У бобовой гряды. А Мироша перед этим хороший кварц добыл. С золотой жилкой. Наверно, больше грамма в этой жиле золота было. Показывает Мироша этот кварц отцу с дедом да и говорит:

— Седьмой самолучший камень для школьной коллекции выискал. Малахит там мой — зеленее зеленого. И яшма — как заря вечером. Изумруд нашел, хоть и не первого сорта, а первое моего в школе нет. Теперь бы платиновый самородочек добыть! Хоть с комарика бы... Все равно бы из других школ бегали на самородок смотреть.

Говорит так маленький Тагильцев, а отец с него глаз не сводит. Радует. Себя в нем узнает. И деду внука нахваливает:

— Вот и я, папаня, таким же рос. До сих пор горжусь батареей центрального отопления, которую я в учительской тринадцатилетним мальчишкой собственноручно установил. И как приду в школу, обязательно на свою батарею погляжу и украдкой поглажу ее теплые чугунные ребра. Хорошо! Как ты думаешь?

А старик молчит. Ест бобы да щурится. Будто от солнышка. А солнышко давно уже за крышу соседнего сарая ушло.

— Или, может быть, что-то не так, отец? — спрашивает Василий Миронович у Мирона Петровича. — Может быть, по-твоему, сын зря своим кварцем гордится, своими ершами да липками, как, скажем, я своими домнами да мартеновскими печами?

— Да что ты у меня, Василий, спрашиваешь? — ответил старик. — Я ведь мало классов кончил. Только три. И книг не так чтобы много прочитал. И работа у меня... как бы сказать... безликая. Выплавить сталь, сольешь ее в ковши — и прощай. Куда она пойдет, что из нее сделают, и не узнаешь. Может, части для центрального отопления или машину какую — никто не скажет. Как ты свою сталь узнаешь? То ли она в Мирошином поисковом молотке, которым он кварц из горы добыл, то ли гвоздиками стала в твоих сапогах? Неизвестно. Не то что твоя домна или твоя труба. Возвел ты ее чуть ли не до облаков, и все знают, что эта диковина Василием Мироновичем Тагильцевым кладена. И тебе есть чем гордиться. Есть от чего сердцу замирать. А мне — нечем! — повторил старый Тагильцев и прищурился. В его карих глазах снова появилась знакомая сыну, знакомая внуку, знакомая всему заводу смешинка.

— Это верно, отец, — согласился Василий Миронович. — Сталь, как и кирпичи. Не узнаешь, где твое, где товарищево. И я как-то всегда болел за то, что ты не можешь сказать, что вот этот, скажем, твой паровоз бежит или этот путь твоими стальными рельсами пролег.

— Что сделаешь, сын! — снова прищурился МIRON ПЕТРОВИЧ. — Такова и вся моя жизнь. Негде мне свое имя-фамилию поставить. Ну вот ту же революцию взять... К примеру, Зимний дворец. Я ведь его тоже брал. Не последним через дворцовые ворота перелезал. А вот какая именно часть Зимнего дворца мною взята, и не знаю. А плохо ли, скажем, хоть одну колонку или даже ступеньку себе по законным заслугам приписать? Ведь ступил же я первым на какую-то дворцовую ступеньку? Значит, мною она от царизма освобождена. Приехал бы сейчас в отпуск в Ленинград. Пошел бы в Зимний. Сел бы на свою мраморную ступеньку, погладил бы украдкой ее белое лицо и сказал бы сам себе: «Моя!» Есть, наверное, такая. И не одна. А я, дурак, не запомнил их. Не до того, видно, было. Или не было во мне такого высокого чувства гордости, как у тебя с Мирошей. И теперь мне до этого не дорасти. Таким, наверное, и доживать буду...

Старик Тагильцев умолк. Снова раскрыл стручок и снова вынул из него бобовые зерна и принялся их с хрустом есть.

Василий Миронович и Мироша перестали рвать бобы. Тому и другому стало как-то не по себе. Особенно, когда карие глаза Мирона Петровича поглядывали на них смеясь, сверкая ласковой искоркой.

Вечером Василий Миронович отправился с сыном на пруд. Будто бы погулять в воскресный день. А на самом деле ему нужно было поговорить с Мирошей.

И он сказал:

— Не деду до нас, а нам с тобой до него расти надо! Слов нет, хорошо тому, кто через свой труд может видеть свою жизнь в печах, в трубах, в липках... Или, скажем, в кварцевом камешке, в золотой жилке... Это очень хорошо. Только дедушкина жизнь была как сталь. Для всех разлилась она по тысячам поделок, поковок, отливок. И ему как будто не на что пальцем ткнуть и даже самому себе сказать: «Это мое».

Мироша молчал, а отец опять:

— А между тем так ли это? Так ли?..

Тут Василий Миронович усадил сына на бережок, и они оба принялись говорить о дедушке.

И оказалось, что дедушка Мирон с первого дня встречи с Владимиром Ильичем Лениным отдавал все силы, всю жизнь людям.

Не думая о своих успехах и забывая о заслугах, он прожил для народа.

И вдруг Мироша так ясно понял, что пришкольные липки он сажал и холил для себя. Для того чтобы прославиться, он поймал двух больших ершей и так хорошо выкрасил школьную доску.

Возвращаясь домой, Мироша незаметно швырнул кварц с золотой жилкой на школьный двор и подумал: «Пусть другие найдут...»

Отец заметил это и, ничего не говоря, крепко пожал своему сыну руку.

Этим вечером в душу Мироши вошло что-то новое, очень хорошее и высокое. А на другой день утром дедушка, удивившись, вдруг спросил внука, который, шурясь, уставился на старика:

— Миронька! Откуда у тебя в глазах такой хитроватый прищур обнаружился?

— Знамо дело, откуда...— вместо Мироши ответила его бабушка и, не договорив, принялась целовать внука в дедушкины глаза с искоркой.— Кареглазик ты мой...

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В класс новой московской школы вошла черная девочка и отрекомендовалась по-русски, с трудом выговаривая слова:

— Я есть африканка... Меня имья зовут Катуша... Катюша,— поправились она и добавила:— Яблоки и груши...

Ребята выбежали здороваться с ней, и она протягивала обе руки то одной паре, то другой.

— Выбирай, Катюша, место,— попросил ее староста класса.

— Она сядет со мной, потому что я тоже Катя,— стала настаивать шустрая белокурая школьница.

— Хорошье,— отозвалась черная девочка, и ей было освобождено место рядом с Катей.

Так радостно началось знакомство, а продолжилось оно хуже. Черная Катюша знала немало русских слов, и ее понимали, она же с трудом понимала русские слова.

— Мне хорошье уметь говорить, а слушайт мне очень есть темно.

И всем стало ясно, что Катюше нужна помощь, и все решили, что этим займется отличница из отличниц Надя Куркина по прозвищу Фигуркина.

Надя с огромной радостью взялась помогать Катюше и ввела ее в свою семью. Все африканку приняли в семье Куркиных так, словно она была с ними знакома давно.

Помогать Катюше было легко и трудно. Легко, потому что она была очень одаренной девочкой. А трудность заключалась в языке.

Без него и самый легкий урок не поймешь. А обучить языку не так просто. Особенно когда обучающий не знает язык обучаемого. И Надя решила заняться Катюшиным языком.

— О, это ты, Надья, тебе надо голос сломайт,— противилась Катюша и как могла объясняла, что ее народ маленький, а слов у него много-много, но еще нет букв и словаря.

И все же Надя занялась Катюшиным языком. Показывала на стул и спрашивала: «Что это?» Африканка отвечала, а иногда записывала русскими буквами свои

родные слова. И вскоре не только Надя, но и ее бабушка стали разговаривать на смешанном и смешном языке. Плохо и очень плохо, но все же понятно.

Надя и ее бабушка изобрели способ разговора с показыванием, с действием. Бабушка или Надя говорили медленно, чуть ли не нараспев: «Я пью воду из стакана». Они пили воду из стакана, затем просили это же самое повторить Катюшу, и она повторяла по нескольку раз, добиваясь точности произношения слов.

Говорить медленно и понятно входило в привычку Надиной семьи.

Очень много времени тратила Надя, чтобы приучить Катю слушать и понимать русские слова. У Нади и у Катюши оказалось две школы, двойные уроки, в классе и дома.

Исключительно хороший слух помогал африканке овладеть нелегким для нее русским языком. И, читая вслух, она усваивала самое трудное — правильное звучание фраз. Африканка, щеголяя русской речью, поражала учителей и учеников.

Все по справедливости прославляли Надю, писали о ней хвалебные заметки, дарили ее вниманием и перевозносили до небес, особенно после того, как африканка стала отличницей. Это уже было настоящим чудом, замеченным и за пределами школы.

Надя ходила чуть ли не в героинях. Все знали, говорили о ней, всегда замечали ее... Но... Без «но» здесь не обойтись.

Но, замечая заслуги Нади, не обращали внимания на то, что Надя все чаще и чаще вместо обычных для нее пятерок получала четверки, а за ними и тройки. После того как Надя получила первую двойку, заговорили не только в ее классе.

В чем дело? Как это могло случиться?

Да очень просто... Математика легко давалась Катюше, она нередко в уме решала то, что высчитывалось остальными в тетрадах или на доске. Отличная слуховая память позволяла африканке заучивать с Надиного голоса и те стихи, слова которых Катюша не всегда точно понимала. А иногда Катюша говорила голосом Надиной бабушки и даже шамкала там, где это делала бабушка.

А Надя, увлеченная успехами Катюши, отлавала ей всю себя, все свое время и не огорчалась своими трой-

ками и двойками! Пусть это плохо, зато Катюша выступила по телевизору и так прекрасно прочла бессмертные стихи:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;
К нему не зарастет народная тропа...—

что сидящие в зрительном зале и показанные на экране замерли, глядя на кудрявую африканку, чем-то oddly похожую на портрет мальчика Пушкина.

Катюша читала, часто подымая вверх правую руку, и тем самым еще больше напоминала известную картину, на которой юный лицеист читает на экзамене стихи перед крупнейшим поэтом того времени Державиным.

Надина бабушка плакала у телевизора, когда с точностью до полутоника Катюша вдохновенно отчеканивала каждое слово:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

В голосе Катюши бабушка слышала и внушкин голосок...

Катюша получила многое множество писем из разных уголков нашей страны, а Надя Куркина получила две двойки и одно письмо. В письме сообщалось, что она отчислена из школы фигурного катания за непосещение занятий...

Вот тут-то и началось все то, что не могло не начаться.

Двойками Нади Куркиной занялась директор школы. Ею была седая женщина, бывшая партизанка, очень строгая и очень чуткая глава школы. Она осторожно и подробно узнала, что стоили Наде успехи прославившейся Катюши.

Оказалось, что Надя рассталась ради Катюши с катком и любимейшим фигурным катанием. Наде часто приходилось ложиться спать после полуночи. Она не могла, не успевала выполнять заданное на дом. Писала наспех сочинения. С ошибками решала задачи. Невыспавшейся, ей трудно было бороться со сном в классе.

Директор школы, узнав обо всем этом, тщательно подготовилась к встрече с Надиным классом.

И вот она, всегда уравновешенная, умеющая держать себя в руках, вошла в класс заметно взволнованной.

Класс встал. Она не сказала, как всегда, «садитесь» и начала так:

— Мне стыдно за ваши хвалебные, хотя и справедливые заметки в стенной газете... Мне стыдно за вас. Что стоят ваши лестные, кудрявые похвалы...

Она отпила несколько глотков воды, и ее речь снова зазвучала перед замершим, слушающим стоя классом.

— Я прошла войну. Я знаю цену и силу человеческой чуткости даже в мелочах... А мелочи нередко спасали жизни... Надя, пожалуйста, выйди из класса вместе со своей подружкой, опередившей тебя в успехах.

Надя покорно выполнила требуемое. Речь продолжилась:

— Если бы вы были моими ровесниками, я бы нашла для вас каленые слова. Но вы еще юны и многого не понимаете. Но все же скажу, что вы чем-то похожи на тех, кто, стоя на берегу, аплодирует выбивающемуся из сил пловцу, который спасает тонущего. И ободряет обессиленного спасителя громкими восклицаниями и восторгами вместо того, чтобы самим броситься в воду и трудное спасение сделать легким и безопасным.

Она снова отпила несколько глотков и снова заговорила:

— Да я и не имею права,— повторила она,— назвать вас словами, которые вы заслужили. Это справедливые и беспощадные слова, которые теперь не только у меня, но и, наверно, у вас готовы сорваться с языка. Произнесите же их, не произнося вслух... И мы на этом закончим разговор...

Она, седая, властная, с горящими глазами, помолчав несколько минут, сказала классу:

— Садитесь!

Класс продолжал стоять.

— Садитесь же! Я вижу, я знаю, что сейчас произошло и еще происходит в ваших душах. Поэтому не будем выносить никаких постановлений и решений о том, чтобы обе они — черная и белая сестры — были отличницами... И чтобы,— добавила она еще мягче,— на соревнованиях по фигурному катанию Надя снова украсила своими победами нашу школу.. Если не в этом, так в том году... Фигурное катание тоже заслуживает внимания, тем более что оно бывает по-разному фигурным — как на льду, так и в некоторых, пусть далеко не ледяных и даже не холодных, но все же не излишне пылких, не очень заботливых и чутких сердцах...

НА ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ



НА ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ

На свете жил чудесный певец. Он пел не только задушевно, от всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги.

Его разноцветные песни были так хороши, что вскоре он стал самым любимым народным певцом.

Между тем певец не был счастлив...

Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось спеть такую песню, которая бы понравилась всем. Всем без исключения.

Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-росяными искорками, его, затаив дыхание, слушали все юноши и все девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весеннюю песню то слишком розовой, то чрезмерно зеленой.

Когда же певец пел алую песню с синей каймой раздумья и серебристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет распахивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато малолетки не обращали на эту песню никакого внимания. Потому что они любили песни ярких цветов и четкой раскраски. Игривые. Узорчатые. Даже клетчатые. И для них приходилось петь особо, как и для стариков. Этим нравились песни строгих расцветок и глубоких колеров.

Разные песни оценивались различно людьми не только по их возрасту, но и по характеру. Весельчаки любили канареечно-желтые, лихо-малиновые и пунцовые песни. Угрюмым нравились песни темно-коричневых и вишнево-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные люди обожали песни любого цвета, лишь бы они были пестры и нарядны...

До седых волос певец добивался такой песни, которая бы полюбилась всем. И старым и малым. Жизнерадостным и печальным. Задумчивым и бездумным. Из его светлой души вылетали звонкие жар-птицы изумительной красоты звучания. Ими любовались тысячи людей, но каждый раз находились такие ценители, которые выискивали в песне изъяны. Более того — они глумились над нею и даже втоптывали ее в грязь.

Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь.

— Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить всех полюбить хотя бы одну мою песню,— жаловался на себя, на свой голос певец.

Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его слышало солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило певца золотыми лучами.

— Мой названный брат,— сказала солнце.— Тысячи лет я раскрашиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не могу. Потому что каждому нравится свое. И это очень хорошо.

— Что же в этом хорошего? — негодуя, воскликнул певец.

— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать новые песни, а мне — каждый день по-новому всходить.

Так сказала солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тысячи тысяч цветов и оттенков нашу землю.

От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось походить на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги.

И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и слушай. И если из сотен его песен кому-то понравится только одна,— значит, певец не зря прожил жизнь, не зря вдохновлялся солнцем.

ПЕРВАЯ УЛЫБКА

В стране, названия которой уже никто не помнит, жил удивительный чеканщик ваз. Если, чеканя вазу, он был весел, то она веселила всякого, кто ее видел. И на-

оборот — когда мастер грустил, его творение порождало печаль и раздумья. Он прославил свою страну множеством ваз, будивших в людях самые различные чувства: радость, смех, раскаяние, бесстрашие, скорбь, прощение, примирение... Но среди сотен его творений не появилось главного — вазы Любви. Потому что любовь еще не расцвела в душе молодого чеканщика, хотя молва, опережающая события, уже называла одну прекрасную девушку...

Однако не будем подражать молве и предрекать несвершившееся. Пусть молва сильна и непреклонна, подобна ветру, но между тем паруса жизни, как, впрочем, и сказки, нередко подвластны иным силам.

В этой же стране жил горшечник. Он не выделялся среди других гончаров своим ремеслом, но его дочь была так хороша собой, что о ней знали даже звезды.

Глаза дочери горшечника были синее моря и неба. Ее зубы нельзя было и сравнить с жемчугом, который всего лишь подражал зубам красавицы. А где и когда подражание превосходило то, чему оно подражает!

Тончайшее шелковое волокно казалось тростником в сравнении с золотисто-солнечными волосами красавицы. Змеи цепенели от зависти при виде грациозности движений ее рук. Ручей, нежно журчавший серебряными стихами, умолкал, как только она начинала говорить. Розы стыдливо переставали благоухать, когда она приближалась к ним и ее дыхание наполняло пространство ароматами, каких не знало ни одно растение, потому что она была самым прекрасным цветком земли. Впрочем, и это сравнение, как и все, что было сказано о ней, не стоит даже одной из ста граней вазы Признания, которой чеканщик воспел красоту дочери горшечника.

И это признание было так возвышенно и так пламенно, что всякий, любясь новой вазой, восторгался и той, чью красоту она прославляла в не виданном доселе изыске чеканки.

Когда дочь горшечника любовалась вазой Признания, ее сердце зажигалось нежно-голубым пламенем, и девушка, светясь изнутри, становилась еще прекраснее.

И однажды она улыбнулась чеканщику. Это была первая улыбка девушки. Солнечная. Счастливая. Стыдливая. Чарующая, как весенняя заря... Да разве можно найти сравнение несравнимому!

Эта первая улыбка запечатлелась на всю жизнь в

сердце чеканщика и сделала это сердце еще больше, еще добрее и пламеннее.

У вазы Признания собирались толпы. Любоваться ею приходили люди из разных городов и стран. Это были мастера, земледельцы, охотники, купцы, любители редкостей, просто зеваки, но были среди них и обладатели несметных сокровищ, повелители огромных стран. И чем больше восхищала их ваза Признания, тем жарче воспламенялись их сердца.

Чеканщику ваз и в голову не приходило, что среди них окажутся те, чья сила и чье богатство могут омрачить светлые чувства мастера.

Он, разумеется, не верил этому, но старики, выдавшие на своем веку всякое, советовали чеканщику расплющить молотом свою вазу и погасить этим пылание незваных сердец. Старики очень боялись, что почести, внимание, богатства, которыми окружалась дочь горшечника, могут разлучить мастера с его возлюбленной. Старики, да и все жители этой страны, знали, как иногда девушки забывают о своей первой улыбке.

И теперь многие и очень многие властелины и повелители добивались внимания прекрасной дочери горшечника.

Они устраивали невиданные пиры... Усыпали путь красавицы драгоценностями... Показывали ей изображения своих дворцов... Манили ее сказочным великолепием палат, в которых она может жить... Обещали ей троны.

Она могла стать царицей бескрайних степей или наместницей богини гор... Ей предлагали назваться владычицей моря...

В этой маленькой, забытой ныне стране в те дни творилось неслыханное. Люди почти не спали, а те, кому удавалось уснуть, тотчас же просыпались, потому что им снились страшные сны. Сны, в которых они видели, как дочь горшечника согласилась стать женой кого-то другого, а не любимого всеми чеканщика, жившего для всех и служившего народу своими вазами, согревающими человеческие сердца, вызывающими дружбу, воспевающими труд сеятеля и ваятеля, труд рудокопа и мастера арфа... Какие вазы вычеканит чудесный мастер, если она улыбнется другому?

— Это будут вазы Слез,— говорили одни,— и народ будет рыдать.

— Это будут вазы Отчаяния, — говорили другие, — народ придет в уныние.

И однажды на феерическом торжестве, когда море сверкало всеми цветами, когда стая дельфинов исполняла танец любви под музыку ветра и тихого всплеска волн, красавица не устояла и поднесла Владыке моря пальмовую ветвь согласия. Согласия стать его женой.

И тут молния разрезала небо. Гром оглушил все живое. Воды вышли из берегов. Вихревой смерч закружил красавицу и поднял ее на вершину огромного водяного столба и умчал.

Шквальная музыка волн всю ночь прославляла долгожданное согласие. Все морские богатства были у ног красавицы. Все, населяющее море, служило и поклонялось ей. В водяном бирюзовом дворце шло штормовое коронование владычицы.

А на берегу все ждали появления страшной вазы. Вазы Горя. Вазы Отчаяния... Вероломства... Измены... А может быть, и вазы Смерти. И женщины страны готовили траурные одежды, мужчины — черные повязки. Тучи хотели закрыть небо. Цветы, протестуя, решили не распускать свои лепестки. Птицы — не петь. Но...

Но этого не случилось.

Наутро взошло солнце. Яркое. Золотое. Доброе. Зазвенили леса, поля, горы и море. Цветы, как никогда, зацвели обильно и пышно. Птицы пели на тысячу голосов. Люди надели самые красивые одежды. И сами собой зазвенели арфы и зазвучали трубы.

Все живое пришло на главную площадь. А на площади...

А на площади высилась новая прекрасная ваза. Ваза улыбалась первой улыбкой дочери горшечника. Эту вазу сразу же называли «Первая улыбка» и люди, и растения, и птицы, и звери, и рыбы, и камни.

Восхищению не было предела. Ликование нельзя было измерить. Сила красоты первой улыбки оказалась такой чарующей, что хищные звери лежали смиреннее черепашек у подножия вазы «Первая улыбка». А гигантские ядовитые змеи пресмыкались перед нею как безобидные гусеницы. Рыбы и морские чудища, выйдя из родной стихии, гибли, задыхаясь на берегу. У них не хватало сил оторваться от первой улыбки дочери горшечника, которой теперь на весь свет улыбалась новая ваза чеканщика.

Улыбались все. Улыбалось все живое. Не улыбался только...

Не улыбался только Владыка моря. Владея несчетными сокровищами, он был беднее самой ничтожной медузы. Его женой теперь была самая прекрасная из всех прекрасных женщин. Прекрасная от коралловых ноготков до золотистых кончиков волос. Ему принадлежал ее голос, ее дыхание, синева глаз, изгиб шеи, чарующие движения рук... Ему принадлежало в ней все, кроме первой улыбки. Потому что никому и никогда не удавалось улыбнуться впервые дважды... Этого никому не удавалось на земле, как никому не удавалось дважды родиться или дважды умереть.

Владыка моря хотел уничтожить вазу «Первая улыбка», чтобы забыть ее. Но разве можно этим затемнить в памяти людей и в своей памяти первую лучезарную улыбку!

Можно опрокинуть море, вывернуть его дно, но нельзя изменить то, что было.

Ваза улыбалась. Слава о ней шла по всему миру. Первая улыбка дочери горшечника обещала пережить века и остаться прекрасным назиданием...

Так и случилось.

Владыка моря иссох от досады, от горести, а затем растворился в морской пучине от неизбывности первой улыбки... Улыбки не ему!

Не могла уйти от нее и дочь горшечника. И она не ушла от нее до последнего часа своей жизни.

Никто не знает, что стало с чеканщиком ваз. Забылась и страна, где это все произошло. Осталась одна ваза «Первая улыбка». Да и та осталась только сказкой. Сказкой, которая не подвластна смене времен и ветров.

Первая улыбка навсегда останется первой улыбкой.

ПАСТУХ И СКРИПКА

Она родилась в мастерской деревенского столяра, большого любителя музыки. Ее красота удивляла даже больших мастеров скрипичных инструментов. Говорят, что столяр вдунул в нее свою душу и она от этого стала звучать как живая.

Всякий проходивший мимо дома столяра останавливался, когда она пела о солнце и небе, о лесе и говорливых ручейках, золотистых полях и цветении садов родной чешской деревни.

Слушая ее, умолкали певчие птицы. Только один из лучших соловьев округи отваживался иногда вторить ей своей песней. А досталась она Ослу, который притворился музыкантом.

Осел, выбившись в подмастерья, завладел после смерти одинокого столяра всем его имуществом и этой прекрасной Скрипкой.

Это было ужасно. Играя на Скрипке собачьи вальсы, конские галопы и ослиные рапсодии, он довел Скрипку до неузнаваемости. Ее тонкие и певучие струны стали походить на разлохмаченные шнурки. Дека оказалась в царапинах и пятнах. Гриф из черного превратился в серый. Ослабили расшатанные колки. Он уже играл на ней, как на балалайке, доламывая последнее.

Однажды в бродячем балагане Осел увидел клоуна, игравшего смычком на пиле. То сгибая, то разгибая пилу, клоун добивался подобия мелодии, производившей на некоторых, в том числе на Осла, неотразимое впечатление.

Вскоре Осел приобрел у клоуна пилу, а Скрипку забросил на чердак. Теперь ей оставалось только пылиться, слушать в долгие зимние ночи плачущий вой ветра в трубе, а в осенние дни сыреть, расклеиваться и приходить в окончательную негодность.

Нельзя без слез и горькой обиды рассказывать о несчастной Скрипке. Оскорбленная и униженная, она переживала каждый звук, доносившийся на чердак через слуховое окно. В ней находили отзвук песни жаворонка, тонкий свист синицы и далекая причудливая игра Пастуха на самодельной дудке.

С каждым днем игра Пастуха становилась лучше и выразительнее, хотя в его дудке было всего лишь два или три лада и ей не доставало высоких и чистых звуков. Их особенно не доставало в утренней песне пробуждения, когда Пастух, проходя по селу, приглашал людей проснуться и выгонять своих коров.

Однажды Скрипка помимо своей воли дополнила мелодию песни пробуждения высокими и чистыми звуками. Они вырвались сами собой из ее души, так исстрадавшейся по музыке.

Все это произошло до восхода солнца. И никто, кроме Пастуха, не слышал, как пастуший рожок разбудил в Скрипке умертвленное желание звучать.

Теперь он каждое утро переговаривался песней с незнакомой Скрипкой, очаровавшей его слух до такой степени, что однажды ночью он прокрался на чердак.

Это была встреча в темноте. Встреча у дымоходной трубы дома.

— Как ты прекрасна! — сказал он Скрипке.

— Если бы ты увидел меня днем... — ответила Скрипка, — ты бы ужаснулся.

— Нет, нет, — твердил он, касаясь ее грифа своими тонкими и нежными пальцами. — На свете нет ран, которые не заживают.

Скрипка, веря Пастуху, как-то сказала:

— Как я хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Но это невозможно. Тебя накажут за похищение... Нужно действовать умнее.

Женская хитрость была присуща и Скрипке. Она посоветовала Пастуху сыграть на дудке перед окнами Осли душераздирающий вой волка, попавшего в охотничью яму.

Он так и сделал. Осел был в неописуемом восторге и тут же предложил Пастуху променять его дудку на визгливую пилу и пообещал прибавить к ней Скрипку.

Состоялся обмен. Пастух, забыв о пиле, бережно снял с чердака несчастную. Прижимая ее к своей груди, он внес больную Скрипку в дом своей матери.

Мать бережно освободила Скрипку от пыли и паутины, а затем, укутав ее в мягкое, велела сыну отправиться в город к лучшему из скрипичных докторов.

Доктор произвел все необходимые операции и процедуры. Он укрепил колки, подклеил деку, заменил струны и отполировал Скрипку до зеркального блеска. И когда Пастух увидел ее сверкающей и нарядной, когда он, нежно коснувшись ее струн, услышал звуки, от которых сладко кружится голова и замирает сердце, — сквозь слезы сказал ей:

— Я недостойн владеть тобой. Ты так прекрасна! Ты должна звучать в больших городах, а не в нашей маленькой деревне.

— Нет, — возразила Скрипка, — если я буду снова способна звучать, как раньше, то только в твоих руках.

Так и случилось. Никто не мог извлечь из нее ни одного звука, всем она отвечала молчанием. Скрипка перестала быть доверчивой и наивной. Зато Пастух, едва прикоснувшись к ее струнам, заставлял умолкать окружающих.

Это были песни первой радости скрипача и Скрипки нашедших друг друга в большом мире.

Пастуха и Скрипку вскоре узнали во всей стране. Их слушали затаив дыхание. И никому не приходило в голову, что Скрипка была некогда брошена Ослом на чердак, где она долго находилась в оскорбительном забвении. Да если бы кто-то узнал об этом, то едва ли бы обратил внимание.

Мало ли печальных, несправедливых и грубых историй бывает на свете! Нельзя же позволять им зачеркивать всю жизнь. Прошедшее всегда заслоняется Настоящим, если оно большое, яркое и настоящее — Настоящее. А оно было именно таким у Скрипки, сохранившей в труднейших испытаниях жизни чистоту человеческой души, которую вдохнул в нее благородный деревенский столяр, знаток и ценитель Высокой Музыки.

УДОЧЕРЕННАЯ ЯБЛОНЬКА

Тихо росла, жидко цвела лесная Яблонька. Зато не боялась она ни жары, ни холода, ни ветров, ни пурги. А любить ее никто не любил, миловать не миловал и добрым словом не жаловал. Потому что яблоки у нее были жесткие, да кислые, да мелкие.

— Кому я такая нужна? — жаловалась ветру Яблоня. — На что мои сильные корни, закаленные ветви и крепкий ствол? Уж лучше бы мне уродиться липой или сосной. Стала бы я жить бревном в избе или, на худой конец, скамейкой. Как-никак на людях.

Горевала так она не один год, оплакивала свою судьбу, да счастливый день выдался. Прохожий человек на нее залюбовался.

— Ах, какая у тебя крона богатая! Какая ты из себя могучая! До чего ты сильна, Яблонька! Дикой красоты красавица.

Как услышала эти ласковые слова Яблонька, зашепестела, листочки отряхивать стала, ветки оправлять и весело засмеялась.

— Очень приятно, прохожий человек, что я вам поправи-лась. Премного благодарна.

— Да за что же благодарить меня, милая? — говорит прохожий человек. — Не по моей воле ты такая, а сама по себе. Не хочешь ли ты, Яблонька, ко мне перебраться на жительство? Я тебя удочерю. Воспитаю. Выращу. Свое имя-фамилию дам.

— Да я с превеликим. Хоть сейчас. Выкапывайте, пожалуйста.

А прохожий человек улыбнулся да и сказал:

— Корни боюсь повредить. Осенью жди меня.

Очей не смыкала, ночей не спала Яблонька. Дождь-лась осени. Пришли люди. Обкопали корни. Ящик подвели. Вагами подняли ящик с Яблоней на телегу и перевезли дикую красавицу в большой фруктовый сад.

Недружелюбно приняли новую подругу-дикарку знаменитые садовые яблони. Пересмешничали. Одна из них говорит:

— Зря вы, яблони, груши, вишни, смеетесь над ней. Она еще покажет себя. Как бы нам, на нее гляючи, завидовать не пришлось.

Хорошо перезимовала Яблоня, только по весне многих веток недосчиталась. Сильно обрезал ее названный отец. Но она крепкая была. От природы здоровая и стойкая. Переболела за лето и хорошо на новой садовой земле принялась. Опять к ней ее названный отец с ножом пришел.

— Не бойся, — говорит он, — милая доченька. Боли большой не сделаю. Как оспу привью.

Сказал он так и стал прививать на ее могучие ветви молодые побеги незнаемо дальних яблонь, растущих по берегам теплых морей. Хорошо привил старик. Научно.

Опять солнце, ходя по небу, стало отсчитывать дни и месяцы. Обросла Яблоня новыми ветками с новой листвой, не похожей на старую, а через год, через два зацвела Яблоня невиданно крупными цветами. Много людей приходило в сад дивоваться этим цветением. Еще больше пришло людей пробовать крупные, сладкие, сочные яблоки. Хвалят. Поздравляют садовода. Едят вкусные яблоки, а семечки яблочные не выбрасывают. В бу-мажные пакетики бережно прячут.

Завидуют лесной красавице садовые яблони. Не хотят признавать дикарку именитой чудо-яблоней.

— Посмотрим еще, как перезимуют в большие морозы ее новые ветки, привыкшие к нежным ветрам да теплым лучам. Тогда и скажем свое слово.

Особенно сомневалась в этом прославленная Антоновка. Да и не только она. Люди тоже опасения высказывали. И сам садовод хоть и верил в могучее лесное здоровье удочеренной Яблони, а побаивался лютого яблоневого врага — мороза.

Сильные ударили морозы в эту зиму. Воробьев на лету замораживали морозы. Дышать было трудно. А Яблоню им заморозить не удалось. Не удалось им ее лесную силу пересилить.

Год от году пышнее цвела, обильнее плодоносила преображенная Яблонька-дочь — яблоня-мать сотен и тысяч деревьев, составивших новые сады.

Теперь-то уж, конечно, она состарилась и стала бабушкой, но все еще цветет неувядаемой памятью о своем отце, великом ученом и труженике, удочерившем дикую яблоню.

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Мыльными пузырями называют все несовершенное, быстро лопающееся и ненадежное. Между тем мыльные пузыри имеют некоторые заслуги, и вы в этом убедитесь, если захотите прослушать сказку, названную их именем.

Это было давно, если мерить время годами, и совсем недавно, если вести счет на века.

Это было в пышном королевстве, если судить о нем по королевским кружевам на рукавах и панталонах придворных.

Это было в нишей стране, если оценивать ее по дырам одежды подданных его величества и провалом щек ткачей и кружевниц.

Это было на королевской площади, где предстояло необычайное зрелище. В заоблачную синь небес должен был подняться первый в этом королевстве большой воздушный шар вместе с его воздухоплавателем.

На королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На королевскую площадь прибыли вельможи, сановники и министры. На королевскую площадь при-

мчались лавочники, подмастерья и ротозеи. На королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни.

Воздушный шар, туго надутый легким газом, готов был ринуться в далекий полет. Его удерживали прочные стропы, привязанные к кольям, вбитым в землю.

Но вот уже все готово. Счастливый воздухоплаватель скоро сядет в корзину, подвязанную к шару. В ней он прославит себя и увековечит свое имя в поколениях.

Народ рукоплещет. Двор и свита приветливо машут шляпами и веерами. Король милостиво улыбается своей королевской улыбкой, от которой так много зависит, которая так дорого оценивается знатю.

Слуги и помощники воздухоплавателя уже обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогательные стропы, удерживающие воздушный шар, но в это время какой-то мальчик выдул и пустил радужный мыльный пузырь, затем второй, третий и четвертый.

Как это было смешно и неожиданно! Какими маленькими, ничтожными показались лопавшиеся под общий смех один за другим мыльные пузыри!

Хохотали все. Король и королева. Министры и колбасники. Придворные дамы и торговки каштанами. Шуты и монахи. Старухи и дети. Не смеялись только трое. Старик и старуха из дальней деревни. Не смеялся и воздухоплаватель.

— А почему ты, старик, не смеешься вместе с нами? — спросил его румяный торговец жареным миндалем.

— Я бы ответил тебе, — сказал старик, — но ты слишком толст, и до твоего сердца едва ли дойдет мой ответ.

Торговец вскипел и заорал на всю площадь:

— Вяжите его! Он не желает смеяться вместе с королем.

Старика схватили и привели к королю.

— Ваше величество, — доложил министр двора. — Этот дерзкий старик не изволит смеяться над мыльными пузырями. У него, видите ли, особая точка зрения на мыльные пузыри.

— Да, — ответил гордый старик, — я никогда не смеюсь над тем, что мне кажется достойным большого уважения.

— Как! Мыльные пузыри достойны уважения?

Раздался дружный хохот двора и свиты. Когда шум стих, льстивый сановник спросил старика:

— Может быть, тебе трудно смеяться над самим собой? Ведь ты тоже мыльный пузырь, готовящийся лопнуть от страха и превратиться в ничто.

— Вы правы, господин в золотом камзоле,— тихо, но внятно сказала подросевшая жена старика.— Перед вами мыльный пузырь. Но уверяю вас, господа,— сказала она, обращаясь ко всем и к королю,— вам будет не по себе, когда вы узнаете, как много заключено в этом мыльном пузыре.

Народ стих, и король дал знак, чтобы она говорила. И вот старая деревенская женщина принялась так красочно и вдохновенно рассказывать, будто фея красноречия вложила в ее уста высокие слова, а фея мудрости — простоту и ясность речи.

— Когда мой муж был молод и пахал землю маркиза, когда мои щеки вызывали зависть роз в саду маркизы, где я работала поденщицей, у меня родился сын. Он рос очень хорошим и пытливым мальчиком. Я и мой муж не чаяли в нем души.. Мы учили его в хорошей школе, и все заработанное нами шло для того, чтобы он стал образованным человеком.

В часы досуга отец, забавляя своего сына, сооружал для него маленькие ветряные мельницы, клеил бумажные змеи и пускал вместе с ним мыльные пузыри. Мыльные пузыри иногда поднимались довольно высоко. Поэтому что они надувались теплым воздухом из горячей груди моего мужа.

Мой муж был неграмотным мечтателем. И он часто говорил сыну:

— Малыш! Если бы у мыльного пузыря была прочная оболочка, он бы поднялся высоко-высоко и летел бы долго-долго.

У нашего мальчика загорались глаза. Отец научил его мечтать о полете в небо. Он внушил ему мысль о таком пузыре, который будет больше стога сена и сможет поднять человека. Он верил, что образованный сын изыщет прочную и легкую оболочку для большого пузыря и осуществит отцовские мечты.

— И он их осуществил? — спросили придворные старую женщину.

— Да, он их осуществил,— сказала старая женщи-

на из деревни, указывая на знатного воздухоплавателя, стоявшего рядом со своим отцом.

Они, обнявшись, не замечая никого, ни двор, ни короля, любовались полетом радужных мыльных пузырей, которые выдувал через тонкую соломинку белокурый сын воздухоплавателя и внук стариков из далекого селения.

Теперь уж никто не смеялся, когда один за другим подымались и лопались мыльные пузыри.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ

Наградил как-то трех братьев великий волшебник, по имени Труд, счастливыми часами за хорошую работу и сказал:

— Всякий, кому даны эти часы, сам по себе может распоряжаться своей жизнью, своим временем. Хочешь — работай, хочешь — гуляй. Хочешь — на дудке играй, хочешь — погоду пинай. Все позволяют эти часы, пока завод в них не кончится.

Тогда старший брат спрашивает:

— А чем их заводить, товарищ великий волшебник Труд?

— Совестью! — ответил Труд и пошел другим раздавать счастливые часы.

Прицепили братья на цепочки свои часы и стали думать, как дальше жить в новой жизни, в которой все можно и все дозволено.

— А не гульнуть ли, — спросил сам себя старший брат, — чтобы пыль столбом, чтобы небу жарко было?

Спросил он так себя и пошел гулять, плясать, пиры пировать, на гармошке играть...

Второй потише был. Спать он любил. Поест, попьет — и на бок, а до этого велит счастливым часам головокружительные сны показывать.

А третий брат свои тайные думы держал в голове. Очень хотелось ему во всем первым быть. Умнее стать. Всех превзойти. Все науки изучить, на всех языках разговаривать, всякое искусство одолеть.

Время идет, счастливые часы тикают, не останавливаются, и каждый из братьев по-своему распоряжается своей жизнью, своим временем.

Мало ли, много ли прошло лет — никто не мерил. Настал день, пришла минута, когда остановились счастливые часы у старшего брата. Ни тпру ни ну им не помогает. Как умерли! Кончился пир горой, оборвалась пляска на том колене, на каком часы остановились, и гармонь стихла, будто ей голос перехватило.

И второй брат, не доглядев сладкого сна, проснулся. И тоже понял, что нечем ему свои счастливые часы завести. Всю совесть проспал.

А третий брат тем временем из всех ученых самым ученым стал. Не только все человеческие языки превзошел, но и с птицами запросто мог переговариваться. А уж насчет всяких искусств, то хоть на арфе, хоть в опере — все может. Поет и рисует. Из мрамора высекает, стихи сочиняет, как семечки щелкает. А...

А часы у него тоже остановились.

— Это как же так? Отчего, почему, по какому случаю, товарищ великий волшебник Труд? Я не спал, не гулял, как те двое. Денно и ночью трудился по совести!

— А по совести ли? — спросил его Труд. — Для кого ты науки изучил, искусства постиг? Кому ты этим пользу принес? Чье сердце согрел? Чьи глаза ими порадовал? Себя только тешил.

Опустил третий брат голову. Молчит. А что он сказать может, коли совести у него тоже не оказалось, что-бы ею счастливые часы завести.

Сошлись братья и задумались И было над чем.

Не зря же один мудрец сказал:

— Человек в труде познается, а в отдыхе раскрывается.

ПЯТЬ ЗЕРЕН

Случается на белом свете и так: рождается сказка, проживет среди людей и умрет. Или заснет. Спит год, другой... Сто лет спит. Двести спит. Спит до тех пор, пока ее не разбудит жизнь.

Именно так было и с этой сказкой. Она очень долго спала, и ее разбудили, затем переодели в новое платье, потому что старое, в котором она уснула, оказалось весьма обветшалым. Посмотрите, как эта разбуженная и переодетая сказка выглядит теперь.

Тсс... Она начинает сказываться...

Шел молдаванин Ион через русскую землю да и при-
томился. Заночевал у русского мужика Ивана. Хлебо-
солен был Иван, да беден. А для гостя ничего не пожа-
лел. Последний горшок молока на стол выставил. Из
последнего пятка яиц яичницу зажарил. Последнюю
свинку прирезал. На славу угостил. Наелся, напился
молдаванин Ион, выпался. Сил набрался, в дорогу со-
брался, прощаться начал:

— Добрый ты человек, Иван, великого ты народа
сын. Хоть и не богат я, а хочу вознаградить тебя, чтобы
ты меня не забыл и народ твой обо мне помнил.

Сказал так молдаванин Ион и вынул пять зерен. Вы-
нул и говорит:

— Это первое зерно за горшок молока. Пусть оно
у тебя никогда не переводится. Весной посеешь зерно,
по осени молоко вырастет.

Подавал Ион Ивану второе зерно:

— За яичницу это зерно. Посеешь его по весне, по
осени оно курицами заквохчет, гусями загогочет.

Подавал Ион Ивану третье зерно:

— Не пожалел ты для меня последней свинки. Пусть
у тебя из этого зерна стадо свиней вырастет.

Подавал Ион Ивану четвертое зерно:

— Не просил я у тебя шерстяные рукавички, ты сам
понял, что зимой худо мне без рукавиц придется. Пусть
это четвертое зерно овцами вырастет, шерстью обер-
нется.

Подавал Ион Ивану пятое зерно и сказал:

— А это, пятое, зерно самое главное. Памятное зер-
но. Что вырастет из него — своему народу раздай. На-
род век тебя не забудет, сказку про тебя сложит и меня
в этой сказке вспомнит.

Взял Иван зерна и спрашивает:

— Как называются эти всемогущие зерна, Ион, из
которых молоко, куры, гуси, свинки, овцы растут?

— Называются они в молдавской земле попушой.
А как в твоей земле их звать будут, не мне про то
знать.

Сказал так Ион, простился и в путь-дорогу отпра-
вился.

Минула осень, прошла зима, пришли красные дни
весны. Хорошо взрыхлил землю Иван и зерна посеял.
Посеял зерна и принялся ждать, когда они молоком

нальются, нестись начнут, свинками, овцами вырастут. Смеется народ:

— Слыхано ли дело, чтобы молоко в полеросло?

— Небывалое дело, чтобы зерно поросятами порослось.

— Как ты, Иван, мог поверить прохожему? В поле лен-конопля растет, а не овечья шерсть.

Молчит Иван, а с поля не уходит. Молочные, яичные, свинные, шерстяные всходы ждет.

Пришло время, проклюнулись ростки и так ходко в рост пошли, как ни одно дерево не росло. Могучие зеленя, высокие стебли. Сбежался народ — глазам не верит. По два, по три колоса на каждом стебле. Невиданные колосья — по хорошему огурцу. По пятьсот, по тысяче зерен в колосе. И каждый колос — на свой голос. Один коровушкой мычит, другой курицами квохчет, гусями гогочет, третий свинками хрюкает, четвертый овцами блеет, пятый для добрых людей семенным белояровым зерном зреет.

— Вот так попушой! Всемогуший попушой!

Много ли, мало ли лет прошло, зазеленели наши поля высоченным попушоем. Лесом стоит. Бором шумит. Народ веселит. Стал попушой кормить сочным листом коров, а коровы доить густым молоком. Вырастил попушой своим сытным зерном жирных свинок, кур, гусей. Едят попушой бараны и овцы. Густо обросли они мягкой шерстью.

Добрую сказку сложили про мужика Ивана, что вырастил на Руси всемогуший попушой, и молдаванина Иона хорошим словом за пять зерен вспомнили.

Далеко дошел всемогуший богатырь попушой. Во все края он, кормилец, шагнул. Только в наших краях попушой новое имя получил. Белояровой пшеницей его зовут, кукурузой называют. Вот какой теперь стала жить и сказываться старая сказка в новом платье.

СЕМЬ КОРОЛЕЙ И ОДНА КОРОЛЕВА

Некогда на свете жила до безумия злая и до ужаса страшная королева. Все это унаследовала она от своих предков: королей и королев, герцогов и герцогинь, царей и цариц, графов и графинь... Они из рода в род приближались все более и более к зверям в обращении со

своим народом. Они, обожая хищников, изображали свое могущество на фамильных гербах в виде львов, тигров, орлов, крокодилов, удавов, пантер и скорпионов. Королева, о которой идет речь, была живым олицетворением всех этих гербов и даже более того... Она была страшнее самого Страху и всех ведьм, какие только были в сказках.

Судите сами, какова эта королева, если на ее голове вместо волос росла кабанья щетина и она была вынуждена носить тяжелый шлем, крепко-накрепко пристегивая его ремнем к подбородку. Но и при этом, когда тигриное сердце королевы закипало гневом и щетина становилась дыбом, шлем приподымался на восемь, а иногда и десять дюймов над ее головой.

Налитые злобой ее глаза приводили всех в ужас, и она вынуждена была носить темные очки.

Так как вместо ногтей у нее росли львиные когти, ей ничего не оставалось, как носить перчатки из толстой лосиной кожи. Обычные лайковые оказывались недостаточно прочными: когти прорывали их тотчас, как только она выходила из себя. Лютая королева приводила в отчаяние бедный, трудолюбивый народ.

Между тем в королевстве находились люди, которым была нужна именно такая королева. Тут мы должны сказать о семи некоронованных королях, управлявших при посредстве коронованной королевы страной и народом.

В этом королевстве, в отличие от всех других королевств, все богатства принадлежали семи хозяевам, семи богачам, семи властелинам всех земель, всех лесов, всех рек, всех овец, всех ткацких и прядильных станков и всего, что растет, добывается и перерабатывается.

Эти семь некоронованных владык и были настоящими королями королевства, а коронованная королева была при них. Да, при них! Как топор при палаче! Как зубы при волчьей пасти! Как жало при змее! Как нож при разбойнике! Словом, страшная для всех, она была послушной и очень исполнительницей королевой при семи королях.

Они писали от имени королевы законы, объявляли ее устами войны, казнили, судили, миловали, — словом, делали все, что им было выгодно.

Королева отлично владела мечом, отсекая сразу по

семи голов. Она стреляла из мушкета без промаха и орудовала ножом, как морской разбойник.

Безоружную королеву боялись еще более. Она снимала перчатки, шлем и очки. Щетина на ее голове дыбилась так страшно, налитые кровью глаза сверкали так убийственно и когти вонзались в жертву так глубоко, что армия становилась в диспозицию «на караул», а двор падал ниц.

Народ этого королевства, умеющий только трудиться, не знал способа избавления от жестокости королевы и рабства семи королей и жил надеждами и молитвой. Но нашлась добрая волшебница. Да. Такая волшебница еще сумела уцелеть в этом жестоком королевстве!

И волшебница посоветовала приставить служанкой к королеве самую красивую, самую умную, самую сердечную, самую добродетельную девушку, уверяя, что она победит королеву.

Ничего не оставалось, как испытать это средство. Вскоре был произведен всенародный опрос, и выяснилось, что самая красивая, самая умная, самая сердечная и добродетельная девушка королевства не кто иная, как дочь одной прачки.

Когда девушку привели во дворец королевы, то все заметили, что во дворце стало светлее. Это светились солнечным светом золотистые волосы девушки. Никто и никогда не видел еще таких волос!

Как только девушка подняла веки, то все поняли, что в ее глазах голубое небо и тихое синее море оспаривают первенство по красоте. Вот тут и началось то, ради чего рассказывается эта сказка. Семь некоронованных королей сразу же поняли, что народ хочет смягчить нрав королевы, а это могло послужить причиной ослабления их власти, снижения их доходов. И они шепнули королеве:

— Ваше величество, народ нарочно подослал эту красавицу во дворец, чтобы умалить вашу красоту.

Сказанное достигло цели. И когда взбешенная королева стала снимать перчатки, готовясь вонзить свои когти в грудь девушки, чтобы вырвать ее сердце, девушка мягко заметила:

— Ваше величество, кто из придворных так запустил ваши ногти? Прикажите подать мне маленькие ножницы, и я тотчас же сделаю вам маникюр.

Королева опешила. Никто еще не разговаривал с нею так сердечно и просто. Она милостиво протянула сначала левую руку, а потом правую. Не прошло и десяти минут, как когти превратились в обычные ногти.

— Моя верноподданная служанка, сожги эти лосевые перчатки и принеси мне мои перстни.

— Погодите, ваше величество,— сказала девушка.— Перстни не подойдут к этому воинственному наряду. Нужно снять шлем.

Придворные пали ниц. Армия взяла «на караул». Потому что никто и никогда до сих пор не смел разговаривать с королевой таким образом.

А девушка, сказав так, сняла шлем и уверенно пригладила вздыбленную щетину на голове королевы. Щетина покорно легла под доброй рукой, покорно далась причесаться.

— Моя фрейлина,— сказала королева, обращаясь к девушке,— вели принести мою корону.

— О! Ваше величество,— возразила девушка.— Пойдет ли вам корона при темных очках?

Двор снова в испуге пал ниц. А девушка, сняв темные очки королевы, сказала:

— Ваше величество, попытайтесь доверчиво и доброжелательно взглянуть в мои глаза.

И королева сделала это. И снова свершилось удивительное. На белках пропала краснота. Глаза вернулись в свои орбиты. И в этом не было никакого волшебства! Девушка, как и многие люди, знала, что если долго смотреть хорошими, добрыми глазами в злые, то злые глаза обязательно подобреют. Именно этот простой способ и применила смелая девушка.

Так дочь прачки оказалась первой фрейлиной — подругой королевы и довольно влиятельным лицом при дворе.

В королевском дворце стали появляться простолюдины, ходоки из дальних графств и герцогств. Королева нередко выслушивала их, даруя им некоторые смягчения в податях, поборах и телесных наказаниях.

Все это озлобляло некоронованных королей, и они составили тайный заговор против юной фрейлины. Подослав к королеве привидение, они оболгали фрейлину и ее жениха-молотобойца.

Это была подлая и ужасная интрига. Она заключалась в том, что будто бы фрейлина хочет умертвить

королеву и, заняв ее трон, выйти замуж за молотобойца, сделав его первым канцлером королевства.

В королеве снова проснулось звериное. Ее волосы стали жестче, в глазах появились злые блики, начали расти когти. Она в ту же ночь тайно отправилась в королевский парк, где ее фрейлина встречалась с молотобойцем.

Королева, как рысь, взобралась на дерево и притаилась в его ветвях. Медленно тянулись минуты ожидания. Но вот мелькнула тень, а за ней другая. Королева услышала голос своей фрейлины.

— Милый,— говорила она молотобойцу,— я не знаю, что еще можно сделать, чтобы наша королева была добрее. Я не пожалела бы отдать ей свою жизнь, лишь бы лучше жилось нашему бедному народу.

Услыхав это, королева почувствовала, что ее ногти перестали расти, а глаза — наливаться кровью. Она стала слушать дальше.

— Милая,— сказал молотобоец,— отдай королеве свои золотые мягкие волосы... У кого мягкие волосы, тот не бывает злым.

— Милый, но не разлюбишь ли ты тогда меня?

— Милая! Разве твои волосы главное в тебе? Будь щедр! Народ не забудет этой услуги. Народ так давно мечтает о добром короле или о доброй королеве.

На другой день королева проснулась и не узнала себя. Нежные золотистые волосы ниспадали до пят с ее головы, и серые стены Северной башни золотились от их света.

В этот день были отпущены на свободу четыреста узников. В этот день на одну десятую уменьшены поборы и подати. В этот день королева появилась в своем дворце с непокрытой головой, а юная фрейлина впервые покрыла свою голову большим платком.

«Ну и что же,— решила фрейлина,— зато моему народу стало легче!»

Семь некоронованных королей скрежетали зубами.

Через неделю в Северной башне, где спала королева, снова появилось привидение. Оно снова оболгало юную фрейлину.

— Благодарю вас,— сказала королева привидению и снова отправилась в королевский парк.

И она снова услышала мужественный голос молотобойца:

— Милая, если ты хочешь счастья своему народу, обменяйся с королевой глазами. Она будет видеть жизнь твоими чистыми глазами.

Верная дочь народа не пожалела для королевы своих ясных, голубых и лучистых глаз. Она отдала королеве и нежный цвет своей кожи, покатошь плеч и тонкие, как ветви березы, руки.

Королева проснулась красавицей. Фрейлина проснулась... Ах, не будем говорить, какой она проснулась в это утро, обменявшись глазами, цветом кожи и покатошь плеч с королевой! Мать не узнала свою дочь, но не проронила ни слова, ни слезы. Потому что она тоже служила своему народу и тоже ничего не жалела для него, даже единственной дочери.

В это утро королева увидела мир другими глазами, глазами дочери прачки. Она увидела, что ее народ бос, наг и голоден. Она увидела, что из тридцати трех мер выращенного зерна народ получает только три меры; что из тридцати локтей и трех дюймов вытканного сукна народ получает только три дюйма; что из тридцати трех овец народ стрижет для себя только три овцы. И так всюду и везде тридцать частей присваивали некоронованные короли, а три отдавались народу, и то лишь потому, чтобы он не умер с голоду и не перестал работать.

Королева, видя все это, все же не могла понять несправедливости такого распределения благ, потому что она рассуждала как королева. В королевской голове были королевские мысли, которые не могли допустить иных отношений между теми, кто, трудясь, создает все богатства и кто присваивает их.

Теперь молотобойцу стало ясно, что королеве мало одних чистых глаз, ей нужны и светлые мысли. Потому что правильно увиденное нужно еще и правильно осмыслить. И молотобоец сказал невесте:

— Милая, отдай королеве свой светлый ум.

— Что ж, милый, пусть будет так. Пусть ты разлюбишь меня и я буду несчастна, зато станет счастливым мой народ,— сказала она, и ночью при помощи доброй волшебницы бедная девушка отдала королеве свои мысли.

Королева проснулась со светлой и мудрой головой. Она стала думать так же, как и ее народ.

Теперь можно было надеяться на решительные и ко-

ренные перемены в королевстве. Теперь можно было верить, что земля перейдет тем, кто пашет ее, что ткацкие станы будут принадлежать ткачам, а прялки — прядельщицам, рыба — рыбакам, леса — лесорубам, овцы — пастухам, а свобода — всем.

Теперь можно было предположить, что все созданное народом станет народным и на троне появится долгожданная народная королева, одинаково заботящаяся о косце и звездочете, о прачке и музыканте, о корабельщике и стихотворце.

Но... этого не случилось. Молотобоец просчитался. Он не знал, что высокие и благородные мысли королевы при ее черством и равнодушном сердце не могли воплотиться в жизнь. Они так и оставались высокими мыслями в ее голове.

— Королеве необходимо большое, горячее сердце! — воскликнул молотобоец.

Оставалось последнее, что было у дочери прачки.

— Если я отдам сердце королеве, — плача, говорила она молотобойцу, — то чем я буду любить тебя?

— Мы разделим с тобой пополам мое сердце. С нас хватит и одного. Зато у королевы будет лучшее из сердец нашего народа!

Девушка отдала королеве свое трепетное, любящее, доброе сердце, и вскоре на новом королевском троне, вырезанном из простого дерева деревенским столяром, появилась народная королева. Она появилась точь-в-точь той народной королевой, какой хотел видеть ее народ в своих волшебных сказках.

Ее золотые волосы были распущены и украшены всего лишь одной тонкой ниткой красного гаруса, а вместо короны красовался венок из темно-синих васильков, какие растут только во ржи.

На королеве было надето льняное платье, окрашенное искусным стариком красильщиком в цвет майского неба. Ее тонкие руки были обнажены. Даже самые красивые перчатки не смогли бы украсить их, так они были прекрасны. На ногах королевы красовались маленькие туфельки, сплетенные из ста лык липового луба. Вместо скипетра — жезла королевской власти — она держала в руках колосья пшеницы.

Вокруг королевы сидели народные министры. Это были ткачи, рудокопы, кузнецы, земледельцы, пастухи, рыбаки и лесорубы.

Народный канцлер и народные министры обсуждали новый закон, который отнимал у семи некоронованных королей присвоенные ими народные богатства и право порабощения.

В этот день народ хлынул на улицы городов и селений. Он прославлял ум и сердце народной королевы. Он слагал счастливые песни раскрепощенного труда. Но в тот же день во дворце раздался предательский выстрел... Сердце королевы перестало биться.

И народ снова оказался в ярме рабства семи некоронованных королей.

Народу было приказано забыть народную королеву, а историкам строго-настрого запрещено упоминать в своих историях о королеве, которой народ отдал свое сердце. Было велено считать все это еще одной несбыточной сказкой.

С тех пор народ перестал мечтать в своих сказках о добрых народных королевах или королях и никогда не отдавал им своего сердца...

Так закончил эту сказку старый моряк, гостивший в нашей стране.

Так ее закончу и я, потому что она кончилась и мне нечего добавить от себя. Да и можно ли что-то добавлять в чужие сказки? Их нужно слушать...

СКАЗКА О БОЛЬШОМ КОЛОКОЛЕ

Давно уже нет в живых того матроса, который кораблем в Англию прибыл и в городе Лондоне занедужил, а сказка о нем живет.

Остался русский матрос в городе Лондоне. В хорошую больницу его положили. Провианту, денег оставили: — Выздоровливай, дружба, и жди свой корабль!

Сказали так корабельные дружки и ушли обратным курсом в родную русскую землю.

Недолго болел матрос. Хорошими лекарствами его лечили. Микстур там, порошков, капель не жалели. Ну, да и жизнь свое взяла. Архангельских кровей парень — коренных поморских родителей сын. Такого разве болезнью сломишь!

Выписался матрос из больницы. Бушлатик почистил, пуговицы надраил. Ну, и остальным предметам одежды

жаркий утюг дал. В гавань отправился — земляков поискать.

— Нет здесь твоих земляков, — говорят ему в гавани. — Исландия третью неделю туманы гонит. Откуда русским парусам в Лондоне быть?

— Не беда, — говорит матрос. — Я глазастый. И на ваших кораблях землячков сышу.

Сказал так и на английский корабль ступил. Ноги о матик вытер, флагу честь отдал. Представился.

Англичанам это любо. Потому как морской порядок везде один.

— Смотри ты каков! По всей форме моряк. Только жалко, что земляков тебе на нашем королевском корабле не сыскать.

А матрос на это улыбается, ничего не говорит, к грот-мачте направляется.

«Зачем, — думают моряки, — ему наша грот-мачта понадобилась?»

А русский матрос подошел к ней, погладил ее рукой и говорит:

— Здорово, землячка, архангельская сосна!

Очнулась мачта, ожила. Будто от долгого сна проснулась. Мачтовым русским бором зашумела, янтарной смоляной слезой прослезилась:

— Здравствуй, земляк! Рассказывай, как дома дела. Переглянулись английские моряки:

— Смотри ты, какой глазастый! Землячку на нашем корабле сыскал.

А матрос тем временем с грот-мачтой задушевные разговоры разговаривает. Какие дома дела, рассказывает, мачту обнимает:

— Ах ты, милая моя, хорошая! Мачтовое ты чудодерево. Дух твой родной-лесной ветры не выдули. Гордость твою шторма не согнули.

Смотрят английские моряки — и борта корабля русскому матросу улыбаются, палуба под его ноги стелется. А он в них родной сердцу узор узнает, родные леса и рощи видит.

— Гляди ты, сколько у него земляков! На чужом корабле как дома, — шепчут про себя английские моряки. — И паруса к нему ластьются.

Ластьются к матросу льняные паруса, и конопельные корабельные канаты-швартовы у его ног извиваются, как к родному льнут.

— А паруса-то к тебе зачем ластятся? — спрашивает капитан. — Они-то ведь в нашем городе Лондоне вытканы.

— Это так, — отвечает матрос. — Только до этого-то они льном-долгунцом на псковской земле росли. Как мне не приголубить их! Да и те же канаты взять. И они ведь у нас четырех-пятиаршинной коноплей уродились. Поэтому и к вам пожаловали.

Говорит так матрос, а сам на якоря косится, на пушки поглядывает. В те годы наше железо, наша медь, наш чугун с Уральских гор ходко шли в Швецию, в Норвегию, в Англию.

— Ну до чего ж я в хорошую компанию попал! — радуется матрос.

— Ах, какой ты глазастый, русский матрос! Везде свое родное разглядеть можешь. Дорого, видно, тебе оно.

— Дорого, — ответил матрос и принялся такое про наши края рассказывать, что зыбь на море стихла, чайки на воду сели.

Вся команда заслушалась.

А в это время на главной лондонской колокольне часы отбивать стали. В большой колокол ударили. Далеко его бархатный звон над полями, лесами, реками поплыл и по-над морем пошел.

Слушает этот звон русский моряк, не наслушается. Даже глаза закрыл. А звон дальше и дальше разносится, на низкой, отлогой волне укачивает. Нет равного ему голоса на всех колокольнях старой Англии. Старик остановится, вздохнет, девица улыбнется, дитя стихнет, когда этот большой колокол зазвонит.

Молчат на корабле, слушают. Любо им, что русскому матросу звон ихнего колокола по душе пришелся.

Тут моряки, смеясь, спрашивают матроса:

— Не земляка ли опять ты в колоколе признал?

А матрос им в ответ:

— Не могу твердо сказать, а голос у колокола знакомый. С московским выговором, с русской протяжностью.

Удивился английский капитан, как это русский матрос свое родное не только видеть, но и слышать может. Удивился, а про колокол ничего не сказал, хотя он и доподлинно знал, что этот колокол русские мастера в Московии для Англии отливали и русские кузнецы ладный ему язык выковали.

Промолчал корабельный капитан. А по какой причине промолчал, про то сказка молчит. И я помолчу.

А что касается большого колокола на самой большой, Вестминстерской, колокольне старой Англии, так он и по сей день русским кованым языком английские часы отбивает. Бархатно отбивает, с московским выговором.

Не всем, конечно, его звон по душам да по ушам, только теперь уж ничего сделать нельзя. Не снимать же колокол! А сними — так он еще громче в людской молве благовестить начнет. Пускай уж висит, как висел, да с московскими кремлевскими братьями-колоколами перезванивается, да толкует о голубом небе, о тихой воде, о солнечных днях... О дружбе.

КОРОЛЕВА БУЛЬ-БУЛЬ

Как вам известно, бутылки приходят в мир хрупкими, голыми и пустыми созданиями...

У всякой бутылки есть горлышко, шейка и чаще всего покатые плечи, но нет головы.

Голову бутылке обычно заменяет пробка. А так как пробка, по общему признанию, глупа, то думать ею затруднительно. Потому бутылки очень редко защищают диссертации на ученые степени и еще реже занимают придворные посты, хотя и способствуют иногда другим в занятии таковых.

Бутылки безвольны и легкомысленны. Они могут быть заполнены чем угодно. Вот почему применяют их для самых различных целей в столовых, молочных, королевских дворцах, керосиновых лавках, аптеках, аналитических лабораториях и в морских приключенческих повестях для почтовых операций.

Вот и все, что нам необходимо знать о месте и роли бутылки в обществе. Сейчас мы вполне можем перейти к описанию частной жизни одной Бутылки.

Она была выдута в год коронавания Сильванера XII, получившего впоследствии прозвище Пьяный. Великое Виноградное Королевство, на трон которого возводился Сильванер XII, было настолько миниатюрно, что меридиан, проходивший через его владения, полностью закрывал их. И только на некоторых географических картах, где меридианы наносятся тонкими линиями, можно

под одним из них различить восточные и западные очертания границ Великого Виноградного Королевства. Картографы никогда не обозначают на картах названия Великого Виноградного Королевства, даже сокращенно. Так как всего лишь одна, самая маленькая буква не только бы покрыла всю территорию королевства, но и вторглась бы во владения соседних стран. И это повлекло бы за собой дипломатические осложнения, а может быть, и войну.

Однако не все, что выглядит микроскопическим или никак не выглядит на географической карте, мало на самом деле. Если взять самую большую географическую карту и положить ее на землю этого королевства, то она едва ли бы покрыла и половину его виноградников. Именно этот пример был приведен первым министром как доказательство провозглашения королевства Великим.

Но не будем отвлекаться...

После того как выдутая Бутылка остыла, королевский браковщик сразу предначертал ей блестящую карьеру. Он написал мелом на ее донышке всего лишь три буквы: К. И. В. Так сокращенно обозначалось Королевское Игристое Вино.

Многие остывшие и еще не остывшие бутылки посмотрели на счастливицу с завистью. И это естественно. Какой из бутылок не хотелось опьянить короля, чтобы потом всю жизнь хвалиться своими успехами!

Бутылка-избранница вскоре была заполнена искристым, игристым вином. Затем ее заткнули большой и очень красивой пробкой, напоминающей голову первой статс-дамы двора его величества не только по форме, но и по существу.

Далее на Бутылку было наклеено самое главное — ярлык, по которому надлежало ценить оклеенное.

Когда все это было сделано, в пробку ввинтили шуруп, шляпкой которому служила маленькая копия королевской короны, вычеканенная из латуни.

Вот тут и началось то, что называется страшной из душевных болезней... Но не будем отвлекаться и забежать вперед.

Теперь оставалось обернуть Бутылку розовой мантией из гофрированной бумаги, перевязать ее малой королевской лентой и подать на королевском подносе к коронационному столу.

Коронованная Бутылка заняла центральное место стола, напротив короля и королевы. Королева не понравилась Бутылке с первого взгляда. Она была слишком плоска, а ее плечи недостаточно покаты. И Бутылке, ослепленной общим вниманием, показалось, что она тоже могла бы стать королевой, тем более что король Сильванер XII бросал на нее взгляды, полные восхищения.

— Какая прелесть! Я не видел ничего подобного! Очаровательнейшее создание! Как много заключено в тебе солнечной радости и веселья!

Сказав так, подвыпивший король поцеловал Бутылку. В ответ на это раздались громкие рукоплескания виноторговцев и владельцев виноградников.

— Ну, милая моя,— обратился затем Сильванер XII к Бутылке,— сейчас я окажу тебе мое королевское внимание.

Не мешкая долго, король сорвал с нее серебряную шаль, затем открутил проволочку и принялся привычным движением выкручивать пробку.

Хлоп! И пробка полетела в потолок. И вот королевское вино разлито по бокалам. Пустую обезглавленную Бутылку унесли на королевскую кухню до того, как произнесли тост в честь короля.

Пустая и безголовая Бутылка провалялась до рассвета. А на рассвете, когда закончился коронационный пир, королевский повар подобрал Бутылку.

— Как-никак это королевская Бутылка. Нельзя такую Бутылку выбрасывать в мусорную яму. В ней можно держать оливковое масло.

И вот Бутылка снова оказалась заполненной и заткнутой пробкой с ввинченной в нее короной. Правда, теперь она находилась всего лишь в шкафу повара, но это не охладило ее дерзких намерений. Опьяненная недавним успехом во дворце, она высказывала недовольство двором Сильванера XII. Веря в свое высокое призвание, она стала вербовать заговорщиков. Бутылка обещала королевские милости доверчивым пивным кружкам, круглым дурам — тарелкам, овальным простакам — рыбным блюдам и прочей опальной посуде, населявшей шкаф повара.

А посуда была опальной и обиженной. Ее удалили из королевского дворца за некомплектность.

Бутылка бросала слова в дружественную ей почву.

Она говорила о возвращении во дворец некомплектной посуды. Она говорила так убежденно, что все ощущали трепет королевских комплектных сервизов, угодливый звон вельможных бокалов, статс-рюмок и флигель-лафитников. Ее болезненное самовнушение доходило до такого накала, что все, даже молчаливый глиняный графин, присягнули сумасшедшей мятежнице.

Беспочвенные мечты и действительные возможности всегда напоминают собою беспечно поющего комара, которого проглатывает жаба. Примерно так и случилось...

Однажды жена повара позабыла заткнуть Бутылку с остатками оливкового масла. В открытую Бутылку напозли тараканы и налетели мухи. Бутылка стала их кладбищем.

— Какая гадость! — воскликнула жена повара. — Куда теперь годна эта опоганенная Бутылка?

Сказав так, она хотела выбросить ее в мусорную яму. Но, подумав, решила приспособить Бутылку для керосина.

Вскоре Бутылка с керосином оказалась в обществе половой щетки, кухонного совка и помойного ведра.

Униженное положение и легкомыслие всегда бывают отличной средой, порождающей несбыточные надежды. Ими-то и продолжала жить Бутылка.

— Вы еще услышите обо мне, — твердила Бутылка. — И как знать, может быть, тебе, половая щетка, предстоит честь расчистить мне путь к трону. А тебе, совок, собрать окружающий меня мусор в это помойное ведро, которое я могу назначить министром виноделия или королевским прокурором.

Половой щетке и помойному ведру очень хотелось участвовать в дерзком путче. И они верили в такую возможность, тем более что на их веку подобные субъекты производили дворцовые перевороты и становились лидерами партий, вершителями судеб различных стран, куда более обширных, нежели Виноградное Королевство.

По их мнению, Бутылка, наполненная керосином, могла пролить свое содержимое, а коробка спичек, примкнувшая к заговору, — поджечь пролитое. Разве это не правдоподобно? Разве история не знает примеров, когда захват власти начинался с пожара?

Но Бутылке не повезло. В продаже появились удобные и вместительные бидоны для керосина. Бутылку

выбросили в мусорную яму. Оказавшись там, Бутылка могла бы послужить художникам-графикам отличной натурой для аллегорической иллюстрации некоторых страниц всеобщей истории, но появился мусорщик.

— Ого! Да она еще целая. Ее можно продать обознику.

Облитая дегтем и дочерна измазанная Бутылка раскачивалась под телегой обозника до тех пор, пока не перетерлась веревочка, на которой она была подвешена. Бутылка оказалась на дороге, а затем в канаве. Ее отшвырнул туда подметальщик. Никто не знает, сколько времени она провалялась в канаве.

Пробка ее сгнила, деготь вытек, ярлыки отмокли. Пустая и голая, она располагала теперь достаточным временем для размышлений, воспоминаний и вздохов. Она, разумеется, не мечтала более о блеске дворца и королевском троне. Но разве жизнь бутылок зависит от них? И ничего удивительного нет в том, что однажды... Впрочем, об этом нужно рассказывать подробнее.

Лежа в канаве или движимая потоком, Бутылка часто рассказывала своим новым знакомым о злключениях ее жизни. Ее охотно слушали населявшие канаву жабы, крапива, старые консервные банки и коробки от сигарет, сметенные туда подметальщиком.

Однажды историю жизни Бутылки услышала любопытнейшая из сорок Виноградного Королевства. И когда Бутылка окончила свой рассказ восклицанием: «Как трудно быть пустой и легкомысленной бутылкой!» — сорока заметила:

— Разве можно считать пустой и легкомысленной ту, которая так полна сознанием своей пустоты и легкомыслия? И коли в тебе появились такие качества, ты можешь стать королевой.

Бутылка горько усмехнулась. Она не знала, что сорока была вовсе не сорокой, а женой первого министра короля. Она не знала, что некогда молодая королева давно умерла, а король беспробудно пил. Она не знала, что придворные короля разбились на множество враждующих партий и каждая провозглашала своего короля.

Первый министр был самым хитрым человеком при дворе. Вот он-то по совету жены и предложил провозгласить королевой Бутылку.

Это всем очень понравилось. Потому что все отчетливо представляли особенности, свойственные только

бутылке. Она безголова и пуста. Ее можно было наполнить чем угодно и менять пробки в зависимости от внутренней и внешней политики.

— Но у нее же нет рук и ног,— усомнился кто-то из придворных.

— А кто же об этом будет знать? — возразил первый министр.— Да и зачем королеве руки, когда горностаевая королевская мантия шьется без рукавов. А что касается ног, то кому придет в голову проверять, есть ли под мантией у королевы ноги.

— Да, да,— согласились придворные и решили женить Сильванера Пьяного на Бутылке, назвав ее звучным именем Буль-Буль.

Бутылка довольно устойчиво была поставлена на королевской трон. И после смерти короля стала настоящей королевой. И никому из слуг, послов и тем более простолюдинов не приходило в голову, что на королевском троне сидит Бутылка, которую в зависимости от политической обстановки заполняли то скипидаром, то благовонным елеем, то кофейной гущей.

Королева Буль-Буль, прозванная мудрой, очень долго была удобнейшей из королей Великого Виноградного Королевства. Она занимала бы королевский трон и по сие время, если бы не ее природная хрупкость.

Когда в стране начались волнения виноградарей, королеву Бутылку заполнили для устрашения слишком крутым кипятком. Она, не выдержав высокой температуры, треснула и потекла.

Это послужило признаком дрогнувшей королевской власти. Волнения перешли в восстания. Виноградное Королевство было объявлено Виноградской Республикой...

Но тут начинается другая сказка, о том, как в президенты республики был подсунут господин Громкоговоритель, послушно и громко говоривший все то, что передавали радиостанции, принадлежавшие тем, кто провозгласил в свое время королевой Бутылку.

Президент Громкоговоритель оказался удобнее королевы Буль-Буль. Та молчала, а этот произносил грозные речи, держа виноградарей Виноградской Республики в постоянном напряжении.

Но если вы думаете, что так кончилась жизнь треснувшей бутылки, то вы заблуждаетесь.

Бутылку переправили вместе с глиняным графином в нейтральную державу, где она, получив убежище, бы-

ла заполнена порохом, так как в треснувшую бутылку нельзя уже было наливать жидкие тела, а можно только насыпать тела сыпучие.

Экс-королева Буль-Буль по сей день не теряет надежды вернуть трон при помощи грубой силы.

...На этом пока прерывается жизнеописание одной бутылки, которое, как и все подобные истории, закончит история, о чем вы узнаете в свое время из газет.

НЕКРАСИВАЯ ЕЛКА

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски.

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешептывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чем они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Ее голос, звенящий одиннадцатью тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Береза. А Елка наоборот. Елка была на редкость молчалива и задумчива. Она, в отличие от своих стройных и красивых сестер, росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой: однобокой и кривой.

Елку не любили ее лесные братья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу — по внешности. По одежке. По красоте ветвей и строению кроны. А Елка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюбленного Ясения, молодого красавца Клена и Березы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Елку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со свдими тетрадами и писал сказки или задумчиво мечтал.

Почему он предпочитал именно ее тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Елка, одинок, некрасив и долговяз. Клен находил, будто Елка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Береза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба. Им казалось, что уже все кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи и увезен из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пенек, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зеленого богатыря, трехсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня.

Но слезы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их увозят из леса.

— Господа,— сказал он по-датски, обращаясь к деревьям,— не угодно ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

— Никому из вас, как, впрочем, и мне,— начал Сказочник,— не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньем.

Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживет еще сотни и сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, овладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковер мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спеленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

— Так ли уж это плохо, господа? — сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских островах... Стал рассказывать, как одна Осина стала тридцатью тремя корытами.

— Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, — сказал он, — все же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.

— Это верно, — заметила слегка обиженная Осина, — превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, дровами, — повторила она, покосившись на некрасивую Елку и окидывая ее неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюбленный Ясень спросил Сказочника:

— А почему бы вам не рассказать об еловых дровах?

— Вот именно, — поддержал надменный Клен. — Это бы вселило радужные надежды нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Елку. Он любил ее. Он жалел ее. Но правда выше любви и жалости.

— Господа, — тихо сказал Сказочник, — разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить металл.

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что все-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

— Хотя, — усмехнулась Береза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли, посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали.

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

— Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах. Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Елка! Как знать, может быть, все будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Елкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и Возраст — сделали свое дело.

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел... хотя нам от него было тепло и радостно, все же он сгорел, как сгорают дрова.

— Вот именно, — подтвердил Клен, ставший еще выше и надменнее. — Если выражаться образно, то он был среди людей не более чем некрасивая Елка. То ли дело мы! Мы — ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в спальню королевы, и в трон короля.

Елка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по ее шершавой коре. Елка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне. Поэтому Елка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не приходил. Зато пришли лесорубы. Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило свое назначение. У поваленной Сосны обрубili ветки и верхушку, затем доставили ее на корабельную верфь. Она будет мачтой.

Ясень, Клен и Береза были отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Елки. Ее распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, — подумала Елка, — я стала дровами. Теперь мне только остается сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Елка забыла слова Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба».

Судьба Елки повернулась самым неожиданным образом. Елка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать

нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление.

Мало ли куда идет бумага... Но не будем, однако, строить предположения. Все оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое пылкое воображение.

Елку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились отпечатанные блестящей черной краской дорогие ее сердцу слова...

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в горящем лесу.

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Елка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника.

Он появился на первой странице — отпечатанный великолепными портретными красками.

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок.

Искусные руки переплетчика одели книгу в нарядную одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На нее можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролет. Ее бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали светлое.

Вскоре Елка, став книгой, очутилась на серебристой березовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки. Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюбленным, каким рос в сказочном горящем лесу. Ясневый шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

— Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живет во мне?

— Да, — ответил Кленовый стол, — Какие мы благородные деревья!

— Как бы позавидовала нам та некрасивая Елка, — обрадовалась Березовая полка, — как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живем мы теперь в соседстве! Что ты скажешь на это, старый Дуб? — обратилась Березовая полка к Резному потолку.

Мудрый Резной потолок хитро усмехнулся с высо-

ты своими замысловатыми узорами и застыл в своей изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, все понял.

Теперь у Елки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клена, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. Но она ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая елка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Даже на тех, которые пока еще не имеют букв и грамматики. Она сумела бы их отчитать и на этих языках...

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и все.

ПРО СИЛУ И ПРАВДУ

Эту быль-небыль речистая старуха с Высокой горы своим внучатам так пересказывала.

У нашей матери Земли, кроме всех прочих, две дочери на большой славе были. Сила да Правда. Попервости сестры промеж себя и промеж людей мирно жили. А потом, когда люди начали делиться на бедных и богатых, когда они стали друг дружке на заговор сажаться да один на другом ездить задумали, у сестер тоже все поврозь пошло. Одна с одними осталась, другая к другим в услужение перешла.

Правда говорит:

— Где горе, где муки, там и я. С бедными. С обездоленными. Они в труде живут, весь свет кормят, а сами из чужих рук на свой кусок хлеба глядят. На других спину гнут. Я им нужнее.

— А я,— говорит Сила,— там, где мне дело есть. Народ ли какой покорить. Своих ли на колени поставить. Царю ли, хану ли подмога нужна — там и я. Мое дело ратное. Булатное. Огнестрельное. Всех могу полонить, в бараний рог скрутить.

И скручивала. На то и Сила. Служила иродам. Помогала им все к своим рукам прибирать. И землю и лес. И моря и реки. Все движимое и недвижимое.

Власть и закон. Дворцы-палаты. Города-села. Руки только народные не тронула — трудовому люду оставила. Чтобы ему было чем сеять-пахать, прясть-ткать, руду добывать, железо ковать — на богатеев работать.

Живет народ с Правдой — горе мыкает. Держит богаты при себе Силу на цепи, как лютого пса, и хоть бы что. Работой народ гнетет — все сходит. Чуть где Правда свой голос подымет — Силу в дело пускают. Костры, стрельба, виселица. Тюрьма-каторга. Кандалы.

Сила города выжигала. Племена полонила. Миром верховодила. Только Правду извести не могла. Вечная она. Неумирающая. Не зря народ говорит: правда в огне не горит, в воде не тонет. Не одну, не две тысячи лет Сила Правду терзала. Властвовала. Да сдавать начала. Народ — правдолюб, правдоборец — морем заволновался. Крутой волной пошел. Того гляди, всех насильников смое, мироедов погрсбет, богатеев захлестнет.

Завопили демоны. Забегали ироды. Зашевелились.

Коли Сила не берет, уловку искать надо. Богаты с лисой — что брат с сестрой. Не одну сотню хитростей знает. Черным разумом живет.

Вспомнили рабители, что Сила да Правда одной матери дочери. Похожи одна на другую, если сыздаля глядеть. Живехонько Силу под Правду подмазали, припудрили. Тонкую бровь навели, в девичье платье обрядили. Букет васильков в руки сунули, язык подковали. Утончили. И давай врать.

— Вот она, Правда-то где, трудовой народ! С нами она! Вы что? На кого руку подняли? На нее?

Народ малость стих. Силу за Правду принял. А она стоит рука об руку с демонами, как праведница. Утоненным голосом всякие сладкие слова выглаголивает.

Народ хоть и един был, да не одинаков. Нашлись подслепые. Не разобрали что к чему. А сердцем глухие и душой слабые на мировую стали звать. Дескать:

— И мироед нам сосед. В одном царстве-государстве живем. Одним солнышком греемся.

А трусливый десяток свои мудрости выискал:

— Лучше поработенными жити, нежели убиенными быти.

А те, что вовсе темные, руки к небу воздели:

— Братие, усмиритесь! В ноги ей поклонитесь!

Опять Сила над Правдой верх взяла, да недолго верховодила. Умнеть люди стали. Поняли что к чему.

— Вперед! — протрубил народ.

Протрубил и пошел на решительный бой. А с ним — Правда. Смелая. Гневная. Во весь рост идет, выше небес. Шире Земли-матери. Грозная поступь. Железный шаг. Дрогнули демоны. Затряслись ироды.

Побежали пугливыми крысами... Поскакали трусливыми лисами... Поползли ползучими гадами... Кто убер, кто замертво лег, кто на колени пал — пощады просит.

Правда строга, да милостива. Всех по совести рассудила. И Сила к ней на поклон пришла.

— Прости меня, великая сестрица, народная царица. Служить тебе буду. Поняла я теперь, что Сила без Правды гибель людям несет. И Правда без Силы неохранимой живет.

Призадумалась Правда, а потом у народа спросила. Посоветовалась. И народ сказал:

— Толково Сила говорит. Если она отныне будет Правде служить да людям помогать, лучше тогда жить будем.

Сказал так народ и велел Силе за дело приниматься.

Сняла с себя Сила ратный убор и в дальний сундук его положила. На дно. Мало ли... Присягнула Сила народу и Правде верно служить, себя не щадить, потом в рабочую одежду облокалась и за дело принялась.

Задымили заводы. Запылали домны. Полились огневые железные реки. Заколосилась густая, высокая рожь. Где одну десятину пахали — семь подняли.

День ото дня Сила растет, а за народом не успевает. Рудокоп-землекоп Силу требует. Нелегко лопатой да ломом горы ворочать, руду добывать. Одни наши тагильские домны невесть сколько руды просят. А уж про все другие и говорить нечего.

Порешил народ Силу наращивать. От других чтобы не отставать. Перегородил народ могучие реки. Воду поднял. Силу удесятирил. Выучил он ее по проволоке ходить. Колеса вертеть заставил. Землю копать приспособил. Вагоны возить пристроил.

Пашет теперь Сила. Молотит. Ткет. Медь плавит. Сталь варит. Дома строит, дороги проводит. Лампочкой в доме горит. Родную сестру Правду от злого глаза бережет. Труд веселит, со Счастьем его братает.

Так вот и зажили на нашей земле в миру да в ладу Правда и Сила. Одна для другой, и обе для всех. Для тебя, для меня. Для каждого.

Для народа-труженика.



КТО МЕЛЕТ МУКУ

Жил в мельничном ларе мучной червь Дармоед. Наелся он как-то свежей муки, выполз на край ларя, зевнул и спросил:

— А кто мелет муку?

— Как это — кто? — проскрежетал жернов. — Я!

— Нет, я, — проскрипела на это деревянная рабочая шестерня. — Я кручу ось, на который ты, жернов, сидишь. Значит, я и мелю муку.

— Это еще что? — заспорил главный вал мельницы. — На ком ты надета, шестерня? Не на мне ли? Не я ли мелю муку?

Тут мельничные крылья не утерпели и засвистели на ветру:

— Мы, крылья, всех вас вертим, крутим и двигаем! Значит, мы и мелем муку.

Услыхал это ветер и сильно разгневался. Рванул он дверь мельницы, выдул прочь мучного червя Дармоеда и так задул, что только крылья у мельницы замелькали.

От этого главный вал, деревянная шестерня и жернов заработали-завертелись быстрее. Веселее пошел помол муки.

— Поняли вы теперь, кто мелет муку?

— Поняли, батюшка ветер, поняли! — ответили все.

— Ой ли? — ухмыльнулся мельник. — Не всем дано понимать, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды, кто строит все мельницы на земле.

Сказал так мельник и повернул главный ветровой рычаг. Остановилась работа на мельнице. Все замерли. И жернов, и вал, и шестерни. Потом смазал мель-

ник скрипучие места, засыпал нового зерна, выгреб смолотую муку и опять пустил мельницу.

Плавно заработали крылья. Молча завертелись главный вал и рабочая шестерня. Без болтовни, без пустого скрипа.

— Так-то оно лучше,— молвил старый мельник.

Запер на замок мельницу, пригрозил ветру пальцем: «Смотри у меня, мели!» — и пошел обедать да эту самую сказку своим внучатам рассказывать, чтобы они знали, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды, все мельницы на земле.

ПРОПАВШИЕ НИТКИ

Жила-была сварливая старуха. К тому же неряха. Стала как-то она шить. А у неряхи все нитки спутаны.

Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга да и крикнула:

— Пропадите вы пропадом! Чтобы глаза мои не видели вас со всем вашим нитяным отродьем!

А нитки возьми да и пропади со всем своим нитяным отродьем: кофтами, юбками, платьями и бельем. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось.

Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу:

— Батюшки-матушки, где же моя одежда?

Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть. А тулуп по овчинам на куски распался. Потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты.

Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из ниток тканые. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков. Ничего нитяного не стало.

Накинула старуха на себя рогожный куль да и давай у ниток прощения просить:

— Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки хлопковые, ниточки шелковые! Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. Вернитесь в мою избу.

И так-то жалобно старуха голосит-причитает, просит, что даже нитки, испокон веков молчальницы, и те заговорили:

— Назови,— говорят нитки,— половину того, что

из нас, ниток, ткется, плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим.

— Только-то и всего? — обрадовалась старуха. — Мигнуть не успеете, назову.

И принялась старуха называть. Назвала десяток-другой нитяных изделий-рукоделий да и осеклась.

Не всякий, кто круто берет, далеко идет. Спотыкается. Останавливается. Отдыхает.

Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. День вспоминает, два вспоминает — десятой доли не вспомнила.

Шелка, бархата, сукна, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяла, скатерти. Платки, шали, шарфы, ленточки разные...

Отдохнет и опять вспоминать примется: пояски, опояски, к ботинкам завязки, сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторы, плетеные оборки, сети-мережи и косынки тоже...

Месяц проходит, другой начинается. А нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может.

Соседи старуху жалеть начали, подсказывают.

Сороки и те, как только выведают, где что новое из ниток делают, — старухе перестрекочут. Также жалуют. И вы ее пожалейте. Может быть, тоже десяток-другой нитяных поделок назовете.

Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без них не обходится.

ПРО ТОРОПЛИВУЮ КУНИЦУ И ТЕРПЕЛИВУЮ СИНИЦУ

Стала торопливая Куница шелковый сарафан к лету кроить. Тяп-ляп! Весь шелк искромсала — изрезала в лоскутки. И не то что сарафан — платка из этих лоскутков нельзя сшить.

Стала терпеливая Синица из холстины фартук кроить. Тут прикинет, там смекнет, сюда подвинет, туда подвернет. Все она сообразила. Все высчитала, все вычертила, потом за ножницы взялась. Хороший фартук получился. Ни одного лоскутка не пропало даром.

- Диву далась Куница. На фартукглядит — завидует:
— Где ты кройке-шитью училась, Сипица? У кого?
— Бабушка меня шитью выучила.
— А как она учила тебя?
— Да очень просто. Пять волшебных слов велела запомнить.
— Каких?
— «Семь раз отмерь — один отрежь».

ТАРАКАНИЙ ОХОТНИК

Егорушка проводил последнюю перед школой зиму в старом доме у дедушки с бабушкой в большом селе. Дел у Егорушки было хоть отбавляй. И деду нужно помочь на конном дворе, и с бабушкой нужно на птичьей ферме побывать. А тут еще сани, лыжи, снежная хижина... Да и сорок тоже кто-то должен на всякий случай палкой пугнуть, и дорожку в дровяник нельзя запускать. Занесет ее снегом, и не доберешься. А больше всего приходилось воевать с тараканами.

— Откуда это они, — удивлялась бабушка. — Лет десять их не было, а теперь хоть из дому уходи.

И гусиным-то крылышком сметала их бабушка в ведро с водой, и кипятком-то шпарила, и морила чем следует, а они наползали опять.

— Да что это за наказание такое, — жаловалась бабушка. — На всех управа находится: на мышей — кошки, на комаров — лягушки, на змей — ежи, а на них нет охотника.

— Нет, есть, — сказал дед и подмигнул внуку.

Подмигнул дед внуку и пообещал тараканьего охотника на этой же неделе в дом поселить.

— Кто это? Как его звать? — допытывался Егорушка.

— Как придет, сам себя назовет, — отшучивался дед. — А теперь давай домишко для охотника сооружать.

Сказал так дед и принялся сколачивать маленькую скворешенку. Подвесил он скворешенку на стену под потолок и в подпол полез.

Добыл дед из подпола проволочную мышеловку и сказал:

— Теперь, Егор Сергеевич, давай на охотника охотиться.

«Неужели мышь — тараканий охотник? — подумал Егорушка. — Но как она под потолком в скворешенке будет жить?»

А дед тем временем насторожил мышеловку и приманку на крючок подвесил — сало. А потом велел Егорушке поставить мышеловку во дворе на столбик возле черемухи и караулить из окна.

Как сказано, так и было сделано.

Долго Егорушка дежурил у окна. Даже устал. И вдруг смотрит: птичка прилетела. Желтенькая с черненькой головкой и белыми щечками. Он сразу узнал ее. Это была Большая синица.

«Неужели это и есть тараканий охотник? — удивился Егорушка. — Но как птица может попасть в мышеловку?» А синица, учуяв сало, всячески старалась проникнуть к нему.

Вернулся дедушка, а синица все еще крутилась возле мышеловки, ища вход. И наконец она нашла его. Прыг в ловушку. Хват за сало. Крышка мышеловки захлопнулась.

Ура!

Дед с внуком побежали за синицей.

— Теперь давай приручать охотника, — сказал дед и прикрыл мышеловку платком. Птица утихла и перестала биться.

Часа через два, когда уже смеркалось, дед добыл синицу и сунул ее в скворешенку.

— Пусть теперь там обседит, — сказал он.

Синица притаилась в скворешенке. Как сгнула.

Прошла ночь. Егорушка поднялся вместе с дедом.

— Теперь давай, Егор Сергеевич, учить охоте тараканьего охотника, — объявил дед. — Хотя это и не обязательно, а все же для порядка не помешает.

Были пойманы штук пять тараканов и брошены в скворешенку. Послышалось «тук-тук»!

— Ага! — Дед подмигнул внуку. — Проголодался охотник.

Егорушка не спускал глаз со скворешенки. Он увидел, как два таракана выползли из нее.

— Упустил охотник добычу, — сказал дед.

Да этого не случилось. Птица высунулась в отверстие скворешенки и увидела убегающего таракана. Раз-

дался охотничий клич. Взмах крыльев. Таракан был настигнут и проглочен. Синица снова скрылась в скворешенке. Все это произошло так быстро, что Егорушка не успел разглядеть охоты.

— Вот это да,— радовался он.— Вот это тараканий охотник!

Большая синица — пугливая птица, но она скоро привыкает к людям. Не прошло и двух дней, как тараканий охотник орудовал у бабушки на кухне. А через неделю тараканы исчезли. Редко-редко какой захудалый тараканишка выползет из щели, но вскоре и эти редкие удачи оставили тараканьего охотника.

Синица стала промышлять разбоем. Стоит сливочное масло на столе... Улучит синица минуточку... Кинется камнем на стол... Отсечет, как топориком, своим клювом кусочек масла и в скворешенку.

— Пора, видно, нам расставаться с охотником. Мусору много от него,— как-то сказала бабушка,

Егорушке не очень хотелось отпускать синицу, но пришлось. Птице полагается жить на воле.

Выпустили тараканьего охотника. Поскучали без него денек-другой, а потом забыли. Но однажды раздался стук в замороженное стекло кухонного окна. Это была Большая синица.

Бабушка даже чашку уронила от радости.

— Придется, Егорушка, форточку открыть. На улице стужа, и, видно, нашему тараканьему охотнику придется худо.

Егорушка открыл форточку. Синица с громким кличем влетела в знакомую кухню.

— Живи давай, живи до тепла, тараканий охотник,— сказала бабушка.— Ты нам помог, и мы поможем тебе за твои труды.

Тараканий охотник прожил до весны, а потом улетел и больше не возвращался.

МАТЬ-МАЧЕХА

Снесла непутевая Кукушка три яйца. Одно — в иволгино гнездо, другое — в желнино, третье — в щеглиное. Снесла беззаботная мать и улетела в веселые леса куковать, годы предсказывать, людям голову морочить, свою душеньку тешить. Летала она так, куко-

вала да и о детях вспомнила, что в чужих гнездах росли.

— Пора мне их под свое крыло взять,— сказала Кукушка.— То-то обрадуются детушки родимой матушке.

Прилетела Кукушка к иволгиному гнезду, а ее кукушонок и не взглянул на мать. Иволгу матерью называет. Из ее клюва кормится, на ее голос откликается.

— Вон ты каков, неблагодарный! Из моего яйца проклюнулся, а меня и узнать не захотел,— сказала в сердцах Кукушка и полетела в желнино гнездо. Увидела там кукушонка и к нему бросилась:

— Здравствуй, сыночек! Узнал ли ты свою мать?

Испугался кукушонок невиданной им птицы, на весь лес пищит, Желну кличет:

— Матушка, лети скорее сюда! Чужая тетка хочет меня из родного гнезда унести.

Прилетела Желна и прогнала прочь Кукушку. Полетела тогда Кукушка к щеглиному гнезду. Глядит — ее кукушонок Щеглиху перерос. Она еле-еле кормить его поспевает.

«Ну,— думает,— эта-то отдаст мне моего обжору».

— Бери,— говорит Щеглиха,— своего подкидыша. Я из сил выбилась, уж очень он много ест.

Как услышал это кукушонок, задрожал, замахал крыльшками и жалобно-жалобно стал просить Щеглиху:

— Дорогая моя мамонька, я лучше с голоду умру, только из-под твоего крыла под чужое не пойду.

Разжалобилась Щеглиха. Тоже всплакнула.

— Да никому я тебя, мой сыночек, не отдам. Лучше часок-другой недосплю, а тебя выкормлю.

Кинулась тут Кукушка к судье — судом деток отсуживать. А судьей в этом лесу Дятел был. Мигом дела разбирал. И кукушкино дело скорехонько рассудил. По совести, по народной мудрости решение вынес:

«Не та мать, которая деток народила, а та, что их вскормила, вспоила да на ноги поставила».

У КОЛЬЦА НЕТ КОНЦА

Заспорила Туча с Рекой, кто кого породил. Туча ли Реку дождем наполнила, Река ли Тучу из себя выпарила?

Заспорил Арбуз с Семечком, кто кого вырастил. Арбуз ли Семечко или Семечко — Арбуз?

Заспорила Рыба с Икрой, кто кому мать. Рыба ли Икре, Икра ли Рыбе?

Глядя на них, и Яйцо с Курицей старинный спор подняли — кто раньше на свет появился.

Мать Земля слушала их, слушала да и сказала:

— У кольца нет конца, а у глупца — начала. Грамоты.

ХИТРЫЙ КОВРИК

Умной Машенька росла, да не все понимала.

Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

— Ах ты такая-сякая, колючая. Зачем только ты на свете живешь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

— Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь еще и мед дает.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

— Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

— Вот что, — говорит Крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума набраться, но пришла. А вдруг Крапива что-то дельное скажет? А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий.

— Добудь, Машенька, рукавички, — говорит Крапива, — да выдержи меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдержала Крапиву и связала в пучки.

— А теперь, — говорит Крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и снова спрашивает:

— Еще что придумаешь?

— Теперь, — говорит Крапива, — ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее. А дальше увидишь...

Опять Машенька сделала все то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть. Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик вы ткать. Выткала она коврик и вышла на нем молодую веселую крапиву. Повесила коврик на стенку и сказала:

— Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.

ЕЖИХА-ФОРСИХА

Приглянулся Ежихе-форсихе выдровый мех. Не налюбуется.

— Давай, Выдра, одежкой меняться.

— Давай! — говорит Выдра. Сказано — сделано. Поменялись одежками.

Ходит по лесу Ежиха-форсиха, дорогим выдровым мехом похвывается:

— Вот я какая нарядная! Смотрите.

Учуяли собаки-разбойницы дорогой выдровый мех и кинулись на Ежиху-форсиху:

— Снимай, тетка, выдровую шубу!

А Ежиха и в ус не дует. Забыла, что больше она не колюча. Свернулась по старой ежиной привычке в комочек да и подзадоривает собак:

— А ну, попробуйте схватите меня!

А собаки взяли да и схватили.

Поняла Ежиха в собачьих зубах, какого она маху дала, когда свою колючую шкурку-защитницу на выдровый приманочный мех променяла. Поняла, да уж поздно было.

ДВЕ ПОСЛОВИЦЫ

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятак или даже копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилочку. А его дружок Федя — наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обя-

зательно чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей радости — колбасы.

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки пригоршню медяков и решил разных разностей закупить да семиголосую гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть.

Шел Костя на ярмарку лесом, шел да заблудился. Вдруг видит — голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают.

— Покажи мне, голубь, дорогу! — просит Костя. — Я тебе денежку дам.

Голубь на это отвечает:

— Зачем мне твоя денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал?

— А я Федин товарищ, — отвечает Костя.

— Тогда другое дело, — говорит голубь. — Покажу.

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошел. Идет — и видит: мост через реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг, смотрит, плотвичка к нему подплывает и говорит:

— Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу.

И показала.

Пришел Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших, и плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. Сколько времени копил!

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, в чем дело, и говорит Косте:

— Не горюй! Жди меня тут.

А у собак, известно, — нюх хороший. Они все могут вынюхать и узнать. Любого вора найдут.

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула.

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосую гармошечку. Идет Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-сладостями. И птиц, и рыб, и собак.

Пришел Костя к себе в деревню, нашел Федю и подает ему семиголосую гармошечку:

— Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек!

Тот глазам не верит:

— Да что с тобой случилось, Костя? Какой ты добрый стал!

— Теперь я всегда таким буду,—говорит Костя и товарища обнимает.

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула.

А шепнула она ему две пословицы:

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше».

ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ

Прослышал как-то гусь, что пером из его крыла книги пишутся, государственные бумаги подписываются, возгордился и загоготал:

— Го-го-го! Государственная я птица, не простая! Коли б не мое крыло да не мое перо, чем бы книги писались, как бы указы-приказы составлялись?

Услыхал эту похвальбу чернильный орешек, на котором чернила настаивали, тоже хвастаться стал:

— Не простой я орех, а чернильный! Коли б не я да не гусиное перо, чем бы книги стали писать, чем бумаги подписывать?

Глядя на них, и старая тряпка нос задрала:

— Из меня бумагу делают! На мне пишут. Небудь меня, да гусиного пера, да чернильного орешка, не было бы грамоты на земле!

— Го-го-го! — гогочет гусь. — Пойдем втроем народ припугнем. Пускай он нам славу поет, почет воздает! А не то мы его перьев лишим, чернил не дадим, бумагу придержим! Незаменимые мы!

Пошли гусь, чернильный орех да старая тряпка почет добывать, славу требовать. Выслушал их народ и велел вместо гусиных стальными перьями писать, чернила из чернильного порошка готовить, бумагу из дерева вырабатывать.

На этом и кончилась похвальба старой тряпки да чернильного орешка. Тряпкой стали пол мыть, пыль вытирать, а про орешек даже и забыли, где и на чем он растет.

Притихли орешек да тряпка. А гусь все еще не унимается. Гогочет! Крыльями машет, да взлететь не может. На это мало кто теперь обращает внимание. Только если случится в народе выскочка, или хвастун, или крикун, люди обязательно про такого скажут: «Видали, каков гусь лапчатый? А?»

СТАРАЯ СКАЗКА

Было это или не было — сказать не могу. Как слышала, так и рассказываю. Я еще тогда девчушкой была.

Приехал в наши края старичок. Из простых людей. Из крестьянского сословия. А жил этот старичок в городе Калуге. Кем он там был, тоже не знаю. Молва молчит, и я выдумывать не стану.

И у этого старичка знакомец в Калуге был. Из ученых людей. Сильной грамоты человек. Большого замаха. Такого большого, что и Луна для него не Луна, а соседняя деревня. И дорога для него на Луну не дорога, а любота. Ни мостовой, ни рельсов. Ни колеи, ни тропы, а все прямо, прямо и без единой ухабинки. Садись и несись, никуда не сворачивай.

— А куда, — спрашивают приезжего старичка, — «садись», на чем, — пытаются его, — «несись»?

А старичок на это такое стал рассказывать, что даже дошлые люди диву дались. Растолковывал этот старичок, что будто бы вскорости люди запросто к звездам летать будут. В огневом снаряде. Скорей пули, быстрее голоса.

И про такие-то чудеса этот приезжий старичок рассказывал, что вся деревня его слушала. И старые, и малые, и средних лет люди. А потом, как пришел конец старику рассказу, спохватился народ:

— Брешет он, «калужское тесто». Чепушиной головы нам забивает. Околесицу несет. За дураков нас считает.

И так-то принялись костерить приезжего, что тот еле ноги унес. В Калугу сбег. А байка о нем в наших местах осталась и другой раз досужими старухами пересказывалась, а потом и вовсе забылась...

Годы, как и положено им, шли да шли, весну лето сменяло, после осени зима жаловала. И много ли,

мало ли лет минуло — не скажу. Только как взлететь первому спутнику, вспомнился старичок из Калуги, что про ученого рассказывал, который хотел человека в небо послать и на землю живым, здоровым вернуть.

Вспомнилась калужская небыль и быльё оборачиваться начала, особенно когда собачки Лайки да Стрелки в небо подались... А уж когда Юрий-то свет Алексеевич Гагарин к звездам полетел и вокруг Земли скорехонько обернулся, я эту старую сказку про калужского ученого человека тут же вспомнила и внукам пересказала на добрую память, на долгие времена и на тот случай, если опять кто-то что-то рассказывать будет, в которое трудно поверить... Так вы не торопитесь, внуки мои, рассказывателя дурнем величать, а услышанное сказочной чепушиной называть. Не все ерундовою ерундой бывает, что твой ум не понимает.

Старая сказка иной раз забывается до тех пор, пока она молодым-молодой-молодешенькой в новом платье не появляется...

Так-то, дружки мои, так-то...

УРАЛЬСКАЯ ПОБАСЕНКА

Через Уральские горы шел Дурень с компасом. Шел да и видит — стрелка компаса куда не надо показывает. Балуется. Рассердился Дурень на компас и разбил его о скалу, а сам дальше пошел. По солнышку.

Шел следом за Дурнем через Уральские горы Умный человек. Тоже с компасом. Шел, шел да и видит, что стрелка компаса куда не надо показывает. Не на север. Дурит стрелка.

Задумался Умный человек, куда именно стрелка смотрит.

Долго ходил пытливый человек с озорным компасом. В оба глаза за стрелкой смотрел.

Ходил так, смотрел — и увидел, что стрелка на высокую гору глядит. И в какую бы сторону он ни пошел, стрелка на гору воротит.

— Эге! — сказал Умный человек. — Никак, я магнитную гору открыл, железную руду нашел?

Так оно и случилось.

ТОЛКОВАЯ МУХА

Совсем не стало мухам житья от Паука. Везде его паутина. Не пролетишь.

— Хорошо бы паутину поджечь,— говорит Старая Муха.— Только где мы спички возьмем да как их чиркнем? Сами сгорим.

— Хорошо бы,— говорит мушиный вожак,— щеткой паутину обмести. Только как мухам щетку поднять?

Судят-рядят, жужжат, летают и одна за другой на обед Пауку попадают.

— А если умиловить его? — говорит третья муха. Только как? Кто откуп понесет? Кому жизнь не дорога?

Опять судят-рядят, жужжат, летают да на ужин пауку в тенета попадают.

Надоело Маленькой Мушке слушать больших мух. Выдумывают непосильное. Городят огород из пустых слов, а по-настоящему не хотят умом раскинуть.

— Ложитесь-ка вы лучше спать,— говорит Маленькая Мушка.— Я вас от Паука избавлю и паутину смету.

Засмеялись мухи над Маленькой Мушкой. Хвастуньей, выскочкой ее называют. А она мало на это внимания обращает. В словах много ли силы? Сила в делах.

Легли спать мухи. Кто на потолок вверх ногами, кто на стенку вниз головой. Не по-людски. Чуть свет проснулись мухи. Смотрят — ни Паука, ни паутины.

— Как же это ты сделала, Маленькая Мушка?

— Воробья заставила.

— Как же он тебя не съел?

— Как же он меня съест, когда я у него на спине сидела.

— И что же ты делала у него на спине?

— Дорогу ему к жирному Пауку подсказывала.

— А зачем?

— Затем, чтобы Воробей Паука съел, а паутину крыльями смел.

Обрадовались мухи. Летают, жужжат. Маленькую Мушку славят.

— Как же это ты нашу мушиную мудрость, паутинную мудрость, воробьиную мудрость превзошла?

— А я по комнатам летала, от людей пословицу узнала.

— Какую?

— «На каждого мудреца довольно простоты».

СКРИПУЧАЯ ДВЕРЬ

В новую избу навесили хорошую Дверь. Красивую Дверь. И все ее хвалили. Потому что Дверь легко открывалась и плотно закрывалась, не пропускала зимнюю стужу. Вообще Дверь не в чем было упрекнуть, и о ней перестали говорить. Зато в избе очень много разговаривали о рамах. И как о них можно было не говорить, когда они были плохими. С трудом открывались и закрывались. Набухали. Пропускали холод.

Рамам уделялось очень много внимания, и это обозлило завистливую Дверь.

— Вот вы как,— сказала она,— я покажу вам, как не замечать меня,— и стала корчиться, кривиться, скрипеть.

Ее подстругивали, выпрямляли, утепляли. Нянчились с нею сколько могли. Ее петли часто смазывали маслом, а она не унималась, скрипела. Скрипела с таким остервенением, что это стало невыносимым для окружающих.

Тогда ее сняли с петель и выбросили в дровяник. На ее место навесили другую. Обычную сосновую дверь, которая честно служит в избе до сих пор, зная, что легко открываться и плотно закрываться вовсе не какие-то особенные достоинства, а ее дверные обязанности.

Выброшенная же в дровяник Дверь вскоре поняла, что вне избы и без избы она ничего собой не представляет. Ровным счетом ничего. Даже скрипеть не может вне избы.

Такова печальная история одной зазнавшейся Двери, которая оказалась в одиночестве.

НЕУСТУПЧИВЫЕ СЕСТРЫ

Быстро текли-бегли с Алтайских гор в полуночную северную сторону две сестры: Катунь да Бия. Ретивые, говорливые и одна другой краше.

Текли они так, текли да и встретились. Слились. Вместе потекли в одном русле. Потекли сестры-реки Бия да Катунь в одном русле да и заспорили: как называться реке, которая из них составила.

— Я сама по себе текла,— говорит Катунь Бие,—

а ты в меня впала. По мне и должна называться большая река — Катунью.

А вторая сестра, Бия, тоже из неуступчивых была.

— Не я в тебя, Катунь, впала, а ты в мои воды влилась. По мне и называться большой реке — Бией.

Долго бы так они спорили, волновались, пенились, из берегов выходили, да человек на ту пору случился. Землепроходец. Из русских людей. Они к нему подмываться стали.

Так и ластятся, плещутся, к его ногам подступают. Каждая свою рыбу ему на берег выкидывает. Каждая свое имя от Алтайских гор до полуночного холодного моря принести хочет да себя прославить.

А русский человек из простых был. Не любил он, когда себя выставляют, за славой гоняются, родной сестры-брата ради этого не жалеют. И сказал рекам:

— Рассужу я вас, сестры. Ни той, ни другой обидно не будет. Обе-две вы в одном имени большой реки жить будете.

Сказал он и назвал большую реку — Обь.

Так неуступчивые, норовистые, порожистые сестры, сливая воды, потеряли свои имена и потекли обе-две Обью. Великой сибирской рекой. Все ее знают, красавицу, а про Бию и Катунь мало кто вспоминает.

ЧЕТЫРЕ БРАТА

У одной матери было четыре сына. Всем хороши удались сыновья, только друг дружку братьями признавать не хотели. Ничего схожего между собой не находили.

— Уж если,—говорит один брат,—кого я вздумаю братом назвать, так только лебяжий пух или, на худой конец, хлопковое волокно.

— А я,—говорит второй брат,—на стекло похожу. Только его и могу своим братом признать.

— А я белому дыму брат,—говорит третий.—Недаром нас одного с другим путают.

— А я ни на кого не похож,—сказал четвертый брат.—И некого мне братцем назвать, разве только слезы.

Так и по сей день спорят четыре родных брата: белый Снег, синий Лед, густой Туман да частый

Дождь — друг друга братьями не называют, а матушку Воду все четверо родимой матерью величают.

Бывает такое на свете... Не всегда брат брата узнает!

СВЕЧКА

Горела Свечка в Старом Подсвечнике, горела да и отгорела. Погасла. Кончилась.

— Какая она недолговекая, — весело сказал Таракан, выползая из щели. — Мало пожила Свечка.

— Да, она мало пожила, — сказал, вздохнув, Старый Подсвечник, — зато ярко горела. Многим от нее было светло и радостно.

Ничего на это не ответил Таракан, уползая к себе в щель. Потому что в подсвечник вставили новую свечу и зажгли. А Таракан не любил света и боялся его.

ШУМЛИВОЕ МОРЕ

И о чем только не рассказывает Говорливый камень на реке Вишере! Хорошая у него память. Он знает даже и то, что было много миллионов лет тому назад. Вот что рассказал он как-то прибрежным хвойным лесам и крутым берегам Вишеры.

Может быть, вы не поверите, только там, где сейчас растут леса, высятся Уральские горы и наливаются колосья ржи и пшеницы, было Пермское море. Оно было достаточно велико, но мелководно, и поэтому шумливо, чванливо и заносчиво.

Заносчивость Пермского моря переходила всякие границы. Оно стало грубить родной матери — Земле.

— Кто ты такая? — однажды сказала Море. — Зачем ты нужна? Из-за твоих берегов и островов негде разгуляться моим волнам.

— Перестань дерзить, — предупредила его мать Земля. — Я породила тебя. Я — твои берега, твое дно. Я — чаша, в которую ты налито.

— Что-о? Что ты сказала? — вскипело Пермское море. — Да я тебя дочиста затоплю и смою твои негодные леса вместе с холмами, горами и полянами.

Сказав так, Море заключило союз с морским разбойником Ветром и кинулось на Землю.

Увидев это, деревья, звери, травы, птицы и насекомые очень испугались и с плачем бросились к своей матери Земле.

— Родимая! Не дай нам пропасть! Что будет с нами, когда Море затопит тебя. Мы не хотим превращаться в рыб и морские растения.

— Не буйствуй, глупец! — еще раз предупредила Земля. — Перестань водить дружбу с этим бездомным бродягой Ветром. Расти вглубь, а не вширь. Иначе у тебя не хватит воды и ты обмелеешь, а обмелев — высохнешь.

А Море в ответ на это подняло свою бесчестную мутную волну на родную мать и крикнуло, угрожая:

— Молчи, старуха! Готовься к своему последнему часу.

Тогда мать Земля распрямила свою грудь. Возвысилась Уральскими горами. Потом она сделала глубокий вдох, и дно Пермского моря поднялось выше его мутных и шумливых волн.

Вскоре Море стекло Печорой, Камой, Вычегдой, Вяткой и другими реками в разные моря. На его месте зазеленели леса, поселились звери и птицы. А много тысяч лет спустя появился человек, построивший деревни, села и города.

Вот что рассказал Говорливый камень, который высится и по сей день на реке Вишере.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Прозвище Белая ворона известно всем, однако всякий по-разному толкует его. Моя бабушка толковала так.

Белая ворона вылупилась из яйца обыкновенной черной вороны и ничем не выделялась из других. Но вскоре, после того как она оперилась, ей не захотелось жить, как все.

Трудно сказать, почему это произошло. То ли ей было скучно... То ли она вообразила себя необыкновенной и решила выделиться среди других... Или что-то еще, — может быть, она была одержима жаждой славы — никто не знает. Только вдруг ворона решила стать солисткой академической оперы.

У нее был достаточно громкий голос и, может быть, куда более звучный, нежели у других, но, к сожалению,

пию, кроме «кар-кар», она не могла выкаркнуть ни одной ноты. И вместо того чтобы разъяснить ей, что ее голосовых данных недостаточно для оперного пения,— над нею посмеялись. А смех, как известно, не всегда бывает хорошим лекарством. Особенно в юности.

Потеряв надежду стать солисткой оперы, она решила выбрать иной путь.

— Ну что ж, буду танцовщицей. Для этого не нужен голос.

И она принялась танцевать. Но над ней снова посмеялись. Цапля сказала:

— Чтобы стать балериной, недостаточно ног и двух вороньих па — скок-прыг и прыг-скок.

Это еще больше ранило самолюбие вороны.

— Тогда покажу, что такое высший пилотаж,— сказала она.

Однако и это вызвало смех. Громче всех смеялись ласточки, которые летали выше и быстрее других.

Ах, если бы они или кто-то другой терпеливо объяснили вороне, что нужно применять себя в жизни по своим способностям и возможностям! Тогда бы, наверно, ворона нашла свое счастье. Но этого не произошло.

Обиженная, раздосадованная, она не захотела разобратся в себе самой и наперекор всем не остановилась.

Так бывает. Ложное самолюбие порождает большое самомнение, которое приводит к самым неожиданным результатам. В данном случае оно привело в парикмахерскую.

— Я хочу стать белой,— сказала она.

— Пожалуйста,— ответили ей.

И вскоре жизнь вороны круто изменилась. Люди кричали:

— Смотрите! Белая ворона!

Ее заметили все. О ней сообщили вечерние газеты как о чуде орнитологии. Она была счастлива! Ее самолюбие торжествовало. Но...

Но радость была недолгой. Когда слух о ней прошел по всей земле, ее решили поймать. Одни хотели поселить белую ворону в клетку зоологического парка, другие — превратить ее в чучело для музея.

За нею гонялись день и ночь. А она ни жива ни мертва отсиживалась в кустах, пряталась в дуплах от своей шумной славы и наконец исчезла.

Никто не знает, куда она делась. Одни предполагали, что ворона погибла в когтях ястреба, который принял ее за белого голубя. Кто-то, смеясь, утверждал, что она, полиняв, стала снова черной вороной. Было множество догадок, но это не столь важно. Важно то, что ворона обессмертила себя прозвищем всех тех, кто во что бы то ни стало хочет выделиться из других.

Так заканчивала сказку моя бабушка, но тут же вмешивался дедушка. Вмешивался и начинал рассказывать о белой вороне свое.

У него, как и у бабушки, так называемая белая ворона тоже вылупилась из яйца, снесенного черной вороной, и выросла такой же обыкновенной, как и все в ее стае. Но однажды у нее в крыле появилось белое перо. На это можно было бы не обращать внимания, если бы не появилось и второе, ослепительно-белое перо. А затем — третье, четвертое... И ворона начала белеть.

А почему? Что было причиной посветления черной птицы?

Оказывается, первое перо побелело оттого, что ворона задумалась над своей жизнью. Задумалась — правильно ли живут вороны вообще, хорош ли их образ жизни. Но она задумалась не о себе и не для себя, а обо всех и для всех. Это была очень важная разница. Разница, которая выделяла мыслящую ворону среди остальных.

И первая светлая мысль побелила ее перо.

Когда же ворона поняла, что жизнь стаи — это разбой, непрерывная рознь и драка, — у нее посветлело еще одно перо.

На это никто пока не обратил внимания. Но ворона продолжала размышлять о нравах стаи. Одна светлая мысль рождала другую, третью, а вместе с этим светлели новые перья. И этого не могли не заметить.

Ее спросили:

— Что с тобой происходит?

И она ответила. Она не могла далее молчать. Она ниспровергала подлые нравы ворон, обличала их жадность, хищность, бесчестность поведения и многое другое...

Ей хотелось верить, что слова, идущие от самых глубин сердца, отзовутся в черных душах.

Она говорила без боязни. В ее словах звучала ис-

тина. В ее голосе звенел протест. И от этого она становилась светлее и светлее.

Черная стая молча слушала окончательно побелевшую ворону. Тысячи злых глаз крылатых разбойниц пронизывали их белую сестру, тысячи когтей и клювов готовы были вонзиться в нее и развеять по ветру ненавистное перо.

И, может быть, им это удастся. Но ничего не изменится. Белая ворона никогда не станет черной ни в дедушкиной сказке, ни в светлой людской молве.

ВЕЧНЫЙ КОРОЛЬ

Один надменный король сказал другому королю:

— Как ты смешон и мал! Тебе никто не воздает королевских почестей. Тебя даже не называют «ваше величество». Какой же ты король?

— Увы,— ответил тот,— между тем я король. К тому же я самый известный из всех королей! Меня знает весь свет. Обо мне написаны тысячи книг. Я беспрерывно нахожусь в сражениях... Но меня никто не назовет кровавым королем. Побеждая в битвах, я не проливаю ничьей крови. Оказываясь побежденным, я остаюсь невредимым. Пусть моя армия малочисленна, но она бессмертна. Пусть в моем флоте всего лишь два судна, но они непотопляемы. Я единственный из королей, которого нельзя свергнуть. Я единственный из королей, кому революции приносят новую популярность в народе и признание...

Так говорил при общем молчании, ничего не преувеличивая, не произнося ни одного слова неправды, всемирно известный король, стоя рядом со своей королевой в окружении свиты на... шахматной доске.

ЛУНА, ЛУЖИЦА И БЕЛЬМО НА ВОРОНЬЕМ ГЛАЗУ

Однажды ночью одна одноглазая Ворона сделала крупные открытия.

Вечером над лесом поднялась полная румяная Луна.

— Посмотрите, какая я большая! — сказала Луна. — Я больше Солнца.

— Да, это так! — подтвердила одноглазая Ворона, заночевавшая на дереве близ болота.

К полуночи Луна отразилась в маленькой болотной Лужице. Тогда Лужица обрадованно воскликнула:

— Смотрите, а я, оказывается, больше Луны! Луна полностью уместилась в моих берегах, да еще осталось достаточно места для звезд.

— Да, это верно, — согласилась одноглазая Ворона и принялась размышлять. — Если Луна, отразившись в тебе, уместилась в твоих берегах и осталось еще место для звезд, ты больше ее. Но мой глаз больше тебя.

— Это каким образом? — спросила болотная Лужица.

— Очень просто, — сказала одноглазая Ворона. — Ты, Лужица, умеешься в моем глазу вместе с луной и звездами, да еще остается место, чтобы уместить все болото.

Бельмо, сидевшее на левом глазу Вороны, важно сказало:

— Самое большое в мире — это я. Стоит мне пересечь на твой правый зрячий глаз, Ворона, и я закрою не только Лужицу с Луной, но и весь мир.

— Да, это правда, — еще раз согласилась Ворона и снова принялась рассуждать о величайших открытиях, которые были ею сделаны в эту ночь.

И пусть себе мелет чепуху, а мы тем часом новый памятный узелок завяжем.

ЗОРКИЙ СЛЕПЕЦ

У него был только один глаз, да и тот искусственный. Зато очень зоркий. И он весьма гордился своим голубым глазом.

— Я могу видеть им даже при слабом освещении. И не только видеть, но и в течение доли секунды запечатлеть увиденное на пленку. Да.

И это соответствовало истине. Про этот хороший фотографический аппарат никто не говорил ничего плохого. Но как бы он или другой ни был хорош, превосходит, удобен, нельзя этим кичиться и унижать достоинство других. Можно ошибиться, считая себя в своем деле незаменимым, несравнимым и тому подобное.

Фотографический аппарат «Зоркий», о котором рассказывает эта сказка, жил в мастерской художника. Там же среди многих других вещей жила и кисть, которую очень любил художник и после работы тщательно промывал в скипидаре и вытирал.

— За что к тебе такое внимание? — однажды спросил аппарат. — И вообще что ты за птица? Кто ты такая? Палочка с пучком чужих волос? Ты самая отсталая среди всех инструментов. Какой ты появилась на свет, такой и осталась теперь. Не так ли?

— Да. Вы совершенно правы, — ответила скромно кисть. — Я ничуть не изменилась за последние несколько десятков столетий.

— И тебе не стыдно? Все в мире движется и улучшается, кроме тебя, — рассуждал аппарат. — Ты медлительна. То, что ты можешь воспроизвести на холсте за неделю, я делаю в сотую долю секунды. Миг — и готова фотография. И не просто фотография, а цветная.

— Да, вы совершенно правы, — так же скромно сказала кисть. — Но художник почему-то предпочитает пользоваться мною и тратить на портреты многие дни, недели и месяцы... Вы поговорите о своих преимуществах с ним. Или с кем-нибудь другим.

В это время послышался звонкий голос девушки, еще не дорисованной художником. У нее не были закончены руки. Но, несмотря на это, она была живой и умной. Больше года трудился художник, чтобы создать на холсте такую прекрасную девушку.

Девушка спросила:

— А в человеческую душу вы тоже можете заглянуть своим стеклянным глазом?

Аппарат смутился. Покраснел. Он твердо знал, что не мог этого сделать. Но ему очень хотелось выяснить, как художник при помощи кисти, такого простого и несовершенного инструмента, заглядывает в человеческую душу и переносит ее чудесное очарование на холст.

— Может быть, вы объясните мне, как это происходит? — обратился он снова к девушке. — Может быть, в кисти заключены особые, не известные мне свойства?

Девушка не стала отвечать. И правильно сделала. Аппарат все равно бы не понял сказочного волшебства кисти художника, резца ваятеля, пера поэта, смычка музыканта, иглы вышивальщицы и многих других простейших инструментов, не знающих старости и смерти.

Фотографический аппарат не мог понять этого. Потому что он был хотя и очень зоркий, очень хороший и очень послушный, но бездушный аппарат. Без мыслей! Без чувств! Без сердца.

ШАНТОН-БОЛТОН

Эту сказку дедушка в походе слышал, когда солдатом был. Так он ее пересказывал.

В одной державе, на хуторе, кичливый петух жил. Шантоном его звали.

Большую птицу этот Шантон из себя строил. Всех обижал. Не только своих куриц — индюка под амбар загонял. Рабочие волы его опасались. Лошади и те побаивались.

Всех пугал:

— Ку-ка-ре-ку! Вся власть в моем голосе. Захочу — раньше времени своей песней зарю зажгу и солнце подыму. Людей на ноги поставлю. Вас, волов-лошадей, до срока пахать-боронить заставлю.

Куда коням деться? А Шантон в ихнюю кормовую колоду с ногами залезает. Овес разгребает. В пищу мусорит. Терпят лошади.

И как не терпеть, когда у Шантона самая страшная острастка была:

— Захочу вот... Кури-ку-ку! Не запою завтра утром... И заря без меня не займется, и солнышко не взойдет. В темноте будете жить... Кури-ку-ку!

Тут все к Шантону бросаются. Упрашивают. Ублажают его. Плачут:

— Пожалей нас, пожалуйста, Шантон Кукарекович. Не лишай солнца.

— Ну, уж ладно, — скажет Шантон. — Так и быть, пропою. Велю завтра заре заниматься и солнышку всходить. А потом видно будет.

Услыхала эти слова залетная кукушка и прокуковала:

— Ку-ку! Кукарека ты завиральная! Кто тебе поверит?

Шантон на смутьянку кинулся. Да разве ее достанешь! Сидит она себе на дереве и про Шантона такое выкуковывает — прямо хоть под амбар залезай.

А индюк хитрый был. Подзадорил петуха:

— Шантон Кукарекович! Докажи им, что ты зажигатель зари и повелитель солнца. Не пой завтра. Пусть один денек в темноте посидят.

И пошел, пошел индюк петуха возвеличивать так, что у того голова закружилась. И он решил не петь.

Ночь минует, а он не поет. Заря занимается, а индюк Шантона подбадривает:

— Цыкни ты на зарю! Мигом сгаснет.

Шантон вылетел тогда из курятника навстречу заре и велит ей:

— Сгасни, ослушница! Не занимайся!

А она занимается — пуще горит. Солнце всходит.

Глупый Шантон и на солнышко кинулся. Кшикает на него:

— Садись обратно!

А оно выше да ярче. Все ожило. Все радуются. Шантон со стыда под амбар забился.

А индюк только того и ждал.

Перья-крылья распустил и на весь свет оповещает:

— Шантон-болтон! Было-боло-буль! Болтон-Шантон!

На этом и кончилась власть кичливого петуха.

СОЛНЕЧНЫЙ ПОДАРОК

Ехали мы по черноземной воронежской земле. За окном зеленели всходы. Глядя на них, один из пассажиров, по всей вероятности имеющий отношение к агрономической науке, равно как и к изящной словесности, предложил нам:

— Не угодно ли вам познакомиться с историей, которую вы, может быть, не знаете...

Когда-то, не в столь давние времена, из Америки вывезли прелестный золотистый цветок. Заморский красавец был очень высок, поэтому его сажали в центр клумб, и он главенствовал над остальными цветами барских садов. Крупные нарядные листья цветка были сами по себе украшением, а его большая круглая голова с венцом из ярко-желтых лепестков обращала на себя внимание всякого. Таким некогда рисовали солнце.

Облик большого цветка с солнцем связывался, тем более что у этого светолюбивого растения было удивительное свойство поворачиваться лицом к свету. По цветку при желании можно было определить время дня.

Вскоре вертоголовый весельчак из помещичьих садов проник в деревенские палисадники. И там полюбили его еще более. Да и как могло быть иначе, когда он так украшал убогие селения. Наверно, и до сих пор он бы рос нарядным бездельником.

Но в одной из воронежских слобод, а именно в Алексеевке, дотошный крепостной по фамилии Бокарев, любясь венценосным любимцем односельчан, задумался о смысле жизни и пользе пребывания на земле этого рослого переселенца.

Вдумчивый и практически мыслящий крестьянин принадлежал к тем, кто был убежден, что все произрастающее в мире должно приносить пользу. И коли даже крапива, становясь волокном, потом превращается в ткань, а кора липы — в лапти, мочальные и лубяные изделия, а лоза ивняка — в корзины, то должен ли этот рыжий гренадер расти только для улыбок молодаяк да для вздохов старух на такой плодородной земле.

Рассуждая так, Бокарев занялся жителем своего палисадника. Он разглядывал корень, испытывал стебель, вялил и сушил листья, пробовал курить лепестки... И никакой удачи. Так настойчивый искатель дошел до головы желтого скрытника. Может быть, там прячется польза. И он не ошибся. Вываривая, поджаривая и растирая мягкие зерна слободского новосела, Бокарев обнаружил маслянистые выделения.

— Эге! — крикнул он жене. — Вари кашу, супружница. Я, никак, новое масло выискал. Глянь, как золотеют его капельки.

Радости не было края. И было чему радоваться...

Ярко зацвела слава большого садового цветка в черномоземных широких степях. Зажил вертоголовый баловень настоящей, уважаемой жизнью. Жизнью полезного масличного растения, получившего хорошее имя — подсолнечник. И нет теперь страны в мире, где бы не было на славе его золотистое масло.

О ТРЕХ СЕРДЦАХ

Жил да был сталевар. Вдовец. Большого огня мастер. А сердце у него было еще больше. Пока его дочь малолетка не подрастет, он решил не жениться. Любила дочь отца. Как братца старшего любила, как верного

советчика. Невылюбленную любовь к матери на него изливалась.

Когда же заневестилась дочь, сталевар ввел в дом жснугу. Хорошую женщину взял. Полюбила она доброго мужа незнамо как. Пылинки сдувала, волосу с его головы упасть не давала. Первой не уснет, второй — не проснется. Работница. Мастерица. Красавица.

Лучше придумать нельзя, а счастья не было.

То мачеха на падчерицу жалуется, слезами обливается. То дочка ревмя ревет, мачеху клянлет.

— Сердце мое выскочить готово, на части разрывается,— причитает жена,— пожалей меня, сокол ясный.

Жалко сталевару милую жену. Сердце болит за нее и против дочери закипает. А та:

— Слушай ты ее... Околдовала она тебя. Приворожила чарами. Кровь из меня пьет. Сердце мое леденит. Без тебя я круглая сирота. Ты мне отец и мать.

Больно сталевару за дочь. Любит он ее. Сердце за обиженное дитя против жены закипает. Перебои дает.

Начнет он жене внушать да втолковывать. А та ему на дочкину правду свою правду выкладывает. Опять его сердце болеть за жену начинает и против дочери стучать.

Долго ли, коротко ли так кипело сталеварово сердце между двух огней, двух сердец да и откипело. Остановилось. Не выдержало.

Зарыдали тогда на весь белый свет по любимому мужу, по дороговому отцу мачеха с падчерицей. Все теперь они поняли. Да уж поздно было. Хоть в семь ручьев слезы лей — сердца не оживишь.

Кончился богатырь-сталевар. И сказка кончилась, которую мне ой как нелегко рассказывать. А что сделаешь, коли она сама собой сказывается, в народ просится. И наверно, не зря. Не перевелись ведь на свете такие сердца, которые только для себя стучат и других, даже самых близких сердец, не жалеют.

ЧУГУН И СТАЛЬ

Пролилась огневой струей из жаркой печи горячая Сталь. Засверкала золотыми звездами, остыла дорожными слитками и зазналась. Перед серым Чугуном так стала себя хвалить, что тот чуть не изоржавел со стыда.

— Я,— говорит Сталь,— нержавеющая, нетемнеющая, хитро сваренная! Как алмаз крепка, как змея гибка. Закалюсь — не отколюсь! Пилить, сверлить, резать — все могу, на все пригодна. Хочешь — булатом стану, хочешь — иглой! Мостом лягу. Рельсами побегу. Машиной заработаю. Пружиной совьюсь. А ты что, Чугун? На сковородки, на утюги только и годен. Ну да разве еще на станины второсортные да на шестерни молотильные! Не ковок, не ловок, хрупок, как лед. Не модный металл.

Говорит так Сталь, на весь цех себя славит. И самолетом-то она полетит, и кораблем-то поплывет, и чем только, чем она не станет... Даже перо писчее не забыла. Часовую стрелку и ту не пропустила. Все перебрала. Столько наговорила про себя, что в семи коробах не свезти. Но ничего лишнего не прибавила. Была в ее стальном звоне правда.

Конечно, Чугуну далеко до Стали. Только об одном ей забывать не надо бы: о том, что Чугуну она родной дочерью доводится, что она ему своей жизнью обязана...

Ну, а в остальном все правильно, если, конечно, совет во внимание не принимать.

ПРО ЯБЛОНЬКУ, КОТОРАЯ РАНО ЗАЦВЕЛА

В большом-пребольшом саду росли старые, молодые и совсем юные яблони. По весне сад так пышно зацвел, что даже напугал пчел.

— Не снег ли уж выпал? — боязливо жужжали они.

А развязные шмели смело летали с цветка на цветок, с яблони на яблоню, допьяна упиваясь щедрыми дарами весны. Эти ненасытные сластены тоже приносили саду пользу, помогая пчелам и ветру опылять цветы яблонь. В цветках появилась завязь, которая день ото дня становилась больше и больше, а затем превращалась в румяные яблоки.

Но были в саду и такие деревья, которые всего лишь зеленели, но не цвели. Они росли, набираясь сил, готовя себя к большой жизни плодового сада.

Среди молодняка росли и нетерпеливые яблоньки. Им хотелось как можно скорее нарядиться в белое платье. Особенно торопливой была одна, совсем еще юная, похожая больше на куст, нежели на дерево. Она хотела опередить время и выглядеть взрослой.

— Мне надоело мое простое зеленое платье,— жаловалась она большой Яблоне.— Я хочу зацвести.

Добрая и рассудительная большая Яблоня наставительно сказала:

— Малютка, ты посмотри на себя, на свои тоненькие ветки. Тебе нужно еще расти да расти, набираться сил, укреплять свои корни. Они едва питают твою листву.

Она приводила множество примеров из жизни своего сада и других садов. Доказывала, как пагубно сказывается на дереве раннее цветение. Об этом же говорили в саду и другие. Но поучения старших яблонь не всегда нравятся молодым, особенно если они чрезмерно самоуверенны.

— Хватит наставлений и назиданий! — капризно воскликнула маленькая Яблонька.— У меня от них вянут листья. Если ты цветешь, значит, это тебе доставляет радость. Зачем же ты хочешь лишить ее меня?

— Всею своя пора,— принялась снова убеждать большая Яблоня. Но напрасно.

Юная Яблонька решила зацвести. И зацвела.

Зацвела она маленькими, редкими цветочками. Это и понятно. Откуда было ей взять соки для большого цветения, когда ее корни только еще начинали проникать в богатые влагой слои.

Садовод, увидев ранние цветы, хотел было оборвать их. Но Яблонька взмолилась:

— Не лишай меня моего первого белого платья. Мне так хочется быть красивой! Мне так хочется, чтобы надо мной в весеннем карнавале кружились веселые нарядные мотыльки и жужжащие пчелы поздравляли меня с обновкой!

Она так жарко умоляла садовода, что тот наперекор правилам садоводства не оборвал ее цветы.

И был карнавал. Веселый карнавал шмелей, мотыльков, пчел. И она была счастлива. А потом кончились дни весны. Облетели белые цветы. Прошел июнь... Затем июль...

Вместо цветов появились плоды. Их оказалось не так много, и они были не столь велики, но достаточно тяжелы для ее тонких, неокрепших ветвей. Плоды день ото дня становились больше. Яблонька, едва удерживая их, гнулась под непосильной ношей.

Корни не поспевали питать яблоки живительными соками. Поэтому некоторые из них отваливались, не

дозрев. А яблоня перестала расти, отдавая все силы своим плодам.

Время шло, сверстницы Яблоньки, которая рано зацвела, выросли стройными, сильными красавицами. И когда пришла пора цветения, их ветвям нечего было бояться тяжести плодов. Их окрепшие корни, не напрягаясь, могли питать и яблоки и яблони.

А рано зацветшая Яблонька так и осталась низкорослой, состарившейся в юности дурнушкой, и все жалели ее... Жалела и она свою загубленную юность. Но теперь уж — жалея не жалея — не начнешь расти заново. Теперь уж не исправишь слезами раскаяния торопливое цветение, исковеркавшее так хорошо начавшуюся жизнь, жизнь в прекрасном большом-пребольшом саду, где растут, цветут и приносят румяные плоды прекрасные деревья...

МЕЛКИЕ КАЛОШИ

Ах!.. Вы даже не можете представить, как мне не хочется рассказывать эту прескверную историю о мелких калошах. Она произошла буквально на днях в передней нашей большой квартиры, в которой так много хороших людей и вещей. И мне так неприятно, что это все произошло у нас в передней.

Началась эта история с пустяков. Тетя Луша купила полную кошелку картофеля, поставила ее в передней, подле вешалки, а сама ушла.

Когда тетя Луша ушла и оставила кошелку рядом с калошами, все услышали радостное приветствие:

— Здравствуйте, милые сестрички!

Как вы думаете, кто и кого приветствовал подобным образом?

Не ломайте голову, вы никогда не догадаетесь. Это приветствовали розовые крупные Картофелины новые резиновые Калоши.

— Как мы рады встрече с вами, милые сестрички! — перебивая одна другую, кричали круглолицые Картофелины. — Какие вы красивые! Как вы ослепительно блестяте!

Калоши, пренебрежительно посмотрев на Картофель, затем надменно сверкнув лаком, довольно грубо ответили:

— Во-первых, мы вам никакие не сестры. Мы резиновые и лаковые. Во-вторых, общего между нами только первые две буквы наших имен. И, в-третьих, мы не желаем с вами разговаривать.

Картофелины, потрясенные высокомерием Калош, умолкли. Зато вместо них стала говорить Трость.

Это была весьма уважаемая Трость ученого. Она, бывая с ним всюду, очень многое знала. Ей пришлось походить с ученым по разным местам и повидать чрезвычайно интересные вещи. Ей было что рассказать другим. Но по своему характеру Трость была молчалива. Именно за это ее и любил ученый. Она не мешала ему размышлять. Но на этот раз Трость не захотела молчать и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Бывают же такие зазнайки, которые, попадая всего лишь в переднюю столичной квартиры, задирают носы перед своей простой родней!

— Вот именно,— подтвердило Драповое Пальто.— Так и я могло возгордиться моим модным покроем и не узнать своего родного отца — Тонкорунного Барана.

— И я,— сказала Щетка.— И я могла бы отрицать свое родство с той, на хребте которой я росла когда-то щетиной.

На это легкомысленные Калоши, вместо того чтобы задуматься и сделать необходимые для себя выводы, громко расхохотались. И всем стало ясно, что они не только мелки, надменны, но и глупы. Глупы!

Трость ученого, поняв, что с такими гордячками церемониться нечего, сказала:

— Какая, однако, у Калош короткая память! Ее, видимо, затмил их лаковый блеск.

— О чем ты говоришь, старая суковатая палка? — стали защищаться Калоши.— Мы все очень хорошо помним.

— Ах так! — воскликнула Трость.— Тогда скажите, сударыни, откуда и как вы появились в нашей квартире?

— Мы появились из магазина,— ответили Калоши.— Нас там купила очень милая девушка.

— А где вы были до магазина? — снова спросила Трость.

— До магазина мы пеклись в печи калошной фабрики.

— А до печи?

— А до печи мы были резиновым тестом, из которого нас слепили на фабрике.

— А кем вы были до резинового теста? — допрашивала Трость при общем молчании всех находившихся в передней.

— До резинового теста, — слегка заикаясь, отвечали Калоши, — мы были спиртом.

— А кем вы были до спирта? Кем? — задала Трость последний, решающий и убийственный вопрос высокомерным Калошам.

Калоши сделали вид, что они напрягают память и не могут вспомнить. Хотя та и другая отлично знали, кем они были до того, как стать спиртом.

— Тогда я напому вам, — торжествующе объявила Трость. — До того как стать спиртом, вы были картофелинами и росли на одном поле и, может быть, даже в одном гнезде с вашими родными сестрами. Только вы росли не такими крупными и красивыми, как они, а мелкими, плохонькими плодами, которые обычно отправляют в переработку на спирт.

Трость умолкла. В передней стало очень тихо. Всем было неприятно, что эта история произошла в квартире, где жили очень хорошие люди, которые относились с уважением к окружающим.

Мне больно рассказывать вам об этом, тем более что Калоши не попросили извинения у своих родных сестер.

Какие мелкие бывают на свете калоши. Фу!..

БЕЛАЯ БАБОЧКА

Там, где кончается синий лес и начинается золотая степь, старая Тушканиха вырастила пушистого сына. Выучила она его чему могла и стала напутствовать в молодую жизнь.

— Осторожнее будь, Тушкан, в молодой жизни. В оба гляди. Не всякому зверю верь. С умом невесту выбирай. Работящую.

— Ладно, — говорит Тушкан, — в оба буду глядеть, с умом невесту выбирать.

Стал Тушкан свою молодую жизнь начинать, невесту подыскивать.

Белочку увидел. И до чего же у нее хвост хорош!

Так и развевается. Одна беда: не в норке живет, а в высоком дупле-тереме. Не достанешь.

Ежову дочку приглядел. В норке живет. Да колюча.

У Крота Кротовочки тоже хороши. И шубки мягки, и лапки копки, и сами ловки. Всем Кротовочки лепы, да малость подслепы. Глаза малы. Днем плохо видят.

— Не искал бы ты, Тушкан Пушкианович, худа от добра,— говорит Серая Сова.— Не по одежке бы невесту искал, а по работе выбирал.

А тот ей:

— Да нет, Сова Совинична, я не хочу жить, как все. Невеста моя должна быть на особицу. Уж очень у меня мех пушистый.

Только он сказал это, как видит—над ним Белая Бабочка вьется. Складненькая. Маленькая. Аккуратненькая. Так порхает... Такие узоры своим полетом выпархивает—загляденье. Диву дался Тушкан.

— Кто ты такая, прекрасная Белая Бабочка? Чья?

— Да ничья пока. В невестах порхаю. Жениха в хорошей шубке подыскиваю.

Говорит так Белая Бабочка, а сама белой гладью шьет, воздушные вензеля вышивает. Глаз с нее не сводит Тушкан.

— У меня шубка хорошая,—говорит он.—Пушистая. Не зря меня Пушкиановичем величают. Выходи за меня замуж, Белая Бабочка.

— Ну что ж,—отвечает она,—выйду, если работать не заставишь.

Тут вспомнил Тушкан материн наказ и спрашивает:

— А что же ты есть будешь, коли работать не станешь?

— А я вместо завтрака цветы нюхаю. Солнечным лучом обедаю. Алой зарей ужинаю.

— Это хорошо. А где ты жить будешь?

— Я бабочка складненькая, маленькая. Много ли мне места надо? В твою мягкую шубку забьюсь, в шерстке спрячусь. Куда ты, туда и я. Всегда при тебе.

— Лучше и не придумаешь,—говорит Тушкан.—Очень даже удобно. Селись в моей шубке.

Поселил Тушкан Белую Бабочку в своей шерстке. Куда он, туда и она. Ему хорошо, а ей того лучше. Живет Белая Бабочка в тепле, в светле, в мягкости. Одно только Тушкану не понятно: как можно вместо завтрака цветы нюхать, солнечным лучом обедать и

алой зарей ужинать. А спрашивать не стал. «Значит, порода такая благородная»,— решил про себя пушистый зверек.

Прошло сколько-то времени—вдруг у Тушкана шерстка редеть начала.

— Отчего бы это, дорогая Белая Бабочка?

А та ему ласковым голосочком отвечает:

— Не иначе, Тушканчик-Пушканчик, твоя старая шерстка линяет и новая подрастает.

Поверил Тушкан Белой Бабочке, а шерсти день ото дня все меньше и меньше. Совсем поредел мех. Пересчитать волоски можно.

Не на шутку закручинился Тушкан Пушканович.

— Уж не болезнь ли какая приключилась со мной, дорогая Белая Бабочка?

— Да что ты, да что ты!— успокаивает она его, а сама к заячьей шубке приглядывается, с молодым Бурндуком веселые разговоры заводит, о здоровье у старого Барсука спрашивает.

Весь лес знает, какая беда приключилась с Тушканом Пушкановичем, только ему невдомек. Белки, Ежовки в глаза над облысевшим Тушканом смеются. Подслеповатые Кротовочки и те видят обман Белой Бабочки, а Тушкан и ухом не ведет.

Прознала и старая мать, что неладное с сыном творится. Прибежала к нему и чуть от разрыва сердца не померла.

— Сыночек мой!— завопила Тушканиха.— Кто это тебя до ниточки, до шерстиночки обобрал? Ты же совсем голый! Кому ты теперь такой нужен?

— Это верно,— сказала Белая Бабочка, доедая последний волосок Тушкана Пушкановича.— Тут мне больше нечем лакомиться. Пора в другой мех переселиться.

Сказала так, захихикала, вспорхнула и полетела в барсучий лес.

Сразу узнала Тушканиха по хитрому путаному полету Белой Бабочки вредную моль. Узнала и залилась горькими слезами, оплакивая голого сына.

— Да не горюй ты, не горюй, Тушканиха,— утешает ее Серая Сова.— У него шуба не купленная, а живая, своя. Вырастет шерсть да еще гуще будет.

Так и случилось. Продрожал голышом всю зиму Тушкан в материной норе, а по весне оброс пушистой

шерстью. Заново бедняга решил жизнь начинать, с умом друзей выбирать, по работе ценить лесных жителей. По труду!

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИБОР

Нож и Вилка очень долго служили хорошим столовым прибором. У них были красивые костяные ручки, затейливая резьба. Их подавали к столу даже после того, когда они несколько устарели. Потому что все любовались ими и говорили:

— Ах, какая это заслуженная антикварная пара!

И все было бы хорошо, но Нож начал портиться. Или годы, или что-то еще подействовало на него, только он в пылу раздраженности сказал Вилке:

— Ты мне не пара, трехрогая отсталость. Теперь в моде четырехрогие вилки из нержавеющей стали, с ручками из пластической массы.

Вилка, как известно, остра от природы. И она тотчас же больно уколола Нож:

— Ты посмотри на себя в никелированный поднос, молодящийся тупец, и, может быть, тебе будет над чем задуматься.

С тех пор она его колола ежедневно. Нож от обиды чернел и покрывался ржавчиной. Его сделали кухонным ножом. Им чистили рыбу, щепали лучину для растопки плиты, а иногда открывали консервные банки. Нож вскоре пришел в негодность, и его выбросили на свалку.

Вилка злорадствовала, но недолго. Ее перестали подавать к столу. И ей стало ясно, что без ножа она не может быть столовым прибором.

Тоскуя, Вилка долго валялась в буфетном ящике. Валялась до тех пор, пока с горя у нее не лопнула ручка, после чего и она была выброшена на свалку. Там-то и произошла печальная встреча Ножа и Вилки. Там-то и были произнесены слова признания, полные отчаянья.

— Ах! — плача, сказала Вилка. — Я так была несправедливо колюча к тебе...

— Ох! — рыдая, воскликнул Нож. — И зачем только я обратил внимание на эту штампованную, четырехрогую ширпотребную вилку. Мы могли бы до сих

пор жить счастливым прибором, и нас бы по-прежнему подавали к веселому столу. А теперь уже ничего нельзя изменить. Все кончено! Все кончено, Дженни...— Так он называл ее в юности.

ПРО ДВА КОЛЕСА

В одном новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и Заднее — ведущее и ведомое. Так как ведущего от ведомого отличить иногда очень трудно и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили.

Заднее Колесо утверждало:

— Если я двигаю велосипед, если я его веду, — значит, я и есть ведущее колесо.

Переднее Колесо на это резонно отвечало:

— Где видано, чтобы ведущий шел позади, а ведомый спереди? Я качусь и веду тебя по моему следу. Значит, я и есть ведущее колесо.

На это Заднее Колесо приводило пример с пастухом и баранами.

— Когда пастух гонит баранов, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха.

— Если ты позволяешь себе сравнивать меня с животными, — возмущалось Переднее Колесо, — то не лучше ли представить себе осла, который, идя на поводу за хозяином, стал бы утверждать себя ведущим, а хозяина ведомым.

— Как тебе не стыдно? — взвизгнуло на повороте Заднее Колесо. — Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение. И ты бежишь налегке. На холостом ходу. Да еще виляешь, куда тебе вздумается, и при этом называешь себя ведущим колесом.

— Перестань говорить глупости, — снова возразило Переднее Колесо. — Я не виляю, куда мне вздумается. Я веду тебя, выбирая лучшую дорогу. Я первым принимаю на себя толчки и удары. Моя камера в проколах и заплатах. Кому бы нужно было твое прямолинейное ограниченное движение, если бы не мое лавирование? Я веду тебя. Я! — кричало, дребезжа щитком, предохраняющим от грязи, Переднее Колесо. — Без меня нет Велосипеда. Велосипед — это я!

— Тогда отвинтись и катись! — предложило Заднее Колесо. — Посмотрим, каким будет твоё качение без моих усилий... Посмот... — не договорило оно, свалившись набок, потому что в этот миг Переднее Колесо отвинтилось и покатилося в одиночку... Оно катилось метр, два, три... тридцать метров, а затем свалилось набок.

Пролежав так некоторое время на обочине дороги, колеса поняли, что без ведущих колес нет движения, как и без ведомых.

Они убедились на собственном опыте, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почетно даже в таком простейшем колесном объединении, как велосипед, не говоря уже об автомобиле, поезде, а также о более сложных содружествах других колес, шестерен, маховиков и прочих деталей, составляющих единое целое в разумном и сознательном взаимодействии всех для успешного продвижения.

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВЫ

Если вы не станете упрекать меня в сюжетной контрбанде из Дании, то я, пожалуй, расскажу вам сказку, противоположную той, которую вы все хорошо знаете.

Некогда на свете жили два ткача, два портных. Они пряли из ничего чудесные нити, ткали из них потрясающе выдуманные ткани, а затем шили поразительно сказочные, но не существующие платья.

Двум ткачам, двум портным жилось худо. Их нередко называли обманщиками, наказывали плетью, лишали гражданских прав, и они, голодные, бездомные, странствовали по белому свету в поисках волшебной работы, которая приносила бы людям радость. Но всюду их встречали смехом и провожали палками.

Все это было в те стародавние времена, когда певцов приравнивали к шутам, поэтов, сочинителей — к лжецам и обманщикам, а гениев сжигали на кострах.

Долго скитались ткачи, все же однажды судьба улыбнулась несчастным.

Они забрели в удивительное королевство.

Королевство, где очутились два ткача, не имело границ, каменных стен или каких-то других ограждений. Оно не располагало войсками и даже пограничными отрядами. Между тем оно было могущественным, независимым и непобедимым. Оно и не могло стать иным,

потому что это было Великое Королевство Мечты и Воображения. А как известно, еще никому в мире не удавалось поставить на колени Мечту и поработить Воображение.

Такое королевство, такая свободная страна вполне устраивала двух ткачей, и они представились королеве.

Королева Мечты и Воображения была одета в нежно звучащее симфоническое платье. С ее плеч ниспадала эпическая мантия из пятистопных ямбов, а на голове красовался классический венок сонетов.

— Что вы хотите, незнакомцы? — прозвенела невидимая арфа королевы.

— Мы хотим стать полноправными гражданами этого королевства, — ответили ткачи.

— А что дает вам право стать гражданами Великого Королевства Мечты и Воображения? — проиграла королева на скрипке, сделанной из чистого эфира.

Тут два ткача рассказали о своем искусстве ткать из ничего прекрасное и шить из него вечное.

Рассказывая, они плавными жестами нарисовали в пространстве ткацкие станки, затем натянули нити-основы из солнечных лучей и принялись ткать образным языком из утонченных словосочетаний поэтическое отображение звездного неба для вечернего платья королевы Мечты и Воображения.

И когда тончайшее из всех самых тонких платьев было готово, они нарядили в него королеву.

Раздался вопль восхищения!

Великие и малые граждане Королевства Мечты и Воображения на все лады прославляли новое платье королевы. Одни увековечивали его волшебной музыкой, другие — нежными красками, третьи выражали свой восторг чарующими танцами. В чистых и окрыленных душах каждого из граждан этой свободной страны мастерство двух ткачей, двух портных нашло свой живой отклик.

Всех и даже не лишенных воображения мальчиков, сидящих на деревьях, потрясло это новое платье королевы, когда она шествовала по улицам столицы страны Бессмертия, страны Мечты и Воображения. И никому, абсолютно никому не приходило в голову, что королева гола, что на ней нет никакого платья, как, впрочем, нет и ее самой, а есть сказка. Эта сказка, в которой и по сей день живут изумительные мастера, ткущие из ничего вечное и прекрасное...

МАЛЕНЬКИЕ ЛУКАВИНКИ



АХ!

Ничего Надя делать не умела. Бабушка Надю одевала, обувала, умывала, причесывала.

Мама Надю из чашечки поила, с ложечки кормила, спать укладывала, убаюкивала.

Прослышала Надя про детский сад. Весело там подружки играют. Танцуют. Поют. Сказки слушают. Хорошо детям в детском саду. И Наденьке было бы там хорошо, да только не взяли ее туда. Не приняли!

Ах!

Заплакала Надя. Заплакала мама. Заплакала бабушка.

— Почему вы Наденьку в детский сад не приняли?

А в детском саду говорят:

— Да как мы ее примем, когда она ничего не умеет делать.

Ах!

Спohватилась бабушка, спohватилась мама. И Надя спohватилась.

Стала Надя сама одеваться, сама обуваться, умываться, есть, пить, причесываться, спать укладываться.

Как узнали об этом в детском саду — сами за Надей пришли. Пришли и увели ее в детский сад, одетую, обутую, умытую, причесанную.

Ах!

ПРО НОС И ЯЗЫК

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один и нос тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка,— отвечает бабушка,— чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

Ясно?

ТОРОПЛИВЫЙ НОЖИК

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой,— отвечает Митя,— косо строгает.

— Да нет,— говорит отец,— ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так,— сказал отец.

Взял палочку да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.

НАДИНА ЛАСТОЧКА

В детском саду было много шкафов, много стульев, много салфеток и полотенец тоже много.

Много всего, а каждый свое узнает. На своем стуле сидит. Своим полотенцем утирается.

— Как это так? — спросила Надя, когда ее в первый раз в сад привели.— Как они все это запоминают, не путают?

— Да очень просто,— ответила воспитательница.— По рисункам узнают. У кого грибок, у кого листок, у кого ягодка. А твоим рисунком будет ласточка.

Тут Надя сразу нашла свой шкаф, свой стул, свое полотенце. Фартучек свой увидела. На нем тоже ласточка вышита была.

Какая, оказывается, умная воспитательница!

КАК ТАТА ГОЛОС ВЫПЛАКАЛА

Любила Тата плакать. Так любила, что хоть и не надо, да плачет.

— Перестань по-пустому плакать, Таточка,— говорит ей бабушка.— Голос выплечешь. Без голоса тебе будет плохо жить.

Не поверила Тата бабушке и еще громче заплакала. Плакала Тата, плакала да и выплакала свой голос.

Слезы текут, рот открывается, а плача не получается. Голос пропал.

Хочет Таточка гулять попроситься, а нечем. Нет больше у Таты голоса. Выплакала она его.

Есть Тате хочется. Пробует Тата всего только три слова сказать: «Бабушка, дай пирожок», а не может. Губы шевелятся, а слова не выговариваются. Как их без голоса выговоришь?

Даже кошку позвать нечем. Ей же «кис-кис» нужно сказать. А чем скажешь «кис-кис», когда голоса нет?

Бедная девочка! Милая Таточка! Как нам тебя жаль! Даже плакать хочется по твоем голосе. Только свой голос выплакать боимся. Поэтому и не плачем.

Только поэтому.

МАМИНА РАБОТА

Петина мама была штукатуром. Она штукатурила дома. Давно хотелось Пете посмотреть, как это делается, да все не удавалось.

Как-то раз мама сказала Пете:

— Выходи, сынок, завтра на балкон. Увидишь, как мы наш старый дом будем в новое платье одевать.

Не понял Петя, как это можно дом в платье одеть, но спрашивать не стал. «Сам увижу»,— решил он про себя.

Утром выбежал Петя на балкон. Смотрит, рядом еще один балкон появился. Да не простой, а висячий. Хочешь — подымешь его, хочешь — опустишь.

А на висячем балконе стоит мама с какой-то девушкой.

«Это, наверное, мамина помощница», — подумал Петя.

Возле помощницы стояло большое дощатое корыто с серым тестом. Девушка брала это тесто маленькой лопаточкой и набрасывала на стену дома. А Петина мать разглаживала его ровным-ровненько. Долго смотрел Петя на мамину работу, пока не увидел, что серое тесто на стене стало твердым и белым.

Понял теперь Петя, как дом в платья одевают. Захотелось ему скорее вырасти, чтобы самому научиться наряжать дома в красивую одежду.

Хорошая это работа. Нужная.

КАК МАША СТАЛА БОЛЬШОЙ

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином капоте сидела. И прическу, как у тети Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала.

Ничего не получалось. Только смеялись над ней да подшучивали.

Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась:

— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься?

А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал:

— Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет.

Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платице. Без прически. Без бус. Без часов.

Не они, видно, маленьких большими делают.

ПЕРВАЯ РЫБКА

Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. Ему всего пять лет было.

Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи.

Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать:

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что ершище жирнее сома.

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ершишки? Но он все равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка.

КАК МИША ХОТЕЛ МАМУ ПЕРЕХИТРИТЬ

Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула:

— Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать?

— Оно, мама, само отломалось.

— А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?

— Она, мамочка, сама разорвалась.

— А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял?

— Он, мама, сам куда-то потерялся.

Тогда Мишина мама сказала:

— Какие они все нехорошие! Их, негодников, нужно проучить!

— А как? — спросил Миша.

— Очень просто, — ответила мама. — Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают.

Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной рубашке, без башмака, и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.

ПЕРВАЯ ВАХТА

Каникулы Саша проводил на большом корабле. На крейсере. Командовал крейсером Василий Васильевич Берестов. Он усыновил сироту Сашу и определил его в нахимовское училище.

Любили матросы маленького моряка. Души в нем не чаяли. Потому что не бездельничал Саша на корабле: подавал сигнальщикам флаги, помогал палубу мыть, картошку чистить.

Стали думать матросы, как лучше наградить Сашу за его усердную службу. И придумали.

Однажды обратились они к дежурному офицеру:

— Разрешите, товарищ старший лейтенант, нахимовцу Александру Берестову отстоять на нашем корабле первую в его жизни вахту.

И старший лейтенант разрешил.

Замер нахимовец Берестов на вахте. Хочется ему строгим быть, а не получается. Глаза выдают — так и сияют от радости.

Да и как не радоваться, когда Саше доверено важное дело — охрана флага корабля.

Такое счастье не всякому выпадает.

ДЕЖУРНЫЕ СЕСТРЫ

Наташу и Соню прозвали «дежурные сестры». Как кто-нибудь из знакомых или соседей прихворнет, Наташа и Соня тут как тут:

— Что у вас болит? Покажите язык. Температуру измеряли? Доктор был?

Если не был доктор — вызовут. Если был — начинают лечить так, как он велел. Микстуру подают. Грелку ставят.

Как-то захворала соседка Вера Михайловна. Она была детским врачом. Захворала и решила полежать денька три.

Как только Наташа с Соней прослышали об этом, живехонько прибежали к Вере Михайловне:

— Как вы себя чувствуете? Покажите язык! Скажите «а-а-а»...

И так они ее принялись лечить, что бедной Вере Михайловне даже соснуть было некогда. Через каждые полчаса температуру измеряют. Киселем кормят... Воду подают.

Молчит Вера Михайловна. Все терпит. Все исполняет.

Хоть и трудновато у Наташи с Соней лечиться, а приятно ей, старому детскому доктору, что такая хорошая смена подрастает. Умелая. Чуткая. Заботливая.

КТО?

Заспорили как-то три девочки, кто из них лучшей первоклассницей будет.

— Я буду лучшей первоклассницей,— говорит Люся,— потому что мне мама уже школьную сумку купила.

— Нет, я буду лучшей первоклассницей,— сказала Катя.— Мне мама форменное платье с белым фартучком сшила.

— Нет, я... Нет, я,— спорит с подругами Леночка.— У меня не только школьная сумка и пенал, не только форменное платье с белым фартуком есть, мне еще две белые ленточки в косички подарили.

Спорили так девочки, спорили — охрипли. К подружке побежали. К Маше. Пусть она скажет, кто из них самой лучшей первоклассницей будет.

Пришли к Маше, а Маша за букварем сидит.

— Не знаю я, девочки, кто самой лучшей первоклассницей будет,— ответила Маша.— Некогда мне. Я сегодня должна еще три буквы выучить.

— А зачем? — спрашивают девочки.

— А затем, чтобы самой плохой, самой последней первоклассницей не оказаться,— сказала Маша и принялась снова читать букварь.

Притихли Люся, Катя и Леночка. Не стали больше спорить, кто лучшей первоклассницей будет. И так ясно.

ДЛЯ СЕБЯ

Руки у Ньюши хотя и не очень сильные, зато умелые. За любую работу берутся.

Вот и теперь. На дворе весна. Пора бы ноги у яблонь известью побелить, чтобы защитить деревья от вредных жучков да гусениц. А колхозникам некогда. Надо в поле выезжать. Хлеб сеять.

«Не ждать же нашему саду», — подумала Ньюша.

Собрала она подружек и говорит:

— Берите, девочки, ведерки с известью. Пойдем деревья белить.

А самой боязно. Вдруг да не справится ее бригада. Руки-то ведь тоненькие. Быстро устанут.

А подружки успокаивают:

— Не бойся, Анютка, справимся!

Потому что знают: хоть и тонкие у них руки, зато много их.

Поверила Ньюша. Показала подружкам, что и как, и принялась бригада за дело.

Солнце еще высоко, а работа уже подходит к концу.

Вечером пришел председатель колхоза и диву дался:

— Кто же это так хорошо сад побелил? Кому спасибо говорить?

А девочки молчат. Ничего не отвечают. Пусть председатель сам догадается. Да и за что им спасибо говорить? Для своего колхоза работали. Для себя.

САМОЕ СТРАШНОЕ

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдергивал. Колючего ежика под шкаф загонял. Даже своей бабушке грубил.

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго.

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его — и все. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись.

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там! Ежик давно в другой дом жить перебрался.

Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает.

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова остался один.

Один-одинешенек!

СЧАСТЛИВАЯ ТРУБА

Гришу Токарева в пионерском лагере очень любили. Хороший он был пионер: что ему ни поручишь, все делает. Вовремя и аккуратно.

Но лучше всего умел Гриша на трубе играть. Поэтому и назначили его в лагере горнистом. Хорошо он своим горном ребят будил. Так хорошо, что просыпаться было радостно. А станет его труба к обеду звать — хоть и не голоден, а все равно аппетит появляется. Вот какой был горнист этот Гриша.

Одно плохо — никак не мог он со своей трубой расстаться и, когда не надо, тоже трубил. Какие-то песенки наигрывал и непонятные сигналы подавал. Начальник лагеря сердился даже.

Как-то раз все ушли на экскурсию, и в лагере только Гриша да дежурные остались. Решил Гриша, пока никого нет, вдоволь натрубиться. Трубил он, трубил, вдруг в лагерь приходит незнакомый мужчина в больших очках и в белом пиджаке.

— Кто это у вас на трубе играет?

Дежурный по лагерю смутился.

— Извините, пожалуйста,— говорит,— я сейчас остановлю эту музыку.

А мужчина отвечает:

— Нет, зачем же останавливать музыку? Вы лучше меня с музыкантом познакомьте.

Познакомился он с Гришей Токаревым и пригласил его к себе. В дом отдыха. Вместе с трубой пригласил.

Вскоре все в лагере узнали, что мужчина в белом пиджаке — профессор консерватории.

Теперь Гриша Токарев его ученик. И все говорят, что из мальчика получится хороший музыкант.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер бумажный змей высоко летает. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. Красота!

Задумал Боря своего змея сделать. Лист бумаги у него был. И дранки он выстрогал. Да недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змеев пускают.

А у Семы большой моток ниток. Ему есть на чем змеев пускать. Если бы он лист бумаги да мочала на хвост достал, тоже бы своего змея запустил.

Мочало у Пети было. Он его для змея припас. Ниток только ему не хватало да бумажного листа с дранками.

У всех все есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает.

Сидят мальчишки на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижимает. Сема свои нитки в кулак зажал. Петя свое мочало за пазухой прячет.

Хороший ветерок дует. Ровный. Высоко в небо дружные ребята змея запустили. Весело он мочальный хвост развевает. Туго нитку натягивает. Красота!

Боря, Сема и Петя тоже бы такой змей могли запустить. Даже лучше. Только дружить они еще не научились — вот в чем беда.

ЗНАКОМЫЕ СЛЕДЫ

Никишин дедушка был садоводом в колхозе. А в свободное время любил на охоту ходить. Хорошим он был охотником. Все тайны лесные знал. Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал да приговаривал:

— Век живи, век учись и во все вникай. Никакое знание человеку во вред не бывает.

А Никиша слушал да думал про себя: «Все старики

любят ребят поучать. Но зачем мне звериные следы знать, когда я машинистом стать собираюсь. Электрические поезда водить». О поездах только и думал Никиша. Каждый болтик, каждую мелочь на электровозе разглядывал. Ребята тоже бегали вместе с ним на поезда смотреть.

Довелось как-то им возвращаться со станции в свое село прямой дорогой через лес. Ближе и веселее. Хорошо бежится по первому снегу. А на снегу множество всяких следов. Какой чей след, ребята не знают, а бегают по ним. Вдруг да лисицу увидят или дикого козлика. С зайцем и то неплохо встретиться. Бегали так они, бегали по следам да и заблудились. Испугались ребята. Кое-кто даже слезу пустил.

— Это твоя затея, Никишка... Как мы теперь выберемся, когда все тропинки снегом засыпало?

Молчит Никиша, не оправдывается. Думает, как ребят на дорогу вывести. Кричать стал. Да кто услышит его в глухом зимнем безлюдном лесу!

И вдруг Никиша увидел знакомые следы. Из всех следов, которые ему дед показывал, он только эти запомнил.

— Ура, ребята! — крикнул Никиша. — Идите за мной.

Долго шли ребята по этим следам и вышли к жилью. К лесниковой сторожке. А от сторожки до села наезженная дорога. И ночью не заблудишься.

— По каким же таким следам ты нас вывел? — спросили ребята Никишу.

— По собачьим, — ответил он. — Собачьи следы всегда к жилью выводят. Сколько ни бегают собака по лесу — обязательно домой прибежит. Так дедушка меня учил.

Домой Никиша пришел усталый, но счастливый. Улучив минутку, он обнял дедушку и принялся что-то шептать ему на ухо. Наверное, спасибо говорил милому дедушке.

ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА

— Скажи, дедушка, — как-то спросил Сережа, — откуда ты сказки берешь?

— Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы.

— А как ты их оттуда достаешь, дедушка?

— Ручкой с перышком, милый внук, ручкой с перышком.

— Как рыбу удочкой?

— Да нет, мой маленький, так сказку не выудишь,— говорит дедушка.— Сперва из чернильницы нужно добыть палочки да научиться их в тетрадку переносить. А потом — крючки. А потом — буквы. А потом — слова. А потом и сказка может зацепиться.

Поступил Сережа в школу. Стал из чернильницы сказку добывать. Сначала палочки. Потом крючки. Потом буквы. А потом и слова. Много тетрадок исписал Сережа, а сказка не зацепляется.

— Почему это, дедушка, так? Может быть, чернила у меня жидкие, или чернильница мелкая, или перо тупое?

— Не горюй, Сергей! — утешает дед. — Придет время — не только сказку, а, может быть, что-нибудь покрупнее вытащишь... Если, конечно, не в одну чернильницу смотреть будешь, если без людей, сам по себе, жить не начнешь, тогда и чернила будут гуще, и чернильница глубже, и перо острее...

Не все тогда понял малый, а дедову притчу запомнил. На ус намотал — другим пересказал.

ПИЧУГИН МОСТ

По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах.

— Хорошо бы,— говорит один,— на пожаре ребенка спасти!

— Даже самую большую щуку поймать — и то хорошо,— мечтает второй. — Сразу про тебя узнают.

— Лучше всего на Луну полететь,— говорит третий мальчик. — Тогда уж во всех странах будут знать.

А Сема Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым.

Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились. Повымокли. И тоже крику всякого было много.

Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдешь, когда короткая есть!

Вот и задумал Сема Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор у него был хороший. Дедушкой точенный. И стал он рубить им ветлу.

Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоем не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку.

Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того гляди, упадешь. Особенно если снег.

Решил Сема приладить перильца из жердей.

Дед помог.

Хороший мостишко получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут:

— Да куда ты идешь за семь верст киселя хлебать! Иди напрямик через Пичугин мост.

Так и стали его называть Семиной фамилией — Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул. Из хороших бревен. А название мосту осталось прежнее — Пичугин.

Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссе-сую дорогу. Прошла дорога через речку Быстрянку, по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу.

Большой мост возвели. С чугунными перилами. Такому можно было дать громкое название. Бетонный, скажем... Или какое-нибудь еще. А его все по-старому называют — Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому.

Вот оно как в жизни случается.

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

На первой парте и в первом классе сидел сын отважного летчика-испытателя Андрюша Рудаков. Андрюша был крепким и смелым мальчиком. Он всегда защищал тех, кто послабее, и за это все в классе любили его.

Рядом с Андрюшей сидела маленькая худенькая девочка Ася. То, что она была маленькая и слабенькая, еще

можно было простить, но то, что Ася была труслива,— с этим Андрюша никак не мог примириться. Асю можно было испугать, сделав ей страшные глаза. Она боялась каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те ее страшили. Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой, и он всячески старался избавиться от Аси.

Однажды Андрюша принес в стеклянной банке большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту.

С этого и началось... Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна будто бы не замечала этого, а на третий день она попросила Андрюшу остаться после уроков.

Андрюша сразу догадался, в чем дело, и, когда все ушли из класса, он, чувствуя себя виноватым, смущенно сказал учительнице:

— Я ведь не зря принес паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться. А она опять испугалась.

— Что ж, верю тебе,— сказала Анна Сергеевна.— Кто как умеет, тот так и помогает расти своим товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать одну маленькую историю.

Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом — на Асино.

— Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку — Аней. Аня росла болезненным ребенком, а Вова рос сильным и здоровым мальчуганом. Аня часто хворала, и Вова приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня поранила гвоздем ногу. Да так поранила, что не могла приходить в школу: ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже вторая четверть. И как-то Вова пришел к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась: «Что ты, что ты, Вова! Это будет очень смешно! Над нами будет хохотать вся школа...» Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть хохочут!» С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и смогла вместе со всеми ребятами перейти в следующий класс. На этом я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня.

— А кем? — нетерпеливо спросил Андрюша.

— Вова стал прекрасным летчиком-испытателем. Это твой отец Владимир Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна.

Андрюша опустил глаза. Так просидел он за своей партой долго. Он живо представил саночки, девочку Аню, которая теперь стала учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить.

Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как всегда, появилась со своей бабушкой. Она боялась ходить в школу одна.

— Доброе утро,— сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался с Асей.— Если хочешь, Ася, пойдем в школу вместе.

Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу.

Это он нарочно говорит так приветливо, от него можно ожидать всего. Но бабушка заглянула в глаза мальчику и сказала:

— С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной. Он и от собак отобьется, и мальчишкам в обиду не даст.

— Да,— тихо, но очень твердо сказал Андрюша.

И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей. Они не уступили дорогу бодливому козлу-задире. И Асе не было страшно. Рядом с Андрюшей она вдруг почувствовала себя сильной и смелой.

УДАЧЛИВЫЙ РЫБАК

На реке Усолке трое взрослых рыбаков за одно утро еле-еле два десятка плотвы наловили. А паренек, сидевший поодаль, то и дело таскал рыбку за рыбкой и за утро поймал никак не менее пяти-шести десятков плотвиц.

Тогда рыбаки спросили у него:

— Почему у тебя такая удача, а у нас нет? Может быть, это место рыбное?

— Да нет,— ответил паренек,— у меня всякое место рыбное.

Сказал он так и потянул за шнур. Потянул за шнур и вытянул пузатую бутылку из прозрачного стекла. Бутылка была наполнена водой, а в воде кишмя кишел отборный красный мотыль.

— Рыба видит его, а съесть не может. Вот и держится у бутылки целой стайей, а я свой крючок возле бутылки закидываю. Р-раз — и готово! — смеется паренек.

— Хитер, — подумали рыбаки и переняли у мальчика умную затею.

РАКИ

Речка Березовка хоть и маленькая, да рыбная. А вот раков в Березовке не было. Перевелись, да и все.

— В старые годы, когда мы мальчишками были, по сотне, по две раков из Березовки добывали, — рассказывал Ванин дедушка.

И Тишина бабушка говорила то же самое.

А в соседней речке Вертушинке раки не переводились.

Только ходить туда было далеко. Через лес да еще через болото.

Как-то Тиша сказал Ване:

— Давай, Ванек, наловим по корзинке вертушинских раков да и выпустим их в нашу Березовку.

— А зачем? — спросил Ваня.

— Чтобы они опять развелись.

— Да пока они разведутся, их ребята повыловят.

Не стал спорить Тиша, хоть и знал, что нельзя всех раков выловить. Пусть сотня, да останется. А эта сотня столько икры вымечет, что раков потом и не сосчитаешь.

На этом и кончился разговор.

Прошел год... Ваня и Тиша уже в третий класс перешли. И, как раньше, в свободное время удили рыбу.

Как-то закинул Ваня крючок на ерша, а поймал озорного рачонка.

— Тиша! — закричал Ваня. — У нас в речке раки сами собой развелись!

Тиша увидел молоденького рачонка и больше Вани обрадовался. Значит, не зря он прошлым летом на Вертушинку ходил. Один. Через лес да еще через болото.

НОВЫЕ ИМЕНА

У главного конюха, у Корнея Сергеевича, водились хорошие охотничьи собаки. Щенков от этих собак Корней всегда раздавал колхозным ребятишкам.

Вот и на этот раз семеро маленьких счастливицев с нетерпением ждали того дня, когда щенки немного подрастут и можно будет их взять у матери.

— Только, чур,— говорит Корней,— я отдам вам щенят с одним уговором. Пусть каждый придумает своему щенку новое имя. Придумает и держит про себя. Чтобы другие не повторяли. А то в нашем селе и без того бегают десяток Полканов да штук двадцать Стрелок, а уж Шариков и не пересчитаешь. Нужны новые имена.

— Придумаем,— сказали ребята. И придумали.

Настал день, когда можно было раздать детям щенков. Пришли ребята к Корнею Сергеевичу, и каждый шепнул ему на ухо новое, не слыханное в селе имя.

Шепнул первый мальчик — дядя Корней похвалил его. Шепнул второй — Корней Сергеевич тоже похвалил, но улыбнулся. Шепнул третий — старик захохотал. До шестого очередь дошла — веселый дяденька Корней еле прокашлялся от смеха.

— Над чем это он? — удивляются ребята.

А когда они объявили вслух имена своих питомцев, всем стало смешно. Потому что шестерых щенят называли Лайками, а одного Ракетой.

Ничего не сделаешь. В этом году это были самые новые имена.

СМОРОДИНКА

Танюша много слышала о черенках, а что это такое — не знала.

Однажды отец принес пучок зеленых прутьев и сказал:

— Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать.

Стала Таня разглядывать черенки. Палочки как палочки — чуть длиннее карандаша. Удивилась Танюша:

— Как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет ни корешков, ни веточек?

А отец отвечает:

— Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки. А вот из этой, верхней, вырастет смородиновый куст.

Не верилось Танюше, что маленькая почка может стать большим кустом. И решила проверить. Сама ре-

шила смородинку вырастить. В палисаднике. Перед избой, под самыми окнами. А там лопухи с репейником росли. Да такие цепкие, что и не сразу выполешь их.

Бабушка помогла. Повыдергали они лопухи да репейники, и принялась Танюша землю вскапывать. Нелегкая это работа. Сперва надо дерн снять, потом комья разбить. А дерн у земли толстый да жесткий. И комья твердые.

Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Мягкой стала да рыхлой.

Разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Все сделала, как отец велел, и посадила рядками смородиновые черенки. Посадила и принялась ждать.

Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а вскоре появились и листочки.

К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А еще через год они зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста.

Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя на девочку:

— Вот какая хорошая «смородинка» у Калининковых растет. Настойчивая. Работящая. Черноглазая, с белой ленточкой в косе.

ДЛЯ ЧЕГО РУКИ НУЖНЫ

Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всем разговаривали.

Спросил как-то дедушка внука:

— А для чего, Петенька, людям руки нужны?

— Чтобы в мячик играть, — ответил Петя.

— А еще для чего? — спросил дед.

— Чтобы ложку держать.

— А еще?

— Чтобы кошку гладить.

— А еще?

— Чтобы камешки в речку бросать...

Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех других судил, а не по маминым, не по папиным, не по трудовым, рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится.

СОДЕРЖАНИЕ

Бабушкины кружева

Саламата	5
Шоша-шерстобит	23
Дочь луны	46
Страничка юности	64
Дефицитное дарование	87
Бабушкины кружева	96

Уральские были-небыли

Сказка-присказка про род- ной Урал	151
Быль-небыль про желез- ную гору	152
Далматова Фартуната	158
Золотые колечки	172
Чертознаева памятка	176
Штраф за штраф	177
Болтливая молния	180
Про дедушку Само	185
О начале всех начал	187
Тухлявое болотце	190
Березовая роща	193
Замок без ключа	194
Долговекий мастер	198
Недовольный человек	203

Семьсот семьдесят семь мастеров

Маркел-самодел и его дети	213
Как Огонь Воду замуж взял	214
Фока — на все руки дока	216
Как самовар запрягли	222
Семьсот семьдесят семь мастеров	224
Трудовой огонек	226
Золотой гвоздь	229
Рукавицы и топор	238
Тайна цены	239
Самоходные лапки	242
Дорогая ласточка	249
Волшебные краски	250

Волшебные истории

Как солнышко электриче- скую лампочку зажгло	253
Сказ про Газ	255
Иголкины братья	267
Сказка о стране Терра- Ферро	273

Дедушкины очки

Обманное озеро	303
Мама и мы	306
Чужая калитка	312
Славка	315
Дедушкин характер	318
Сережа	320
Чижик-пыжик	323
Дедушкины очки	325

Тонкая струна

Памятная охота	328
Тонкая струна	331
Волчок	334
Разные цветы	337
Разбойник	341
Тополя	347
Темка	351
Шестой малахай	354
Красный вагон	357
Пальма	361
Шарик и Торик	363
Балкунчик	367
Волшебный ошейник	369
Дедушкины глаза	373
Фигурное катание	378

На все цвета радуги

На все цвета радуги	382
Первая улыбка	383
Пастух и скрипка	387
Удочеренная яблонька	390
Мыльные пузыри	392
Счастливые часы	395
Пять зерен	396
Семь королей и одна ко- ролева	398
Сказка о большом коло- коле	405
Королева Буль-Буль	408
Некрасивая Елка	414
Про силу и правду	419

Памятные узелки

Кто мелет муку	422
Пропавшие нитки	423
Про торопливую куницу и терпеливую синицу	424
Тараканий охотник	425

Мать-мачеха	427
У кольца нет конца	428
Хитрый коврик	429
Ежиха-форсиха	430
Две половицы	430
Гусь лапчатый	432
Старая сказка	433
Уральская побасенка	434
Толковая муха	435
Скрипучая дверь	436
Неуступчивые сестры	436
Четыре брата	437
Свечка	438
Шумливое море	438
Белая ворона	439
Вечный король	442
Луна, лужица и бельмо на вороньем глазу	442
Зоркий слепец	443
Шантон-болтон	445
Солнечный подарок	446
О трех сердцах	447
Чугун и сталь	448
Про яблоньку, которая рано зацвела	449
Мелкие калоши	451
Белая бабочка	453
Счастливый прибор	456
Про два колеса	457
Новое платье королевы	458

Маленькие лукавинки

Ах!	460
Про нос и язык	460
Торопливый ножик	461
Надина ласточка	461
Как Тата голос запла- кала	462
Мамина работа	462
Как Маша стала боль- шой	463
Первая рыбка	464
Как Миша хотел маму перехитрить	464
Первая вахта	465
Дежурные сестры	465
Кто?	466
Для себя	467
Самое страшное	467
Счастливая труба	468
Бумажный змей	469
Знакомые следы	469
Перо и чернильница	470
Пичугин мост	471
Надежный человек	472
Удачливый рыбак	474
Раки	475
Новые имена	475
Смородинка	476
Для чего руки нужны	477

Пермяк Е. А.
П27 Собрание сочинений в четырех томах. Том 4
Свердловск. Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.

480 с.

В заключительном томе собрания сочинений публикуются рассказы, сказки и сказки, написанные в 1949—1976 годах, главными темами эти произведений является труд и утверждение высоких нравственных начал.

Евгения Пермяка с полным основанием считают создателем современной сказки. Обратившись к устной народной поэзии, он наполнил ее новым содержанием, созвучным современности, приблизил язык сказки к современному народному языку.

П 70302—076
М158(03)—79

P2

Евгений Андреевич Пермяк

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ.
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ИБ № 695

Редактор И. А. Круглик

Художник Д. Б. Шимилис

Художественный редактор Г. И. Кетов

Технический редактор Т. В. Меньщикова

Корректоры Е. В. Иванова, Г. Г. Быкова

Сдано в набор 11.09.78. Подписано в печать 14.03.79. НС 12049. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 26,2. Тираж 150 000. Заказ 551. Цена 2 руб. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

